Я – Беглый

Михаил Александрович Пробатов

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Я — беглый. Родился беглым, среди беглых. И умру в побеге. И беда моя в том, что мне, никогда не узнать, где же свобода, что она представляет собою и что может дать мне, или что у меня отнимет.

Не то, чтоб я в этих отрывочных заметках надеялся подвести какие-то итоги длинной, путаной, бестолковой и вконец неудавшейся жизни, но клочья воспоминаний, словно рваные облака лютым ноябрём, всё чаще стали проноситься над моей головой. Бывшее перепутано с несбывшимся. Многое дорогое позабыто, но в памяти, которая постепенно выходит из строя, будто в компьютере, исчерпавшем свой ресурс, неожиданно оживает воображаемое.

- Михаил Пробатов
- Мат
- Тускозырный
- Почему нас не любит Россия?
- Счастливая история
- Мой старый кот
- Родина
- Орден Ленина
- Меценат
- Волшебная сказка (начало)
- Волшебная сказка (продолжение)
- Волшебная сказка (окончание)
- Сказка про губернатора, священника и токаря — 1
- Сказка про губернатора, священника и токаря — 2
- Русское
- Гость из бездны или призрак в публичном доме (начало)
- Тут могут быть повторы из бывших уже записей
- Трусость
- О, женщины…
- Путешествие на Торлеерм

Михаил Пробатов
Я — Беглый

Пробатов Михаил Александрович. Родился в Москве, в 1946 году в семье учёных-ихтиологов. После окончания средней школы (в Калининграде) около десяти лет работал матросом на промысловых судах в Атлантике и Тихом Океане. Дважды поступал в вуз — в МГПИ и Литинститут, оба раза бросал после первого курса. Сменил множество работ, профессий, мест жительства. Некоторое время принимал участие в работе диссидентских организаций (конец 70-х — начало 80-х). Помимо прочего, работал на кладбище и в бане, и таким образом неплохо знает криминальный мир Москвы накануне перестройки. Сейчас имеет одновременно израильское и российское гражданство.

Links:

www.livejournal.com/users/beglyi

polutona.ru/?show=probatov

Мат

Ребята, вы украли весьма ценный и очень сложный в эксплуатации инструмент и вот уже много лет, ещё задолго до эпохи Всемирной Паутины, стали пользоваться им не по назначению, даже не поинтересовавшись, для каких целей он был нужен тому, у кого вы украли его.

Совершенно невозможно представить себе русской речи без матерной брани, как невозможно говорить по-итальянски, не жестикулируя — будет звучать итальянский язык, но это не будет живая итальянская речь, не так ли? В этой связи у меня в течение минувших тридцати лет копилось горькое раздражение, и, как мне показалось, вполне уместно будет выразить его в виде реплики в этом Журнале, о существовании которого я узнал несколько дней тому назад, когда к моему компьютеру подключили Интернет.

Кажется, в начале пятидесятых (я ещё в начальную школу ходил) Юз Алешковский написал и спел «Окурочек». Песня была, как сейчас говорят, знаковая для всей страны. В «Окурочке» дважды прозвучали матерные ругательства — очень правильно, к месту, в самый больной, мучительный, пульсирующий неутолённой страстью момент. Ни разу в жизни мне в голову не пришло возразить великолепному поэту: Что это ты, мил человек, прилюдно материшься? А много лет спустя, уже стариком, я прочёл «Николая Николаевича» и был тяжко оскорблён. Не знаю для чего Алешковский, устроил это безобразие, а он сделал это сознательно, потому что русским владеет прекрасно, и знает, какое место в русской речи занимает мат, и знает, насколько он разрушает живую ткань речи, возникая не вовремя и не к месту.

В течение нескольких дней я бегло просмотрел многочисленные страницы в Интернете, где люди мучительно пытаются достучаться друг до друга — вполне естественно, и парадоксально лишь на первый взгляд — по мере технического усовершенствования средств общения, реальные возможности для общения становятся острейшим дефицитом. Из множества возникших у меня вопросов: Почему так много матерной брани, которую употребляют люди, явно к ней не привычные и не ощущающие этот специфический языковой приём как нечто органичное? И ещё: Вообще, почему такой вымученный, ёрнический, временами злой, временами отчаянный тон? Что случилось? Неужто вы испугались грядущего конца света?

Может быть, кто-то захочет мне ответить, поскольку я теперь тоже нахожусь в Интернете, но человек новый, возраста

преклонного и, конечно, многое меряю устаревшим аршином. А действительно ли точнее этот новый аршин? — но последнее, уже из вечных стариковских вопросов, на которые, наверное, не следует отвечать.

Тускозырный

В самом начале шестидесятых я работал на Магаданском телевидении. Это мода была такая. В то же время там, в «Магаданском Комсомольце», если я ничего не путаю, работал Кохановский. «Мой друг уехал в Магадан». Я часто по делам своей Редакции Детских передач бывал в Облдрамтеатре. И всегда заходил к администратору, которого звали Эммануил Абрамович. Мне тогда исполнилось восемнадцать, и я, попавши на Север, конечно, с энтузиазмом взялся за спирт. У Эммануила Абрамовича, в его каморке, всегда была фляжка со спиртом, и он научил меня пить его не разведённым, не запивая водой:

— Миша, послушайте, пожалуйста, сюда. Научитесь брать от спирта всё, что он может вам дать. И тогда вы получите то, что можно от этого яда получить. Если же вы не хотите этого — не пейте спирт совсем. Это продлит вашу жизнь. Ну, я вам скажу: она будет немножко не так ярко светить, зато дольше. Как вам нравится?

Мне, дураку, хотелось поярче, мне так нравилось. И в своё время я получил, чего и следовало ожидать. Но это к слову. Эммануил Абрамович провёл в лагерях двадцать лет — с 36-го по 56-й. Этот человек никогда не бывал пьян. Знать бы мне, что он-то от спирта получал. Но я этого до сих пор не знаю.

А надо сказать, что в то время я переживал первую в своей жизни драму. Ведь я в Магадане-то очутился, потому что меня бросила женщина. Она была на два года старше меня, но, как это часто случается, уже настоящей женщиной была, а я ещё был пацан. Ей стало скучно со мной. Эта давняя боль сейчас слышится, как далёкая песня, мелодия которой мне очень дорога. Когда мы с Эммануилом Абрамовичем пили спирт, я рассказывал ему об этой женщине, и горевал, и мучился: что она там делает в Москве, главное — с кем! И я даже плакал.

Как-то я зашёл к нему в очередной раз, выпили, и я завёл эту тягомотину, которая ему, видно, здорово надоела.

— Миша, — сказал он. — Послушайте сюда, пожалуйста. Посмотрите на меня.

Я посмотрел. Передо мной сидел лысый, совершенно седой, маленький, сморщенный старичок. Он мягко улыбался.

— Вы, Миша, знаете мою фамилию? — я не знал, не поинтересовался как-то. — Моя фамилия Тускозырный. Понимаете?

Я не понимал.

— Дорогой мой. Я уже старый человек. Я был хорошим

портным. Шил для Ермоловой, вы не верите? Не верьте. Мне самому теперь не верится. Это было очень давно. Я, вообще, был театральным портным. В Москве. При этом… следите за моей мыслью, пожалуйста. При этом я еврей. Зовут меня, вы знаете как, а фамилия Тускозырный. И что вы думаете? Это легко? Нет! Миша, это очень, очень трудно. Уверяю вас.

Вероятно, такое несчастливое сочетание данных действительно было ему нелегко.

Позднее я узнал, что в 36 году жена Эммануила Абрамовича Тускозырного, который был арестован как немецкий шпион, публично отказалась от него, а к тому времени они уже прожили вместе пятнадцать лет, и у них было четверо детей. Он получил десять лет без права переписки и, не смотря на то, что это означало расстрел, почему-то остался жив, только отбыл в лагерях вдвое больше. Когда же он был реабилитирован, жена прилетела к нему в Магадан. На самолёте ТУ-104. А Эммануил Абрамович отказался встретиться с ней. Причины мне неизвестны. Вернее всего их было много. Одна из них, несомненно, та, что, оказавшись на воле и работая в Магадане, он стал желанным мужем — может ему так подозревалось? — из-за колымского коэффициента. Многие колымчане боялись тогда, что женщины относятся к ним корыстно. Эммануил Абрамович Тускозырный, однако, и детей своих видеть не пожелал. До сих пор мне кажется, что он жестоко поступил. Хотя, кто меня поставил над ним судьёй? Людей такой судьбы и небесный-то суд, наверное, судит особым совещанием.

* * *

Я беглый, конечно, не от рождения, но всё же это проявилось у меня в самой ранней молодости. Какой-то был момент, когда я вдруг оглянулся вокруг себя и думаю: Эх, чёрт, как погано всё… Когти надо рвать отсюда! Именно, откуда? Этого я не понимал, а просто чувствовал, что здесь не могу. Я тогда ещё не очнулся от Экзюпери, который сегодня мне представляется слишком уж инфантильным, а в те годы, умел бы летать, улетел бы на другую планету. Сейчас мне кажется, что это случилось со мной в Гаване. Мне тогда будто иголкой сердце прокололо. Внезапно.

Году, наверное, в 66-м в Гаване был такой парень, Антонио, мулат. Советские моряки его звали Антоном. Все мы его знали, потому что он держал заведение, которое наши называли почему-

то «Флорида». Дураки мы все там были, и никто из нас тогда понятия не имел, что это, собственно, такое на Кубе происходит. Мы были молоды, нам весело было. Кубинцы так говорят: «Мучо «Баккарди», мучо сеньорита. Трабаха? — Но! Много рома, много девушек. Работать? — Нет!». В этой «Флориде» у Антона можно было за несколько флаконов одеколона хорошо выпить, без особого риска наткнуться на милисьянос, а девушки у него были головокружительные, особенно после полугодового поста в море. Вот мы и таскались туда.

Это был высокий, красивый и сильный человек цвета светлого шоколада. Ему было не больше тридцати. Он, в отличие от несчастных своих земляков, которые все, с целым огромным островом, провалились в социалистическую преисподнюю и подыхали там с голоду, всегда носил отличный, в крупную клетку костюм, свежую сорочку с галстуком. Кремовые туфли сияли. Курил только сигары «Ля Корона». Такая сигара обязательно торчала у него в углу рта, когда он, отсвечивая на солнце безукоризненным, напомаженным пробором, стоял с белозубой рассеянной улыбкой у входа в свой, сказать по правде, довольно грязный и неуютный приют греха, полировал ногти специальной щёточкой и лениво оглядывал узкий, кривой, захламленный переулок. Американская шляпа «Стетсон», а для кубинцев это важно, потому что «Стетсон» — не сомбреро, всегда была закинута на ремешке за спину. Антон по причине, которая до сих пор доподлинно мне не ясна, совершенно не боялся увешанных оружием революционных бойцов. Когда такой патруль проходил, или на бешеной скорости пролетала мимо их машина, он провожал их пристальным взглядом немного сонных, с поволокой, чёрных, как угли, глаз. Он почти совсем чисто говорил по-русски, конечно, как все гаванцы, по-английски, а однажды я слышал, как Антон говорил с евреем, жившим неподалёку, по-немецки. Таинственный был человек.

Как-то раз мой второй штурман как ответственный за судовое продснабжение продал Антону несколько ящиков репчатого лука, который в Гаване в то время был большой редкостью. Я уж не знаю, чем ему Антон платил, но догадываться могу, что долларами, тогда ещё не говорили: баксами, слова этого не знали. Для Антона сделка была очень выгодна, и он по тамошнему обычаю должен был сверх договорной цены ещё и «презент». Пригласил он штурмана, которого звали, кажется, Костя (Может, он ещё жив? Не намного меня был старше), к себе в помещение, где было почище, выставил две бутылки хорошего рома, какой-то закуски. А Костя меня позвал за компанию, потому что с Антоном пить было скучно. Кубинцы мало пьют.

И вот, мы с Костей здорово набрались уже, а Антон вдруг говорит:

— Это ещё не всё. Идёмте, компаньерос, я вам хороший «презент» приготовил.

Он повёл нас тёмным, вонючим коридором, открывает дверь. Небольшая комната, широкая тахта, а на тахте — белая девушка, такая красивая, что у меня, в мои тогда двадцать лет, чуть сердце не выскочило. Все Гаванские красавицы ведь мулатки, а эта, подумал я, испанка, а может и американка, смыться не сумела — рыжая, даже чуть с веснушками, и глаза огромные, кошачьи, зелёные. Вот я, как сейчас, её помню, лежит совершенно безо всяких лишних тряпок и смотрит на нас очень сердито. И говорит Антону:

— Та ты сказывсь! Шо ты их до мэне табунами водышь? Яку вже ночь не спала? Гляди, я у тэбе тут подохну… — украинка, не украинка, а явно девка с наших югов.

Я думаю: «Вот гад ползучий!» — И спросил:

— Тебя откуда сюда занесло?

— Та з Херсону. От выйшла замуж за кубинца…

— И где ж он?

— Идэ ёму буть? Застрэлилы з автомату.

— Давно?

— Вторый год.

— И как же дальше-то?

— А шо дальше? Пропадать…

А, примерно, года через полтора я зашёл в Гавану, ставить судно на ремонт. Спрашиваю:

— «Флорида» — то работает?

— Какой там! И Антона убили. Он отстреливался от них. Парень был лихой. Живым не дался.

Через некоторое время на судно пришёл консульский работник и на общем собрании информировал нас о том, что в Гаване ещё сохранилась батистовская агентура, которая непосредственно связана с ЦРУ: «Эти люди очень опасны. Несколько лет, например, открыто функционировал публичный дом а районе Центральпарка. И отдельные, здесь присутствующие товарищи очень хорошо знают, о чём я говорю. Хозяин этого заведения был бывший кадровый офицер батистовской контрразведки в чине старшего лейтенанта, что по здешнему соответствует нашему общевойсковому званию полковника. Это не шутки. Он здесь под прикрытием такого притона занимался сбором информации и вербовкой партизан, которые формируют вооружённые банды (ещё не было слова бандформирования) в

горах Сьерра-Маэстра. Его финансировало ЦРУ, и у него были связи даже в нынешнем кубинском МВД, но эта группа была раскрыта и уничтожена. Я вам, товарищи, уже неоднократно объяснял, что тот, кто хочет работать на советском флоте загранплавания, должен свято исполнять Правила поведения советского моряка за границей, а иначе — никто не держит. Пожалуйста, сегодня могу оформить документы на вылет. И полетите домой за свой счёт. И виза ваша будет закрыта, можете наниматься в портофлот, там пьяниц и моральных разложенцев полно, но у себя дома, это ещё туда-сюда», — так он говорил нам в гробовой тишине, грозно глядя сквозь очки в самую душу каждому из нас, а мы все сидели, скромно опустив глаза. И вот, кажется, именно тогда я внезапно ощутил укол в сердце, и у меня мелькнуло в голове: Когти рвать надо … Но я тогда ещё не знал, что уже стал беглым.

* * *

У меня был капитан по фамилии Вульф, еврей. Что-то получается много о евреях, вероятно, кому-то это будет неприятно, но меня извиняет то обстоятельство, что я сам еврей. Кроме того, я беглый, а среди беглых попадается очень много евреев. Когда-то в СССР евреев очень много было, также, среди моряков и лётчиков, особенно судоводителей и пилотов — не знаю, почему.

Вот, про этого Вульфа рассказывали забавную историю, которую он никогда не торопился опровергать. Во время войны он служил на кораблях советского конвоя, сопровождавшего транспортные караваны из английских портов в Мурманск. Однажды королева давала бал в честь советских моряков. И молодого, чернявого лейтенанта вызвал сам военный атташе в Великобритании.

— Лейтенант, ты танцевать умеешь?

— Так точно, товарищ генерал-полковник.

— Какие танцы, например?

— Танго, фокстрот, вальс. Могу ещё польку, кадриль, цыганочку. Ну, и конечно, «Яблочко».

— Надо вальс. Так, понимаешь, надо станцевать, чтоб от зубов отскакивало. Понял?

— Так точно, понял, товарищ генерал-полковник.

— Танцевать с королевой будешь. Понятно? Тут накладок быть не должно. По-английски говоришь?

— Никак нет, товарищ генерал-полковник. Только уставные

команды и по Международному своду сигналов, да и то…

— Ничего. Так даже лучше. Сейчас иди в Особый отдел, там тебя проинструктируют подробно.

— Разрешите обратиться, товарищ генерал?

— Слушаю.

— А можно хоть фото королевы посмотреть? Любопытно.

Генерал усмехнулся глупой молодости и протянул Вульфу какую-то газету. Тот посмотрел.

— О! Красивая. А можно узнать, товарищ генерал, она замужем или так…

— А тебе зачем? — генерал встревожился внезапным подозрением.

— Нет, вы не подумайте чего плохого, я ж человек порядочный. Просто подумал, что в такое тяжёлое время, да если баба одна, или может муж на фронте…

— Лейтенант, — заорал военный дипломат, — ты ненормальный?

— Никак нет, товарищ…

— Ну, хорошо. Иди тогда отсюда на хуй!

— Разрешите идти? — уточнил Яшка Вульф.

— Разрешаю, — сказал разгневанный генерал.

Этого человека (т. е. капитана Вульфа) я очень любил, и о нём попробую ещё кое-чего рассказать. Правда дальше будет не так смешно, к сожалению. Но о беглых, вообще, мало чего весёлого припоминается. Сегодня уже поздно, не успею.

* * *

Около шестидесятого года, я был ещё школьником и маму свою видел очень редко. Моя покойная матушка командовала Атлантической Рыбопромысловой Экспедицией и постоянно находилась у побережья Ньюфаундленда и Лабрадора — традиционные районы лова сельди, трески, камбалы и т. д. Советский флот ловил тогда рыбу у побережья Канады в огромных объёмах. СССР вышел, кажется, на третье место по вылову в мире.

Однажды, она поднялась в каюту капитана Вульфа, который командовал её флагманским траулером СРТ № 4436.

— Заходи, Ида, — сказал Вульф, — гостьей будешь. Вина поставишь, хозяйкой будешь.

Мать поставила на стол бутылку спирта. Они выпили. Моя мама умела пить нисколько не хуже его самого.

— Яшка, — сказала она, — давай спустимся чуть пониже.

— В каком смысле?

— Просто южнее, и тральнём, немного не доходя шельфа Нью-Йорка.

— Там никто никогда не ловил, — сказал Вульф.

— Мне в Обкоме так и сказали. И в Совнархозе. Но мы ж с тобой не ослы.

— В рейсовом задании нет, а мы с тобой пойдём на юг, будто нам не касается? Нас обоих с говном сожрут.

— Ага, — сказала мать, — Мне здесь скучно. Ты наливай.

— Ну и лихая ты баба. Смотри, увольняться будем вместе.

— Я тебе говорю, у меня есть расчёты. Там рыбы очень много, — она достала с полки карту и развернула. — Вот, видишь это мелководье, банка Джорджес. Здесь очень большие концентрации сельди. Невиданные, понимаешь?

— Что ж ты не доказала в Обкоме?

— Кому доказывать?

— Добро, сказал Вульф. — Ну, смотри, держаться потом в Калининграде друг за дружку и назад не отрабатывать.

— Брось, ты меня знаешь.

Они вышли на банку Джорджес и с первым же тралом стало ясно, что обнаружен очень богатый, новый район лова. Через несколько месяцев их встречали в Калининграде с духовым оркестром. Затем они были вызваны в Москву. С ними на приём к министру приглашён был и председатель Совнархоза.

— Мы в АтлантНИРО этот район разработали и оказались правы, — сказал он. — Ида, миллион тонн сельди в год возьмём на *твоей* Джорджесбанке?

— Теоретически можно взять, — сказала мама. — Но порядок сохранения нерестового стада не позволяет промыслом изъять больше трети численности популяции в течение года… Существуют правила, нельзя подрывать способность стада к воспроизводству.

— Если в этом году возьмём миллион, тогда в будущем и половины не возьмём, чего тебе непонятно? Сволочь ты партийная, — вдруг сказал Вульф председателю.

— А мы товарищ Вульф, как-будто с вами в одной партии состоим, — угрожающе сказал оскорблённый начальник.

— Нет, не в одной. Я вступал в сорок первом году, в Севастополе. А ты?

— Стоп! — сказал министр. — Мы выслушали мнение промысловиков. Очень хорошо. Вы вдвоём, товарищи, можете возвращаться в Калининград. Отдыхайте после рейса. Работайте. Спасибо.

Когда они вышли вдвоем на Рождественский бульвар, Вульф

сказал:

— Ида, с меня всё, как гуся вода, потому что у меня две золотые звезды. А тебе, кажись, собирались повесить Героя Соцтруда.

— Да и хрен бы с ним, — сказала мать. — Я, вообще, бижутерию не люблю.

— Этого случая они нам обоим не забудут, — сказа Вульф. — Держись крепче.

Он был прав. Никто ничего не забыл.

Вскорости после этого случая, на судне у Вульфа находился в море начальник отдела добычи Базы. Он как-то совершенно мирно сказал капитану:

— А это чья такая деваха убирает в кают-кампании?

— Моя, — сказал Вульф.

— Чего её в море гноить? Я заберу её в контору, а?

— Ты её спроси. Сменяет она меня на тебя?

А эта буфетчица, в присутсвии которой этот разговор и произошёл, не вполне понимая ситуацию, засмеялась и проговорила, обнимая своего капитана:

— Не, я от Якова Львовича не пойду.

— Слушай Вульф, — сказал ему начальник, — ты когда-нибудь доиграешься.

— Ну, давай, давай, возьми меня за рупь, за двадцать…

Он совсем не боялся. Но в то время уже знал, что всему свое время — время жить и время умирать.

* * *

Через несколько лет, в 67 году, я сам уж относительно давно был моряком. Сижу в ресторане «Чайка», неподалёку столик Вульфа. Сперва с ним была девица, но он что-то сказал ей, и она ушла. Он некоторое время сидел, курил, иногда выпивая стопку. Потом вдруг поманил меня пальцем. Я немедленно подошёл.

— Тебя Михаилом зовут? Я твоих родителей знаю. Пойди в оркестр, закажи «Шаланды полные кефали…».

Я заказал, и наш калининградский Ив Монтан, Юра Арчивадце, выбежал на эстраду с этой песней:

— По просьбе почётного гостя, капитана дальнего плавания, Вульфа, Якова Львовича!

Капитан, щурясь от папиросного дыма, благодарно склонил совсем побелевшую уже к тому времени голову. Он расспрашивал меня о том, почему я не стал учиться. Ещё что-то малозначительное мне говорил. Потом он расплатился и сказал

мне:

— Вот что, парень. Ты меня проводи и возвращайся. А то девчата скажут: Вот старый хер, увёл парня из-за столика. Ты у меня один рейс был штатным лебёдчиком, и в трюм смайнал бочку соли, чуть трюмному не на голову. Я помню. Матрос, вообще-то, ты дерьмо, но парень хороший. Так проводишь?

— Так точно! — радостно сказал я.

Мы вышли на под моросящий мелкий дождик, и я было собрался ловить такси, но старик меня остановил.

— Куда мне ехать на такси? Я живу в МДМ (Межрейсовый дом моряков). Ты что, не слышал? Я с женой развёлся.

Я, конечно, слышал. Но весь город судачил, будто Вульф ушёл от жены к какой-то молодой красавице.

— Никого у меня нет, кроме иногда девок, тоже ведь я не святой… Проводи до подъезда. Что-то у меня лихоманка какая-то. Одиноко, понимаешь?

Мы шли, не торопясь, оба молчали. Потом он сказал:

— Знаешь, почему я старуху свою бросил? Она письмо подписала, осудила израильских агрессоров. А я просил не подписывать. Никто б ей ничего не сделал, я б заступился. Но она, понимаешь, хотела подписать.

— Она не еврейка? — спросил я.

— Еврейка, почему не еврейка? Это всё не так просто. Но она не испугалась, а именно хотела подписать. А теперь в Обком пожаловалась на меня.

— Яков Львович, — нерешительно спросил я, а вы что — сионист?

Он с улыбкой глянул на меня:

— Ты вот что. Старайся дураком не быть…, — и с досадой покачал головой. — Сколько ж дури вам, ребята, в головы пихают! Беда…

Этот странный и рискованный поступок имел, конечно, серьёзные последствия. Около года Вульф просидел на берегу, в ремонте. Но потом его снова выпустили в море. Начальство было в растерянности. Вроде б надо было давить его, а с другой стороны он был очень нужен. Но выход был, и выход этот проявился естественно, сам собой. Вульф стал пить всё больше и заметней. Это означало, что в любом случае, его дни на флоте сочтены, потому что, вопреки распространенному мнению, сильно пьющий человек судоводителем быть никак не может.

* * *

Самое забавное то, что автору этих записок только что предложили работу в каком-то новом, неслыханном женском журнале. С одной стороны денег нет, и надо соглашаться, а с другой — кажется, линять пора. Меня в России не было три года. До чего же переменчивая страна. Совершенно не могу узнать ничего. Кто бы такому человеку, как я, предложил такую работу три года назад?

* * *

Капитан Вульф в те времена очень удачно ловил сайру на свет. Ему удавалось «ловушкой» брать до ста тонн рыбы. Эту технологию у нас ещё немногие освоили. Он был, кажется, первым. И он сам сконструировал два металлических «выстрела» с фальшборта, на которые крепились мощные люстры, чтобы свет бил в толщу воды под прямым углом. К тому же, он никогда не жаловался на погоду, недостаток оборудования и снабжения. Как было обойтись без него? А эскапады его становились всё острее.

Однажды, южнее Гренландии, при волнении до восьми баллов, около десятка крупнотоннажных судов скопилось вокруг плавбазы «Ленинские Горы», ожидая очереди сдать груз. Некоторые стояли вторую неделю, а на промысле время — деньги. Подошёл и Вульф на РТМ «Николай Бровцев». Он оценил ситуацию.

— Старпом, кто это тилипается под базой?

— Мурманчанин. БМРТ «Близнец», капитан Ященко, Андрей Сергеич. Третий час пошёл, как он маневрирует. Ветер отжимной, и не могут концы подать. Сносит его.

— Видно, он в Макаровке выучился на тракториста. Рулевой отдохни, я за тебя, — он сам встал за руль. — И сходи, возьми у начпрода чарку (сто граммов спирта) для меня.

Опрокинув полстакана спирта, Вульф велел связать его с капитаном «Близнеца».

— «Близнец»… «Близнец», ответь «Бровцеву» как слышишь меня? Капитан Вульф на связи. Приём.

— «Бровцев», «Близнец» отвечает. Слышу хорошо. Капитан Ященко на связи. Доброго утречка, Яков Львович.

— И тебе другим концом да по тому же месту… Андрюха, слышь, погоди-ка снова поворот выполнять, ты не умеешь. Освободи мне подход к базе. За пять минут подойду.

— Товарищ Вульф, вы не имеете права, — закричал несчастный Ященко. — Я десятые сутки стою, не знаю, как мне людей успокаивать, а вы только что нарисовались. Видишь,

Львович, погода не даёт…

— А, товарищ капитан… дальнего плавания, на воде-то не бывает хорошей погоды. Ты разворачиваешься, как беременная баба. Канадцы вон тралят, глядят и смеются над тобой. Не стыдно?

— Ой, смотри, Львович, осторожней. У него жена в Севрыбе. Кляуза будет, — сказал старпом.

— А-а-а! Ничего не будет до самой смерти.

Он уже знал, что это не так. Но не мог по-другому. Несло его поперёк фарватера. В конце концов, как-то раз в порту, его вызвал зам. начальника Базы по кадрам и показал ему выписку из протокола вытрезвителя.

— Твои чудеса, Львович?

— Да ладно вязаться ко мне со всякой шелухой.

— Сходи рейс старпомом. Успокоится всё, я тебя направлю снова капитаном, а сейчас не могу, боюсь. Ты ж понимаешь.

— Нет, — сказал Вульф, — не понимаю. Я на это ухо глух. Которой я им сельди наловил, на сто лет хватит, она стратегический запас страны. Чего они от меня хотят? Чтоб я строевым шагом ходил? А перед кем тянуться-то?

— Ох, гляди, доиграешься.

Последний раз, когда я видел его, он уже был страшный, опухший, трясущийся и жалкий.

— Знаешь, Мишка, кто меня сожрал? — сказал он. — Добро бы люди, хотя люди, вообще-то, людей жрать не должны… Но меня вши заели, а это противно. Умирать мне будет плохо.

Почему нас не любит Россия?

К сожалению, есть серьёзные причины. Например.

В 73 году я был в командировке в Лоухи. Меня направили из Беломорской Лаборатории Белого моря с целью обнаружить по течению Керети, которая тогда имела статус Главной семужьей реки Карелии, какие-либо следы позитивной деятельности Рыбнадзора. В связи с этим, начальник районного Рыбнадзора уговорил меня не поселяться в гостинице.

— Там клопы, и, вообще, мы так гостей не принимаем.

Нас с рабочим из местных, который был мне придан, звали его Лёша Тишкин, отвезли в охотничий домик на берегу озера. Там нас ждали две чудесные девушки, которых нам представили так:

— О девках не беспокойтесь, мы их взяли из железнодорожной милиции и проверили на вензаболевания. Всё чисто. И — малопьющие.

Мне было тогда, кажется, двадцать восемь лет. Этого вполне достаточно для того, чтобы сообразить: Если девушку проверили в вендиспансере, это ещё никак не удостоверяет её небесную чистоту. Но я был такой дурак, что даже цели хозяев заведения мне не вполне казались ясны. Домик был полон сказочных деликатесов, и запасы коньяку неисчерпаемы. Первую свою ночь в качестве грозного ревизора я провёл совершенно неправедным образом. Проснулся с головной болью и страстным желанием повеситься, в крайнем случае просто провалиться сквозь землю. Над моей головой два голоса, мужской и женский, глухо бубнили:

— Ну, что, как они тут?

— Да что! Этот молодой, вообще, ненормальный. Всю ночь спать не давал, гляди — вся в синяках. Это ж тебе не протоколы писать. Вот гады. Правильно их наши на реке положили. Говорят, шестерых студентов…

— Молчи, дура, может не спит.

— Чего ему не спать? Наработался за ночь.

Когда я кое-как выбрался из койки и вышел во двор, на брёвнах во дворе сидел и курил мой Лёша. Вид у него был мрачный. И заря над озером за его спиной казалась праздничной как-то не к стати.

— Миша, едем в город, звони в контору и говори, что мы вниз по реке не пойдём. Там ночью шестерых студентов постреляли местные.

Подошёл начальник Рыбнадзора и сказал, что завтрак готов, а после завтрака едем охотиться на уток. Но я потребовал машину

и поехал в город, в Райотдел милиции. В милиции уже находился капитан из Петрозаводска.

Он с улыбкой и дружески поздоровался со мной.

— Вызвали срочно на расследование, — сказал он. — С постели ночью подняли. Не служба, а каторга.

Вкратце, дело было так. Недели две до того в Лоухи из Ленинграда приехали туристы. Среди них одна девушка. Эти ребята скупали и меняли на водку иконы и старинную утварь. Днём они обедали в ресторане и громко говорили о последней, очень выгодной сделке. За два литра водки и рулон кримплена они выменяли у какой-то бабушки древний ткацкий станок в рабочем состоянии. Они собирались в Ленинграде продать его не меньше, чем за четыре тысячи рублей.

Вечером они ушли вниз по реке и разбили лагерь милях в трёх от города. Там на них напали. Их расстреляли из охотничьих карабинов и добивали выстрелами в упор.

Капитан, с которым я на правах «человека сверху» об этом говорил, сам был из местных, и я прекрасно понял, что убийцы ему известны, но он их не выдаст, тем более искать не станет.

— Что ж это? — растерянно спросил я.

— А что прикажете с народом делать? Рыболовство по всему течению реки запрещено. Лицензии на отстрел крупного зверя не добьёшься, и не проси, а мяса в продаже не видали уже сколько лет. Так. Лимит на молоко исчерпан до конца года. На водку тоже лимит счерпан, то же самое на табак. Махорку смолят. Вообще, в магазине шаром покати. Это что, а? Теперь являются эти молодые люди из Ленинграда и начинают с того, что повыломали все иконки из кладбищенских крестов. Здесь люди смирные, но они ж все охотники, у каждого оружие. Ну, вы, вот я вижу, человек интеллигентный. Скажите мне, что делать с народом?

Я не знал, что с народом делать. Я и сейчас этого не знаю.

* * *

Однажды я приехал в Москву из Калининграда в отпуск. Получилось так, что я оказался в компании, где кроме меня был ещё В. Войнович, В. Корнилов, Б. Сарнов и Ф. Светов (это мой дядя). Пили водку на кухне. И было очень весело. Эти люди тогда постоянно острили, они это здорово умели.

— А ведь я там чуть не остался, — сказал я.

— Да, ну!

Все посмотрели на меня с интересом:

— А ну расскажи, расскажи…

Я стал рассказывать, как я заблудился в Абердине за двадцать минут до отхода судна. Ждать меня не станут, это я хорошо знал, и мне стало очень страшно. Я бежал, задыхаясь, лабиринтом узких, извилистых улочек, поминутно останавливая прохожих и произнося идиотскую фразу: «Вере из зе шип?» Мне казалось, что по-английски это значит: «Где корабль?» Но слово «шип» при некотором, недоступном мне нюансе произношения англичанин может понять как «овца». Кроме того, в Шотландии, вообще, с трудом понимают человека, который не чисто говорит по-английски. Забавно, что один встречный оказался глухонемым. Это меня почему-то напугало ещё больше. Я уже был уверен, что домой не вернусь. Вдруг из-за конической черепичной крыши вынырнула стрела портального крана. Я побежал изо всех сил и через минуту оказался в порту. Старпом уже нервно ходил по пирсу, и двое матросов стояли наготове, чтобы убрать сходню. Всё обошлось благополучно, если не считать фонаря под глазом, который старпом тут же мне приделал, чтоб я в дальнейшем лучше мог определяться на берегу.

Я рассказал всё это, и мои собеседники некоторое время молчали, переглядываясь. Потом Войнович спросил:

— Я не понимаю. Ты хотел остаться?

— Как хотел? А как же Нинка с Наташкой, мама, бабушка, Свет?

Они улыбались и пожимали плечами.

Без малого тридцать лет спустя, я вспомнил этот случай, когда улетал в Израиль. А потом вспомнил, когда возвращался обратно. Снова полечу в Израиль, а может, ещё куда — снова вспомню.

* * *

Как-то я зашёл в редакцию газеты «Трибуна». Это беломорская районная многотиражка. Я собирался там одолжить у ребят пятёрку.

— Ну, что скажешь про своего Солженицына? — спросили меня. — Таки смылся.

— Врёшь. Плюнь в глаза тому, кто тебе это сказал.

— Ну, Мишенька, ты не читаешь газеты. Прочти.

Читать я ничего не стал, а выпил и пошёл домой. Дома я написал вот что:

Бог твой судья в чужедальнем краю,
Знает он силу и слабость твою.

Годы, как тени пройдут — ну и пусть.
Ты уезжаешь, а я остаюсь.
Жили мы в доме казённом своём,
И остаёмся с Россией вдвоём.
И остаёмся с Россией одни
В зимние ночи, осенние дни.
Грешная, стылая, стыдная грусть —
Ты уезжаешь, а я остаюсь.
Горькое, злое, хмельное вино —
Ты умираешь, а мне всё равно!

По отношению к Солженицыну это очень несправедливо. Только к вечеру я узнал, что он не сам уехал, а его выдворили силком. Но эти стихи мне всё время приходили на ум, когда он возвращался в Россию, мучительно пытаясь соорудить из этого возвращения триумфальное шествие. Вообще, мне его ужасно жаль.

* * *

Впервые в жизни мне стыдно было при совершенно нештатных обстоятельствах. Как-то раз, весной, в Беломорске, я спас врача-венеролога от неминуемой, если не смерти, то во всяком случае, гражданской гибели. Весна в тех краях поздняя, конец мая. Как солнышко пригреет, жители выползают, вернее, выползали 30 лет назад, на пустырь у железнодорожного вокзала, где открыт был иногда шалман с бочковым пивом. Мы сидели на пустыре небольшими группами и пили пиво из литровых банок, а водку из чего придётся, а закуска, конечно, была царская — сёмга, нельма и т. д. Вижу, ходит от компании к компании какой-то странный человек. Похож он на бродягу, тогда ещё слово бомж как-то не прививалось в разговорной речи, не выходило за рамки милицейских протоколов.

Вид у этого бедолаги был ужасный. Лицо от водки и побоев опухло и посинело, глаз не видно, но… На нём был великолепный австрийский костюм, хотя и сильно жёванный, а всё же не вполне подходящий в такой ситуации, и прекрасные тоже импортные туфли, была и белая когда-то сорочка, и даже галстук. В общем, он обращал на себя внимание. Но он подходил к людям и просил выпить. Поморы народ не жадный, но подонков не любят. Его отгоняли. Мы подозвали его.

— Ребята, да вы москвичи! — он был счастлив.

— Ну, кто москвич, кто из Ленинграда, кто из Мурманска. Что это с тобой приключилось?

Человек закончил аспирантуру Петрозаводского Мединститута и был направлен главврачом в республиканскую кожно-венерическую клинику, которая помещалась неподалёку от Беломорска в посёлке Сосновец. Это по районным масштабам пост весьма ответственный. Однако в поезде «Арктика» он пошёл в ресторан и оттуда вышел в Беломорске уже без сознания. Больше он ничего не помнил.

У него не оказалось ни денег, ни единого документа. Оставалось ему повеситься. Как явиться в таком виде в Райздрав? Отвели мы его к моей матушке, которая заведовала Лабораторией Белого моря. Она его отмыла, накормила, в самую меру опохмелила, привела его тряпки в порядок, связалась с Петрозаводском, с местной милицией, с Райкомом. Получилось, что его просто ограбили. В общем, парень был спасён и через неделю уже мог исполнять свои обязанности в полную силу.

А надо сказать, что я всю жизнь страдаю время от времени довольно неприятной аллергией и лечусь от неё исключительно димедролом или его аналогами. Как-то мы с этим парнем, звали его Сергей, выпивали, я обмолвился об этом, и он ко мне пристал:

— Давай я тебя обследую, по-настоящему. Ложись ко мне недели на две.

Конечно, он хотел отплатить добром, но сказывалось и то обстоятельство, что в Сосновце, в обществе больных и сотрудниц-старушек ему было очень скучно. В этой клинике не одна была забавная история. Пока же я напишу о таком случае.

Были выборы. Я не помню, что за выборы, кого мы, то есть, выбирали и на какую должность. Этого в СССР никто никогда толком не знал. Кроме, может быть, паренька по фамилии Ольшанский. Дима, сколько вам тогда было лет, в 74 году? В больницу, которая была битком набита страдающими псориазом — это бедствие в Карелии — пришли пионеры с урнами.

Был там один тишайший мужичишка из соседнего леспромхоза, по профессии пильщик, который лежал в клинике каждое лето, потому что псориаз совершенно не предусматривает ежедневной поллитры, которую ему жена приносила обязательным образом. Выходит он к малышам в красных галстуках и говорит:

— Ребятки, милые, вы себя не беспокойте, я не голосую.

Один мальчик возмутился (Дима, это были не вы?): «Как это вы не хотите поддержать депутата блока коммунистов и беспартийных?».

— Да я с милой душой. Только я его не знаю. Кто он? На

магазине, правда, портрет повесили и чего-то там написано, врать не стану. Но я мелкими буквами плохо разбираю. Как же я буду голосовать?

Мы все — я, хоть и антисоветчик уже тогда, в том числе — проголосовали без звука. А этот пильщик из леспромхоза голосовать не стал. И он даже утешал поселковое начальство, которое нагрянуло к вечеру, таким необычным способом:

— Да вы, товарищи, себе нервы не трепите. Его ж всё равно выберут и без меня. А я никогда не голосую. А ко мне меры применить? Какие меры? Дальше севера ж не кинешь человека…

Смотрел я на этого обсыпанного страшной псориазной шелухой мужика и завидовал ему, и стыдно было мне. И до сих пор мне стыдно до слёз.

* * *

Тут есть один парень, он живёт в Штатах, и в ЖЖ его зовут paulney. К сожалению, я ещё не умею делать сноски, чтоб вам можно было нажать клавишу и найти его. У него есть великолепная фотография американского авианосца. Я смотрел и вспоминал. Эти корабли в океане производят очень сильное впечатление.

Однажды, мы ловили рыбу у Гренландии, и он вдруг показался из тумана, шёл прямо на нас. С самого начала он был огромным, но по мере того, как сближались, становился всё больше и больше. Красивый и страшный. Что-то сказочное было в этой машине. В ходовой рубке спорили, стоит ли приветствовать его. По уставу это было необходимо. А если он не ответит? Связались с Базой, и капитан велел мне (я был вахтенным рулевым) приспустить наш флаг на гафеле.

Был сильный мороз, ветер и большая влажность. Узел флажного фала совсем обледенел. Мне стоило большого труда его развязать. Руки замёрзли, я выпустил один конец, и наш красный флаг — символ могущества сверхдержавы — вырвавшись, стал трепаться по ветру метрах в сотне за кормой. По морским понятиям — это большой позор. А американцы — вот подлецы! — приветствовали нас по всем правилам морской вежливости.

Когда нам удалось флаг привести в порядок, мы уже разошлись с этим авианосцем. Какие-то офицеры смотрели в бинокли на наш траулер и переговаривались. Вернее всего, они смеялись и жалели провинившегося матроса. Мне действительно здорово влетело. Но хуже было то, что старпом сказал мне:

— У меня жена, дети… Ты меня под Серый Дом что ль подвести хочешь? — Серый Дом — так называли здание калининградского КГБ.

* * *

В этой клинике была ещё одна история. Когда я там лежал, туда перевели двух железнодорожных проституток. Главврач рассказал мне, что у обеих была сильно запущенная гонорея, и нужно было их не меньше месяца продержать в стационаре. Но милиция охраны не дала, упирая на то, что венклиника учреждение само по себе режимное, должны сами обеспечить охрану.

— Сбегут, — говорил главврач, — точно сбегут. Они сразу бы сбежали, да не знают, как выйти на трассу или к железной дороге. В тайге боятся заплутать. Да чёрт бы с ними. Как бы чего не украли.

Одна из девушек была настоящая красавица. Вторая просто сопровождала её. Проститутки, особенно на железной дороге, всегда работают на пару. Их поместили в изоляторе. И они из-за решётки постоянно демонстрировали нам свои прелести за курево, продукты, особенно чай, потому что они, конечно, чифирили, и просто так: людям приятно, а что стоит? Мужикам нравилось, а бабы, конечно, материли их последними словами. В общем, все веселились. Только подходить к изолятору было нельзя. Там поставили санитарку, злую, как овчарка.

Выдалось несколько тёплых дней. Таких, то есть, тёплых, что можно было загорать. В Карелии это редкость. Все, кто в силах был, вылезли во двор. Загорали, конечно, в исподнем, купальников не было ни у кого. После непродолжительного нытья, главврач выпустил загорать и девок из изолятора.

Та, что была красива, прошлась по двору, как королева — мужики все даже притихли, и никто не нашёлся отмочить какую-нибудь жеребятину. Натуральная Мерлин Монро. На маленьких, изящных, будто у Золушки, ступнях было выколото, как положено: «Они устали». А выше, на ногах и животе, такие были надписи, что я, вы уж снизойдите к старческим предрассудкам, привести здесь не могу. И она сразу стала присматриваться ко мне. Она, судя по разговору, вовсе не была ни глупа, ни и зла. Но, не смотря на возраст, а ей было девятнадцать, её жизненный опыт с моим был несоизмерим. Да и не на много я был старше её.

Я лежал на траве и глядел в блеклое северное небо, а эта искусительница вдруг подошла и села передо мной на корточки,

как девочка-подросток. У меня дыхание остановилось — так это было красиво.

— Слышь, браток, Мишкой тебя ругают, верно? Хочу с тобой потолковать. Ты, гляжу, не фраер, на человека похож. Вот, понимаешь, попали мы с подругой. Плывём, и берегов не видать. Была там богатая кража, так я тебе не стану горбатого лепить, маленько получилось — с грабежом. Ну, перестарались мы, мужика этого, кажись, покалечили, он упирался. Теперь меньше червонца и не проси, не дадут. Но есть один шанс. Так я не за капусту, не за натуру, я ж тебя вижу, какой ты душевный. Если Бог на небе есть, Он тебе за это настоящую бабу пошлёт, не такую, как я. Помоги.

Смотрел я на неё и всё думал, много ли я таких красивых видел в кино? Не много. А десять лет зоны? Очень много.

— Да ты толком говори, — сказал я.

— Два вопроса. Я спросила — ты ответил. Никто не слышал.

Я немного помолчал и, вздохнув, сказал: «Давай». Она тоже молчала, ожидая чего-то. Наконец, послышался звук проходящего вдали поезда.

— О! Первое. Это «Арктика»?

— Нет, — сказал я. — Это ветка Беломорск — Лоухи.

— Добро. Второй вопрос. Если рвануть туда через сопки напрямки, на пути посёлка не будет?

— Если точно прямо идти, ничего не попадётся, — сказал я. — Только влево не забирайте, там леспромхоз. Прямо — выйдете к полотну.

— Спасибо. Сведёт ещё раз жизнь, я в долгу не останусь.

Той же ночью они вынули из пазов старую решётку в изоляторе, вылезли, открыли дверь в административный корпус, забрали все свои документы, кое-что из барахла, принадлежавшего персоналу и сбежали. Позднее я узнал, что человек, которого они покалечили, умер, не приходя в сознание в Беломорской Райбольнице. Его слишком долго били мельхиоровым подстаканником по голове.

Но я был бы лицемером, если б сейчас раскаялся в том поступке. Нет, я не раскаиваюсь. Почему? Этого я не знаю. И, признаюсь, мне даже нравится думать о том, как они бежали в ночной, живой, родной, вольной тайге. Бежали к поезду, к свободе.

* * *

Я работал в Охотскрыбводе, на рыбнадзоровском рейдовом

катере «Голец», матросом. С научной группой Магаданского отделения Тихоокеанского Института мы вошли в Гижигинскую губу, а потом поднялись вверх по течению реки и, немного не дойдя до города Гижигинска, где никто из команды не хотел показываться, встали на якорь. Ихтиологи пошли на «казанках» с маршрутами в верховья реки.

Гижига, река в низовье полноводная. Вода тёмная, непроглядная. Сопки и тайга по берегам выглядят угрюмо, небо над вершинами чахлых лиственниц и карликовых кедров, кривых, уродливых и, будто злых — всегда низко и серо. Но всё вместе производит впечатление какого-то торжественного, мрачного хора. Появляется ощущение, что Бог где-то рядом. И Сатана тоже. Всё время хочется глубоко вздохнуть и зажмуриться. Я б не сказал: красивые места, а значительные.

Нам делать было нечего. В тех краях участковым инспектором Рыбнадзора был один старик. Он уже в те давние годы был древним стариком, так что теперь, думаю, давно покойник, Царствие Небесное. Он был бендеровец. Отбыл срок, и на родину его уже не потянуло. У него было сильно изуродовано лицо. Вся правая сторона заросла багровыми буграми дикого мяса. «Это меня медведица потрепала по роже», — так он объяснял своё увечье. Говорил на смеси украинского, русского и блатного, этот язык, пожалуй, не стоит здесь воспроизводить. За отсутствием правого глаза, стрелял всегда с левой руки, и бил без промаха, очень хороший был охотник. Звали его Иван, а мне он сказал: «Ты, хлопчик, зови меня дед Янко. Мне так теплее».

Он совсем не пил спиртного и с трудом переносил пьяных, а на судне в такой ситуации шла, конечно, перманентная пьянка. Позже он объяснил мне, что, в конце войны служил у Власова. К нему многие бендеровцы тогда попадали. Когда Советская Армия выбивала власовцев из Праги, он напился. Если б трезвый был, мог бы бежать и пробиваться куда-то, откуда был выход в Аргентину. Этих подробностей я не помню. После этого он зарёкся пить.

Он не мог уйти к себе в посёлок, потому что старший инспектор из Магадана велел ему постоянно находиться под рукой. Вдруг он соизволит протрезвиться, и тогда они с Иваном пойдут по реке, смотреть, как браконьеры промышляют кету. Старику было скучно и противно. Вот он и отпросился в тайгу на сутки с ночёвкой, уток пострелять. И взял меня с собой. Хотел я…

Виноват, из правого верхнего угла моего компьютера вылезло какое-то забавное существо. Это канцелярская скрепка с глазами, которые мигают. И он даже умудряется корчить рожи. Он ждёт от меня каких-то вопросов, а я не знаю, о чём его спросить. Вот

проснётся мой зять, он с ним поговорит, меня же он совершенно не понимает. Я сейчас его задвинул повыше, чтобы он не мешал мне видеть текст. Похоже, он не обиделся.

Так, значит, я хотел собрать сидор с закуской, но дед сказал: «В тайге всё найдём. Соли и спичек только прихвати». Мы шли вдоль правого берега, а потом он, после некоторого колебания, сказал мне:

— Хлопчик, тут недалёко живёт мой друг. Он один живёт на заброшенной фактории. Хочу его навестить.

Мы пошли в сторону от реки и часа через полтора неспешного ходу вышли к большой пролысине в зарослях.

Здесь фактория была ещё до первой войны, — сказал дед. — Говорят её поставил какой-то бродяга. Звали его Семён, и посёлок, что много позднее люди построили на месте фактории, назывался Сёмкин дом. Всё мечтал золото найти, бедный. Да таким людям золото в руки не даётся. Он умер, а посёлок стал расти. И тут человек пятьсот жило в добрые-то времена. А потом пришёл сюда из Гижигинска Дальстрой, НКВД. Для зоны место неподходящее, так они, крокодилы, всё разорили здесь и ушли. А мой корешок здесь один живёт. Вот сейчас осторожней, как бы он сдуру не пальнул. Не любит нежданных гостей.

Дед присел в зарослях и меня за собой потянул. Потом он дважды выпалил в воздух из охотничьего карабина «Олень».

— Бендера, это ты что ли? — послышался издалека простуженный голос. — А кого это ты тащишь за собой?

— Это кликуха мне на зоне была, Бендера, — объяснил дед. — Да не стреляй, кирюха, а то со мной пацанёнок, не дай Бог, подвернётся под пулю! Он безобидный.

— Дед, а почему он тут один живёт. Прячется?

— Нет. Он своё уже отпрятался. И в бегах был, и ловили его. А теперь свободен. Людей стал бояться. Выходит в город раз в сезон, пушнину на припасы поменяет и снова сюда вернётся. Мусора приходили разбираться с ним, да видно пожалели.

Про этого кирюху мне нечего рассказать. На взгляд ему было не больше шестидесяти лет. За всё время, что мы провели в его землянке, он ни разу мне слова не сказал и не взглянул на меня. Угостил нас вяленной олениной, диким мёдом и каким-то очень вкусным горячим напитком из ароматных трав, названия которых я, конечно не запомнил. Мы переночевали на оленьих шкурах, которыми был устлан земляной плотно убитый пол. Я сразу уснул, а эти люди всю ночь негромко говорили о чём-то.

Провожая нас, кирюха сказал:

— Бендера, ты про гильзы-то не забыл? Неохота покупать, а ты сулился.

— Другим разом принесу. Я ж не с посёлка к тебе завернул. Принесу мешок целый, у меня много, — ответил дед.

* * *

Ей-Богу вы слишком мрачно смотрите на культурный процесс. Достоевский он Достоевским и останется. И так же все остальные никуда не денутся. Ваши дети к вашим культурным пристрастиям и антипатиям отнесутся, к сожалению, так же, как вы относитесь сейчас к пристрастиям и антипатиям предшествующего вам поколения. А, когда станут старше, примут единственную возможную точку зрения: Мировая культура — единый блок, в котором ничего нельзя отсортировывать.

На книжной полке Толстому никуда не сбежать от Шекспира, которого он презирал, а Маяковскому — от Толстого, которого он презирал. Все стоят — корешок к корешку.

Есть ещё хорошая книжка. Книга Бытия. Она тоже на этой полке, и её никуда не денешь.

* * *

Фашизм или иная, любая, форма тирании — дорога, усеянная трупами. Когда убиты все, кого было возможно убить, т. е. в конце этого пути, — виселица, на которой болтаются несколько мерзавцев. Сегодня Россия ещё этой дорогой не пошла, исключительно потому, что опыт 74 лет невиданной тирании предостерегает миллионы простых людей от легкомысленного движения в эту сторону. Эти молчаливые миллионы ни в коем случае не являются быдлом — слово, которое сознательно применить к своему земляку, к человеку, вообще, может только тот, у кого вместо сердца пламенный мотор.

Конечно, Россия страна неблагополучная. Это вечное неблагополучие объясняется тем, что, начиная с 10 века дыбой, кнутом, колесом народ принуждали к Империи, загоняли в Империю. Имперское же сознание не свойственно ни одному из славянских народов.

В примечаниях к «Истории пугачёвского бунта», которые Пушкин писал не для опубликования, а для представления Николаю Павловичу, есть место, которое я приведу неточно, по памяти: Все сословия, исключая дворянское, поддержали Пугачёва — крестьяне, мещане, купечество и духовенство. Это обстоятельство Пушкина сильно поразило.

А что такое были Разинское и Пугачёвское восстания, как не отчаянные попытки огромного народа стряхнуть с себя имперский гнёт? Революция 1917 года, как её понимали такие люди, как Чапаев, Котовский, Махно — тоже была попыткой уничтожить Империю. Но имперское сознание накрепко вколочено в головы российских интеллектуалов. В этом вся беда. Столыпину и Ольшанскому нужна великая Россия. А миллионы русских такой России не хотят, потому что она гнетёт. Как же принудить народ к империи? — только диктатурой, нет иного средства.

Дайте вы людям жить спокойно. Они за целое тысячелетие очень от вас устали, господа патриоты.

* * *

Моё раннее детство выпало на странные времена. Тиран, быть может, беспримерный в Истории, неожиданно вышел из совершенно безнадёжного положения, в которое его поставила Вторая Мировая Война. Он стал после этой войны ещё более могуществен, чем был. Его недавние союзники за пределами СССР трепетали, уступая ему повсюду, где бы ему не вздумалось проявить инициативу. Его тайные противники внутри страны смирились с ним. Он, единственный, оказался победителем в великой войне, которую, казалось бы, совершенно не в состоянии был вести с самого её начала. Во всём мире не было ему никакой альтернативы. Однако, ничто не вечно, и этот загадочный человек, если только это и впрямь был человек, а не злой дух — одряхлел. Он был болен. И, хотя состояние его здоровья хранилось в тайне от сотен миллионов его подданных, ощущение близкой развязки крепло. Ждали. Со скорбью, с ликованием, со страхом, с надеждой. На Дальнем Востоке, где моя семья находилась в то время, это было особенно заметно, потому что от Ледовитого Океана до Уссурийской тайги в этом краю одновременно содержались никак не менее десяти миллионов заключённых. Огромное большинство этих людей были обречены им на смерть. Его же смерть, для каждого из них была равносильна помилованию.

Положение моих родителей в те годы было двойственным и мучительно неопределённым. Мой дед по отцу был расстрелян в 1918 году за антибольшевистскую пропаганду. Он был сельским священником, и в девяностые годы канонизирован Московской Патриархией как святой, чем я очень горжусь. Накануне революции у моего отца уже был георгиевский крест за бои и

ранение в Восточной Пруссии летом 1914 года. А к 1917 году он учился в Кадетском корпусе. После расстрела деда отец бежал на Дон и воевал с красными в составе казачьих войск генерала Мамонтова, то есть и он был по логике вещей обречён — если не на расстрел или иную смерть, то в лучшем случае на голод и бесправие лишенца. Однако, ему удалось поступить в Тимирязевскую Академию, где, укрывшись под могучим крылом академика Л. С. Берга, он умудрился получить образование, а позднее защитить докторскую диссертацию по зоологии. В конце войны отец был заместителем по науке начальника Карской Экспедиции, то есть, фактически её руководителем, пользовался большим доверием и личным расположением И. Д. Папанина, и, не смотря на террор, учинённый в советской биологической науке бандой Лысенко, мог бы чувствовать себя в относительной безопасности. Но в 1945 году он женился на дочери врага народа, еврейке, которая к тому же появилась в его жизни с больной матерью на руках, а моя бабушка по матери не имела права жить в столице, поскольку после тяжелейшей раковой операции освободилась из лагеря условно-досрочно. Всё это было не просто опасно, а смертельно. Отец, однако, считал, что в таком положении держаться в тени — хуже. Сразу после войны он стал одним из наиболее влиятельных руководителей дальневосточной рыбной промышленности. Мы жили на только что отвоёванном у японцев Южном Сахалине, в посёлке Антоново, где базировалось Сахалинское отделение Тихоокеанского института, где отец был директором.

Когда мне исполнилось, кажется, годика четыре, произошёл случай, который, возможно, во многом определил всю мою дальнейшую жизнь. Отец считался на Сахалине неофициальным представителем Министерства. И он, не знаю зачем, взял меня с собой в город Холмск, где на борту научно-исследовательского судна «Жемчуг», стоявшего там на рейде, должно было проходить расширенное совещание Дальневосточного Рыбного Главка. Мероприятие парадное. Белоснежный пароход накануне вышел из дока с иголочки, и нёс личный вымпел Флагмана Дальневосточной Экспедиции, то есть, собственно, моего покойного папы, который принимал у себя начальство из Москвы, Владивостока и Южно-Сахалинска. Совещание проходило за столом кают-компании, ломившемся от деликатесов и дорогих напитков.

Пока начальство совещалось, какой-то здорово перепуганный человек в промасленной робе водил меня по пароходу. Мне было очень интересно, особенно в ходовой рубке, где я крутил настоящий штурвал, деревянный, отполированный мозолистыми

матросскими руками до блеска. Неспокойное зимнее море, порытое белыми барашками, было грозно и прекрасно. Но мне не нравилось, что мой сопровождающий меня почему-то боится. И настроение совсем упало, когда он злобно сказал кому-то у меня за спиной:

— Сказали, директорский сынок. Таскайся с ним по пароходу, не жрамши, такую мать… Его-то покормили, а мне хоть бы какая сука кусок хлеба кинула.

— Что за рейс? Совсем, гады, умотали людей. Когда ошвартуемся, не говорили?

— Не раньше, как к завтрему. Хотят, понимаешь, совещаться, вроде будто в море они. Это хорошо ещё — погода не даёт, а то понесло бы кататься до самого Манерона. И ужин выдадут сухим пайком. Семёныч, сказал, не успевает, и руки отваливаются уже — что ж, ведь камбуз-то не ресторанный. Второй ящик коньяку им потащил. Жрут в три горла.

Затем, вероятно, на совещании был объявлен перерыв, и отец повёл гостей на верхний мостик, любоваться штормовым морем. Эти люди, шумные, самоуверенные, все были уютно одеты в тёплые полушубки и меховые бахилы. Они разогрелись коньяком и горячей закуской, разрумянились и были очень весело настроены. Всё время чему-то смеялись. На мостике я подошёл к ограждению и глянул вниз, где был полубак, рабочая палуба. Там что-то делали страшные, насквозь вымокшие, в рваных телогрейках, угрюмые работяги. С каждой волной их окатывало ледяной водой. Тут же, широко расставив на летающей палубе цепкие морские ноги, человек в клеёнчатом плаще с капюшоном непрерывно выкрикивал матерные ругательства. Думаю, что это был мастер добычи или боцман. Наконец он поднял голову и крикнул на мостик:

— Ну, не шевелятся, задубели совсем. Надо бы по сто грамм спирта.

— Откуда взять? Скажи коку, я велел готовить чай, а зайдём в порт, будет спирт, — ответили ему с мостика.

— Но им можно было бы выдать коньяку, — неуверенно сказал кто-то рядом со мной.

— На всё быдло не напасёшься ведь коньяку, — проговорил тот же сорванный, хриплый голос.

Тогда я заплакал. Мой отец, думая, что я испугался волны, сердито рявкнул на меня. Но человек с хриплым голосом, это был капитан, положил мне на голову тяжёлую руку и проговорил:

— Пожалел матросиков, пацан… Дай Бог тебе за это!

С тех пор я всегда старался уйти от социальной среды, которую с рождения определила мне судьба. Не только сам не

хочу стоять на верхнем мостике, но всю жизнь не доверяю и стараюсь держаться подальше от людей, которые там стоят.

* * *

Приснилось мне: Еду я, еду
Навстречу постылой судьбе,
И тяжкие длятся обеды —
В трактире, в харчевне, в избе.
А снег то в лицо мне всё лепит,
То сыплет мне за воротник.
А степи? Что ж, степи, как степи,
И пьяный разбойник ямщик.
За мною не слышно погони —
Уж я безопасен врагу.
Храпят отощавшие кони,
Плутая в крещенском снегу.
И только недобрая слава
В буране бредёт за спиной.
Прощайте! Конечно, вы правы:
Что толку тащиться за мной?
И просто попал я в немилость
И еду в именье своё.
И просто мне это приснилось —
Чужое, былое житьё.

Как по белому свету топтал я траву -
Много старых дорог исходил.
Все дороги на свете приводят в Москву.
Я вернулся. Я в городе этом живу.
Все обиды ему я простил.
Я вернулся. Стою посредине двора,
И чужая галдит во дворе детвора.
И гляжу, этот двор мне совсем не знаком,
И подъезд закодирован хитрым замком.
Я вернулся туда, где любили меня,
Где когда-то я был молодым.
На закате морозного дымного дня
Подымусь по ступеням родным.
За Москвой за разгоне кричат поезда,
Над Москвой, будто зарево, реет беда,

А в Москве, по её переулкам кривым,
Свист двупалый уснуть не даёт постовым.
Чья-то девочка плачет, и милого ждёт,
И тоскует, и сдобную булку жуёт.
Где-то в снежной дали поджидает меня
Старый друг, у походного греясь огня.
Всё я спутал. Я снова куда-то иду,
И колышется город в морозном дыму.
И в тулупе овчинном сержант на ходу
Пригляделся к лицу моему…

* * *

Для меня Перестройка начиналась так. Моя старшая дочка, которая сейчас благополучно живёт во Франции, тогда совсем девочка, лет семнадцать ей было, на улице Горького познакомилась с одним знаменитым эстрадным певцом. Называть его имени я не хочу, потому что это — после драки кулаками махать. Просто она увидела, что стоит у бровки иномарка, и этот кумир стадионов поманил её пальцем. Она вернулась к утру, с вытаращенными глазами. Разумеется, там произошло нечто сверхъестественное, чего ни с кем никогда не бывало. Афинские ночи.

Было много крику, клятв, слёз, и все в доме хлопали дверьми. После этого началась телефонная эпопея. То есть, доченька моя целую неделю названивала этому человеку, а он отзывался, как автоответчик: «Сегодня я занят, позвони на днях, увидимся». Она перестала учиться, совершенно ничего не делала, только смотрела в одну точку. Что-то она, возможно, там и видела, но мне в таком случае не уместно было любопытствовать.

А надо сказать, что я тогда работал землекопом на Хованском кладбище. У меня была очень боевая бригада, и уже появились солнцевские, и были татарские ребята с Даниловки, и были цыгане из Малаховки, и были люберецкие, и были пресненские с Ваганькова, и все они были наши. И я считал, что в Москве мне бояться некого. И никого не боялся.

Я отнял у дочки номер телефона этого гада и тут же позвонил ему. Назвался.

— Очень приятно.

— Слушай, паренёк, — сказал я. — Конечно, никаких серьёзных намерений относительно моей дочери у тебя нет, я правильно понимаю?

— Вы совершенно правильно понимаете, — спокойно и с достоинством ответил он.

— Тогда, как тебя устраивает такой вариант: Мы встречаемся втроём. Ты в моём присутствии рассказываешь ей подробно, какая ты гнилая тварь, и из какой помойки ты к ней явился. Потом просишь у неё прощения за то, что тебе приходится поганить землю, по которой она ногами ходит — ты всё это дословно ей скажешь, понял?

— Чего ж тут не понять? Всё понял, — невозмутимо отвечал он. — Но меня этот вариант не утраивает. Я вас понимаю. Сочувствую. Но, к сожалению, помочь ничем вам не могу. Я очень занят. Процедура эта не деловая и может даже мне повредить в моей работе. Всего хорошего.

— Нет, браток, — сказал я. — Ты не учёл, что я хованский. Тебе руки отобьют. И не будешь ты играть больше на гитаре, а придётся коробочки клеить для фармакологии.

Некоторое время он молчал, а потом рассмеялся. Но он явно получил хорошее воспитание.

— Извините мне этот смех. Это от неожиданности. А знаете, — задушевно сказал он, — при моём образе жизни приходится, конечно, учитывать и подобный поворот событий. Вполне возможно, всё это так и случится, как вы предположили. Но, вернее всего, будет иначе. Более вероятно, что вы подумавши, как взрослый человек, а не как малое дитя, это требование своё снимете. Тогда всё будет в порядке. Но если вы откажетесь, то ваша девочка может неожиданно попасть под автомобиль. Или с ней какая иная беда приключится. И тоже самое относится к, другим вашим детям, вашей жене, вашей матери. Такой возможности вы не учитываете?

Я минуты две упражнялся в матерной ругани. По телефону — совершенно бесполезное занятие.

— Ну, ты что там заткнулся? — наконец, спросил я.

— Я слушаю, — юмористически заметил он. — Мне очень интересно.

Плюнул я и бросил трубку. Начиналась новая эпоха.

Вот прошло двадцать лет. Когда вспоминаю это дело, всё чаще мне на ум приходит: А я-то чем лучше был этого музыканта? И, вообще, кто я такой, чтоб теперь жаловаться на случившуюся социальную катастрофу? Я ж её и готовил. Правда, я был не один. Много нас было. Очень много. Вся страна. За исключением тех, кто надрывался на ЗИЛе, например. Если хочешь быть в могиле, поработай год на ЗИЛе. Это поговорка тогда была очень распространена, но смысл её, совершенно безысходный, как-то пролетал мимо моего сознания.

* * *

Мне приснилось, что я проснулся.

Неосторожным движением руки задел светильник, висевший над изголовьем, масло выплеснулось, огонь погас. Старый маркиз лежал в темноте, укрытый тяжёлой медвежьей полостью. Трудно было собраться с мыслями.

— Хэй, рыцарь! Огня!

Послышался звон шпор и мерное бряканье длинного меча о стальные поножи. И дверь распахнулась, вошёл человек с пылающим факелом в полном вооружении, только приподнято было забрало шлема.

— Пусть принесут ещё факелов и запалят в камине дрова. Морозно на дворе? Который теперь час?

Рыцарь, стоявший на страже в эту ночь, привык биться с левой руки и носил меч у правого бедра, потому что правая у него была отрублена по самое плечо. Его тёмное лицо с перебитым носом было угрюмо.

— Я уж велел. Сейчас придут с огнём, мессир. Недавно пробило два раза. На дворе очень морозно. Сосны трещат в лесу, будто пороховые бочки рвутся. Морозно и тихо. Погода установилась, и звёзд в небе не сосчитать, — хрипло и отрывисто проговорил он.

— Вот и время для доброго похода, а? Я знаю, мужики осенью не собрали урожая. Тысяча, другая дукатов тебе не помешала бы сейчас?

— Святая правда, Ваша Светлость, — воин улыбнулся щербатым ртом.

Старик, откинул алый бархатный полог алькова, встал с постели и накинул тёплый халат. У камина уже суетились слуги, и в каждое медное кольцо по стенам вставлен был горящий факел, так что стало светло, как днём.

— Ты, грозный рыцарь, простишь мне этот грех: забыл я твоё благородное имя. Всё время забывается нужное, — с раздражением сказал он. — Слушай, мне это показалось, или кто-то на днях говорил, будто Люксембург готовит набег на Лотарингию?

— Меня зовут Ромуальд де-Торнстайм. Мой предок пришёл из-за моря, был он свенским ярлом. Ваш прадед подарил ему замок Морт и две деревни. Тому два дня, как приезжал от великого герцога человек. Сулил золотые горы. У него мало тяжёлой конницы.

— Буди старого Буа-Трасси, пусть придёт. Мне нужно кое-что с ним обсудить. Что ты так уставился на меня?

— Не гневайтесь, мессир, но Шарль де-Буа-Трасси ещё летом ушёл, и людей своих увёл в Иль де-Франс.

— Ну, чёрт с ним. Вспомнил, вспомнил. Я выбранил его не к стати. Кто ж теперь командует моим войском?

— Молодой Бриссар.

— Он не годится. В этот поход я сам поведу своих людей. Я выставляю в этой войне рыцарский клин — не меньше полутора сотен всадников. И нужно кликнуть охотников по деревням. Пехоты будет около тысячи бойцов.

Маркиз с кряхтением распрямился: О, Пресвятая Дева… Проклятая спина!

— Принесите мне кубок андалузского и приготовьте ванну со льдом. Мои доспехи приготовить. Разверните над башней замка наше родовое знамя в знак того, что я впереди войска. Пусть глашатаи по сёлам, замкам и городам три дня подряд объявляют народу, что этот свой поход я посвятил всем прекрасным дамам маркизата, независимо от происхождения. Дворянка или простолюдинка — лишь бы красавица была — каждой будет служить мой верный меч.

Он стал пить из кубка, но от сухого и очень крепкого вина из Испании в горле запершило, и старик закашлялся. Проклятье! Он со стуком поставил кубок на стол. В это время подошёл дворецкий, кое-как стряхивая сон.

— Ваша Светлость, не гневайтесь, вам нельзя пить неразбавленное вино. Ваш учёный иудейский лекарь и волшебник, Шимон Бен-Азарья, велел в тревожные ночи готовить для вас отвар из снотворных трав с мёдом и молоком.

— Не стану я пить гадость, которой меня пичкает старый еврей, — но он вспомнил, что этот старый еврей моложе его на десять лет.

Он сел на пуховое ложе. В груди теснилось, и он дышал, будто подымаясь в гору.

— Я пока прилягу. А это ты, Бриссар…, — юный военачальник в драгоценном камзоле, склонился над ним, торопливо снимая шляпу.

— Мне сказали, что ты хорошо сражался с тирольцами. Учись. Я старею, а наследника нет.

Дворецкий приблизился с дымящейся чашей:

— Выпейте это, Ваша Светлость.

Маркиз сделал несколько глотков пряного и сладкого, горячего питья. Потом он сказал:

— Что-то говорили о Люксембургском герцоге… Ему нелегко в Лотарингии придётся. Молодые люди… всегда торопятся. Разбудите меня на рассвете.

Через полчаса у закрытых накрепко дверей опочивальни рыцарь де-Торнстайм говорил Бриссару:

— Голова стала слабеть у него. И так ведь чуть не половина вилланов попередохли с голоду, а ему ещё кликни охотников умирать в Лотарингии.

— Когда такие медведи передрались, я предпочитаю спокойно греться у камина. Ещё мне не хватало здесь лотарингских вольных стрелков…, — сказал Бриссар.

Старый маркиз спал. Ему снился неудержимый клин рыцарской конницы, страусовые перья плюмажей, вьющихся по ветру, дробный топот сотен копыт, яростные крики: Алор! Алор!

Спал и я. Но мне больше ничего не снилось. Просто я немного устал к вечеру и спал. Пока не проснулся.

* * *

В начале девяностых выпал мне свободный вечер и порядочная пачка денег, которой мог я распорядиться по своему усмотрению. Что было придумать? Ничего больше, как сперва зайти в кафе «Националь», а там посмотрим. Но в кафе, которое я считал своим с молодых ещё лет, меня просто не пустили.

— Вам куда, молодой человек?

— Я, во-первых, не молодой человек…

— Так, извиняюсь, папаша. Но куда ты, в натуре, мылишься-то? Здесь на валюту.

— Добро. Я пойду обменяю.

— Не ходи, не меняй. Нечего тебе здесь делать. Разве мало по Тверской нормальных кафе? А это для серьёзных людей. Не обижайся, — но я, конечно, обиделся.

Я закурил и пошёл вверх по Тверской. По дороге где-то всё же выпил коньяку, а настроение не стало лучше. Что за чертовщина? На Пушкинской площади в подземном переходе мне повстречался один известный литературный критик, который тогда полгода жил в Германии, а полгода в Москве.

Морозило, я продрог, а ему было жарко, он распахнул меховую очень длинную шубу. Мы поздоровались и какое-то время молча стояли в переходе, наблюдая окружающее. Не стану повторяться. Очень много написано о том, что именно мы наблюдали «В подземном переходе на Тверской, где злоба перемешана с тоской», — была тогда такая песенка.

— Кошмар, — сказал я.

— О-о-о! Миша, оставь, пожалуйста. А чего ж ты хотел? Такова цена свободы. К ней людям ещё предстоит

адаптироваться.

Подошла совершенно пьяная молодая женщина и сказала:

— Мужики, я беру полста баксов до утра. Новогодняя скидка. Только сразу покупайте литруху. Надо в форму сначала прийти. А иначе… того эффекту не будет.

Мы молчали. Толпа понесла её от нас. Она поскользнулась и упала в снежную слякоть, бранясь и оттирая вымазанное лицо рукавом.

— Это она адаптируется, вы считаете?

Он махнул рукой, и мы простились.

Я купил водки, какой-то закуски, взял такси и поехал к своему другу, который несколько лет назад умер, а тогда ещё был жив, но пропадал во всех отношениях — семья бросила его, спивался, и не было денег, буквально, на хлеб. К нему ехать было грустно, но некуда было поехать, кроме него.

Что это был за человек? В застойное время он принимал активное участие в издании журнала «Вече». Крайний националист, разумеется, антисемит. Но с детства мы были дружны. И он был замечательный поэт. И очень добрый, славный парень. Три года на зоне в Чечено-Ингушетии окончательно сломали его.

Из его стихов я совсем ничего не помню наизусть. Все они исчезли. Да, именно исчезли. Их больше нет. В литературной вечности они конечно живут. Но мне, здесь, от этого не легче. Вот крутится в голове сейчас:

Рыбки в банке на окне
При ликующей луне
Всё мечтают об озерах…

Пока я к нему ехал, в голове у меня складывались какие-то строчки. И едва усевшись за его захламленный стол, и выставив выпивку, я прочёл ему:

Голос Бога звучит, как стальная струна,
Слово Божие остро, как нож.
И ножом тем искромсана наша страна,
И на карте её не найдёшь.
Зря князья собирали под мощную длань
Мир нетвёрдый и скользкий, как ртуть —
И балтийскую ясную синь — Колывань,
И кипчаков, и угров, и жмудь.
Зря их добрые кони топтали траву
По степи за Великой Рекой.

И теперь я не ведаю, где я живу,
И не ведаю, кто я такой.
И в угаре московского мутного дня
Стал я слабым и глупым, как шут:
Не по-русски на рынке окликнут меня,
Не по-русски меня назовут!

Он слушал. Потом выпил водки и заплакал. И так мы с ним пили и говорили о судьбе нашей родины. И чем больше пили, тем чаще разговор заходил о проклятых Протоколах Сионских Мудрецов, о крови христианских младенцев, о еврейском заговоре, и о том, что Ельцин — еврей. Пили водку и бранились. Пока он не уснул.

Тогда я ещё полстакана выпил и написал ещё два стихотворения. И оставил эти два листка на столе, а сам ушёл. Вот что там было.

Приходи ко мне снова, разграбить мой дом.
На пороге я встречу тебя с топором.
И пред Богом я насмерть, клянусь, постою
За еврейскую вечную нашу семью,
За еврейское вечное небо
И за корку еврейского хлеба.
За столетье по локти ты в братской крови,
И в подельники больше меня не зови.
Я не стану на совесть грехи твои брать,
И не стану я сопли твои утирать,
И срамным твоим матом божиться,
И в могилу с тобою ложиться.
Только Бог нас рассудит. Он знает вину,
Кто с блядями паскудными пропил страну
Кто растлил безобразно своих сыновей,
Кто глумился, как пёс над святыней своей.
Это вы здесь чертей вызывали!
Это вы здесь Христа продавали!
Ваша страсть, ваша мука во мгле мировой,
И расплата над вашей хмельной головой!

И второе стихотворение:

Вот я песенку, братец, тебе пропою:
Как бы ни было в сердце темно,
Чтоб за деньги ты бабу не продал свою,

Чтоб любовь не сменял на вино.
Что прошло — пусть о том не болит голова,
И что пропил — на то наплевать.
Ведь слезам не поверит столица-Москва,
Наша строгая родина-мать.
Пусть она не поверит и пусть не простит,
Пусть она ничего не поймёт.
В тёмном небе над крышами ангел летит
И во мраке он Бога зовёт.
Он мечом рассекает кромешную тьму,
Собирая небесную рать…
А как жить тут, я, братец, и сам не пойму,
И не знаю, как тут умирать.
Я не знаю, что делать с тобой и с собой.
Страшно русская ночь глубока!
Ночью белые крылья шумят над Москвой,
А к рассвету — в крови облака…

И ещё на каком-то клочке бумаги я написал: «Сергей, прости меня, ради Бога!» Так мы прощались друг с другом, и с Россией, и с Москвой. А, пожалуй, что и с самой жизнью нашей.

* * *

Мой покойный отчим отсидел в общей сложности 13 лет. Он был родом из Петропавловска-Казахстанского.

Ещё совсем молодым он попал в банду, которая грабила товарные поезда. Они как-то забирались в вагон и потом на ходу в удобный момент, выпрыгивали с товаром из вагона. За это он получил три года. Это были пятидесятые, и я много слышал от него о «сучьей войне», которая шла прямо у него на глазах. Воры в законе не признали тех своих, кто вернулся с фронта, потому что война, по их мнению, была та же работа, а воровской закон работать запрещал, где бы то ни было. Была ужасная резня. Об этом много у Шаламова.

Когда отчим, звали его Иван, освободился, он сразу уехал в Одессу и каким-то чудом сдал экзамены на биофак Университета. Сдал всё на отлично. И только после этого показал в Приёмной комиссии свои документы. Его вызвал ректор для серьёзного разговора, потому что он сдавал очень хорошо, и кто-то из профессуры им заинтересовался.

— Послушайте, вы мне можете дать честное слово, что не

станете больше воровать никогда?

— Могу, — сказал Иван. — Даю честное слово.

И он сдержал слово. На втором курсе его арестовали за участие в издании и распространении студенческой неомарксистской газеты. Он получил шесть лет. Потом ему ещё добавили «лагерный срок» — четыре года за то, что он ударил зам. начальника лагеря по политработе, то есть самого грозного кума.

О моём отчиме можно написать не роман, а целую эпопею. Это он, например, передал на волю роман Синявского «Голос из хора». Интересно, как он выносил его за пределы зоны. Листки из папиросной бумаги заворачивали в целлофан и заталкивали ему в прямую кишку.

Когда уже в перестройку Синявский приехал в Москву, Иван побрился, протрезвился (он последние годы очень сильно пил) и сидел целый день у телефона.

— Сейчас он позвонит, — но Синявский не позвонил.

Вечером включили телевизор. Синявский давал интервью.

— Мишка, — сказал мне Иван. — Сбегай…

— Слышь, Вань, да может он ещё завтра позвонит.

— Нет, Миш, он никогда не позвонит.

Однажды я из любопытства прочёл ему небольшой отрывок из «Острова Сокровищ», где Сильвер, получив «чёрную метку», разговаривает со своими пиратами.

— Ну, и к чему ты это?

— Иван, ты считаешь, это реально? Чтоб он мог сделать с десятком вооруженных людей один? Написано, что под левой рукой у него был костыль, а в правой руке он держал трубку. «Пусть любой из вас достаёт кортик, и я увижу какого цвета у него потроха, прежде чем эта трубка догорит». Как бы стал он драться?

Иван посмотрел на меня с улыбкой.

— Ну, он что-нибудь придумал бы…

Счастливая история

Был в Москве один художник-абстракционист. Мне не хочется его фамилии называть, потому что он сейчас человек известный. Живёт, кажется, во Франции. А в начале семидесятых перебивался случайными заработками, очень бедствовал, и очень сильно пил. Звали его Алексей. Его, впрочем, и сейчас так зовут.

Он занимался всякой «наглядной агитацией» в местах культурного отдыха, транспаранты писал, портреты вождей. Мог, например, заработать даже таким образом. Попадает в вытрезвитель. Утром ему говорят: «Оплатите по квитанции».

— Давайте, лучше так, — он отвечает, — вы мне платите 250 рублей, сотню авансом прямо сейчас, а я вам в отделении оформляю ленинскую комнату.

Ну, такие случаи, понятное дело, были не часты. Жрать ему было совершенно нечего.

А парень был красивый, нравился женщинам, только не умел, как многие, использовать это качество себе на пользу.

Мы уж его, бывало, всё пытались познакомить с какой-нибудь перспективной дамочкой. Ничего не выходило. То напьётся, как свинья, или, ещё хуже, начинает говорить женщине горькую правду. Например, много ли труда потрачено во имя приобретения этой норковой шубейки? — совершенно неподходящий вопрос для сотрудницы отдела пропаганды тогдашних грозных «Известий».

Один раз пошли в кафе «Националь» с женой только что уехавшего на Запад знаменитого писателя (жену он с собою не взял). Она была несчастна, одинока, красива, по тем временам богата, и, что важнее было, богата связями в среде литературно-художественного партийного руководства. Как раз, то, что Лёшке, по нашему мнению, нужно было.

Заказали (за её счёт, конечно) хороший ужин и армянского коньяку, пять звёздочек. Выпили по рюмке. Наша дама зовёт официантку.

— Я заказала пять звёздочек. Вы, дорогая моя, приносите поллитра в графине. А это что за напиток? Ведь это «Коньячный напиток». Верно? Ну, и что мы будем делать? Позовите администратора, пожалуйста…

А Лёшка возьми да и ляпни:

— Ну, чего, в самом деле, привязалась к бедной девке? Выхлебаем и напиток, не подохнем. Те же сорок градусов, — вот, что с дураком прикажете делать?

Но как-то рано утром выходит он из дома с ужасного

похмелья и без копейки в кармане. И неизвестно, где раздобыть на кружку пива. Дело дрянь. Смотрит, девчонки-лимитчицы, маляры, сидят и завтракают. Кефир там, отдельная колбаса, плавленые сырки. Он подходит.

— Девчата. Вот такой расклад. Кто из вас мне сейчас даёт пять рублей, с той я завтра иду в ЗАГС.

Девчата засмеялись. А одна посмотрела ему в лицо и говорит:

— Обманешь?

— Нет. Я никогда не обманываю, — а это у него на лице было написано, не знаю, как сейчас, а тогда было.

Эту девушку звали Настя. Она приехала из Казани, кажется. Лёшка меня с ней познакомил через несколько дней. Он был совершенно трезвый. И сказал мне:

— Гляди. Я выиграл пятьдесят тысяч по трамвайному билету.

— Ну, он-то выиграл, — я говорю, — это я уж вижу. А вы, Настя?

Настя его обняла и улыбнулась так, что у меня сердце дрогнуло:

— И я выиграла. Мы с Алексеем оба выиграли.

Когда в девяностые они уезжали, у них уж были взрослые дети, даже, внуки, если я не перепутал.

Одна беда. Настя, когда её спрашивали, кем работает её муж, ещё очень долго совершенно серьёзно отвечала:

— Мой Лёша, он, это самое, кубики рисует. Его за это чуть не посадили.

Но ведь, если разобраться, положив руку на сердце, разве это было не так?

* * *

Я очень хорошо помню, момент, когда мой отчим потерял всякий интерес к судьбоносным событиям перестройки. Он к тому времени совершенно перестал читать газеты, а телевизора никогда и прежде не смотрел. Сидел, с бутылкой — как бы наедине, и курил. Он был уже очень сильно болен. Обнаружили сахарный диабет.

— Иван, послушай, ты же биолог…

— Да ладно! Какой там я к шутам биолог.

Действительно, мне просто хотелось сказать ему что-то приятное. Он не закончил и второго курса.

— Что такое водка? Вода и сахар, больше ничего. Ты себя травишь.

— А про дрожжи забыл, — с усмешкой отвечает он, щурясь от

табачного дыма.

И вот я упомянул как-то, что Сахаров — депутат Съезда. Не помню, в какой связи я это сказал. Не представляю себе человека, который бы этого не знал тогда. Иван не знал. Он вдруг встрепенулся. Стал набирать телефонный номер. Оказалось занято. Больше он звонить не стал, и слава Богу. Ему пришлось бы говорить с Еленой Георгиевной Боннэр, и вряд ли это был бы разумный разговор.

— Ну, и что он там? — спросил Иван меня.

— Так себе. Не дают ему сказать ни слова.

— А они, почему ему должны слово давать? Он что им — свой?

— Видишь ли, Горбачёв, уж какой он там ни есть… — тогда постоянно так выражались о Горбачёве.

— Горбачёв, он парткомовская крыса. И он своих собрал на съезд. Нормально. Только там Сахарову делать нечего.

Я что-то стал говорить о том, что на Съезде далеко не только номенклатура собралась. Иван неожиданно налил два почти полных чайных стакана водки и достал из-под стола вторую бутылку.

— Давай-ка лучше выпьем.

— О-ох, что-то много. А мне, Ваня, сегодня ещё…

— Не хошь, не пей.

Я выпил и, отдышавшись, снова стал его уверять, что мы стоим на пороге великих перемен. Он курил и молча слушал. Он редко перебивал человека, а всегда старался внимательно дослушать до конца. Потом он ещё давал себе несколько мгновений на раздумье, прежде чем ответить. Эта привычка вырабатывается на допросах. Он меня очень долго слушал, потому что двести грамм водки это всё же кое-что. Потом он, ещё немного помолчав, сказал:

— Говорю тебе всё это пурга. Муть, понимаешь? Не понимаешь. Ладно. Будешь ещё?

Мне нельзя было ещё. А Иван ещё выпил и перестал меня замечать.

22 августа 91 года я пришёл к вечеру после трёх дней отсутствия. Мать и Иван, оба очень обрадовались. Мать беспокоилась, как бы мне голову не проломили, а Ивану жаль было мою мать, которую он очень любил. За меня он не беспокоился. Я рассказывал, перескакивая с одного на другое. Они слушали молча. Оба. Ни слова. В конце концов, я положил на стол обломок гранита. Ещё не на Лубянке, но уже на бывшей площади Дзержинского днём мы разбивали цоколь постамента, где вчера высился Железный Феликс.

— Мишутка, — сказала мать, — этот цоколь там был задолго до памятника. Там был фонтан. Это цоколь, который был вокруг старого фонтана. Зачем же вы его разбили?

Я не знал, что ответить.

— Чего встал? — сказал Иван. — Давай присаживайся, пока. Навоевался?

— Чего ты, в самом деле, иронизируешь?

— Не обижайся, — сказал Иван. — Не обижайся. Не тебя первого наебали, не тебя последнего. Посерьёзней тебя люди фраернулись. Ничего. Всё пройдёт.

— А ты знаешь, — сказал я, — у меня, действительно, складывается впечатление, что…

Мне было тогда без малого пятьдесят лет. Я считал себя человеком, прошедшим огонь и воду — в буквальном-то смысле так оно и было. Но в те дни я ничего не понял. Возможно, и отчим мой не понял, но каким-то особым лагерным чутьём почуял обман.

Зимой оказалось, что Украина стала заграницей. У Ивана в Одессе жила дочь. Петропавловск тоже стал заграницей. Он совсем погрустнел. А впрочем, он никогда и не был весельчаком. Вскорости он умер.

* * *

Когда мне было лет восемь или девять, мы с моей бабушкой на лето приезжали отдыхать на Азовское море. Был там хутор, неподалёку от Таганрога, название которого я давно забыл. Жили на хуторе кубанские казаки. И мы снимали хату. Места тихие, красивые, но совсем не курортные. Там бабушке, семь лет отбарабанившей в мордовских лагерях, было спокойно с ребёнком. В общем, там было хорошо.

И вот — я это всё помню, будто вчера было — вечером, только что солнце зашло, но заря пылает ещё на горизонте, мы идём к морю. В наступающих сумерках серебром светятся волосы моей бабушки, и море Азовское, жемчужное, тоже светится, листья пирамидальных тополей мерцают. И что-то она мне рассказывает, а я и слушаю и не слушаю. И всё бегаю вокруг неё, а потом вдруг прижмусь к её юбке лицом и не хочу отпускать. Никогда у меня не было человека ближе, чем она.

Вдруг откуда-то из глубины утонувших уже в темноте виноградников — песня. И эта песня, незнакомая, дикая, красивая каким-то сумасшедшим разгулом, пугает меня.

Распрягатэ хлопци коней
Та й лягайтэ спочивать… –

И внезапно, со свистом, пронзительным визгом и выкриками:

Маруся, раз-два-тры, калына,
Чэрнявая дивчына
У саду ягоды рвала!

Я совсем испугался, жмусь к бабушке:

— Баба, пошли домой…

И невесомое, прохладное прикосновение её надёжной маленькой ладони:

— Чего ты испугался, дурачок? У людей праздник. Свадьба. Они празднуют и нас не обидят.

Слышится скип хромовых сапог, из темноты, пошатываясь, выходит какой-то громадный человек. Он очень красив и кажется мне военным, потому что — усы, гимнастёрка, галифе, начищенные сапоги «в гармошку», а на груди у него звенят медали. И он, порывшись в кармане, вытаскивает горсть леденцов «момпасье» с налипшей махорочной крошкой, присаживается накорточки, дышит мне в лицо табаком, самогонкой, потом.

— Та шо ты спужался? О, гля, я тоби леденцив, спробуй яки сладки. Та не плачь, казаки ж нэ плачуть… — тяжела его сильная рука у меня на голове.

Потом, когда он, переговорив о чём-то с бабушкой уходит снова в темноту, бабушка с её характерным выговором польской еврейки произносит что-то вовсе мне непонятное:

— Люблю очызну я, но странною любовю…

Много лет спустя, это было начало девяностых, я работал на Хованском кладбище в небольшой бригаде по установке памятников и заливке цоколей и цветников. В тот сезон на Хавань, на заработки, приехали украинцы. Их было много. И были они — каждый, будто чем-то ушиблен. У нас, местных, с ними то и дело вспыхивали драки, потому что они сбивали цены, да и просто были лишние, работы стало не хватать из-за них.

— Слушай, брат, ты, что хошь, мне говори, а я вас в ментуру сдам или солнцевских натравлю, — сказал наш бригадир. — Моё дело, людей накормить. Мы здесь всю жизнь работаем, а вас тут понаехало, а работы мало.

— Та ты ж почекай, брат, послухай, шо я кажу…

— Или вечером проедем и все ваши заливки побьём. Я так не

могу. Ребята меня съедят.

— Почекай, брат. Не будь ты мусором поганым. Поверишь? Малы диты з голоду пухнуть, и работы немае…

— А-а-а, чтоб вы пропали. Ты мне о своём, а мне надо — о своём. Я правильно говорю?

— Почекай…

Вечером мы ехали на тракторе в раздевалку. Что-то мне послышалось вдалеке.

— Стой! — крикнул я и взял водителя за плечо. — Выруби двигатель.

В сумерках слышалась песня. Всё та же. «Распрягайтэ, хлопци, коней…».

— Хохлы поют. И точно, распрягайте. Приехали. Я служил с ними.

— Ну, ёбаная жисть, а! — сказал бригадир. — И до чего ж, суки, людей довели… Ну, что делать? Спроси у своего Ельцина.

— А он знает?

В 2002 году, в Иерусалиме, меня как сотрудника русскоязычной газеты «Новости недели» пригласили на торжественное собрание, посвящённое учреждению Общества украино-израильской дружбы. Они, однако, опоздали на полгода. Я уж из газеты вылетел и работал на конвейере моечной машины в огромном пищевом цеху. Это каторга, такая, что я и в Северной Атлантике не видал. Платят, правда, неплохо.

На этом собрании присутствовал представитель украинского консульства, и сказано было очень много хороших слов. И выступил руководитель Тель-Авивского ансамбля украинской песни и пляски. Ансамбль на днях отправлялся в турне, в Европу и Штаты. «Но, безусловно, свой первый концерт в этой поездке мы дадим в Киеве. Как бы то ни было, а каждый из нас родился на Украине, и никто этого не забудет никогда!» — было очень трогательно.

Я попросил слова. Я стал говорить о том, что в Израиле среди новых репатриантов очень много этнических украинцев, приехавших с жёнами-еврейками или как-то иначе. Они являются полноправными гражданами страны, но положение их вдвойне нелегко, потому что украинские евреи по вполне понятным причинам относятся к ним неласково. Я работаю с этими людьми на очень тяжёлом производстве, украинцы всегда охотно идут на тяжёлую работу в надежде, что трудовые руки их спасут. Но то и дело возникают стычки:

— Вам на Украине евреев было много. Хорошо. Мы уехали, а вы за нами потянулись, — возразить нечего, но никто не

заказывает себе судьбы, нет такого стола заказов.

Украинцами набиты тюрьмы, ночлежки, практически каждая проститутка на улице — украинка, полно бомжей, множество украинцев, не имея жилья и работы, начинают пить, а наркологическая помощь в Израиле существует виртуально, поскольку алкоголизм — проблема на Ближнем Востоке вообще новая. И никакой защиты эти люди не имеют, украинское землячество материальными средствами не располагает.

Министерство Абсорбции занято, естественно, устройством репатриантов независимо от их национальности.

Нет возможности выделять специальное время и какие-то ресурсы для репатриантов-украинцев. Они идут в общем потоке.

Всё это было выслушано в гробовом молчании. Консульский представитель смотрел мимо меня с каменным лицом. Я немного подождал, не скажет ли кто чего-нибудь. Никто ничего не сказал. Я ушёл. Мне было очень стыдно.

Заодно из этого отрывка станет ясно, почему я не смог работать в газете «Новости Недели». Вообще, в Израиле мне было очень интересно. И я туда вернусь, на какое-то время, потому что навсегда — я не приезжаю никуда. Вернусь, если хватит сил. Я за Израиль, но против людей, которые устроили себе из этой страны кормушку, для чего необходимо было, буквально, окутать Эрец-Исраэль завесой бессовестной лжи. Ни одна страна на свете для этого не пригодна. Израиль, тем более. Но об этом — в другой раз.

* * *

Дай мне, Боже, к твоим небесам ледяным
Прикоснуться пылающим лбом.
И усну я, и стану туманом ночным,
И во сне я над лесом пройду, словно дым –
В небо звёздное зыбким столбом.
И меня в эту ночь ты к себе позови!
Пусть, не зная Креста и Венца,
Спят усталые бедные братья мои.
До утра Гефсиманском саду — соловьи,
И сбывается воля Отца.
А хмельная Россия все песни свои
Без меня допоёт до конца.

На тяжёлом серебряном блюде
Остывала в крови голова.
Приходили какие-то люди,
Говорили пустые слова.
А царевна! Царевна плясала.
Над столицей вставала заря
И пустая огромная зала
Полыхала в глазах у царя.

Тоска высокая, да небо низкое…
А знаешь русскую судьбу мою?
Брусника сладкая, а клюква кислая,
Любовь далёкая, разлука близкая,
А водка горькая в моём краю.

* * *

Вера
Там жили люди, и шакалы
И крысы, и нетопыри.
И нечисти иной хватало
В трухлявом сене и пыли.
Они пред идолом кривлялись –
Он был из сучьев и тряпья.
Рычали, грызлись и лизались,
И там была судьба моя.
Я весь был там — в крови и плоти,
И всем был враг, и всем был брат.
И весь по горло был в работе
Любовных игр и злобных драк.
И по ночам, когда в пещере
Колдун свой факел зажигал,
Я приходил и гнусной вере,
И гнусной мудрости внимал.
Но в глубине души дремучей
Я знал, что где-то воля есть,
Что в небесах и птиц летучих,
И звёзд таинственных не счесть.
И вот, я из пещеры вышел,
Но не нашёл, чего искал.

Взлетел — и вижу: крыши, крыши,
Их искорёженный металл…
И я летел. И где-то там,
Вдали, над миром обречённым
Лаодикийской Церкви храм
Вознёсся куполом злачённым!

Мой старый кот

Эту историю я хочу посвятить одному славному, доброму и храброму израильскому парню, еврейскому солдату, резервисту Армии обороны, который — это вполне естественно в его возрасте — считает меня старым дураком.

— Еврей! Еврей, черт тебя подери, куда ты все время пропадаешь?

Я опустился на колени и заглянул под кровать, где, свернувшись грязно-белым клубком шерсти, лежал мой умирающий кот — кондотьер Гаттамелата, великий воин. Он умирал от старости, а может быть от какой-то неведомой болезни, вернувшись недавно вместе с моей семьёй в те края, где воевал шесть веков тому назад против сарацин на службе у турецкого султана.

Итак, я опустился на колени и сказал:

— Я к вашим услугам, мессир.

— Когда не нужен, глаза мозолишь, а понадобишься — не дозваться.…Теперь я не могу вспомнить, зачем ты мне нужен был, — он говорил хрипло, резко и властно, как всегда, но до меня доносилось только жалобное мяуканье, скорее похожее на стон. — Что-то я хотел тебе… а! Капитана Короллу ко мне, живо!

— К сожалению, это невозможно, ваша светлость. Вы запамятовали, капитан погиб.

— А-а… Я вспомнил, вспомнил. Он связался с этим сумасшедшим татарином.

— Вы, сеньор, имеете в виду военачальника Мамая?

— Вот именно. Простой сотник, и за душой ни гроша. С этим Мамаем я виделся в Вильно за несколько лет до того, как его в Таврии удавили. Хорошие же у него были друзья, нечего сказать — до первого разгрома. Бедняга Королла был храбрый дворянин, но совсем еще мальчишка и связался с неудачником, человеком безродным, а этого никогда делать не следует — я ему писал в Сарай. Две тысячи великолепных генуэзских пехотинцев погубить из-за глупости какого-то проходимца! Ягелло произвел на меня впечатление продувной бестии, а Мамай доверился ему. Вся конница литовская была набрана из русинов. Как же сумел бы этот виленский Перикл, чёрт бы его взял, вмешаться в дело, когда воевода Боброк внезапно атаковал, и татары побежали! Не пошли бы русины своих рубить, это было ясно с самого начала. И еще этот московский князь… я уж не помню, как его…

— Димитрий, ваша светлость.

— Мне говорили при литовском дворе, будто он помешался и мечтает у себя на Москве Константинополь воздвигнуть. Сумасшедшие или прохвосты. Как перевалишь за Карпаты, никому доверять нельзя. Здесь султан, хоть и туговат был на расплату, зато в мои дела носа не совал, и мы неплохо поживились без особенных потерь. Сарацинская конница рубилась хорошо. Но наступления регулярного пехотного строя они не выдерживали никогда. А от выстрела из аркебузы просто разбегались. Я купил десяток аркебуз в Ливорно у негоцианта Нахума, твоего сородича, ты не помнишь такого?

— Я в то время еще не родился, мессир, и я никогда не был в Ливорно.

— Послушай меня, мой старый еврей, — тихо прохрипел кондотьер, — Ты мне правду скажи, а то твоя жена мне надоела, она сует мне мясной фарш, который я проглотить не могу, и делает дурацкие уколы, какой прок от этого? Скажи правду… Я ведь умираю, а?

— Все в руках Господа, мессир.

— Черт возьми! Прекрасно… Я прожил по-своему неплохую жизнь. Позови кого-нибудь из молодцов и вели меня заколоть, я устал. Попа не нужно, о моих грехах знает весь белый свет.

— Не гневайтесь, ваша светлость, здесь нет никого, кроме меня, моей жены и ее дочки. Ваши люди погибли под стенами Флоренции и Милана, на Кипре, у подножия пирамид, в Иудейских горах, в Альпах — повсюду, куда вы их водили за собой, они погибали.

— Ну, так сам это сделай, рука не отсохнет.

— Виноват, я не могу. Жены боюсь, сударь — она мне этого не простит.

— Почему евреи всегда так распускают своих баб? Ладно, ступай. Может, я усну…

За несколько лет до отъезда в Израиль я привез из Краскова в Москву кота и прозвал его Гаттамелата. И придумал забавную историю о том, как знаменитый кондотьер, конная статуя которого украшает «венецианский дворик» Пушкинского музея, вследствие расстройства своих финансовых дел (воевать в долг — дурная и очень вредная привычка), решил уйти на покой и долгое время провел в Подмосковье инкогнито под видом белого с серыми пятнами кота. «Экран и сцена» опубликовала тогда два моих очерка об этом. Кот сильно болел, а когда мы его перевезли в город, пришлось сделать ему сложнейшую операцию кишечника (резекцию) — такую, что и для человека в большинстве случаев кончается очень печально. Однако, кот выжил. Учитывая его преклонный возраст, болезни и, коме того, свирепый нрав, не с

кем было оставить его в Москве. Он совершил путешествие в Святую Землю на самолете компании «Эль-Аль» в плетёной корзинке для сбора грибов. Ехать он не хотел. Мы соблазнили его рассказами о кошке, которая жила в Израиле у моей падчерицы. Эта кошка — удивительная красавица, египетской породы, совершенно черная с белоснежным пятном… прошу прощения у дам, как раз в том самом месте, которое является предметом вожделения влюблённого мужчины в безумные минуты страсти. Однако, жена с дочкой, не поставив меня в известность, сговорились по телефону, и к нашему приезду кошка была кастрирована.

Я намеревался дать информацию в одной из местных русскоязычных газет о том, что в Израиль в самый разгар интифады прибыл известный военный и политический деятель 14 в., в своё время командовавший всеми вооружёнными силами Венецианской республики. Гаттамелата мне это настрого запретил. Как-то раз во время церемонии утреннего умывания он сказал мне:

— Какого чёрта вы потащили кошку к ветеринару? Она мне всю морду расцарапала. Кстати, учти: я тебе этого в Москве говорить не стал, но меня очень удивило, когда в аэропорту Бен-Гурион солдаты не повесили меня на ближайшем фонарном столбе.

— Что такое вы изволите говорить, мессир? Как это возможно?

— А когда мы с моим дружком Франческо Сфорца штурмовали миланскую крепость, где он потом себя герцогом объявил, там столько евреев перерезали, что мы и считать перестали. Э-э-э! Что про евреев говорить, когда за миланскую матрону давали четыре луидора и ещё просили впридачу к этой сеньоре доброго жеребца, там ведь были отличные конюшни, лошади совсем в цене упали…

— Что вы думаете о здешних делах войны и мира, ваша светлость? — спросил я его тогда. Это было в октябре 2000 г., когда арабы проводили истребительные теракты по нескольку в течение одних суток, как правило удачные, и ежедневно обстреливали пригород нашей столицы — Гило. Близились досрочные выборы премьер-министра.

— Я всегда охотно принимал евреев на службу, они, как ни странно, люди храбрые и дисциплинированные. Сейчас, когда греюсь на балконе, смотрю иногда на проходящих мимо солдат. Что ж… Здоровые парни, сыты, обмундированы и отлично вооружены. Но нельзя, однако, долго держать их в бездействии. Для этого здесь слишком много вина и красивых девушек. Они

беситься начнут. Кто здесь будет править в предстоящие несколько лет?

— Вернее всего, некий генерал Шарон, ваша светлость.

— Ему уже доводилось биться с сарацинами?

— О, да! И всегда успешно. Он очень популярен в армии и среди населения.

— Скажу тебе, что я бы сделал. Мне-то сейчас ввязываться в эту кашу не с руки — нет у меня здесь кредита, негде взять людей, да и местные военные будут недовольны, а жаль. Война может быть великолепная! (Слава Богу — подумал я. — Только кондотьеров здесь еще и не хватает). Все ждут выборов, как я понял — здесь же республика? А я, не дожидаясь выборов, ударными частями перешел бы восточную границу сразу в нескольких местах. Необходимо оседлать реку Иордан, прочно укрепившись на восточном берегу, и одновременно выдвинуть значительную часть войска так, чтобы передовые, наиболее надёжные подразделения находились в нескольких верстах от города Дамаска. Это нужно сделать быстро, пока никто ничего не понял.

— Ваша светлость, к сожалению…

Но он был очень увлечён. Он сидел широко расправив могучую грудь и смотрел беспощадными зелёными прозрачными глазами куда-то вперёд — туда, вероятно, где двигались в клубах пыли массы наступающей пехоты под непрерывный грохот канонады.

— Что же касается западных границ, то на Синае следует артиллерией в течение суток уничтожить буквально всё. Чтоб там ни единой живой ящерицы не осталось. Тогда Египту придётся, коли решатся они наступать, преодолеть открытую, безводную местность, волоча при этом за собою все снабжение под ударами с воздуха, огнём артиллерии и отражая контратаки специально созданных для этого немногочисленных, но подвижных и хорошо обученных отрядов, числом не более пехотного взвода.

— Мессир! — сказал я. — За последние шестьсот лет международное положение Передней Азии изменилось и, я бы сказал, несколько усложнилось. Дамаск в частности является на сегодняшний день столицей сопредельного государства, которое немедленно обратится к великим державам за помощью. Тем более Египет. И будут против Израиля введены сокрушительные экономические санкции — так сейчас принято.

— Наплевать. В таких случаях население облагается чрезвычайными налогами. Конечно, необязательно, чтобы люди на улицах с голоду подыхали, а впрочем, кто и умрёт не беда — на то война. А парламент можно временно арестовать. И повесить

на площадях десятка два трусов и болтунов это всегда бывает полезно…

— Пока в Израиле находятся и живы ещё люди, подобные мне, мессир, никто здесь парламент не арестует и никто без суда никого не повесит.

— А это потому что ты еврей, все вы чистоплюи, и ещё потому, что ты войны не любишь! — сказал мне мой кот.

— Святая правда, я не люблю войны и я еврей…

— Ну, хватит болтать. Я проголодался. Подавай завтрак.

Этот разговор произошёл около двух лет тому назад. А недавно, как раз накануне внеочередных выборов в Кнессет, жена осторожно вытащила его из-под кровати, под которой он провёл последние два месяца, тяжко и неизлечимо больной. У него обнаружили раковую опухоль в мозгу — все было кончено.

— Куда это она тащит меня?

— Вас отвезут туда, ваша светлость, где вы мирно уснёте и никогда уже не проснётесь.

Ничего почти не осталось от нашего кота — скелет обтянутый клочьями шерсти:

— Поговорим с тобой немного на прощание. Хотя ты и пьяница, человек неаккуратный и ненадёжный, а все же был мне верным слугой в тяжёлые годы, а жена у тебя — красавица, к тому же она, как все еврейки, хорошо умеет за больными ходить. В былые времена, я отнял бы её у тебя, — повторил он свою старую угрозу. — Расскажи, что тут творится на Святой Земле.

— Похоже, близка большая война, сеньор.

— Это хорошо. Зря вы, однако, позволили кому-то издалека здесь распоряжаться. Нужно было драться самим.

— Мессир, войны здесь хватит на всех.

— Ты, бывало, часто говорил, что не любишь войны.

— Война за свободу, ваша светлость! На предстоящих выборах я буду голосовать за партию которая называется Херут — Свобода.

— За свободу? За чью свободу?

— Мессир, миллионы людей многие столетия здесь живут в рабстве. За их свободу я хочу сражаться.

— Ты знаешь, с кем приходится сражаться за свободу рабов?

— Знаю. С рабами.

— Никто так самоотверженно не защищает рабство, как сами рабы. Сарацины, сколько я их помню, всегда были рабами с тех пор, как покинули вольные просторы Аравии, где мирно кочевали, пасли своих овец и никому не причиняли зла. А как полмира поработили — сами стали рабами. Кроме того, каждый народ сражается за своё. Хочешь, чтоб евреи сражались за

арабскую свободу? Ты старый дурак, и тебя никто не поймёт.

— Кроме евреев. Евреи ведь первыми поняли, что Бог создал человека подобным Самому Себе, то есть свободным, не так ли?

— Довольно, — сказал Гаттамелата. — я устал. Мне об этом поздно размышлять. Я всю жизнь воевал за самого себя. Сможешь ты меня где-нибудь здесь закопать, чтоб я на помойке не валялся?

— Всё будет исполнено достойно вас, ваша светлость.

Я выкопал ему могилу в Иерусалимском лесу — есть тут такое место — среди неизвестных мне хвойных деревьев, похожих на наши лиственницы. Пройдут зимние дожди, приду, насыплю на могилу ещё земли и прикачу туда камень. История белого кота Гаттамелаты, кажется, пришла к концу.

Остаётся последнее. Как я выяснил, покопавшись в Интернете, Гаттамелата — не имя, а боевая кличка кондотьера Эразмо да Нарни. В переводе на русский гаттамелата — медоточивый кот. Наш кот и был таким. Он ластился и мирно мурлыкал, пока его не пробовали столкнуть на пол. Тогда он мог так ударить когтистой лапой, что кровь брызгала фонтаном. Как я удивительно угадал…

* * *

В 93 году, осенью, я пришёл на Ваганьковское кладбище и попросил работы. В зиму. Деньги понадобились позарез. Мне тогда было 46 лет — возраст для такой работы на московских кладбищах критический, потому что последние лет тридцать почти в каждую зиму выпадают оттепели, снег сходит, а потом снова приморaживает, и от этого практически нигде не бывает проморозки меньше метра. Вообще, я на этих предприятиях с перерывами работаю с 77 года. В последний раз вышел прошлой весной, установщиком (памятников), и позвоночник чуть не треснул, хотя эта работа гораздо легче. Копать же, а тем более долбить (на кладбищах чаще говорят: бить) проморозку после сороковника почти никто уже не может.

Мой старый товарищ, которого я назову вымышленным именем Степан, в то время работал там бригадиром.

— Лысый, ты подохнешь, — сказал он.

— Ладно. Так хоть не с голоду, — сказал я.

— Добро. Приходи. Для тебя всегда работа есть, — меня любят на кладбищах, верят мне, и я этим очень дорожу и горжусь.

Зима 93 года была тяжёлая. Снегу было немного, морозы ударили рано. К концу декабря уже начался форменный кошмар.

Но я держался. Водки на язык не брал. Даже курить старался меньше. Как-то раз Степан говорит:

— Пошли, Лысый, примем заказ вместе. Там какие-то проблемы. Вдвоём спокойней.

Захоронение заказывали на «армянке», участок, когда-то принадлежавший армянской общине. Заказчики приехали на нескольких иномарках. Их старший вышел из шестисотого мерса, путаясь ногами в полах длинной шубы. Седой, по-стариковски красивый, мрачный кавказец. Он держался очень уверенно. С такими людьми легче дело иметь, потому что они никогда в истерику не впадают.

— Что за проблемы там у вас? — спросил я.

— Брат, что я буду тебе говорить? Ты мастер. Пойди, посмотри.

Мы прошли за армянами к месту захоронения. Погода была к морозу, на небе ни облачка. Снег, укрывший кроны громадных тополей и вязов и шапками лежавший на памятниках и крестах, сверкал, искрился и звонко скрипел по ногами, будто скрипки пели. Двое молодых армян, как это принято у них, молчали, будто их не касалось. Старик сказал:

— Сколько стоить будет? Торговаться не стану.

Мы увидели чугунную ограду, изумительного, ажурного, кружевного литья. В ограде было четыре захоронения. И ещё оставалось свободное место, где завтра хоронить. Захоронение на четырнадцать часов. Проблема же в том, что ограда была слишком коротка. Не больше метра в длину. В таких случаях нужно делать в ноги длинный подбой (подкоп), который должен быть обязательно очень высоким, чтобы гроб свободно горизонтально развернуть, опуская его сначала почти совсем вертикально, «колом». Это легко летом, а в такую зиму почти невозможно, потому что придётся делать горизонтальную проходку в мороженой земле, работая не кайлом, с которым в могиле никак не развернуться, а прямым ломом. Я посмотрел на часы. Двенадцать.

— Ты нам подарок сделал, — сказал я хозяину, и он улыбнулся, блеснув золотыми коронками. — Теперь смотри. Знаешь, сколько стоит твоя ограда?

— Знаю, — сказал он. — Немного подешевле машины, на которой я приехал.

— Правильно. А придётся в ногах стенку ломать, потому что мы под эту ограду не подкопаем. Очень короткая она.

— А ты мне сохрани эту ограду. Её мой дядя покойный ставил здесь, отца брат. Лимон? (цены 93 года).

— Ты немного не догоняешь. Ещё чуть поднажми.

— Два, — сказал старик. — За два лимона, брат, ты мне работу сделай, чтоб от зубов отскакивало, — он цокнул ногтем большого пальца о зуб. — Сделаешь?

Степан смотрел на меня, предостерегающе прищурив глаз.

— Если договорились — сделаю.

— Так я поехал?

— Счастливо, до завтра. На нас не обижайся.

И они уехали. Мы со Степаном медленно пошли в раздевалку.

— Зараза. Сильно что-то морозит, — сказал он. — Что ж завтра будет? Слушай, Лысый, ты не во время подмётки начинаешь рвать. Не управишься.

— Как разбираться будем, Стёпа?

— Если ты на такое дело подписался, я себе возьму пятихатник (пятьсот тысяч рублей), остальное твоё. Но трудно будет.

— Кого мне в пару дашь?

— В том и дело, что, кроме Зверя, никого не будет. От него толку немного. Заказов полно. Завтра все мои заняты.

— Нормально. Пусть он крошку выкидывает совком — все ж мне легче. И он языком трепать не станет.

Этот Зверь был старый работник, человек огромной физической силы, и работу знал хорошо, но у него недостаток — он от какой-то болезни почти совсем ослеп. И, конечно, пил, как сумасшедший. И он уже несколько лет, только помогал захоранивать. Когда мы пришли, он спал за столом, уткнувшись лицом в рукав телогрейки.

— Зверь, просыпайся, — сказал я. — Пошли бабки колотить.

Зверь поднял голову и, щурясь при тусклом свете, посмотрел на меня.

— Кто бы спорил, а я — с нашим удовольствием. Возьми на участок мне немного подлечиться.

— Возьму пузырь, только не увлекайся. Работать будем до темна. И ночуем здесь. Завтра, как рассветёт, мы уже на месте.

Мы пришли на участок. Я скинул телогрейку, а Зверь приложился к бутылке и ждал, пока я надолблю ему мороженой земли, откидывать её в сторону. Взял я свой ломик. Потоптался и ударил первый раз. Раздался тихий мелодичный звон от лома. Звон этот улетел в снежные заросли и затих.

— Ты у меня, Зверь, сейчас потанцуешь, — сказал я. — Забыл уже, какая и работа бывает.

— Ты только гляди, чтоб я у тебя здесь не замёрз. И держись за ломик крепче, а то упадёшь.

И так мы с ним шутили и работали, пока сумерки не опустились. Мы оба были мокрые, хоть выжимай.

— Слышь, Зверёк, ты живой, а? — спросил я задыхаясь.

— Вроде живой, — ответил он. — Ещё водка есть. Будешь?

— Глотну.

Я выпил, набил рот снегом и, переводя дух, молча смотрел на него. Он тоже отхлебнул из бутылки и заел снегом.

— Старые мы стали клячи с тобой, — сказал я.

— Да иди ты. Я тебя на шесть лет старше и то ничего. Вот глаза только. Сейчас поведёшь меня до раздевалки вповоду, как слепую лошадь. Однако, работа каторжная досталась.

О своей доле он не спрашивал. Это считается неприличным. Я сам ему должен был сказать.

— Гляди, браток. С двух лимонов Стёпка себе берёт пятихатник. Если я тебе пятихатник отдам, по совести будет?

— А то? — обрадовался он.

В раздевалке мы ещё немного выпили, набросали на пол у батареи старых ватников и оба уснули. Что-то мне снилось. Не помню только что.

На следующий день мы работали с рассвета часов до двенадцати. Теперь я рубил коротким тяжёлым ломом, который держать приходилось на весу, на руках, врубался в подбой. Мне вдруг показалось, что у меня к груди зажгли свечу.

— Слышь, Зверь, а ну дай бутылку, — сказал я.

— Лысый, ты чего?

Я выпил и замерил длину. Две лопаты. Нормально. Я прикинул высоту подбоя.

— Мастерство не пропьешь, а, Зверёк?

— Могилка вышла показательная. Ты чего? Чего это ты?

— Да что-то в груди жгёт.

Хоронили без меня. Меня к двум часам увезли в 63 больницу с инфарктом. Меня двое суток держали в реанимации, а потом перевели в отделение. Через несколько дней пришёл Стёпка. Он посидел в палате. Помолчал. Молча отдал мне пачку сотенных:

— Здесь лимон, а пятьсот я отдал Зверю, всё правильно?

— Нормально. Ну, как он?

— А что ему? Пьёт. Знаешь, Лысый, не в падлу, я тут принёс тебе ото всех ребят вроде на помощь. Четыреста баксов. Возьми. Пригодится в хозяйстве.

— Спасибо, — сказал я. — Ребятам привет передавай.

— Передам. Не скучай, брат….

Вот они как инфаркты получаются, ребята. Не знаю, как у вас. На Ваганькове — так.

* * *

В Иерусалиме я несколько месяцев убирал двор и некоторые помещения, туалеты в том числе, в Главном Управлении иерусалимской полиции. Там была не трудная работа, и ко мне относились хорошо. С военными всегда проще, если только военные настоящие, а в Израиле это именно так. Я видел таких (со стороны) в разных странах мира, а впервые лично познакомился с настоящим, скажем, офицером только в Израиле. Как выяснилось, ни в СССР, ни тем более в нынешней России, офицеров я вовсе не встречал. Конечно, среди тех, кто в годы моего детства только что с фронта вернулся, были герои, бесстрашные бойцы. Но, говорят, У. Черчилль, посмотрев картину Репина «Запорожцы…», сказал: «Странно — ни одного джентльмена», — вот я именно это имею в виду. Неохота никого здесь обижать, а из песни слова не выкинешь. Военный менталитет — такая же своеобразная, коренная часть мировой культуры, как менталитет духовенства или хотя бы подлинного администратора — это никак не прививалось советскому человеку, с малых лет вынужденному жить опустив глаза и постоянно лгать. Ведь военный это должно быть что-то очень сильное, строгое и прямое, как стальная струна. Люди особого склада, с гордой, властной и строгой повадкой, которая есть печать их смертельного ремесла — с ними проще, но это не значит, легче. Тяжёлые люди. А почему проще? Потому что, в отличие от советского офицера, если израильтянин в погонах тебе что-то обещал, он выполнит. Хорошее выполнит, а пообещал плохое — тогда уж хорошего не жди. Вероятно, до революции в России были именно такие офицеры. Их поэтому так ненавидели. С ними было просто и трудно. С их противниками было сложно и безнадёжно, зато совсем не стыдно. Ну, это я, конечно, здорово упростил, а что-то в этом роде присутствовало в отношении к белогвардейцам, я убеждён.

Но, конечно, если об израильских полицейских офицерах, то это относится только к строевым, для которых война никогда не кончается и даже не бывает в ней затиший. Охрана, следствие, оперативники — такая ж мразь, как советские мусора.

И вот, однажды я возился во дворе, и подъехала прямо ко мне «канарейка», полицейская машина, очень похожая покраской на машины московской милиции. За баранкой — женщина в форме, на взгляд лет тридцати пяти, и она была, насколько я понимаю, что-то среднее между майором и полковником. Некоторое время она смотрела на меня из салона, как я мешки с мусором укладывал на аголу (телегу), а потом вышла и велела, чтоб я подошёл:

— Бо! (Иди).

Я, признаюсь, к ней приблизился на деревянных ногах. Вы мне простите эту попытку выразиться изысканно — черноокое чудо Леванта, ничего больше не придумаешь. Глянул в эти глаза, и у меня дух захватило, будто я к звёздам полетел. Что касается земного, то всё женское, что может человека погубить, так зримо дышало в ней, так рвалось из полицейской формы, что — куда глаза девать. Через плечо, под правый смуглый, тонкий, будто точёный из слонового клыка, локоток — короткоствольный автомат, и крепкая маленькая ладонь привычно лежит на вороненом затворе.

Она спросила:

— Ты русский? Правда, что ты журналистом был?

Я иврита совершенно не знал тогда, да и теперь не знаю. Некогда было учиться. Поэтому я ответил очень кратко:

— Кен (Да).

Затем выяснилось, что я не знаю английского, не знаю французского. Тут ей стало смешно, и она спросила:

— Фарси? Арави? — получив отрицательный ответ, она совсем развеселилась и спросила, уже заливаясь смехом, — Чайна? Гам ло? (Китайский? Тоже нет?), — кажется, так она говорила, а потом произнесла непонятную мне длинную фразу, которую я по наитию понял как цитату из Булгакова: «Что это у вас, чего ни хватишься, ничего нет?».

А надо вам сказать, что я, хотя бабником никогда не считался, но всё же за долгие годы жизни немного научился женщин понимать. И я уже прекрасно понимал, чего она от меня хочет. И мне известно, что уж если женщина смеётся, то стоять с унылой физиономией — нет хуже. И я тоже засмеялся. А если посреди огромного двора, где мимо идут солдаты, полицейские, разворачиваются машины, ведут арестованных в «браслетах», то и дело кто-то выкрикивает команды, кто-то кого-то распекает, кто-то кому-то что-то докладывает, посреди этого водоворота стоят двое, мужчина и женщина, смотрят друг на друга и смеются, в таком случае ничего разумного от них можете не ждать. Так оно и получилось.

Она, отсмеявшись, вдруг резко повернулась и села за руль. И уехала. Загадка! И вот я всё думал, думал. Но, чёрт возьми, какая баба!

Тем же вечером я отпросился из дому. Посидеть в баре. На улице Бен-Иегуда я сел за столик под открытым небом и заказал русит водка ве тей. Водку и чай. Это всё на иврите совсем неправильно, но смуглая девица с серёжкой в пупке меня прекрасно поняла. Выпил я стопку водки, заказал вторую. В Иерусалиме это всё очень красиво. Улица эта, где всегда играет

на скрипке, домре, флейте или гитаре какой-нибудь музыкант, бездонное звёздное небо над вечным городом, множество красивых женщин — я в Гаване столько их не видел — вообще, необыкновенно выразительные физиономии людей, большинство из которых вооружены. И постоянное ощущение праздника. И почему-то ещё праздничней становится от того, что низко над крышами вечного города с низким гулом в сторону Гило (предместье, которое арабы тогда постоянно обстреливали миномётами из Бейт-Джалы) прошёл боевой вертолёт. Это наши!

К моему столику подошла молодая девушка в полицейской форме. Я её знал, она была из Хабаровска.

— Зоенька, привет! Присядь.

— Привет! — сказала она. — Погляди туда, вон видно, на повороте на Кинг Джордж машина стоит. Там тебя ждут. Пошли, расплачивайся. Зачем ты водку пьёшь? Здесь не любят этого запаха. Возьми-ка жвачку.

В машине сидела женщина, о которой я думал весь этот вечер. Зою она взяла с собой как доверенное лицо и переводчицу. И они увезли меня в район, где живут богачи, и где этой женщине принадлежала огромная квартира, половина этажа, сколько там было комнат я до сих пор не знаю. Мы втроём сели в просторном «салоне» за низкий столик.

— Она хочет, чтоб ты поел. Будешь мясо?

— Слушай, есть я не хочу.

— Хочешь ты — не хочешь. Ты не трави её. У неё крыша едет, потому что её муж бросил. И, подлец, уехал.

— Он тоже полицейский был?

— Дурак ты. Он был очень известный здесь гитарист. Американец. Уехал в Штаты. А детей у них не было. Он потому и уехал. И еще, потому что она всё время на «территориях». Он сказал, что не хочет жить с винтовкой М-16. Это он так ей сказал, а она его любила. И смылся. Понимаешь?

На меня смотрели огромные, чёрные, совершенно несчастные глаза. Но слёз в них не было. Там другой был блеск.

— Скажи, я б выпил немного водки. Да как её зовут?

— Авивит. Слушай, что ты с этой водкой? Тот, сволочь, всё время тут виски жрал. И опять такая же история.

Я посмотрел на Авивит. Что за имя? Она была в штатском, и это её совсем не красило. Вдруг она улыбнулась и что-то спросила.

— Она спрашивает, как ты, журналист, оцениваешь здешние дела.

В то время я был настроен крайне право. В Израиле это значит — ничего не уступать, воевать до победы. Я сказал, что мы

должны всё время помнить Иуду Маккавея.

— Маккаби… — серьёзно произнесла она, ломая тонкую чёрную бровь.

— Она говорит, что ты мужчина, и говоришь, как мужчина должен говорить. Но ты не военный. Ты не понимаешь… — Авивит продолжала с увлечением говорить. Она смотрела на меня лихорадочно блестевшими огромными глазами. — Говорит, что Маккавеи имели идеологию… Так что ли? А эта идеология… Которую они имели, она их… возносила что ли. А нас та же идеология душит. Эта она про датишных (религиозных) говорит. Она левая, датишных не любит. Она говорит, что воевать мы не можем, потому что сионизма больше нет. Сейчас постсионизм, а он сил не имеет. Ты понимаешь?

— Скажи Авивит, что я её понимаю. Скажи ей, что я не знаю, что мне делать сейчас. Скажи ей именно так. Не знаю, что мне делать.

— Она спросила, ты хочешь уйти?

— Скажи, что не хочу.

— Смотри Миша. Тогда ведь я уйду.

— Давай, Зоенька, — сказал я. — Давай, уходи домой. Поздно уже.

И она ушла. А я остался.

Тут будет купюра. О том, что дальше было, я писать не умею, к тому же считаю, что это не правильно, писать об этом. Ведь сколько не пытались, а никто ещё не написал так, чтоб это было равноценно — написанное и пережитое.

После этого прошёл месяц. Это был для меня трудный месяц, сумасшедший, причина всех моих в Израиле неудач, но так было здорово, будто мне стало снова двадцать лет. Мой начальник был араб-никайонщик, я от него прятался и вешал ему на уши лапшу. У неё было начальство посерьёзней моего, но, похоже, она делала то же самое. В общем, мы прятались. В этой сказочной квартире. Однако, от Бога не спрячешься — тут евреи и христиане вроде согласны. Никуда от него не уйдёшь.

Раз я вечером на рынке был с женой. И вдруг увидел Авивит. Она, вероятно, проверяла, как патрули на рынке стоят. Не знаю. Стояла в окружении офицеров. И посмотрела на нас с женой. А моя тогдашняя жена, хотя и очень уже немолодая, но потрясающая красавица. Сейчас мы с ней по глупости расстались, от чего я и вернулся в Россию, а тогда просто ещё ругались невесть о чём. Я стоял со множеством пакетов в обеих руках и смотрел на Авивит.

— Погляди, какая красивая женщина, — сказала жена. — Это марокканка?

— Не знаю, — сказал я. — Действительно красивая…

На следующий день к Авивит пришла Зоя. Я, конечно, понял почему она пришла. Чего тут было не понять? На этот раз на столе стояла бутылка виски «Белая лошадь» и ваза со льдом.

— Она хочет посмотреть, как ты пьёшь. Ты, действительно, можешь выпить целый стакан виски?

И снова она смотрела на меня этими огромными чёрными глазами. Вот, глубина этих глаз еврейских и жёсткий прищур офицерского взгляда.

— А ты спроси, её муж мог так?

— Ты, Миш, чего, подлец что ли?

Долго я молчал. Вдруг Авивит вскочила в нелепом на ней, открытом платье и закричала. У неё был очень низкий, сильный голос. Что-то она кричала. Только некому было на этот её приказ откозырять.

— Так что?

— Спрашивает, что ты собираешься делать. Слушай, она говорит, что не хочет ничего слышать о твоей жене. Она еврейка. Она не разбивает семьи. А теперь спрашивает, почему ты не разведёшься со своей женой. Почему ты не оставишь её, ведь ты ей говорил, что её любишь. Так ты ей говорил. Это единственное, что ты можешь связно сказать по-английски, — Авивит была, конечно, не вполне последовательна.

— Зойка, — сказал я, — давай-ка уходи. Я сам с ней разберусь.

— Нет, — сказала Зоя. — Вместе уйдём или ты останешься. Ты погляди на неё.

Я поглядел.

— Пошли Зоя. Авивит, леитроот! (кажется, это значит — увидимся).

В машине Зоя спросила меня:

— Миша, что это всё такое?

— Ох, Зойка, не знаю. Вижу, что плохо всё, а что такое… Кто она эта Авивит, ей-Богу, не пойму.

— Ну, как… — сказала девушка. — Они ж герои. Израиль. Да кто их знает. Мне её жалко. Такая красивая…

* * *

В последние несколько дней в голове у меня всё перепуталось. Дело в том, что пишу я с семи лет — столько мне исполнилось, когда я впервые принёс своему отцу некое художественное произведение. Это была элегия на смерть

Сталина. Но читателей у меня не было никогда. Мне не удавалось опубликоваться, и я всегда читал свои сочинения сначала родителям, своему дядьке, которого очень почитал, жёнам, детям, друзьям, которых было немного. Признаюсь, это было грустно. О своей работе журналистом я не говорю. Я никогда не хотел быть журналистом. Пришлось из-за денег.

Вдруг оказалось, что меня читают одновременно 490 человек, а мне ещё говорят, что в действительности больше, потому что не все об этом сообщают в мой журнал.

Свою деятельность в качестве автора ЖЖ я начал с дурацкого нравоучения по поводу матерной ругани. Теперь я вижу, что ЖЖ — это гениальное изобретение. Ведь фокус ещё и в том, что меня прочли люди, с которыми я никаким образом и нигде не мог бы пересечься, помимо этого Журнала. И если б меня издали самым великолепным образом с иллюстрациями Доре, никто из этих ребят всё равно читать бы меня не стал. А тут прочли. Что это значит для человека, писавшего в стол больше полувека, знает только тот, кто сам был в таком положении.

Сейчас я пробую немного успокоиться и сообразить, что, собственно, я хочу здесь показать. Пока я посылаю два отрывка. Первый — о себе. Во втором я пишу о репатриации в Израиль, как это у меня сложилось в судьбе и в голове. Меня прочли многие израильтяне, и пришлось мне прочесть в комментариях много тяжёлых, горьких слов в свой адрес. Ну, что-то вроде ответа.

Но я хочу предупредить всех, что я не пишу мемуаров. Это не документальные материалы. Я, вообще считаю, что, опираясь на документы, действительность невозможно верно воспроизвести. Вот что я имею в виду. Например, один человек спросил меня, много ли выдумал Владимов в «Трёх минутах молчания». Я ему впопыхах ответил, что он всё выдумал. А на самом-то деле Владимов ничего не выдумывал. Получилось у него, однако, совсем не достоверно.

Кроме того, мне очень важно, чтоб ясно было: я со своей колокольни сужу, но это ни для кого не обязательно. Я не думаю, что одно и тоже явление может быть одинаково рассмотрено двумя разными людьми — это противоречит логике.

Хотя тут есть одна совсем молоденькая девушка, которая, мне кажется, очень близка к моему взгляду на вещи. Но со временем это может измениться у неё. Так это будет нормально. Ведь у меня есть внук, который, вернее всего, её гораздо старше. Долгое время эта девушка одна только откликалась на мои записи. Я этим сильно тронут, просто выразить трудно, как это было мне нужно. Она же в моём журнале прочла много тяжкого, тёмного, мрачного и просто стариковского. Дай Бог, чтоб это ей не пошло

на вред.

Ну, ребята, давайте, читайте теперь.

P.S. Пожалуйста, напишите кто-нибудь, не слишком ли это длинно для ЖЖ.

«Весь мир — тюрьма», — кажется, Гамлет это говорит кому-то из своих друзей, которым он, впрочем, верит: «…как двум гадюкам». Странно, что мне пришлось без малого шестьдесят лет топтать дороги, исхоженные сотнями поколений моих предшественников, для того, чтобы понять к старости, какую тяжкую правду он имел в виду. Население немилосердной планеты делится на тех, кто спокойно съедает свою пайку, если её у него не отобрали, и, засыпая на нарах, мирно мечтает увидеть во сне что-нибудь реально осуществимое в условиях неволи, и на тех, кто пытается бежать. Первые условно могут считаться счастливыми людьми, умея радоваться малому. Вторые на свой манер тоже счастливы, но мира они не знают, и покой им только снится. Они томятся и стонут душой, готовясь к побегу или, уходя в побег и тревожно вслушиваясь в нагоняющий их, азартный, заливистый лай конвойных собак, но где-то в неясном далеке, впереди им чудится некое таинственное свободное пространство. Никто, однако, не знает, что такое свобода. Беглые рвутся к ней, просто потому, что она есть нечто противоположное утверждённому навеки тюремному распорядку.

Я — беглый. Родился беглым, среди беглых. И умру в побеге. И беда моя в том, что мне, никогда не узнать, где же свобода, что она представляет собою и что может дать мне, или что у меня отнимет.

Не то, чтоб я в этих отрывочных заметках надеялся подвести какие-то итоги длинной, путаной, бестолковой и вконец неудавшейся жизни, но клочья воспоминаний, словно рваные облака лютым ноябрём, всё чаще стали проноситься над моей головой. Бывшее перепутано с несбывшимся. Многое дорогое позабыто, но в памяти, которая постепенно выходит из строя, будто в компьютере, исчерпавшем свой ресурс, неожиданно оживает воображаемое.

Скучно бывало редко. Весёлого мало, больше грустного. Но почти всегда было больно. Бывало страшно. Бывало обидно. Но иногда было удивительно красиво, происходили чудеса, сбывалось нечаянное, слышались голоса ангелов — впрочем возможно, это были демоны, а вернее всего просто какие-то шлюхи из Москонцерта, но звучало восхитительно, горячо билось сердце, слёзы горели, жгучие и чистые. К сожалению, все оказалось напрасным — и плохое, и хорошее. Сейчас, оглядываясь

вокруг, я не нахожу ничего знакомого, ничего мною предвиденного. Кто бы мог подумать! То, что казалось незыблемым, надёжным, как родная твердь под ногами, оказалось ветхим дощатым настилом, который трещит и шатается, вот-вот обрушится, а внизу отнюдь не бурный поток прозрачной горной речки, который в юности я переходил по бревну (это было невероятно давно, в далёкой тунгусской тайге), а тёмные воды затхлого, гнилого пруда с лягушками, пиявками и головастиками. Не хватало ещё свалиться и на старости лет утонуть в нечистотах. Проклятое время! — вечная жалоба старика. Но, послушайте! Время моё, действительно, было проклято кем-то. Как, впрочем, и любое другое время. Человеку, родившемуся в мир и сделавшему первый шаг вперёд, впервые оторвавшись от материнской юбки, любая эпоха надевает на шею жёсткую петлю пожизненного рабства тем или иным образом, но поначалу так незаметно, осторожно и даже ласково, что он этого не способен заметить. И только духовно созревая, уже в разумном возрасте человек обнаруживает, что безнадёжно связан. Тогда он смиряется с этим как с неизбежностью или всю жизнь стремиться найти возможность разорвать омерзительные путы — и то и другое связано с мучительными страданиями. Именно этим — ни в коем случае ничем другим! — объясняется медицинский факт катастрофического распространения сердечно сосудистых заболеваний, в особенности инфаркта, который есть не что иное, как разрыв сердца. Сердца рвутся! Они недостаточно прочно устроены, не выдерживают.

А, собственно, за что Создатель осудил каждого, на чью долю выпали очередные тёмные годы, которые Он в самый первый День рождения преподносит человеку вместо подарка в качестве его грядущей судьбы? И кто мог выдержать эту свинцовую тяжесть небесного проклятия? Только глубокомысленные ценители благопристойной, умеренной выпивки и обильной домашней закуски — больше никому не под силу такое: Закусывайте, закусывайте, ребята, а то захмелеете, утром будет голова болеть… Закусывал я плохо, аппетита не было. Поэтому в порядочных домах меня боялись усаживать за стол. Однажды хозяйка говорит:

— Кушайте, кушайте, Миша. Кушайте на здоровье. Самое главное — здоровье, здоровье дороже всего, остальное приложится… — с доброй улыбкой, ласково, по-матерински.

Но я, проглотив фужер водки и закуривая:

— Ничего подобного. Это для племенного жеребца здоровье самое главное, а мы же люди!

— Боже мой! — пожилая дама почему-то искренне

оскорбилась и глядела на меня, с сожалением качая головой. — Человек вы совершенно невозможный. Это рано или поздно должно кончиться плохо. Вы постоянно находитесь в оппозиции. Это что-то местечковое в вас проявляется. Это замкнутость еврейского местечка. Обязательно хотите быть непохожим. Но ведь нужно на что-то реальное опираться?

Не на что мне опереться. Умел бы я летать. Хотя летать по воздуху — по-моему занятие несерьёзное, разве что на самолёте. Но писать я умею. Это отчасти напоминает полёт, а иногда свободное падение. Этого у меня никто не отнимет.

Родина

Не все ль равно, какой земли
касаются подошвы?

Б. Окуджава

Автор этих заметок значительную часть своей жизни потратил, переезжая с места на место. «Видел дальние страны и звёзды чужих небес» — так, кажется, написано на могильном камне Стивенсона, и я смело могу сказать о себе то же самое. Улыбнитесь — я не обижусь, но я этим очень горжусь. И вот под старость за несколько лет до своего шестидесятилетия снова я покинул страну, где родился, и уехал на родину историческую, в страну, где до того ни разу не побывал, где некогда жили далёкие предки моей покойной матери. Уехал, чтобы жить и умереть там. Почему я это сделал?

Ну, во-первых, конечно, роль тут сыграл еврейский вопрос. Я еврей, не только по матери, но главным образом, как мне представляется, потому что «не уродился русским» по выражению моего отца. В России я получил, кажется, всё… нет, вру: не всё, конечно, если жив остался и не искалечен, но весьма значительную часть того мучительного и безысходного, что здесь в течение целого тысячелетия время от времени совершенно безвозмездно и весьма настойчиво предлагается любому местному уроженцу, а сверх того ещё и дополнительный еврейский спецпаёк (тоже, разумеется, не полностью, но с моей точки зрения в достаточном количестве). Были, конечно, причины личного характера. Были причины, которые вряд ли могут быть понятны многим моим землякам-евреям, а некоторым, уверен, наоборот покажутся очень близки — среди них первая, развал СССР, который явился для меня неожиданным потрясением, не смотря на то, что я родился и был воспитан в семье, крайне антисоветски настроенной, и позднее даже участвовал в работе некоторых диссидентских организаций. Я никогда не думал, например, что потеря Россией Черноморского флота станет для меня столь тяжким ударом (в молодости я был моряком), до сих пор не могу смириться с мыслью, что украинцы, с которыми, я без малого десять лет работал в Атлантике и Тихом Океане, стали иностранцами, никак не могу понять, куда девался Арбат, и почему нельзя посидеть там в шашлычной «Роиони», и нельзя слетать во Владивосток или Магадан, где у меня друзья, и нельзя в Сухуми, и нельзя в Таллин. И почему я, должен выбирать между

православным коммунизмом и злой пародией на европейскую демократическую доктрину? И почему в моей родной Москве, в подземном переходе на Тверской, ко мне подходит с виду вполне порядочный молодой человек и, вероятно, не имея ещё привычки узнавать людей моей национальности с первого взгляда, вежливо предлагает мне брошюру, которая называется «Россия и жиды», — с доброй улыбкой: «Почитай, папаша, очень полезная книжка». К слову об антисемитизме, я никогда не боялся его и, быть может поэтому, не очень от него пострадал. Правда, мне несколько раз в драках на национальной почве ломали переносицу (длинный еврейский нос меня подводил), но ведь я и сдачи давал. Кому сильнее доставалось?

Не знаю, стоит ли обращать внимание читателя на то очевидное обстоятельство, что в мотивах моего переезда из России в Израиль национальная, еврейская мелодия едва слышна. Однако, в момент, когда стало ясно, что из России я хочу уехать, передо мною не возник вопрос, куда я уеду из России. Хотя я и работал до того во многих странах за пределами СССР, сложилось так, что если не в России, то жить постоянно нигде, кроме Израиля, мне и в голову не пришло. Одним словом, как бы то ни было, я уехал.

Я провёл в Израиле чуть больше трёх лет и недавно появился в Москве по делу. Собирался на месяц, а пробуду здесь, возможно, целый год, а может быть и дольше, а может и вовсе никогда не вернусь в Израиль. Приходится признать, что минувшие три года прошли для меня очень непросто. Израиль крепко и больно вошёл в мою душу, как женщина, которую люблю, и которая, не знаю, ждёт ли меня там. Но теперь, умудрённый горьким опытом, я постоянно задумываюсь над тем, где мне искать в Израиле работу, потому что я журналист — к сожалению, ни одно русскоязычное издание в еврейской стране, с моей точки зрения не годится никуда профессионально, не говоря уж о том, что никому не нужна литературная работа на русском языке, чего и следовало, впрочем, ожидать, а работать по шестнадцать часов у заводского конвейера, как мне приходилось в течение двух с половиной лет, не могу уже по возрасту.

По счастью некоторые серьёзные проблемы, которые, буквально, терзают новых репатриантов в Израиле, меня коснулись не так остро, как многих моих товарищей-репатриантов, приехавших со мной одновременно. Например, когда в Иерусалиме ночью во сне я ощущал явственный запах махорки, и снился мне матросский кубрик, или таёжная палатка, или прокуренный грохочущий тамбур вагона, где за мутным стеклом разворачивается родной, необъятный тысячеверстный

простор, я не переживал отчаяния, грустно было, но грусть эта душу не надрывала. Почему? У моряков, есть поговорка: «Не мучайся — земля-то круглая», — я это усвоил с молодых лет, и нет на земле такого места, которое могло бы мне показаться замкнутым пространством. У большинства это не так. И вот я хочу поделиться своим опытом с теми, кто собирается, как и я, совершить алию — восхождение на гору Сион, так принято в Израиле называть репатриацию евреев.

Прежде всего, конечно, следует отметить, что алия лично мне пока не удалась, моего духовного восхождения на гору, где некогда, в соответствии с библейским преданием Авраам, праотец всех евреев, должен был принести в жертву Богу сына своего Исаака, не произошло. Не произошло далеко не исключительно по моей вине. И, насколько я могу доверять своим отрывочным впечатлениям, в современном Израиле люди, совершившие такое восхождение, вообще, находятся в меньшинстве. Более того, их не любят, сторонятся и даже боятся из-за их неукротимого характера, вспыльчивости, упрямства и ряда других качеств, делающих таких людей, как и сабров (сабра — кактус по-арабски — т. е. местный уроженец еврейского происхождения) скорее похожими на северокавказцев, афганцев или курдов, чем на евреев диаспоры, какими на всех обитаемых континентах привыкли видеть евреев различные народы, в чьей среде они жили веками. Вероятно, поэтому и по некоторым другим причинам в большой политике, бизнесе, среди руководства многочисленных религиозных общин, в искусстве и литературе, в спорте, даже в преступном мире — повсюду слышны имена деятелей, несущих неизгладимую печать страны исхода.

Мне показалось, будто ясное осознание того, что я собираюсь сейчас написать, необходимо каждому еврею, намеревающемуся совершить репатриацию, но ничего подобного, к сожалению, невозможно прочесть в печатных изданиях «Еврейского Агентства» и ряда других израильских государственных и общественных организаций, действующих в странах, где евреи живут и которые они собираются покинуть с целью обрести свою национальную среду, утраченную два тысячелетия тому назад. В особенности же знать об этом должны те, кто едет в Израиль, не имея никаких идеологических мотивов, просто в поисках спокойной и комфортной жизни, спасаясь от безработицы, бедности, войны и т. д. Таких репатриантов Израиле очень много, и они по праву заслужили прозвище «колбасная алия», которое, думаю, очень верно их характеризует и легко объясняет скверное отношение к ним местного населения.

В Израиле у меня много знакомых полицейских, уголовников

и бродяг. В этом нет ничего удивительного, потому что такова специфика «русской улицы» в этой стране. Золотое небо над Святым Городом прекрасно, как и тысячелетия тому назад, но и люди так же неразумны, жестоки и несчастны, как всегда под этим небом. Вот несколько беглых заметок об этом.

Итак, в первые дни по приезде мы с женой бродили по Иерусалиму, глазея во все стороны, покупая всякую ерунду и то и дело присаживаясь за столик в многочисленных кафе. У нас были деньги, «корзина абсорбции», которые казались немалыми, хотя бы уж потому, что получены были даром — это был первый случай в моей жизни, когда кто-то вручил мне деньги совершенно бескорыстно, не в уплату, и не в благодарность за что-то, а просто потому, что я приехал. И, если б я, репатриировался, имея счёт в Швейцарском банке, «корзина» всё равно была бы мне положена.

На меня город произвёл ошеломляющее впечатление. Быть может, однако, это объясняется тем, что я невольно наполнил его историческим, нравственным и духовным содержанием, дорогим мне с раннего детства. Вот здесь, на пологих склонах этих древних гор, кода-то горели бесчисленные костры непобедимого войска Давида, незадолго до того в Хевроне провозгласившего себя царём над Израилем. А там, где сейчас сияет золотой купол мечети Аль-Акса (символический камень преткновения ближневосточного конфликта), высились стены неприступной крепости Цион, в которой пытались обороняться иевсуиты. И вот я уже представлял себе суровые лица их воевод, подходивших к царскому шатру с предложением выкупа за возможность оставить крепость без боя. Мне слышались звон оружия, ржание коней и воинственные выкрики *шлошим гиборим*, «тридцати героев», составлявших ближайшую дружину неустрашимого полководца, величайшего поэта и религиозного вождя евреев. Так начиналась Мировая История. Однако…

Мы проходили мимо небольшого кафе, откуда слышалась родная речь, и я предложил зайти. Мы ещё не успели сесть за столик, как жена быстро подошла к какому-то человеку, сильно обросшему, седому, оборванному и засаленному, вернее всего не одну ночь спавшему под открытым небом.

— Как вы смеете здесь материться? — закричала она. — Убирайтесь!

— Геверет (госпожа)…, — произнёс он заплетающимся языком.

Предположив, что он сказал что-то оскорбительное, я тоже подошёл и взял жену под руку:

— Что такое ты сказал?

— А-а-а, понятно, — протянул он. — Виноват, гражданочка. А

я… А мне, извиняюсь, конечно, куда убираться-то?

— В Россию убирайтесь, там вы можете материться, сколько вам угодно.

Он покачал отяжелевшей головой:

— Сию минуту, шнурки только поглажу. А вы, извиняюсь, давно в стране?

— Четвёртый день.

— А я семнадцатый год. Вы мне не добавите? — пятнадцати шекелей на дорогу не хватает. До самого Кировограда.

Я протянул ему бумажку в двадцать шекелей:

— Ну, ладно, друг, не обижайся.

— Какие там обиды? — тянул он. — Домой еду. Зеев! Насыпай мне сразу двести грамм. Вот выпью, и сразу — дома. Красота… Сперва к отцу схожу на кладбище. Нет, сперва я ещё выпью, а потом…

— Рома, — сказал ему бармен из-за стойки, — верни людям деньги и сиди тихо. Ты и так уже готов, — он обратился к нам. — Смотрите, двадцать шекелей здесь не такая пустяковая сумма, курицу можно купить. Ну, и как вам тут у нас?

— Да, как-то пока…

— Не расстраивайтесь, дальше будет ещё хуже, — очень популярная среди репатриантов шутка.

В Тель-Авиве есть у меня хорошая знакомая, которая в большой беде, я обещал ей помочь, она поверила, что хочу помочь, но знала, что не помогу. Она права оказалась. Хотел бы я знать, как она там сейчас сражается за место под солнцем. Неля, «туристка» — трудится в публичном доме. «Очень симпатичная девочка, — так характеризует её усатая и злобная интеллигентная дама, которая в заведении заведует кадрами. — Хотя и несколько полная, но очень симпатичная. Имеет европейский шарм». Действительно, ярко-рыжая с веснушками, зеленоглазая, очень подвижная и весёлая толстушка лет тридцати пяти. Приехала в Израиль из Омска. Хозяин вставил ей великолепные зубы, за которые она уже выплатила (на это ушло два года напряжённого труда) — предмет гордости — можно улыбаться и даже заливаться то и дело серебристым смехом безо всякого урона для бизнеса.

Есть в Тель-Авиве, дешёвый олимовский ресторан, который называется «Эдем» (Неоновая реклама подмигивает: «Все виды услуг!»). Я спросил бетахонщика:

— Что, точно все виды?

— Есть деньги? За деньги — что хочешь. Что ты хочешь?

Я захотел двойную порцию водки и стакан чаю.

— Правильно, — сказал парень, внимательно прозванивая

меня. — Это по-русски. И не дорого. Садись, заказывай.

Я сел за столик и стал наблюдать, как одна из девочек, опираясь пышной грудью о стойку, вытанцовывала что-то латиноамериканское под музыку, которая неслась из мощного усилителя за спиной у бармена. Собственно, она танцевала одной своей круглой, упругой, необъятной и в то же время поразительно гармоничной в своих нежных очертаниях задницей, туго обтянутой полупрозрачной тканью. Все мужчины любовались. Грешный человек — любовался и я. Бармен, мимолётно глянув на меня, что-то негромко ей сказал, она тут же повернулась ко мне:

— А за просмотр мне ничего не причитается? — с ослепительной фарфоровой улыбкой.

Я отодвинул свободный стул, приглашая её за столик.

— Сколько с меня за просмотр?

— Шучу. А за настоящий стриптиз полсотни шекелей.

— Выпьешь водки?

Она посмотрела на часы:

— Нет, поздновато уже. Мне всю ночь работать. Возьми кофе и чего-нибудь сладкого.

Она уплетала пирожные и выпила две чашки крепчайшего кофе.

— Слушай, я беру двести пятьдесят за час очень крутого секса. Для тебя будет полтораста.

Я качнул головой:

— Не обижайся, я так не делаю никогда, — признаюсь, именно потому, что она понравилась мне, я покривил душой.

Грустная тень набежала на румяное лицо и прошла. Неля звонко засмеялась:

— Молодая жена?

— Почему молодая? Старая.

Грустная тень на этот раз не проходила целую минуту. Затем улыбка вернулась.

— Всё правильно. Смотри. Ещё года через два я совсем растолстею, со мной работать станет не выгодно. Я тогда с хозяином рассчитаюсь, заведу себе приличный прикид, типа «деловая женщина», и поймаю здесь дорогого лоха. Выйду замуж… Не веришь? Ладно. Пошли в номер, я сама заплачу.

Снова я покачал головой. Вдруг лицо её стало серьёзно и строго, сдвинулись золотистые брови и потемнели глаза.

— Ну, почему так всегда? Как интересный мужик попадётся — или женатый, или мозги набекрень, — сколько же раз мне приходилось слышать эту фразу от одиноких женщин за последние сорок лет! — Тут один ходил ко мне, датишный (религиозный), обещался в Штаты увезти, гиюр (процедура

обращения в иудаизм) грозился провернуть в Раббануте за двое суток, я побоялась…

— Чего ж ты побоялась?

— Да ну их… Ладно. За угощение спасибо. Приходи, как время будет, потреплемся. Пойду, часок покисну одна в бассейне — я так отдыхаю всегда, а то повалит народ, уже будет не до того.

Меня арестовали дома, поздно вечером. Если позволите, не стану уточнять, за что арестовали. Был об этом материал в «Огоньке». Во всяком случае, ничего такого, что могло бы заставить российского участкового пальцем шевельнуть. Я провёл в Иерусалимском СИЗО полмесяца — чепуха, и отпустили со строгим предупреждением. На арест приехал русскоязычный полицейский, молодой парень.

— Милостивый государь, — он застенчиво пытался шутить, чтобы позолотить земляку пилюлю, — я вынужден арестовать вас именем закона.

Стараясь держаться бодрее, я ответил:

— За неимением шпаги, могу вручить вам только свой теудат зеут (паспорт).

У нас на лестнице не было освещения, и он предупредительно пошёл вперёд со словами: «Осторожней, вот безобразие — здесь шею сломаешь у вас». Потом нужно было идти по узкой, неосвещённой дорожке, которая метров через десять раздваивалась — направо, к его машине и налево, в лабиринт таких же дорожек в густых зарослях кустарника. Головокружительный аромат иерусалимских роз. Мой конвоир шёл впереди, а я за ним. Когда мы сели в машину, я сказал ему:

— Послушай, парень. Я, арестованный, иду у тебя за спиной в темноте и в мягких бесшумных сандалиях. Во-первых, я мог бы выдернуть у тебя пистолет из кобуры. А во-вторых, гораздо проще: когда ты свернул направо, я бы у тебя за спиной пошёл налево. И когда б ты меня догнал, и где?

— А я знал, что ты не сбежишь.

Не смотря на недовольство напарника, тоскливо зевавшего за баранкой, этот парень проговорил со мной минут сорок. Оказалось, что его странная для полицейского манера нести патрульно-постовую службу объясняется просто тем, что он по профессии (принято говорить: «в прошлой жизни») — школьный учитель математики. Хотя ему и удалось подтвердить в Израиле свой диплом, но устроиться на работу в школу он не смог и больше не надеялся. Службой в полиции был очень недоволен. Естественно, начальство, также, было им недовольно. Дело двигалось к увольнению.

Напарник с раздражением напомнил ему, что положено

надеть на меня наручники. Он что-то очень резко с русским матом пополам ему ответил.

— Хватит дурака валять, — сказал я ему, протягивая руки. — Мне от этого не легче, а тебе влетит.

Неожиданно он сказал с характерной картавостью и типичным выговором уроженца бывшей российской черты оседлости:

— Ну, жиды проклятые, вашу мать!

Я ошеломлённо уставился на него.

— Ну, что вы на меня смотрите? — сердито проговорил он, застёгивая на руках у меня «браслеты». — Да. Я в Израиле стал антисемитом.

— А ты разве не еврей?

— А кто ж? Еврей, конечно, — печально ответил он.

Известно, что ностальгия, в большей или меньшей степени всегда поражающая человека, покинувшего родной край, особенно болезненно проявляется у российских уроженцев. Никто не должен забывать об этом, принимая решение об эмиграции или репатриации за пределы России, как бы тяжела ни была его жизнь в России. С другой стороны, куда бы ни переехал такой человек, повсюду его встречают неласково, во всяком случае, с решительным непониманием, и это вовсе не относится исключительно к этническим русским. С древнейших времён в России, а тем более, вплоть до недавнего времени — в СССР, культурная, технологическая, трудовая и бытовая база, как для простого обывателя, так и для высоколобого интеллектуала, была абсолютно уникальна. Перемены, наметившиеся в недавние годы, далеко не так значительны, как это представляется со стороны. По-прежнему нигде в мире люди не живут, не работают, не развлекаются и даже не умирают так, как на «шестой части суши». Где мне только не приходилось встречать российских эмигрантов, мучительно пытавшихся усвоить чужой жизненный стереотип и неспособных этого сделать. Многие же сразу его отвергали, пытаясь продолжать жить по-российски, что за пределами России совершенно невозможно. Я наблюдал это трагическое явление в США и Канаде, на Кубе, в Испании, в Англии, в Гибралтаре, Гане, Сенегале — повсюду там можно встретить человека, который, услышав русскую речь, бросается к вам, со слезами и тоской, будто к родному брату после долгой разлуки. Что же касается евреев, репатриирующихся в Израиль, то, практически, каждому из нас за немногочисленным исключением приходится переживать ещё более сложную и противоречивую ситуацию.

Одно из тяжелейших и неизгладимых воспоминаний моей молодости. Была девушка, которая мне очень нравилась, и, кажется, я нравился ей. Однажды она сказала:

— Миша, не обижайся. Ты хороший парень, но у нас с тобой никогда ничего не будет.

— Почему?

— Говорят, от евреев пахнет как-то нехорошо…

Когда сейчас я пишу об этом на пороге неумолимой старости, седой и лысый, по-русски говорят: *битый жизнью* человек, я всё ещё не преодолел эту горькую, несправедливую обиду, и руки вздрагивают, и больно тяжелеет сердце. Но вот, приехав в Израиль, я впервые столкнулся с тем, что окружающие не видят во мне еврея, не признают своим, меня называют русским, со мной обходятся, как с гоем, а есть на идеше ещё и слово «хазер», свинья — так вот, это я, пока я не преодолел в себе всё, что во мне есть русского. И тут же выясняется, что русского во мне очень много, хоть я и не уродился русским, как это отцу моему виделось, а еврейского нет почти ничего, по убеждению окружающих меня израильтян. Кто ж я был в России? Кем же я стал в Израиле?

С другой стороны. Однажды, ещё в ульпане, ко мне подошла немолодая женщина и спросила, что такое Левант. Она была очень взволнована и удручена. Поздновато, однако, она задалась этим вопросом.

— Ну, это общее название стран восточного Средиземноморья. А почему, собственно, вы этим заинтересовались?

— Арабы, значит, левантийцы?

— А как же?

— А израильтяне?

— Ну, а как же? — повторил я.

Я рассказал ей, что левантийцы — как правило, люди, воинственные, взрывные, решительные, предприимчивые и склонные к авантюрам. В Средневековье левантийский купец, снаряжая корабль с товаром в дальнее плавание, вооружал его для защиты от тунисских пиратов таким образом, чтобы, при случае, боезапаса хватило бы и для нападения. Типичным левантийцем был, например, Отелло. За минуту до смерти он рассказывает, как однажды в Алеппо зарезал турка за то, что тот «бранился и поносил Республику». Вся его жизнь, полная опасностей, несчастная любовь к дочери дожа, бешеная ревность, и смерть — всё это характерные проявления *левантийского менталитета*. Я увлечённо рассказывал ей, как за несколько дней до начала войны 1948 года Голда Меер, переодевшись

простой крестьянкой, в сопровождении проводника-араба, который никак не мог быть надёжным в те дни, пробиралась к королю Трансиордании Абдаллаху для последней попытки предотвратить кровопролитие. Я говорил о нынешнем премьер-министре, который в 1973 году, когда Израиль находился на грани полного разгрома, под непрерывным обстрелом внезапно навёл понтонный мост, форсировал Суэцкий канал и не полностью укомплектованным танковым батальоном вышел к Суэцу. Писатель Фромер, служивший тогда в инженерных войсках и наводивший эти понтоны, вспоминает, как А. Шарон первым проехал по мосту на простом «джипе», а на броне одного из семи его танков кто-то написал: «Арик — царь Израиля».

Женщине, которая обратилась ко мне, такая характеристика израильтян совершенно не понравилась. Евреи её родного города Житомира были совершенно другими людьми, она выросла среди потомков Тевье-молочника, находившего силы в мудром смирении перед немилосердной судьбой, и других евреев знать не хотела. Она слушала меня, склонив голову, молча. Потом сказала: «Нет, это не моё… Нет, нет!»

Иными словами, приезжая в Израиль, вы, прежде всего, обнаруживаете, что действительность радикально отлична от ожидаемого, и перед вами альтернатива — принять действительность, как она есть, или жить в одиночестве. Одиночество повисает над новым репатриантом, словно тёмная туча, как только он сошёл с трапа самолёта. «Некому сказать: Шалом!», — так это выразил один мой знакомый, приехавший в Израиль лет пять тому назад.

Множество распавшихся семей, поскольку один из супругов сумел абсорбироваться, а другой не сумел или не захотел. Почти неминуемый конфликт с детьми по этой же причине — молодёжь легче привыкает. Весьма сомнительная в России житейская истина, будто родители и взрослые дети должны жить отдельно, в Израиле становится непререкаемым законом.

Сегодня израильское общество расколото по целому ряду кардинальных вопросов, связанных с политикой внутри и вне страны. Необходимо определить свою позицию в непримиримой вражде *правых* и *левых* — поборников войны с арабским миром до победного конца и тех, кто возлагает надежды на мирные переговоры, верующих и неверующих, сторонников централизованного государства с крепкой властью и европейской демократической республики, свободного рынка и социалистической модели экономики. Выходцы с постсоветского пространства, непривычные к открытой политической дискуссии, в большинстве случаев не в состоянии сделать верный выбор.

Опираясь на русскоязычный электорат, в Израиле существуют несколько политических партий, просто рассыпающих в своих программах обещания бесчисленных материальных благ — это эффективно в ходе предвыборной борьбы, не смотря на то, что такие обещания при внимательном рассмотрении совершенно не претворимы в жизнь.

Очень важно ещё одно обстоятельство. Государство Израиль крайне заинтересовано в алие. Однако, простому человеку осмыслить это, разумеется, сложно, и местные воспринимают репатриантов как явившихся на готовое нахлебников, которым приходится из кармана налогоплательщика выкраивать немалые куски.

Собственно, все, написанное выше, сводится к тому, что в Израиль нельзя ехать человеку, не способному или не готовому к тяжёлой борьбе за выживание. И ни в коем случае не следует ехать туда в надежде на благополучное и спокойное житьё. Израилю нужны солдаты и труженики. Война же на Ближнем Востоке носит крайне жестокий, истребительный характер с многочисленными жертвами среди мирного населения, а работа, которая может быть вам предоставлена, очень тяжела и плохо оплачивается. Потому что еврейское государство ещё не определилось в нерушимых границах, и внутренне его общественная жизнь не вошла в мирное русло. Кто хочет и в состоянии трудиться и сражаться за сионистскую идею — тот смело может и должен приехать в Эрец-Исраэль. А кто рассчитывает на безбедную и благополучную жизнь — тому придётся, возможно, подождать до конца 21 столетия, потому что никакое государство за полвека утвердиться не может.

И в дополнение ко всему написанному:

— *Хочу домой*, бо рега! (Подойди на минуту)» — именно так в первый же день моей работы меня окликнул бригадир. Не сразу я понял, что «Хочу домой» — это так он меня *назвал*, не понимая смысла русских слов. Он вовсе не хотел обидеть меня, просто механически повторил выражение, которое постоянно слышал от русских репатриантов, с которыми работал.

Итак, я хотел бы напомнить тому, кто меня, надеюсь, прочтёт, что ни в одном языке на планете слово *родина* не имеет множественного числа, как и слово *правда*, это вполне естественно. Вспоминайте же об этом в очереди за документами на ПМЖ.

* * *

На Колхозной есть пивная.
Там Москва гуляет пьёт,
Там Россия, мать родная,
Водку, пиво продаёт.
Там на нож нарваться можно,
И в железку там игра,
И заходят осторожно
В ту пивную мусора.
Как откроют утром рано –
Будни, праздник — всё равно –
Там старик какой-то пьяный
Собирает на вино.
Пьяный мёртво, безвозвратно.
Клок седой над потным лбом
И пороховые пятна
На лице его рябом.
Что он горя перевидел,
Крови, грязи, пота, слёз,
А на братьев не в обиде
Он за всё, что в жизни снёс.
Всё простил солдат калека!
Наплевать по чьей вине
Так загнали человека
На работе и войне.
Он смеётся, сыпет матом,
Головой седой трясёт,
И ему в пивной проклятой
Каждый водки поднесёт.
Но, когда под вечер тёмный
Возвращается домой
Он своей Москвой огромной,
Он своей Москвой родной –
Злой, лихой, хмельной, весёлый –
Возвращается во тьму…,
Сам с небес Святой Никола
Улыбается ему.

Сплети мне кружева! Ну, хочешь — будет лето,
Зелёная трава и купол голубой,
И юная листва, и жаркий ливень света,
И тишина, и птицы, и покой.
Сплети мне кружева, и пусть они по небу,

Как облака плывут в далёкие края.
Туда пускай плывут, где я ни разу не был,
Туда пускай плывут, где кто-то ждёт меня.
А Тот, кто ждёт меня, Он пусть меня не судит,
А просто пусть поймёт, как хороша была
Ты в час, когда, устав от наших горьких судеб
(В них все пути темны), мне кружева плела.

* * *

Средний рыболовный траулер морозильщик «Вайда» медленно подходил к причалу Калининградского Рыбного Порта. Моряки толпились у фальшборта, вглядываясь в разноликую толпу встречающих, и я среди этих моряков. Мне тогда было, вероятно, двадцать два года, может, двадцать три.

Я тогда был странный паренёк, очень непохожий на своих товарищей — на тех, с кем работал в Атлантике, и на тех, кого оставил в Москве, а между этими людьми лежала непреодолимая пропасть.

У бетонной кромки пирса редкой цепочкой выстроились пограничники. С берега, через их головы несколько раз, со взрывами смеха и весёлыми выкриками, наши ребята, уже сильно подгулявшие, бросали нам бутылки с водкой, которые разбивались, конечно. Две или три бутылки кому-то удалось поймать. Это что-то вроде традиции, не знаю, дожила ли она до нынешних времён. А мне только нужно было увидеть в толпе два лица, которые в то время были для меня дороже всего того немного, чем я в жизни владел и о чём знал или догадывался. Женщина и девочка у неё на руках — темноволосые и синеглазые, смуглые, с продолговатыми, удивительно нежного овала восточными лицами — отец этой женщины был таборный цыган, а мать украинка. И вот я разыскал их. Я некоторое время, с трудом переводя дыхание, любовался ими, они плакали и смеялись, девочка доверчиво протягивала ладошки к ржавой громаде надвигающегося парохода, а женщина, с трудом удерживая её, рвущуюся вперёд, вероятно, ещё не разглядела меня среди похожих, будто братья, почерневших от загара, заросших и одичавших мужчин. Я знал, как она волнуется. Мы не виделись почти десять месяцев. Она, часто думала о том, что в Гаване, Дакаре и Такоради вокруг меня было много молодых, красивых и доступных женщин, и что я тоже думаю о калининградских моряках, всегда провожавших её на улице

жадными взглядами, и что когда-нибудь это плохо кончится для нас. И нам обоим яростно хотелось, чтобы эти тяжкие помыслы поскорее рассеялись, как это всегда случалось, стоило нам только после разлуки остаться, наконец, наедине. Нам предстояло прожить на свете ещё несколько счастливых лет, до того момента, когда это однажды и наедине не прошло, и больше не проходило никогда, и живо в сердце до сих пор, будто твёрдый кусок холодного зла.

И вот она меня увидела. И она крикнула во всю силу своего прекрасного юного голоса:

— Мишка, мой! — сегодня, когда я пишу это, в моём прошлом нет больше ни одного по-настоящему светлого и чистого воспоминания, всё, так или иначе, замарано, и я всё чаще возвращаюсь к этому слабо мерцающему в мутной мгле невозвратной дали отсвету былой давно погубленной нами любви.

Нина стала пробираться ближе, я перегнулся через планширь и мы изо-всех сил смотрели друг на друга, она плакала, а я, как мог, проглатывал эти счастливые слёзы. Как же мне сейчас недостаёт слёз! Но сейчас я могу заплакать только спьяну, то есть это будет не по-настоящему, как в кино. На пороге шестидесятилетия плакать могут, наверное, только святые, а я ни разу в жизни святого человека не встречал и не верю в то, что человек из мяса и костей может быть святым, в том смысле, какой этому слову придаёт Священное Писание.

Я поступил в Литературный институт в 1971 году.

Дело было так. В Калининграде я целый месяц с помощью всяких сложных интриг добивался направления на тунцеловную базу «Солнечный луч», которая после рейса уходила в Иокогаму на гарантийный ремонт. И оттуда без автомобиля «Волга» никто не должен был вернуться. И на это у меня ушло рублей восемьсот, по тем временам огромные деньги. Кого я только не поил в ресторане «Балтика». У моего приятеля была возлюбленная — начальник элекро-механической службы Управления. Очень важная дама. Её возили в Светлогорск раза три, а она ничего, кроме армянского коньяка, пить не желала. Ну, шампанское, это само собой. Наконец, она позвонила в мой отдел кадров. Но этим звонком только была намечена следующая дама, которую тоже следовало угощать, а у неё ещё и с личной жизнью были проблемы, а на личную жизнь, сами понимаете, требуется время. В общем, я трудился, не за страх, а за совесть. А уж, когда всё было в порядке, оказалось, что я не успеваю пройти медкомиссию. Её мне прошли две девицы из больницы водников

за триста рублей и вечер в кафе «Ракушка».

Надо сказать, что женщины очень сильно и совсем бессовестно наживались на нашей рыбацкой каторге. Я прошу на меня за это не обижаться. Это были совсем другие женщины. Они не знали Интернета. Но и мы обращались ними так, что уж не хочется мне здесь расписывать. В наших портовых городах была война женщин и мужчин. Стою в очереди в магазине. Тогда плавленого сырка нельзя было без очереди купить. За мной занимают две морячки — видно по импортным тряпкам.

— Ну, что твой? Хорошо привёз?

— Да рейс был неплохой. А теперь у него отпуск и ещё отгулы. Это он полгода просидит на берегу. Я уж не знаю, как его наладить в море. Надоел, зараза, нажрётся своего виски, телек врубит и валяется на диване, как бревно.

Не пройдёт и полгода, и я возвращусь, чтобы снова уйти… на полгода! — кричит откуда-то Высоцкий.

Я поворачиваюсь:

— Что такое ты, крыса, про моряка сейчас вякнула? Я тебя убью, тварь, точно сейчас по бестолковке…

— Ага, давай, давай! Вон, как раз, мусор-то стоит. Ну, чего вылупился? Напугал тоже ежа… Вот поганые кобели, ещё он хвост подымает.

— Когда человек по полгода на тебя пашет в море, как…

— Ой, ладно, я сейчас заплачу горькими слезами…

Вот такие были романтические отношения с женщинами у наших моряков. Но если, кто из наших сейчас откликнется, что мол его жена ждала верно — я ничего против не имею. А меня ждала не верно. А студентом стал — она меня бросила. Она сказала: «Я за моряка замуж выходила, а не за студента». Может, она права была?

Получил я всё же направление. Явился на пароход, кое-какие вещи принёс туда из дома. На гафеле уже подняли «Всем быть на борту!», это такой флаг, голубой с белым квадратом в середине. Флаг отхода. Значит, со дня на день уйдём в море. Прихожу домой, а там лежит письмо. Я прошёл творческий конкурс в Литературный институт, и мне предлагается явиться в Москву для сдачи экзаменов не позднее, там не помню какого августа. Когда я с этим листком пришёл в кадры, меня сразу — к начальнику.

— Ты, чего, парень? Ты же, гад, за день до отхода хочешь уйти, а где я найду человека первым классом? Брось, и дурака не валяй. Я тебя не отпускаю. Или пиши на увольнение.

— Вы обязаны меня отпустить на экзамены.

— Что, что такое? Так. Вот бумага, пиши, пока я добрый. А то уйдёшь по статье. Я тебе права все растолкую. Запомнишь на всю жизнь.

Мне пришлось уволиться, а я ещё не был уверен, что сдам экзамены. Когда мне писали характеристику с места работы, вписали туда: «…был случай самовольного невыхода на вахту». Это, конечно, большая подлость, но и их понять нужно. Я подложил им свинью. Оформить к рейсу все документы за день-другой, практически было невозможно уж ни за какие взятки. Я так и не знаю, где они нашли матроса первого класса. Вернее всего, выпустили судно в море с некомплектом. Кажется, так это называлось. Горько плакала моя любимая жена. А я не плакал. Мне в море сильно надоело. Я хотел в Москву. Я же беглый.

В последний раз я пришёл в порт. Брёл по его грохочущему, дымному, сотрясающемуся от ударов чего-то тяжкого, трудовому простору. Вот сейчас попробую вспомнить что-то из хриплых выкриков по оглушительной трансляции, которую слышно даже в городе — весь день и всю ночь, всю жизнь:

— Внимание! РТМ 4468 «Корсунь» освобождайте причал. В четырнадцать, ноль-ноль становитесь к нефтепирсу. Старший помощник Самарин, вам прибыть в Управление порта с ремонтными ведомостями. Коля, мне пришли электрика во второй погрузрайон, срочно. Здесь кран чего-то сдох, срываем график. Капитан-директор Клюев, где ваши судовые документы, здесь сидит товарищ из Регистра СССР, ждёт… СРТМ «Вайда», доложите о состоянии на этот час. Вы должны к вечеру уходить в Балтийск, — так это было? Нет. Я всё позабыл. Все дела эти портовые вылетели из головы. Придумал что-то такое, может, немного похожее, но моряк, если прочтёт, просто посмеётся или плюнет.

Я знаю, друзья, что не жить мне без моря, как море мертво без меня…

Итак, я прибыл в Москву. Поселился на квартире у мамы, которая тогда ходила в море из Риги, а комната в коммуналке была забронирована за ней. И впервые в жизни пришёл в Литературный институт им. Горького… Но это уже другая история.

Седьмой час вечера, и вот только уселся за компьютер. Зять со Светланой уехали на рынок. Внуки плачут и смеются. И орут. И дерутся. И разлили в коридоре ведро, из которого собака пьёт. И не хотят укладываться спать. И ещё разные дела выходного дня. Дурака валять-то некогда. Дочка готовится к экзамену.

— Что такое кастомизация?

Ну, сейчас посмотрим. Но в Словаре иностранных слов одно значение, а в учебнике речь идёт совсем о чём-то другом.

— Доченька, кстати, а как правильно говорить маркетинг, ударение на втором же слоге, или как?

— Что ты? Только на первом.

— Вот мне тоже сказали на первом, а я что-то сомневаюсь. Это ж невозможно выговорить.

— Надо привыкать.

Поскольку у меня теперь Интренет, я взялся перечитывать некоторые книги, которых под рукой нет. Очень здорово, только глаза болят. Наткнулся на Мериме. Вот что я у него вычитал:

«По случаю встречи с белым капитаном Таманго принарядился. На нем был старый голубой мундир с еще сохранившимися нашивками капрала, но с каждого плеча свисало по два золотых эполета, пристегнутых к одной пуговице и болтавшихся один спереди, другой сзади. Мундир, надетый на голое тело, был коротковат для его роста, и между кальсонами из гвинейского холста и белыми отворотами мундира виднелась довольно большая полоса черной кожи, похожая на широкий пояс. На боку у него висела длинная кавалерийская сабля, подвязанная веревкой, а в руке он держал отличное двуствольное ружье английской работы», — так выглядел в середине 19 в. вождь африканского племени, человек вовсе не глупый, но как-то недостаточно осведомлённый что ли. Полез в европейскую коммерцию с работорговлей. Надо ж одеться так, чтоб на переговорах не ударить в грязь лицом перед деловым партнёром.

Мне вдруг подумалось, что Россия, когда она двигается европейским рыночным путём, напоминает этого вождя. И никто при этом не вспомнит, куда, в конце концов, это его привело. Со всех сторон галдят: «Вы не могли бы одеться поприличней?». Да чёрт бы вас побрал, чем вам не нравится такой великолепный наряд? Плохо вот что. Кто-то, человек порядочный, посмотрит и подумает:

— Нет, с таким типом связываться лучше не стоит. Он вроде сумасшедший, — это ещё полбеды.

А, вернее всего, попадётся сволочь, вроде капитана Леду, и смекнёт, что такого молодца, чем с ним торговаться, проще самого продать за приличные деньги. Ну, так что теперь? Не идти европейским путём? А куда, вообще, идти? Ответ, который напрашивается, хотя и шутейный, но в перспективе… Неуютно.

Меня во дворе остановил сосед и выудил из меня пять рублей. Его колотит так, что лучше не смотреть. Дышит тяжело и с каким-то прямо свистом в груди. В принципе он должен сейчас торговать в подземном переходе на Тимирязевской. Он

коммерсант. Торгует щёточками, мочалками, губками для мытья посуды, шнурками, гуталином, стельками для ботинок, ещё каким-то товаром широкого потребления. Мой ровесник. Не вписывается никак человек в большой бизнес. Что ты будешь делать?

— Так. Сейчас бабки подобьём. Что это у нас получается… Гляди, как раз на маленькую. Ну, Миша, дай тебе Бог здоровья. Теперь у нас все, о`кей!

— А дела-то вовсе не о`кей, дело-то на самом деле дрянь, милый ты мой человек. Алон зон фант де ля патри! Ля пляс де ля конкорд! Же ву зем баку ма шер ами! — я ему говорю.

— А это, что ты такое залепил?

— Да так. Это по-французски.

— Стоп. А купи у меня вот это, гляди, клавиши. Ты же на компьютере. И ещё к ним — мышка.

— Да у меня есть.

— Гляди, написано здесь: Фу… джи… тсу. Сие… менс. Мышка с лампочкой. Не дорого. Или просто дай ещё червонец.

— Да ну тебя к чёрту. Меня в «Овощной» послали. Что я бабе-то скажу?

— Да что она, каждую копейку что ли?

— Каждую, не каждую, а… Слушай, Гошка, тебя кондратий-то не хватит?

— Да ладно, перебьёмся как-нибудь. Сейчас только немного поправимся. И всё будет…

— Неужто, о`кей?

— Точно!

У меня были мама, папа и бабушка. Все трое давно ушли, куда не знаю. Да, ушли, никогда не вернутся. Увижу ли я их в неведомой вечности, когда сам туда уйду вслед за ними? Не подымается рука стереть эту высокопарную фразу. Ну, как мне ещё о них написать?

Они были для меня единственным источником всего доброго, справедливого и разумного, что я мог усвоить в детстве и ранней юности. Если всего этого во мне недостаточно, так не по их вине.

Жизненный опыт каждого из них был огромен. Они пережили, каждый по своему, чудовищные, исполинские и загадочные события, о смысле которых по сию пору никто, мне думается, верно не рассудил.

Бабушка была из них самой сильной, твёрдой и самой мудрой. За её плечами было семь лет мордовских лагерей, где она не сломалась, а закалилась душой, как гибкий и острый клинок. Она сомнений не знала. Она говорила: «Кто вылизывает

миски, погибает не от инфекции, а от слабости души», — много лет спустя что-то подобное я прочёл у Солженицына. Если мне простят, это дурацкое выражение, она была, крупный человек, и мой отец, который был не намного её моложе, перед ней всегда тушевался. Он её безумно любил и слушался, не смотря на многочисленные регалии и всем известный свирепый нрав. Мой папа, к стати, когда был в моём нынешнем возрасте, легко руками завязывал стальную монтировку. А бабки моей боялся. Его даже звали тёщин муж. Но мама моя, к своему несчастию, бабушки совсем не боялась и никогда не слушалась. И это ей впоследствии дорого обошлось.

Вот я сейчас представил себе их втроём. Это было в схалинском посёлке Антоново, о котором я здесь уже писал. Отец там был директором СахТИНРО. Угрюмым строем тёмных елей спускалась крутыми склонами сопок к нашему посёлку сахалинская тайга. А до полосы прибоя было не больше ста метров. В одно окошко дома я видел сопки, а в противоположное — море. Невозможно это забыть. Я тогда постоянно смотрел на эти величественные природные явления, над которыми будто звучала строгая и грозная музыка. Поэтому я помню себя чуть ли не с трёх лет.

И вот я вспомнил, как мы с бабушкой и папой стоим на деревянном причале и вглядываемся в бушующий штормом простор. А там, далеко бьётся на волне, рискованно удерживаясь на якоре против ветра и отлива, маленький сейнер. И все вокруг говорят, что ему надо сниматься и уходить в море. Сорвётся якорь или лопнет цепь, понесёт на рифы, не выгребут тогда против отлива, и конец… В Холмск им надо уходить. Что за якорную стоянку здесь придумали.

Но на борту этого сейнера моя мама — начальник рейса, и отец, и бабка знают, почему судно бросило якорь в таком опасном месте и в такую погоду.

Лицо бабушки совершенно безмятежно. Её длинные, густые, вьющиеся, совершенно седые, серебряные волосы летят по ветру, покой и упрямая сила в лице и чёрных глазах так значительны, что она напоминает волшебницу. И она держит меня за руку, или вернее, я уцепился за её руку, потому что спокойна она одна. Отец в ярости и страхе.

— Вот, ваша сумасшедшая дочь! Вы посмотрите… идиотка! Петрович, — кричит он диспетчеру, который сидит на вышке в деревянном скворечнике, — передай Фридлянд, что я запрещаю вываливать шлюпку категорически! — а тот только безнадёжно машет рукой.

И вот уже видно, как маленький бот застыл на мгновение на

гребне и ухнул в пропасть. Долгие секунды тянуться, пока он снова не вынырнет и снова, будто в воздухе растает. И видно, что в шлюпке кто-то стоит, вцепившись тонкой, смуглой рукой в чьи-то широкие плечи. Это мама. Она не хочет вымазаться в мазуте. На ней нарядное платье. Её бронзовые волосы горят на солнце огнём, и она машет свободной рукой. Вокруг нас толпятся рыбаки. И какой-то человек в телогрейке, накинутой прямо на голое, покрытое синей татуировкой тело, говорит отцу, улыбаясь с блеском стальных коронок:

— Вот, баба у тебя, начальник. Не знаю даже завидовать — не завидовать….

— Не завидуй, бесполезно — с угрюмой гордостью отвечает отец.

И уже бот зашёл в лагуну, где волны нет. Слышен дробный прерывистый стук двигателя. Слышен молодой мамин голос:

— Мишу-у-утка-а!

Бабушка с улыбкой произносит:

— В таком лёгком платье. Она простудится, — бабушка вдруг переводит дыхание, и очень заметно, что она тоже волновалась, сильно волновалась, но это было у неё где-то внутри — нельзя же показывать страха судьбе, это опасно.

Когда шлюпка подходит к причалу, сразу несколько сильных рук подхватывают маму и осторожно ставят перед нами. Рыбаки её очень любили:

— Ида! Ида!

Платье её совсем облепило, она промокла насквозь и продрогла. Смеётся, и на ругань сквозь смех диспетчера, который что-то кричит ей сверху она отвечает:

— Петрович, голову не морочь, десять литров спирту ребятам привезла!

И она схватила меня на руки:

— Читай, читай Мишутка, ты не забыл?

Зарываясь лицом в её холодные, мокрые, солёные волосы, вдыхая восхитительный, живой и свежий запах водорослей, который всегда в те годы витал вокруг неё, я читаю:

Ветер по морю гуляет
И кораблик подгоняет.
Он бежит себе в волнах
На раздутых парусах…

Помню странные дни, наступившие после 5 марта 1953 года. Там, где мы жили в то время, немногие горевали по поводу

смерти Сталина. Но напуганы были все. Отец настрого распорядился, чтоб над каждой избой висел траурный флаг. А над нашей избой флаг был алого шёлка, его сделали из маминого кашне. Помню, как гудели на рейде пароходы, гудел рыбозавод, гудел остановившийся напротив посёлка поезд узкоколейки.

— Что ж теперь будет, Александр Николаевич? — спросила бабушка.

— Как что? Интеллигенцию станут сажать, что ж ещё? Но… С другой стороны, вы знаете, я говорил с рыбаками, и у меня впечатление, что люди уже на грани. Возможны перемены, потому что…

Бабушка:

От северных оков освобождая мир,
Лишь только на поля, струясь, дохнёт Зефир,
Лишь только первая позеленеет липа…

— вы думаете, Александр Николаевич?

— Видите ли… Всегда следует надеяться. Но, — он помрачнел:

Оттоль сорвался раз обвал,
И с тяжким грохотом упал,
И всю теснину между скал
Загородил…

— Да. Сталин! — сказала тогда бабушка со значительным ударением. — Сталин!

— Перестаньте философствовать, — вмешивается смеющаяся мама (она тогда часто смеялась). — Всё будет просто замечательно.

— Ида! — строго говорит бабушка. — Ты ребячишься…

Тогда отец часто уходил на берег к палаткам, в которых жили завербованные на путину, только что освободившиеся зэки. Он подолгу сидел там, курил махорочные цигарки и слушал. Он слушал, а люди говорили, говорили. Они тогда не могли наговориться. Они рассказывали. Они спрашивали, но он только отрицательно мотал головой. Никто ничего не знал.

А что мы знаем сейчас?

Завтра я дальше напишу. Не получается больше. Пойду курить.

Орден Ленина

Летом 52 года моего отца внезапно вызвали в Москву. Этот вызов был сделан необычно. Ему позвонил Министр рыбной промышленности СССР Ишков и сказал:

— Вылетай срочно. Через четверо суток ты должен быть в Москве.

И он очень строго оборвал отца, когда тот пытался его расспросить:

— Немедленно! — проговорил он. — Ты понимаешь русский язык?

Этот Ишков известен тем, что проворовался одним из первых. То есть, я хотел сказать, что его, кажется, первого дёрнули за воровство. Вот не помню точно когда. В конце семидесятых? Эта забавная история всем известна. К моим родителям он относился хорошо, хотя отец его откровенно презирал за невежество и холуйство. Опять же соврать боюсь, то ли он сам, то ли кто-то из его ближайшего окружения как-то сказал: «Была бы вода, а рыба будет», — не нужно быть промысловиком, чтобы понять грандиозную степень этой наглой глупости. Он был специалист не так по добыче рыбы, как по организации номенклатурных охот и рыбалок, где важнейшие чиновники страны отводили душу, напиваясь и обжираясь до безумия. Но он был человек не злой, и отец, находясь в рискованном положении, очень дорожил его дружбой.

На Дальнем Востоке в то время в разгаре была охота на врачей и космополитов, сбежавших из столиц и укрывавшихся в глуши.

Мать незадолго до того пыталась защитить кандидатскую в Иркутском Университете. Её специальность была — промысел сельди. Понятно, что промысловый прогноз напрямую зависит от закономерностей размножения, а это была тема — смертельная. Наследственность! Лысенко! В Иркутске мать вызвал к себе ректор Университета и уговаривал забрать рукопись и уехать домой. Она отказалась. Тогда он позвонил отцу, тот прилетел и увёз её силком.

Бабушка на руках имела справку об освобождении. Ей нельзя было жить ни в одном крупном городе страны, и её то и дело вызывали в Южно-Сахалинск и там допрашивали. Она, вернувшись, говорила:

— Ну, беседовали. Он очень интересный человек. Совсем не глупый. У него тяжёлая служба. Знаете, все эти люди глубоко несчастны.

— Знаю, — саркастически подтверждал отец, и по лицу его пробегала гневная молния. — Я тоже их знаю… немного. Действительно, они несчастны.

Пока отец был на Сахалине, семья находилась в некоторой призрачной безопасности. Мы все жили за его спиной. Для того чтобы арестовать бабушку или мать, нужно было сначала взять его, а это было непросто, потому что его начальство находилось в даже не во Владивостоке, а в Москве.

— Не поехать, сказаться больным, например…, — сказала бабушка.

— Нехама Львовна!

— Ну, а какая вероятность, что там, в Москве вас не…

Они смотрели друг другу в лицо, глаза в глаза.

Теперь я немного расскажу об отце. Всего о моём отце не расскажешь. Это будет очень много. Он был ровесник века, 1900 года рождения. В 1914 году сбежал из дома на фронт. В августе, когда наши были окружены в Восточной Пруссии, он был вестовым командира пехотного полка. Он стоял под огнём рядом с полковником на КП. Закричали: «Ложись!», — все бросились на землю. Снаряд взорвался, штаб осыпало комьями грунта и камнями. Все встали, а отец продолжал лежать, закрыв голову руками.

— Эх, взял я грех на душу, — сказал полковник. — Мальчишку надо было отправить домой…

Неожиданно отец встал, поискал фуражку, выколотил её о колено и взял под козырёк:

— Никак нет, Ваше Превосходительство! Я здоров и могу исполнять службу.

— Что ж ты не встал? — облегчённо смеясь спросил полковник.

— Виноват, испугался, Ваше Превосходительство.

Полковник тут же достал из шкатулки Георгиевский крест и приколол отцу на гимнастёрку. Этот крест я часто разглядывал в детстве. Но после смерти отца мне его не отдали. Ведь незадолго до этого, мои родители разошлись, отец женился на другой женщине. Мне сказали, что крест потерялся. Может быть, это и правда.

— Если б он знал, что меня арестуют, — сказал отец, — вряд ли стал бы сам звонить ко мне в Институт. Все в Институте знают, что он лично вызвал меня. Он человек очень осторожный.

— В таком случае мне в море уходить нельзя, — сказала мама.

— Наоборот, никто не должен видеть, что ты боишься, — сказала бабушка.

— Кто? Я боюсь? — закричала мать.

— Ида, не валяй дурака, — сказал отец. — Нельзя, демонстрировать, что ты ареста ждёшь. Ты не уходишь в рейс, почему? Это придётся объяснить.

— Мне спокойней будет, когда ты в море, — сказала бабушка, мирно улыбаясь. — Ты слишком экспансивна, моя дорогая, это не годится.

И отец улетел в Москву, а мама ушла в рейс. И мы остались с бабушкой. С нами жила ещё домработница тётя Катя, она была кубанская казачка, только что «от хозяина», и Толик, беспризорный двенадцати лет, которого мои родители взяли в дом, а позднее усыновили. Он потом пропал, я ещё о нём расскажу, я считал его родным братом.

Через несколько дней Толика на улице сильно поколотили и разбили, разломали, разобрали, буквально, по гайкам, и раскидали велосипед, который был тогда на Сахалине чудом, а мой отец Толику его подарил. Велосипед этот вызывал, конечно, недобрые чувства. Бабушка позвонила человеку, который замещал отца, я не стану называть его фамилию, но и псевдонима ему придумывать не стану.

— Эти люди, называли мальчика жидовским выкормышем…

— Нехама Львовна…, — сказал этот человек. И замолчал.

— Я слушаю вас.

— Я вас очень прошу не выпускать детей на улицу. И… оставьте меня, пожалуйста, в покое.

— Хорошо, — сказала бабушка. — Я понимаю вас.

И она больше никуда не звонила. Я сидел у окна и смотрел на горизонт. Где-то в море была моя мама. Гулять меня не выпускали.

— Катя! — позвала бабушка.

Катя пришла с кухни. С рук её капала вода.

— Слухаю, Львовна.

— Я сейчас позвоню на рыбозавод, договорюсь. Вы собирайтесь и уходите в общежитие. Вам дадут койку. Вам здесь нельзя.

Тётя Катя была единственным человеком, называвшим бабушку не по имени и отчеству, а Львовной. Иногда же, они, уединившись, о чём-то негромко разговаривали, и тогда Катя даже называла бабушку Надей. Имя Нехама в переводе на русский — Надежда. И Катя всегда звала её на «ты», а бабушка обращалась к ней на «вы». В их отношениях была какая-то тонкость, о которой я могу догадываться только. Это лагерное. Возможно, по лагерным меркам Катя была значительней моей бабушки.

— Та ты шо? Куда я побежу? Воны достануть и так, и так.

Надя…

— Да, Катенька.

Катя села рядом и взяла бабушку за руку своей сильной почти чёрной, корявой от работы рукой. И вдруг она запела. Она пела, тихонько, неожиданно тонким голоском, прислонившись головой к бабушкиному худенькому плечу и зажмурив глаза:

Девочка Надя, чего тебе надо?

Ничего не надо, кроме шоколада…

Как-то я отпросился у бабушки к своему дружку, посмотреть фильмоскоп. Бабушка отпустила меня. Я прошёл через широкий двор — все мы там жили в рубленных больших домах, которые мой отец построил, и за каждым высоким забором был двор с хозяйством. Я, наверное, не правильно употребил в прошлом материале слово изба. На Южном Сахалине тогда все жили богато. И вот я поднялся на крыльцо и постучал. Мне открыла мать моего друга, которая всегда была со мною очень ласкова. И она меня столкнула с крыльца и велела уходить. Я очень испугался, мальчик балованный, к такому обращению совсем не привычный.

Я с плачем шёл к калитке, а эта женщина шла к собачьей будке. Собаку эту звали Пират. И она спустила на меня пса. Я бежал к калитке, а пёс за мной. Я бежал молча и пёс большими скачками бежал молча. Когда за мной калитка захлопнулась, я заорал в голос, а пёс хрипло залаял. Но эта женщина вовсе не хотела меня затравить псом. Она правильно рассчитала и спустила его, когда уж он никак не успевал меня догнать. Я ей очень за это благодарен. Я пришёл домой. В общем, всё было в порядке.

— Я старая дура, — сказала бабушка, — мишигинер копф (так на идише?)! Но Бог на небе, кажется, таки есть…

Потом вдруг явилась мама. Человек, исполнявший обязанности отца, отозвал её из рейса. Её тут же отстранили от заведования лабораторией промысловой ихтиологии. И на работу она не ходила. Потом приехал мой совсем молодой дядька, которого мы звали Светом, и позднее он стал известным писателем Ф. Световым. Он недавно умер. Я о нём, может быть, попытаюсь потом что-нибудь написать, но это трудно. Под старость я почувствовал, что совсем не понимал его. Он, как открытая, книга, был у меня перед глазами всю жизнь, но в эту книгу я почти не заглядывал, а теперь она закрылась. Книги его я читал, они были для всех. А в книге его сердца были страницы, написанные специально для меня, потому что он меня очень любил. Но этих страниц мне уже не прочесть никогда.

— Интересно, за что меня арестуют? За весманизм-морганизм

или за космополитизм? Забавно.

— Ида, ты дура! — сказала бабушка. — Тебя не арестуют.

— О, точно! — откликнулась из кухни тётя Катя. — От ось и я ж чую нэ будэ ничого.

Когда-то я хорошо знал украинский, а теперь забыл. Пусть украинцы на меня за это не обидятся.

И вдруг — это именно случилось вдруг, во всяком случае, я так это понял — приехал отец. Я помню, как он в передней снимает серый макинтош и шляпу. Он не был в мундире капитана первого ранга, как всегда ходил тогда, а в каком-то незнакомом и непривычном мне чёрном костюме. И он достал коробочку обтянутую алым бархатом и трясущейся рукой протянул её мой бабушке:

— Смотрите, Нехама Львовна!

— О, Саша! — крикнула мама совсем незнакомым мне голосом, а он подхватил её на руки и так стоял с ней на руках. Их лиц не было видно, потому что они прятали лица друг у друга на груди.

Но вечером, когда накрыт был поистине лукулловский стол, за который всегда садилось не меньше пятидесяти человек, все сотрудники Института, отец, подняв первую стопку водки (он ничего спиртного, кроме водки и пива, никогда не пил), торжественно встал, все ждали тоста, а он сказал нечто странное:

— Мы все здесь, — проговорил он задумчиво, — уголовные преступники. Я надеюсь дожить до того времени, когда всех нас будут судить… Ну, что ты уставился? — вдруг спросил он своего заместителя, сидевшего от него по левую руку. — Не удалось тебе? Думаешь, сейчас меня за эти слова потянут. Дурак ты. Не по зубам тебе я. Но когда-нибудь, когда-нибудь… Меня, а не тебя судить будут. За что? Этого я тебе не растолкую, потому что ты холуй…

Это было очень тяжёлое застолье. Страшное. Утром бабушка сказала отцу:

— Вы вели себя, как мой покойный свёкор. Его, однако, извиняет то обстоятельство, что он был сапожником. Когда он разбогател, то открыл под Минском публичный дом. Он был человек невежественный и грубый. И я вас очень прошу, Александр Николаевич впредь…

— Я вас прошу, — проговорил отец. — Нехама Львовна, я вас очень прошу…

Мама пришла с банкой рассола…

Всё это семейные легенды. Но, приблизительно, так всё оно и было в 1952 году.

* * *

В начале моего журнала, от 20 ноября, есть короткая запись о том, как я помог сбежать двум проституткам, незадолго до того убившим клиента с целью грабежа. По этому поводу там стали спорить, и меня, наверное, справедливо, очень ругали за такой поступок. Но я об этом хочу ещё кое-что рассказать.

В Литературном институте, о котором я надеюсь чуть погодя написать подробней, был такой случай. Я принёс на семинар к покойному Борису Васильевичу Бедному рассказ. Там было что-то о калининградских моряках. Я описывал эту ситуацию, как она мне виделась. Оглядываться же по сторонам в соответствии с правилами уличного движения я совершенно не умею и по сию пору считаю постыдным.

Борис Васильевич был автором повести и киносценария к фильму «Девчата». С точки зрения литературы и кино — это очень плохая повесть и совсем плохой фильм, но человек он был удивительно душевный, отзывчивый, абсолютно всё понимал. Меня он иронически называл «наш доблестный Пробатов». И неоднократно советовал мне держать язык на привязи. Вот как он мне пытался помочь.

В то время Литинститут был опорной базой кочетовского «Октября». Это место было режимное, и я уже понимал, что затесался туда зря. Во время обсуждения сразу несколько человек заговорили о том, что герой этого рассказа проводит вечер в каком-то странном месте. Что это за квартира? Кто эта женщина? Но у меня был задор. Он у меня и сейчас есть. От этого качества отвязаться очень трудно, если только тебе позвоночник не сломают, а мне пока ещё не сломали. Например, то, что я дальше напишу, кажется, писать не стоит, кто-то из моих однокашников прочтёт, потому что меня узнали, и начнётся канитель. Но, ребята, из песни слова не выкинешь. И петь здесь оды нашей альма-матер я не буду.

— Квартира, — сказал я, — где одинокие, а иногда и замужние, женщины принимают моряков.

— За деньги?

— Не обязательно. Иногда за вещи. Иногда за поездку на Кавказ или в Крым, которую им пообещают, — я, заметьте, взрослым мужикам объясняю, которые не хуже меня всё это знают.

— Могут, значит и обмануть?

— Конечно.

— Всё же, какая средняя цена?

Тут я разозлился и говорю:

— Выйди на Пушкинскую, тебе там всё объяснят.

— Ты, то есть, говоришь о проституции. И делаешь обобщение. Это проституция? Ведь у неё нет социальных корней в СССР. Ты с каких позиций это явление описываешь? С чьих позиций? И ещё. Когда тебя читаешь, создаётся впечатление, будто советские моряки уходят в море за длинным рублём. Это неправда. И эту неправду ты поёшь с чужих голосов, можно догадываться, откуда они доносятся, — вот такой, примерно, выдавали мне текст.

И я стал отвечать. Я сказал, что в море за восходами и закатами, за романтикой, ни один человек не станет ходить. Попробует разок и бросит. Потому что эта работа — опасная, очень физически тяжёлая, выматывает нервы, старые моряки все неврастеники. Я стал говорить, что проституция, может, корней и не имеет, но всё равно процветает у нас, выходит, безо всяких корней. Проституток же в портовых городах так много, потому что там много мужчин с изломанными судьбами и непомерными деньгами, которые им не на кого тратить. Море ломает судьбы…

И тут Борис Васильевич обсуждение своею властью прервал:

— Вот, что Пробатов, — грозно проговорил он. — Я уже вас неоднократно предупреждал, говорю в последний раз. Если вы ещё раз сдадите мне такую, с позволения сказать, рукопись, с таким количеством опечаток, грамматических ошибок и с правкой от руки, я вам её верну. И это не к одному Пробатову относится. Я пока в учебную часть об этом не сообщаю, но учтите, товарищи…, — все примолкли.

В 1989 или 90 году «Огонёк» (только что ушёл Коротич) напечатал два или три мои стихотворения, которые здесь нет смысла приводить. Там тогда работал Лёша Зайцев. Уехал за границу, не знаю, где он сейчас. Для меня тогда это было огромное, радостное событие. Я в редакцию за авторскими экземплярами явился уже здорово под мухой и в совершенной эйфории. И я, кроме того, что мне в отделе выдали бесплатно, в киоске купил ещё десять экземпляров, чтобы всем дарить.

Итак, я у правдинского подъезда сел на парапет и стал рассматривать, как это выглядит. Меня опубликовали в рубрике «Бронзовый век» или «Железный век» — не помню. Лёшка в предисловии написал, что вот мол, Серебряный век давно миновал, а он ищет и находит сохранившиеся драгоценные остатки русской поэзии и в этой рубрике их собирается помещать. Написано было здорово, очень для меня лестно. И я был на седьмом небе.

Наконец, я перевернул страницу и обнаружил на следующей

полосе крупным планом снимок немолодой, мучительно пытавшейся бесстыдно улыбнуться, женщины с огромной, безобразно обнажённой грудью. Там было ещё несколько таких снимков. Всё это публиковалось в рамках конкурса «Мисс бюст». Для меня это было неприятной неожиданностью, потому что я не мог этот журнал показать в таком виде своим детям. Они ещё были совсем маленькие. Дальше шла большая статья о проституции. Речь вели о том, что это вполне нормальное явление, достойная профессия, очень нужная людям. И в странах Бенилюкса женщины, которые имеют склонность к этой благородной профессии, находятся под охраной государства и являются уважаемыми членами общества. И живут очень насыщенной, полной необыкновенных приключений, счастливой жизнью.

Я вернулся в редакцию и стал уговаривать Зайцева, чтоб он мне посодействовал. Я хотел ответить на эту лживую статью. Он думал и молчал, а потом с каким-то скрипом сказал:

— Я тебя очень прошу, не связывайся ты с ними…

— С кем?

— Да ну их к чёрту, — неопределённо сказал он.

У меня есть некоторые догадки, но доподлинно я и по сию пору не знаю, кого он в виду имел. Так что я уточнять не стану. Очень жаль Коротича и его журнала, который чёрт знает во что превратился, стоило ему уехать. И я даже думаю, что он уехал вынужденно, вернее всего, его просто выжили из журнала и из страны.

И вот что я ещё вспомнил в связи с этим. В начале восьмидесятых я работал пространщиком в одних больших, очень популярных тогда московских банях. Директор этого заведения был человек со связями, злой, бессовестный и решительный. Уже формировалась наша отечественная мафия. Это был один из характерных её представителей. Его очень боялись. Как-то мы с ним выпивали и разговорились. И он мне рассказал:

Лет десять тому назад привели мне сюда одну лимитчицу. Ну, я поглядел на неё. Что ж, девка здоровенная, сильно красивая и это, знаешь, с огоньком — сексу в ней много.

— Ты, уважаемая, языком-то трепать не станешь?

— Нет.

— А давай тогда. Включайся. Пока у тебя должность будет в женском разряде. Будешь пространщице помогать. Она тебе скажет, чего делать, какие бабки, какая, кому отстёжка. А будешь работать нормально, состряпаем тебе прописку, и будешь жить в Москве.

У неё в деревне, где-то под Тамбовом что ли, была мать, двое малолетних братьев и больной отец. Позарез ей деньги нужны были. И стала она вкалывать. У меня тогда ещё косметического кабинета здесь не было, так она наблатыкалась прямо в разряде делать бабам после бани укладки, макияж, маникюр, педикюр, мозоли сводила, и парила путёвых клиенток совсем не за дорого, и успевала ещё убираться. И массажисту давала много работы. Бригадирша на неё прямо молилась. Конечно, копейка к ней побежала, и она отстёгивала честно, не кроила никогда. Вижу, девка сообразительная. Тамара её звали.

Вызываю я месяца через два бригадиршу к себе. Старуха-татарка была у меня тогда. Такая профура, что я сам её боялся. Я ей и говорю:

— Ну, как наша тамбовская Лолабриджида вроде в курс вошла — пора её пристраивать к делу. Пускай налаживает себе приличный прикид и сидит в холле. На ней миллионы можно наварить. И её не обидим. Ты ей так скажи.

А старуха вдруг, понимаешь, взмолилась:

— Николаич, да не тронь девку. Жаль ведь её, пропадёт. А и так от неё польза есть. Мне в разряде без неё будет трудно.

— Нет, — я сказал, — Так дела не делаются.

Помучилась, поныла она. А потом дело пошло, не надо лучше. Разве я людей не знаю? Деньги! За деньги всё сделают. А за неё три «кати» платили в час без звука. Треть она мне посылала, ещё полтинник на общак, полтораста ей на руки. Помешают что ли? Место центровое, клиенты серьёзные. За ночь ей обламывалось, бывало, по две, когда и три штуки. Год прошёл, она себе машину купила, квартиру, стариков перевезла в Москву. Правда, я полез к ней как-то раз по-стариковски. А она мне:

— Иван Николаич, давай сразу договоримся, я тебя лучше забашляю, а ко мне не лезь. И без тебя с души воротит от этих затруханных кавалеров.

Я на такие вещи не обижаюсь никогда. Бизнес есть бизнес, верно? Ну, ладно. Появляется у неё парень. Этот парень был сумасшедший. Он со своей хеврой угонял машины, в основном иномарки, и потом куда-то их толкал. Говорил, что все каналы проверены. Ну, у дураков это всегда так. Отчаянный был. Что сделаешь, красивый, сильный, чего дуре-то ещё надо? Она к нему прилипла и пылинки сдувает. Ну, его взяли — полгода не прошло. И вот она ко мне:

— Иван Николаич срочно одолжи пять штук. Отработаю, чем хочешь. Хочешь, так и натурой. Надо Севку выручать.

Этому Севке накатывала пятнашка. И выручать его было бесполезно, потому что он в угрозыске был вроде плановый.

Объяснял я, объяснял, всё без толку. Денег я ей не дал. А Севку через полгода убили на зоне. Так я и думал. И с того случая Тамарка как-то посмурнела. Чуть что огрызается. Какие-то с ней стали истерики. Трудней стало работать.

Вот, однажды я был в кабинете. Смотрю в окно, останавливается «Мерс». И вылезает оттуда омбал. Метра два, наверное, росту в нём, и рыжий, как огонь, и борода рыжая. И вижу я по тряпкам, что это штатник и очень солидный, хотя и молодой, тридцати нет. Я вышел в холл и говорю:

— Томка, мухой ныряй в сауну. Смотри только осторожней. Может он по-русски понимает.

С этого дня и началось. Стал он приезжать чуть не каждый день. Платит и не торгуется. И даже цветы привозил ей. Дурак дураком. Мне это сразу не понравилось.

— Что ты, идиотка, придумала? Он консульский работник. Или ты думаешь, он женится на тебе? Дурой-то не будь!

Какой там! И слушать не хочет. Ты ей слово, она тебе десять. И всё матом. Я плюнул, и ничего больше ей говорить не стал. И, наконец, дождались. Только Тамарка с американцем своим номер заняла, подъезжают оперативники из Комитета. И сразу ко мне.

— Кто у тебя в номере?

— Какой-то иностранец.

— Это нам известно. А с ним кто?

— Ну, девка.

— Чья девка-то?

Я мялся, мялся, а что скажешь?

— Моя, — говорю.

— Вызывай её сюда, но только так, чтоб она не поняла, зачем. Живей разворачивайся.

Я позвонил и говорю:

— Тамарочка, детонька, подымись на минуту, прими товар. Машина приехала с пивом, а буфетчица ушла, и чёрт её знает где, никого нет, а я занят, и сейчас сам не могу принимать.

Она выскочила в халатике. Они её сразу в мой кабинет. Не стали даже личность устанавливать, спешат. Старший их говорит, прямо при мне, не стесняется:

— Вот клофелин. Одну таблетку ему на стопку коньяку. А как уснёт, у него коричневый дипломат. Дипломат простой, замок без набора. В дипломате — такая есть небольшая кожаная папка с медной застёжкой, вроде кнопочки. Ты застёжку осторожно открой и принеси сюда бумаги, которые там увидишь. А потом так же обратно эти бумаги положишь, и всё закрой, как было. Проснётся, скажешь ему мол, что это с тобой? Он человек неопытный. Ничего не поймёт.

Я тоже встрял, старый дурак:

— Давай, Тамара. Задание партийное. Нужно аккуратно выполнять.

А она как врежет мне по морде. Это за всё, за моё доброе, хорошее:

— Смотрите, гады. Я сейчас ему вас заложу. И тебя тоже, крыса, проклятая!

Вот, Миша, как приходится работать иногда. Как сапёры — ошибаемся один раз. Я после это случая еле от Комитета откупился. Дачу продал.

— А эта Тамара? — спросил я.

— Ну, выгнал я её, конечно. Потом, знаю, её дёргали в КГБ. Потом уехала она из Москвы. А недавно, это уж лет пять прошло после того случая — заявляется. Ужас, на кого похожа. Ей чуть за тридцать, а дать можно все пятьдесят. И кашляет, и сутулится. Работала, говорит, последние два года на мясокомбинате обвальщицей.

— Николаич, нигде пристроиться не могу. Я прописку ж потеряла.

— Так чего ты хочешь?

— Дай работы какой-нибудь. Я б в разряде неплохо работала.

— Ну, уж вы меня извините. Я её наладил к чёртовой матери…

* * *

То, что вы сейчас прочли, совершенно документально, в отличие от того, что я прежде здесь помещал. Мне очень хотелось обратиться к тем, кто так охотно бросает камень в блудницу. Осторожно, вы можете попасть в совершенно невинного человека. Мы живём в такой стране и в такое время, когда никто не должен гордиться своей нравственной чистотой. Сохранить эту чистоту можно только за чей-то счёт. Потому что мы никогда не вступаемся за того, кто на наших глазах бьётся в петле.

Прочли мои домашние, и очень меня ругают. Всё ж я это отсылаю в ЖЖ. Мне об этом надо было выговориться.

* * *

Это очень коротко. Просто я с работы и спать хочу. Но вот, что-то из головы не выходит.

У нас с мамой были в Беломорске друзья…

В 1972–74 гг. мама заведовала Лабораторией Белого моря ПИНРО. Лаборатория эта помещалась в огромном рубленом доме, где давным-давно, когда Беломорск ещё был посёлком Сорокой, помещалось какое-то учреждение, может сельсовет. Мама его отстроила. Там были отдельные комнаты для холостых сотрудников. Даже ванная комната была. И был в «зале» камин, вернее, помесь русской печи и камина, так получилось у местного печника. В этой лаборатории всегда толпились какие-то люди. К моей матери, всегда люди тянулись. Она была как бы в центе огромного круга людей, у всех на виду. В этом кругу люди, конечно, разные попадались — были хорошие, а были и очень даже нехорошие. Но что такое хороший и нехороший человек? Мать никогда не отворачивалась ни от кого. Она никого не боялась и ни к кому не относилась презрительно. Её за это многие осуждали. Позднее, когда для неё началась полоса тяжких поражений, и полосой этой печально и одиноко заканчивалась её жизнь, ей часто говорили: «Вот видишь, тебе ж говорили…». Но я всегда этому качеству, привлекать к себе людей, завидовал и восхищался ей.

Однажды пришёл в лабораторию древний, согнутый в дугу, очень худой, изможднный старик. И попросил выписать немного досок для ремонта карбаса. Заплатить ему было, конечно, нечем. Он сказал:

— Ида, рыбой верну. Никто, как я, сёмгу не солит. У меня посол поморский, настоящий…, — я здесь не стану и пытаться передать на мёртвой бумаге говор поморов. Он необыкновенно выразителен, с певучей изысканной интонацией, но, кажется, невозможно его изобразить так вот, искусственно.

Этот человек жил вдвоём с женой в огромной избе, где когда-то, как они говорили, помещалась семья из пятнадцати человек. Никого не осталось. Кто ещё был жив, давно уехал и затерялся. Только сын, сам уже старик, писал иногда из Ленинграда короткие письма. Старика звали Еремей, старуху Мария. Жили-были старик со старухой у самого синего моря. Старик ловил неводом рыбу, старуха пряла свою пряжу. Это точно они. Еремей был беззаветный браконьер, а тётя Маша всегда пряла и шерсть эту продавала. У мамы долго потом, в Москве уже, хранилось несколько мотков этой пряжи.

Жили они, по видимости, очень уныло. Старик, бывало, сидит на бревне, а старуха рядом со своей прялкой, и она всё пилит его, пилит, пилит, он всё дымит, дымит махоркой и согласно кивает головой. Что за жизнь?

Все менялось только, когда он в море уходил. Он хмуро возился в карбасе, проверял двигатель, укладывал нехитрое

промвооружение своё, а она с робким выражением лица, с поджатыми губами, терпеливо ждала с узелком в руках, когда ж он на неё внимание обратит? В узелке было что-то из еды и фляжка самогонки. И вот уж он оттолкнулся веслом от камня, его сносит течением, а она что-то говорит, а он сердито и важно хмурится, не отвечает и машет рукой: Бабьи бредни!

А придёт он с лова, опять всё то же.

И вот, как-то раз, в лаборатории появилась тётя Маша. И она пригласила мать и меня в гости.

— Ты, Григорьевна, не откажи. Сегодня, слышь, шестьдесят пять лет, как наша свадьба… была. Не кругло, конечное дело, да мы рассудили, что до семи десятков мы уж не доживём. Некого пригласить. Люди чужие стали, будто и не соседи. А вы люди, хотя и посторонние, зато безобидные, — так она нас с мамой характеризовала.

Вечером мы пришли к ним. Дом, в котором они жили, сильно покосился, прогнил. Подымались мы в горницу с опаской, доски трещат и всё ходит ходуном. Лампочка тусклая осветила белую, только что из-под утюга, скатерть с простым рыбацким угощением. Кроме рыбы в самых разных видах, ничего не было, разве что миска с солёными грибами и всевозможная ягода — морошка, брусника, голубица. Дед на охоту давно уж не ходил. Это ему было трудней, чем в море. Бутыль чистейшей самогонки.

Мы все выпили по стопке, по другой. Разговор шёл неторопливый и мирный. Не сумею я здесь передать его. Он был вроде не о чём, о погоде, о путине, сколько заплатить за полушубок, кто умеет хорошо валенки подшивать. Дед стал заметно хмелеть.

— Григорьева, это само… вот я сейчас тебе песню заведу, послушаешь.

— Ой, андели (ангелы)! — схватилась тётя Маша — ну понесло дурака поперёк фарватера. Не лезь ты, Ерёма, со своей проклятой машинкой. Вы кушайте, кушайте, не слушайте старого дурака.

Но старик упрямо принёс старый магнитофон «Дзинтарс», похожий на небольшую тумбочку, и поставил кассету.

— Машка! Молчи, дура, и не мельтеши. Григорьевна, ты послушай. Вот песня тут сейчас…

Мы слушали песню. Ничего в ней не было особенного, что-то вроде романса пополам с танго. Оскар Строк — не Оскар Строк.

— Вот сейчас, — Еремей опустил белую голову на жилистый чёрный свой кулак, — Ты послушай, послушай…

А дальше был припев. Одна там была строка, которая выпевалась, действительно, очень душевно:

…Два синих ока! — он остановил машину и отмотал назад. И снова:…Два синих ока!

Старики смотрели друг на друга. Еремей покрыл голову тёти Маши огромной своей лапой и глядел ей в глаза:…Два синих ока!

— Маруська, а Маруська! Ма-а-ашка моя!

— Да ну тебя, бесстыдник, — тающим шепотом проговорила тётя Маша. — Людей-то культурных постесняйся, кобель ты старый.

Он зажмурился и закрыл лицо ладонью. Потом отнял мокрую ладонь и посмотрел на нас.

— Вы глядите — чудо! Машка, Машенька, ну глянь, что ты рыло-то воротишь, глянь, Марусенька моя.

И вот тётя Маша посмотрела на нас. В её синих, бездонных и прозрачных, как морская вода, совсем юных глазах — чистые детские слёзы.

…Два синих ока!

* * *

В 77 году я устроился рабочим по уборке территории на Динамовские корты «Петровка 26». Это очень хорошие корты, одни из лучших в Москве, а зимой там заливали прекрасный каток. Вероятно, и сейчас там что-то подобное сохранилось.

Тогда этот маленький стадион был очень престижным местом. Нелегко было достать туда абонемент. В теннис там играли жёны, дети, племянники, любовницы и просто хорошие знакомые всевозможных значительных чиновников с одной стороны и авторитетных уголовников с другой. И сами хозяева туда изредка заглядывали. Именно в таких местах, в уюте и спасительной тени, возникали связи, на основе которых позднее сложилась советская мафия — союз партийно-советской номенклатуры и верхушки преступного мира. Я это так понимаю. Может, я ошибаюсь.

Я, скажем, играю в теннис с одним человеком, про которого мне известно, что он майор КГБ. Его партнёр не пришёл, и он предложил за червонец поиграть с ним часок. Хороший компанейский парень, очень весёлый.

— А потом раздавим бутылочку коньяку, французского, выдержанного. Ты, брат, такого и на язык не брал.

Он играет американской ракеткой «Чемпион». Я попросил ненадолго ракетку. Великолепная штука.

— Интересно, а сколько стоит такая игрушка?

— Мне обошлась в сто пятьдесят долларов. — Эту цифру я,

конечно, условно называю. Не помню уже действительной цены, только помню, что дорого.

Я подумал: А что если спросить тебя, ворюга, откуда, вообще, доллары. И кто тебе за доллары продал эту ракетку. И почему ты не боишься мне об этом рассказывать. Но это были вопросы, даже не опасные, а просто дурацкие. И я не стал портить ему и себе настроение. Это и было то самое, о чём Солженицын писал: «Жить не по лжи». От пустяков до крупного жить не по лжи было невозможно всем — и тем, кто ложь эту узаконил, и тем кто должен был её беспрекословно принять за святую правду. Эта статья Солженицына вызвала тогда бурю возмущения у оппозиционной интеллигенции. Это утопия была, и упрёк, который содержался в ней, был несправедлив, потому что невозможно было жить не по лжи, оставаясь в пределах СССР.

Со мной работал один старик, которого я здесь назову дядя Володя. Дядя Володя уборкой занимался совсем немного. Большую часть времени он перетягивал струны на теннисных ракетках или заново их натягивал. Это настоящее искусство, и он знал его в совершенстве. Он был ветеран, работал на этом маленьком элитном стадионе, когда ещё зимними ночами туда приезжал кататься на коньках сам грозный Ежов — большой любитель, катался, оказывается, всегда только на «норвегах», на гоночных, то есть, коньках. И в те давние времена дядя Володя был бригадиром. Однажды он возился с ракеткой и вот что рассказал мне о Ежове:

Как-то под самый новый 38 год к вечеру пошёл сильный снег, и каток в десять минут завалило. Время было часов десять вечера. Снег всё не утихал. Валит и валит. Что делать? А нужно было выходить на лёд с движками и снег этот убирать всю ночь напролёт, хотя и совершенно безо всякого смысла, потому что за ним было никак не успеть. Но тогда наша совесть перед НКВД была б чиста. А снегопад был настолько силён, что я, потерял бдительность. Думаю, какая ж сука поедет в такое время на каток? Отсидятся по кабинетам.

И мы с ребятами немного выпили, закусили, чаю напились и спать легли до утра. Вдруг, понимаешь, слышу я сквозь сон — несколько машин подъехало. Я вскочил, как встрёпанный. Кричу, ребята, подъем! И — к окну. А за окном тишина. Небо чистое, звёздное, ни снежинки в воздухе. И лёд завален, наверное, сантиметров на пятьдесят. А эти сволочи, слышим, протопали уже в раздевалку. И кто-то крикнул:

— Свет давай на лёд!

Что было делать? Я рубильник дёрнул, все люстры над полем вспыхнули. И мы в окно глядим, как они в коньках уже вышли,

человек пять, потоптались у кромки снега, о чём-то поговорили и пошли в помещение, обратно в раздевалку. Ещё минут через пятнадцать, а может и меньше, но мне показалось, время медленно так тянется, какой-то офицер в дверях остановился:

— Кто бригадир?

— Я!

— Выходи. Тебя нарком хочет видеть.

Я вышел и увидел сразу Ежова. Я его видел не раз. Маленький, худенький такой.

— Почему не убран снег?

— Виноват, — говорю. — Вечером был сильный снегопад и мы думали, что…

— Они думали, — сказал Ежов и засмеялся. — Ты, значит, думал? Любишь думать?

— Иногда, — говорю.

— Иногда любишь думать? Почему иногда? Ну, ничего, и это тоже хорошо. У тебя будет время подумать. Мы тебе создадим для этого условия. И ты поймёшь, что думать нужно не иногда, а всегда. Хотя, вообще-то, тебя сюда поставили совсем не для того, чтоб ты думал.

И он рукой так как-то сделал, что они сразу поняли, и я, конечно, тоже: «В машину!».

Привезли меня на Лубянку. И безо всяких расспросов, даже документов не спросили, а заперли в какую-то пустую комнату. Я пить хочу, голова после водки трескается. Гляжу бачок с краном, а кружки нету. Кое-как из горстей попил. Огляделся. Не похоже на камеру. Но здорово похоже на карцер, потому что нар нет. Голые стены и цементный пол. Ни табуретки, ни койки — ничего совсем. На полу бачок с водой, вода, видимо, была кипячёная, раз такая тёплая, но привкус какой-то, вроде карболкой отдаёт. И параши нет. Я, было постучал. Из-за дверей откликаются:

— Чего надо?

— До ветру отведи, товарищ.

— Тебе тамбовский волк товарищ. Оправка в семь тридцать утра.

Тут я разозлился. Я ещё не сразу в себя-то пришёл:

— Гляди, — говорю, — я тогда в угол нассу, приспичило, что, не понятно?

— Чего не понять? Попробуй. Ради интересу. Поглядишь тогда, что будет.

И тут мне страшно стало. Мне уж и до ветру не охота. А было тогда, дураку, всего-то двадцать один год. Мне от армии отсрочка, как я работник стадиона «Динамо». И я недавно женился. Жена в этом месяце рожать должна. Сел я на холодный

пол и заплакал. Так тяжко мне стало. В груди, понимаешь, досада горит. Как так, пропасть за ерунду. А ведь пропал, точно пропал! Какое-то время прошло, замок загремел:

— Выходи на отправку!

Отвели меня в сортир. Я спрашиваю:

— Гражданин дорогой, а сколько сейчас времени?

— Тебе же сказано, семь часов тридцать минут. Быстрей оправляйся, — и так всё со злобой говорит, и смотрит чистым зверем.

— Как думаешь, сколько мне дадут?

— Да все твои будут. Впереди лошади-то не беги. Успеешь ещё, — и, гад, смеётся.

— А курить дадут?

— Ага, — отвечает, — дадут. А потом догонят и ещё добавят…

Потом принесли мне миску какого пойла — суп, не суп, ошмётки какие-то плавают. И кружку бурды — это заместо чаю. Время там — вот именно, что не идет, а тянется… День проходит, два. Я жрать хочу, аж в животе всё ходит ходуном. А приносят какую-то ерунду. И никто ни о чём не спрашивает меня, никто не отвечает мне ничего. Вот ещё отчего страшно. С одним я всё ж разговорился:

— Ты, — говорю, — случайно не из Нижнего родом, у тебя, слышь, говор-то… Я нижегородский сам.

— Нет, — отвечает, — я ярославский. Да ты земляков-то себе не ищи тут. Это ни к чему тебе совсем. Молчи больше, Это будет лучше, — но этот был, видно, жалостливый человек. Он дал мне докурить окурок свой, а потом подумал и ещё папиросу дал про запас.

Вот, поверишь, я там пять суток проторчал. Курить нечего, и меня кашель бьёт, а может простудился. Сильно там было холодно. Пробовал я Богу молиться, как мать учила: «Отче наш, иже еси на небесех…» — сбиваюсь и никак до конца дочитать не могу. И никто меня ни о чём не спросил. А потом раз дверь открывается и заходит офицер. И спрашивает:

— Почему этот бокс заняли? Я ж говорил, он резервный, мне нужен…

Никто ничего ему не может ответить. Время-то прошло, и никто не знает, как я сюда попал, за что? Снова дверь захлопнулась. Время потянулось. Мне так было тяжко, что я зубами скрипел. Сижу на полу и раскачиваюсь — туда-сюда, туда-сюда. Снова дверь отворили:

— Выходи! — повели по коридору. — Руки за спину!

Заводят в какой-то кабинет. Там на подоконнике цветы. На

столе графин с водой. Какой-то, мне показалось, старик сидит за большим столом с телефонами. Видать, в больших чинах. Я знаков различия-то тогда ещё не знал, и не помню, какие шпалы, ромбы.

— Ну, рассказывай… Владимир Филиппович… Крохин?

— Виноват, я не Крохин, а Кроханин.

— Ну, почему ж ты виноват? А ты виноват?

— Точно, — говорю. — Сильно виноват.

— Давай, всё рассказывай, как есть.

Стал я рассказывать:

— Снег повалил, товарищ начальник, а я бригаду отпустил спать, и сам уснул. Думаю, снег-то всю ночь будет идти, что ж его чистить. Надо с утра машину вызывать. А он возьми к полуночи и утихни.

Ну, он меня расспросил, как я на корты устроился. Через двоюродную сестру свою, она там была билетёршей.

— Тебе пора в армию, Кроханов, что ты на это скажешь?

— Я извиняюсь, конечно. Я не Кроханов, а Кроханин.

Он смеётся и говорит:

— Да, кто б ты ни был, а тебе пора в армию. Такие люди в армии нужны, потому что ты в рубашке родился. Сейчас иди домой. Тебе пришлют из военкомата повестку. Не обиделся ты на наши органы?

— Да что обижаться-то, — я ему отвечаю. — Немного помаялся. А, главное, живой остался, — а сам-то думаю, чтоб вы все тут попередохли!

— Правильно, Кроханин. Очень правильно ты это рассудил, — и он велел меня проводить.

Прибежал я домой не живой, не мёртвый. А уж Дуська-то моя родила. Она мне ребёнка-то протягивает на руках, а сама как-то так икает. И она стала заикаться. И даже сейчас, вот, как она придёт ко мне, ты прислушайся, иногда заикается. Она думала, я пропал. В первый ведь раз, с непривычки страшно. Я войну прошёл, дважды ранен был, и ничего. А от этого пустяка и стала заикаться баба. Фёдора родила тогда она, старшего моего. Он сейчас в Ленинграде живёт. Недели не прошло, как меня в армию призвали. А там уж и война была недалеко. Я в 41-то уж был старшиной. После ранения в 44-м меня комиссовали, нога-то осталась хромая, видишь. И вот с тех пор уж я отсюда никуда. Так всю жизнь и проработал здесь.

Пока он мне всё это рассказал, он натянул новые струны на ярко расписанную импортную ракетку и негромко окликнул:

— Готово товарищ.

— Значит, сколько я должен тебе, батя?

— Сорок рублей.

— Как сорок? Ты ж говорил двадцать пять.

— Виноват. Ракетка дорогая, а она была у вас уж деформирована. Я еле выправил её. Такая цена. Вы не беспокойтесь. Я лишнего не спрошу.

* * *

Я убеждён, что популярная поговорка: Каждый народ достоин своего правительства — свидетельствует о ненависти просвещённой части российского общества к простым людям, не более того. Я, однако, в поле идеологической публицистики очень слаб и беспомощен. Попытаюсь выразить своё убеждение по этому поводу другими, доступными мне средствами, которыми я владею с некоторой неизвестно откуда взявшейся у меня квалификацией.

Все мы прокляты русским народом,
А была наша злая вина –
В том, что нас поманила свобода
А народу она не нужна.

Это я написал лет сорок тому назад, совсем был сопливый. Я тогда носил форму морского флота рыбной промышленности, весь был чёрно-золотой, в январе рожа кирпичная от загара, полгода ловил сардину в Гвинейском заливе, приехал из Калининграда в Москву после рейса, в отпуск. Моряк вразвалочку сошёл на берег… Попугаи, пальмы, баобабы… В Дакаре мне не посчастливилось увидеть жену французского посла, зато я побывал в публичном доме. Там были негритянки, некоторые к моему удивлению оказались очень привлекательны… Но не пугайтесь, я не собираюсь рассказывать здесь об этом знаменательном визите — кроме ерунды, нечего об этом рассказать (мне во всяком случае).

Однажды, в те далёкие времена мы с моим дядькой, братом матери, Феликсом Световым сидели в ресторане ЦДЛ. За соседним столиком — живой Смеляков, он очень пьян. А вон там, стоит у бутафорского камина — Евтушенко. А это Галич. Войнович. Давид Самойлов (Дезик). Коржавин (Эмка Мандель). Левитанский, Вознесенский. А вот пошёл Любимов. Вот знаменитый диссидент Пётр Якир. Безусловно, для такой компании — слишком много евреев. А кто в этом виноват, и что тут можно поделать? Ситуация-то классическая. Не однажды она возникала в Истории.

ЦДЛ был тогда бастионом оттепели, здесь ещё не исчезло ощущение свободы. Её ещё не было или уже не было, но её ждали. Хрущёва не стало, но трепетное, почти безнадёжное ожидание свободы продолжалось по инерции… А это кто, такой огромный и лохматый? Юрий Домбровский.

— Ты знаешь, — сказал я Свету, — у меня такое впечатление, что народ не хочет перемен, — разумеется, я имел в виду русский народ.

— Почему ты так решил?

— Все убеждены, что перемены — только к худшему.

— Народ это кто? Кого ты называешь народом? Кто эти все, по-твоему?

Странный вопрос. Двести миллионов человек — не иголка. Два века длятся поиски русского народа. Куда-то он прячется всё время, народ Серафима Саровского и Степана Разина. Где он? Кто он? И что это за народ такой? И он какой? Самое главное: что ему надо, народу?

В Москве у меня был тогда друг, человек удивительно талантливый, но погибавший и погибший, в конце концов, от непрерывного запоя. Он сочинял, как мне казалось (а может, и впрямь так оно и было), гениальные стихи, но никогда не записывал их, все они пропали. Пропали его рисунки карандашом, шариковой ручкой, губной помадой какой-нибудь очередной его девки, даже обгоревшей спичкой, которые он за разговором рассеянно чертил на обрывках бумаги. И, разумеется, пропало всё, что он говорил о культуре, истории, религии, о стремлении к неведомому Богу и о противостоянии Ему — всё пропало. Некому ведь было сохранить. Он размышлял о судьбе русского народа. Постоянно думал об этой уникальной общности людей, сложившейся по его мнению из элементов, друг другу враждебных и, казалось бы, несовместимых в рамках какого либо мыслимого единства. И всё же он был уверен, что русские — прообраз грядущего объединения народов мира, потому что они в глубине национального духовного пространства объединяют нормативную европейскую культуру и варварское, азиатское стремление разрушить тесные рамки презренного здравого смысла. Православие — религия русских — единственная система взглядов, способная придать определённые формы этому узлу внутридуховных противоречий. Русские, — говорил он, всегда волнуясь и увлекаясь, — несут в сердцах одновременно строгую гармонию и свободный хаос, который издавна называют волей.

Русская воля это тысячелетнее странствие в безграничных космических далях, а русская гармония это обустройство необъятного космоса в пределах рациональной математической формулы. Но! Православие… Ну, и так далее, и тому подобное. Это, к сожалению, совершенно бессмысленно набирать типографским способом, но слушать с гранёным стаканом водки в руке и сигаретой в углу рта можно долгие часы. И вот однажды мы с ним пошли в сквер, рассчитывая, утроившись там на укромной скамейке, выпить и поговорить. Мы не успели расположиться, как стал накрапывать дождь. Что было делать? Я предложил пойти в пивбар.

— Нет, — сказал он, — только не это. Там эти… уроды, я не могу.

— Какие уроды?

В те же годы у меня был наставник, человек, который пытался научить меня жить. Безуспешно. Кое-что я усвоил, но в целом оказался к науке невосприимчив. Только по прошествии почти всего моего жизненного пути я стал смутно догадываться, что именно он имел в виду.

Александр Иванович Волков задолго до войны окончил четыре класса сельской школы, читал с трудом, по слогам. Его призвали на флот, и с тех пор он уже не отрывался от моря, пока не умер. Воевал на подводных лодках. Его субмарина была потоплена, он выплыл (редчайший случай) и попал в плен. После войны пять лет провёл в воркутинских лагерях. И опять пошёл в море. Когда мы с ним повстречались, он ходил боцманом.

Я получил в базовом отделе кадров очередное направление и явился на пароход. Кажется, это был РТМ «Андромеда». На лобовой надстройке огромными буквами: «Экипаж коммунистического труда». Сдал направление старпому и нашёл на палубе боцмана, мне нужно было получить у него новую робу.

— Боцман, а что это написано: экипаж комтруда? Ведь каждый рейс мы подменяемся.

Он сидел на канатной бухте и курил, сощурившись и сосредоточенно глядя как бы никуда — его непременное положение в редкие моменты, когда он ничего не делал. Он внимательно посмотрел на меня и совсем серьёзно спросил:

— Ты что, дурак? — потом он подумал и добавил. — Нет, это у тебя, потому что ты еврей. До смысла хочешь докопаться. А смысла-то и нет никакого, одна муть. А вроде умный народ. Вот почему так? — я этого не знал тогда и сейчас не знаю.

Однако, я совершенно уверен, что Александр Иванович Волков евреями называл всех интеллигентных людей чохом. К

тому же он не делал разницы между моими родителями, например, и в большинстве случаев малограмотным партийным руководством — начальство.

Как-то раз в Северной Атлантике в сильный шторм волной сорвало лючину (крышку) грузового трюма.

— Боцману с палубной командой, — загрохотала принудительная трансляция голосом капитана, — выйти на рабочую палубу, закрепить лючину!

Через минуту Иваныч откашлялся в микрофон и сказал совсем по-домашнему:

— Так, морячки, давайте повеселей. Вахте второго штурмана выйти на ботдек. Жилеты, багры, фал. Ну, и… В общем, шевелитесь.

Он был совершенно спокоен. Мы все сгрудились вокруг него на шлюпочной палубе, будто птенцы вокруг наседки. Я смотрел вниз, туда, где сбесившаяся вода бушевала на полубаке. Лючина весила около тонны, и её носило по палубе, как жестянку. Судно, работая предельными оборотами, с трудом удерживалось в разрез волне, и нас бросало так, что невозможно было устоять на ногах.

— Ну, чего нахохлились, как пленные румыны? — сказал боцман. — Не бойтесь ничего. Бояться опасно. Испугался — пропал. Главное, меня слушайте. Как скажу: «Вперёд!» — сразу за мной, а кто будет менжеваться, получит по шее.

Так. А ты чего, профессор (он меня так звал), чего дышишь-то? Очко играет? Плюнь! Я с семнадцати лет эдак вот кувыркаюсь, и ничего, жив-здоров.

— Ага, плюнь… — сказал я. — Ты привычный, а…

— Спирту хочешь? — тихо спросил он меня. — Только, смотри, ребятам не говори, на всех вас не напасёшься.

— А у тебя есть?

— У меня всё есть. Глотни, только не увлекайся.

Я глотнул из металлической фляжки. Отдышался и прислушался к страху у себя в животе. Его почти не стало. Иваныч поглядел на меня:

— Полегчало? — я кивнул.

— Зря, — вдруг с сожалением сказал он. — Зря. Нужно было перетерпеть.

Он, мне кажется, считал, что страх это вроде головной боли. Когда мы выбежали на палубу:

— Смотри. Этот конец быстро закрепи за центральный рым лючины. Сумеешь? Как она, падла, под крен прижмётся к фальшборту, сразу прыгай на неё, вяжи и беги назад. Не сумел

сразу завязать — бросай. Упаси Бог, опоздаешь, и она пойдёт обратно — тебя выбросит за борт, понял?

— Понял! — дико заорал я и бросился выполнять.

Я взгромоздился на скользкую плоскость лючины, но с концом завозился.

— Пробатов, прыгай в сторону. Бросай конец, дурак!

Конец я так и не сумел закрепить, громадную чугунную махину уже несло к противоположному борту, когда я каким-то чудом спрыгнул и покатился по палубе. Волков молча смотрел на меня, когда я, наконец, подошёл:

— Ну, до чего ж заядлые вы все… — кого он имел в виду, евреев? Интеллигентов?

Советская интеллигенция очень значительной частью состояла из евреев. Я не знаю, чем это объяснить. И у меня такое впечатление, что этого никто толком не знает. Но я был бы не вполне искренен, если бы при этом не вспомнил, что евреи стоят у истоков практически каждого мыслительного движения в течение всего того времени, как складывалась современная цивилизация. Всякое мистическое объяснение этого обстоятельства для меня неприемлемо, потому что оно приводит к чудовищным выводам и чревато войной еврейского народа со всем миром. А такая война мне представляется во-первых противоестественной, а во-вторых бессмысленной и обречённой на позорное поражение, как любая война за мировое господство. Это была бы постыдная война.

Однажды он разбудил меня ночью:

— Вставай, браток, шлюпку расчехлять. Как раз, пока расчехлим, и ребят можно будить. Идём на SOS.

Сигнал бедствия подавал небольшой норвежский сейнер. Они намотали свой сетевой порядок на винты, потеряли ход и управление и начинали уже погружаться, набирая воду в кормовые отсеки. Мы вышли на палубу — кошмар. При сильном ветре и волнении судно шло полным ходом, подставляя ветру борт. Волна накрывала нас вместе с надстройкой. Несколько мгновений я простоял, вцепившись руками в леер, пока сквозь дикий вой ветра и гром волны не услышал, что боцман кричит: «Пробатов, в укрытие, твою мать!». Я с трудом добрался до входа и, едва справившись с тяжёлой стальной дверью, мокрый до нитки, прошёл в помещение. Александр Иванович поднялся в рубку, я за ним.

— Что, готова шлюпка? — спросил капитан.

— Не, не стану расчехлять. Кто пойдёт с командой, пусть и расчехляет.

— Тебе ж идти.

— А не, я не пойду, — невозмутимо сказал боцман.

— Боцман! Приказ выполнять отказываешься? Ты у меня под суд пойдёшь, — закричал капитан.

— Ну, добро, радируй в Базу. А старшиной бота не пойду, и шабаш. Тебе охота золотую звезду, а мне не надо, мне двух красных хватило так, что лучше б и не представляли. С кем я пойду? Молодых ребят губить, за что? Там пятеро норвежцев — я никого их в глаза не видал. А тут наши калининградские ребята. Вот я его жене, матери его, чего скажу? — он кивнул на меня.

Позднее я стал упрекать его. Как же так? Люди гибнут, и не прийти им на помощь…

— Ну да. Всё должно ж быть по правилам. Одни евреи эти правила и соблюдают. Своих, значит, угробить, а чужих выручить. Да и вообще, Мишка… Все правила выдумали евреи. Вас же по этим самым правилам и гноят.

В 1968 году ловили путассу в Ла-Манше. Чехословацкие события. Несколько тревожных дней, когда мы уверены были, что начинается большая война, а значит нас интернируют.

— Слышь, профессор! Ты что такой смурной ходишь?

— А что, как нас тут арестуют?

— Слушай, Мишка, в сорок пятом году меня освобождали англичане. Лагерь наш, перемещённых лиц, был в Бельгии, где-то тут неподалёку. Так веришь? Я четыре месяца при коммунизме жил. Всего было навалом — и жратвы, и сигарет, и водки. Даже бабы были. Чего ещё надо? Будет война, пускай друг дружку хавают. Это надо Богу поклониться, если нас запрут. Тебе что, охота воевать?

Медаль «За отвагу», два ордена Красной Звезды. Он был членом партии с 41 года. Загадка.

* * *

Я долго думал, написать ли об этом в ЖЖ. Сегодня стало известно, что моя дочка должна родить тройню. Поразительно. Всё время думаю об этом и успокоиться не могу. Удача мне нужна. Такого со мной ещё не случалось. Девочка стала взрослой женщиной, пока меня носило по белому свету. Кто-то мне напоминает о чём-то очень серьёзном, но разобрать трудно.

* * *

На Хованском кладбище в середине восьмидесятых работал человек, которого все звали Цыган (с ударением на первом слоге). Настоящим-то цыганом он вовсе не был, вернее всего, он был русский, просто очень смуглый, кудрявый, белозубый, похож был на цыгана, только не взаправду, а с картинки. Цыгане, как правило, люди очень выразительной внешности, редко бывают с точки зрения европейца красивы. А наш Цыган был очень красив. Это был человек высокий, стройный и сильный, ловкий и быстрый в движениях. Особенное впечатление производил внезапный пристальный взгляд его прозрачно-зелёных, наглых и бесстрашных глаз. Этот взгляд женщин с ума сводил, а мужчин пугал. Таких людей никто не любит, и вся их надежда в жизни на удачу, какую судьба пошлёт. Цыгану тогда было не больше тридцати лет, смелости ему ещё тогда хватало.

Он два года отсидел «за тунеядство», после чего у него на руках не было никаких документов. Естественно, не мог он и прописаться нигде, и трудовой не было, не мог оформиться на работу. Он был настоящий беглый. Совсем не то, что я. Он всегда работал «негром», то есть неоформленным официально. А рабочий Цыган был очень хороший. Он досконально знал все работы, которые на кладбище в цене, то есть отлично копал, зимой долбил, заливал всевозможные бетонные надгробия, умел пилить, шлифовать камень и вырубать на памятниках надписи и портреты. Человек был нужный. Бригада его «отмазывала» от милиции, и он просто жил на кладбище, ночуя в раздевалке. Бывало, мы часов в семь утра подходим к вагончику, а оттуда отъезжает чёрная «Волга». Это какая-то возлюбленная нашего Цыгана так до рассвета и не смогла оторваться от него. А цыган выходит, лениво потягиваясь, на крыльцо, сияя жемчужной улыбкой:

Солнце встает -
Два землекопа роют яму…,

— тут целому хору диких охрипших голосов следовало подхватить: Чуча!

— Кто рано встаёт — тому Бог подаёт! — крикнет, бывало, Цыган. — Здорово, банда!

Что такое творилось тогда на московских кладбищах, об этом должен бы по-настоящему написать какой-нибудь социолог, а ещё лучше юрист или криминалист, а не я. И пускай бы он, как следует, разъяснил, откуда там сложились такие нигде в мире невиданные в местах мирного упокоения граждан, производственно-уголовные отношения.

Думаю, тут надо сказать два слова вообще о наших отношениях с властями предержащими, особенно с милицией, да и с родными мне москвичами, которых я обслуживал столько лет на этой каторге. Кто хочет, может обижаться.

Когда я ушел с Ваганьковского кладбища, где никак меня не брали в штат (официально я вылетел ещё в 79 году), я раздарил там весь свой инструмент, это была традиция — с кладбища ничего не уносить, выпил с ребятами, как следует. Я уходил на Ховань, где меня в штат приняли. Это была большая удача. И я на площади метро 1905 года зашёл в кафе «Гвоздика». Стою у бара и пью потихоньку коньячок. Вдруг заходит наш ваганьковский милиционер, его звали Сашка.

— О, Миш, здорово! Ну, давай, рассказывай, как дела? Так нигде и не работаешь?

— Э-э-э, нет, Саня, я оформился.

— Вот чудеса. А куда — не секрет?

— Не секрет. На Ховань подсобным.

Тогда этот Сашка делает умное лицо и говорит назидательно и так, чтоб девчата слышали за стойкой:

— Миша, ну вот скажи ты мне такую вещь. Подсобный получает оклад 85 рублей в месяц. Ты пьёшь коньяк по девять рублей пятьдесят грамм. Как это понять?

— Саша, дорогой, — я ему отвечаю. — Ты весишь сто килограммов, а я шестьдесят. Возьми ты лом, лопатку. Покопайся в землице. Ты больше моего заработаешь. А то ты всё стоишь на кладбище с протянутой рукой: Дай четвертак!

Девчата-официантки засмеялись. Это был нокаут.

Ещё маленький эпизод. Осенью на Хованском кладбище невылазная грязь и вода. Дождь сыпет неделю непрерывно и могилы полны воды, там же чистая глина. Воду мы отчёрпываем вёдрами, если кто заплатит, потому что официально к оплате это не идёт. Я уже был бригадиром. Подвожу клиента к могиле.

— Можем, конечно, отчерпать, но надо как-то ребят потом отблагодарить.

Молодой, очень аккуратный парень, так же мокрый насквозь, как и я, только не такой грязный, спокойно и с чувством собственной правоты мне говорит:

— Товарищ, я простой советский учитель, получаю фиксированную зарплату. Ничего лишнего вам не дам. А и мог бы не дал. Считаю это неправильным.

Хорошо. Я велел могилу насухо отчерпать и поставить гроб на сухое. Закопали в пять минут. Обложили могилу цветами и все стебли обрубили, чтобы бомжи не воровали. Подхожу к нему с квитанцией.

— Здесь вот напишите, пожалуйста, что у вас претензий к работе нет, и распишитесь.

Паренёк этот внимательно осматривает всё, что мы сделали, и говорит:

— А это что такое?

— Стебли обрубаем. Воруют.

— Вот и соберите их и положите в мусорный контейнер.

Тогда я, совершенно уже не в себе, опускаюсь на колени в грязь и начинаю стебли собирать, отнёс их в контейнер, квитанцию у него подписал, а потом срываю шапку и бросаю себе под ноги в грязь:

— Тебе спасибо, и дай Бог здоровья сынок, родной, что ты мне на голову не наступил, когда я у тебя под ногами мусор убирал!

— Ну, зачем же вы так? Постойте! Мне кажется, что вы совершенно искренне чувствуете себя правым в этой ситуации.

— Совершенно верно. Мне с этого заказа идёт к оплате один рубль восемьдесят копеек.

— Не я, однако, виноват в этом.

— А я?

Что это было такое? Только, пожалуйста, мне не говорите, что никто мне не мешал с кладбища уйти. А кто б тогда хоронил? Где б вы нашли людей на такую работу и за такую зарплату, если с клиента не брать? Или, может быть, нам следовало жаловаться в свой отраслевой профсоюз, или во Всеобщую Конфедерацию труда? Или с гордостью делать людям добро бескорыстно мы были должны, когда нас эти ж самые люди никогда даже спецодеждой не обеспечивали? Мы работали во всём стройбатовском. Полностью всё обмундирование на зиму, подлитые валенки, суконные портянки, бушлат, ватные брюки — стоило два — три литра водки.

Но я хотел что-то о Цыгане рассказать. Как-то мы с ним вдвоём цоколь заливали и разговорились. Он вдруг возьми и скажи:

— А знаешь, я тут Хемингуэя перечитал, и так мне не понравилось. Сперва-то я прямо от него тащился. А тут гляжу, какие-то тонкие намёки на толстые обстоятельства, а то всё говорили: подтекст, подтекст…

— А ты, Цыган, вообще-то много читаешь?

— Когда мне много-то читать?

— Слушай, тебе ж ещё учиться не поздно.

— А зачем это мне, Миша, учиться?

Однажды у одного нашего стало плохо с сердцем. Это чаще всего бывает зимой в сильные морозы. Хотели, было, лечить его

водкой, да какой там! Как бы не помер. Повезли его на машине в Видное в больницу. Цыган был с нами.

Этого парня звали Костей. Уж он побелел совсем, а его не кладут ни в какую.

— Что это такое? Без документов… Да вы посмотрите, в каком вы все виде? Вы откуда, товарищи? Я сейчас милицию… Господи, а перегаром, перегаром… Да он же совершенно пьяный.

Появляется заведующая Приёмным отделением, такая монументальная дама в белоснежном халате.

— Так. Сию минуту… Вы по-русски понимаете? Чтоб сию минуту вашего тут и духу не было!

А тогда выходит Цыган. Выходит он, приближается к этой грозной фурии в своей грязной рванине и что вы думаете он ей говорит?

— А мне, лично, сию минуту нужно с вами поговорить с глазу на глаз.

— Это ещё о чём?

— Я ж говорю: с глазу на глаз. Разговор личный.

И так они несколько мгновений стоят и смотрят друг на друга. А Цыгану больше и не надо. И он укладывает свою совершенно чёрную руку ей на сияющее первозданной чистотою накрахмаленного халата докторское и одновременно на исходе последней осенней торжественной женственности пышное плечо:

— Здесь есть какое-нибудь помещение, где можно было бы поговорить в комфортной обстановке? Деловой же разговор. Здесь очень шумно, — а его зелёные глаза горят, как у кота и светят, как фонари.

И Костю оформляют в кардиологию. А Цыган исчез и появляется только на следующий день.

— Цыган, что ты не женишься? Или просто прибился бы к какой-нибудь бабе. Вроде вот вчерашней докторши?

— Да ну ещё. У неё на пиво не допросишься, такая стерва. И всё время меня расспрашивает про трудное детство. Ну, дура, точно! У тебя, говорит, наверное, были плохие родители. И самой не смешно. Не спросит, у меня родители-то были, вообще? Я, например, не знаю.

Он, действительно, был детдомовский.

Наконец как-то явилась милиция и забрала Цыгана на принудительное трудоустройство. Сажать на этот раз не стали. Его направили в какой-то колхоз под Серпуховом. И там устроили пастухом. Он это дело знал неплохо. С месяц он не появлялся, а потом приехал в Субботу на Воскресение. В отглаженном новеньком костюме, белой рубахе с галстуком. Выбритый до синевы. Открывает саквояж (тоже новенький), там выпить,

покушать, всё честь по чести. Ну, и Цыган. Оклемался, наконец. Он там нашёл себе какую-то женщину и говорил, что она нравилась ему. Душевная. И не жадная.

Так он к нам на Ховань и стал в выходные приезжать в гости. В Воскресение вечером обязательно уезжает в Серпухов. А как же? Работа есть работа. Только однажды в Воскресение к вечеру напился и не уехал. Утром рано опохмелился и прямо в чистом костюме своём:

— Давайте мне, ребята, лопатку. Копну ямку на скороту.

Я подошёл к нему и стал уговаривать.

— Что ж ты, брат, с собой делаешь?

— Миша, родненький ты мой! Ну не могу я, понимаешь? Скучно мне с ними!

Нужно, наверное, рассудить так, чтоб этих бродяг всех изолировать, и заставлять работать, и никаких тут особых нет сложностей.

А мне всё думается: Запереть его не трудно. А не жалко? Мне так жалко. Цыган, впрочем, и так пропал. Ночью пошёл с Хованского кладбища за водкой в деревню Саларево, споткнулся и ногу сломал. А был мороз и он замерз к утру. Восхода уже не увидел. А он очень любил восходы.

* * *

На работу нужно бежать. Вечером я попробую ответить всем, кто упрекает меня, может и справедливо… Эх, ребята, я опаздываю. Всё равно я всем благодарен. Потому что до ЖЖ я жил, по выражению моего отца, «в кувшине». Никто меня не упрекал. Никто на меня и внимания не обращал.

* * *

В Центральной Атлантике есть небольшой остров Гарасао. Собственно, это островное государство, кажется, под формальным протекторатом Испании. Но я неуверен. Вы его на карте не ищите, не теряйте времени. Государственный язык испанский, но местные говорят на каком-то особом диалекте, так что испанцу трудно понять — слишком много намешано наречий индейцев, негров, голландцев (первых колонистов), и много англицизмов.

Какое-то там есть сельское хозяйство. Они экспортируют в Штаты фрукты, козлятину — там, в горах множество горных коз

— копчёную и мороженую рыбу, мясо морской черепахи. Страна, в общем, очень неблагополучна, и в горах постоянно неспокойно, там отряды повстанцев. Если я не путаю, они троцкисты и одновременно яростные адепты мистической религии Духа снежной вершины Агоно. Время от времени делают набеги на небольшие деревни в долине и угоняют скот.

Там живут люди с бронзово-золотистой кожей, всегда блестящей на солнце, будто она и впрямь металлическая. У них продолговатые лица с очень большими, угольно-чёрными, как бы подтянутыми к вискам глазами. Женщины и мужчины сложением стройны, хрупки и движениями грациозны, будто птицы.

Как-то я беседовал с их Министром экономического развития. Он учился в восьмидесятые годы в Москве. Хорошо говорит по-русски. Мы с ним сидели на веранде большого столичного ресторана, откуда открывался вид на широкую бухту, выход в океан, корабли на рейде. Внизу на песчаном пляже девушки играли в мяч обнажёнными.

— Хотите бинокль? — спросил Министр, которого звали Пулго Гэри. — Некоторые девушки очень недурны. Все они горянки. Здесь, на побережье нет таких красивых людей, как в горах… Бедность, видите ли, а когда бедность, начинают говорить о развитии туризма. Единственный выход из положения — туризм, но нужны большие капиталовложения. Мы не справляемся. Может оно и к лучшему. Здесь живётся спокойно. А вы знаете, этот остров открыл Дрейк. Отсюда и название Гарасао. Когда он вышел на берег, его встретили мои предки, голые и краснокожие, ведь не было ещё примеси чужой крови, индейцы. И знаменитый адмирал услышал предостерегающий возглас: «Га ра сао! — Опусти оружие своё!». За оружие они приняли его трость с золотым набалдашником. Но не обратили внимания на пушки его фрегата, бросившего якорь в бухте. Это была их ошибка… Будете пить водку? Кукурузную? Вы хотите, чтобы нас обслуживала Найга? — я кивнул.

— Найга! Живей неси водки со льдом русскому господину. И большое блюдо креветок с лимонным соком. Поторапливайся, девочка.

Эта девушка, Найга, ей сейчас уже семнадцать лет, а когда я впервые её увидел, она только что достигла совершеннолетия, то есть ей было двенадцать, она мне часто снится во сне. Она мне приснится, наверное, и в последнем сне. Во всяком случае, я на это надеюсь. Как только посмотрю ей в глаза, я сразу уплываю в какую-то бездонную мерцающую тихим светом глубину, а когда она заговорит, я слышу флейту, которая поёт мне о неведомой вечности, в которую я с годами всё меньше верю.

— С вашего разрешения, господин. Вы так давно не были у нас на Гарасао. Я уже не надеялась вас больше увидеть.

— Занят был, Найга.

— Вы мне расскажете про это? — она налила водки в фарфоровую чашку и тонкими пальцами в кольцах опустила туда два кубика льда. Её бесчисленные косички коснулись моего лица. На кончике каждой косички — цветная тряпочная ленточка.

Я отхлебнул глоток чистейшей, очень крепкой водки.

— Тебе будет не интересно. Я придумывал всякие байки. Некоторым нравилось. А некоторым не нравилось.

— Здесь все говорят, что вы скоро получите премию… Я забыла, как называется, которую выдают шведы. А когда соседка стала смеяться, я запустила наших коз ей в огород. Я уверена, что вы получите эту премию.

— Жду со дня на день, — сказал я. — Я очень стараюсь. Тогда мы с тобой поедем в Европу. Куда б ты хотела попасть в Европе?

— Я хочу в Мадрид. Мой брат жил там. Он рассказывал чудеса.

— Ну, так можешь не сомневаться. Как только получу эту премию, сразу отвезу тебя в Мадрид.

— Вы пойдёте в море за рыбой? Отец специально готовил лодку. А меня возьмёте с собой, господин?

— Обязательно. Только не сегодня.

Сеньор Пулго Гэри молча ждал, пока мы поговорим, и Найга уйдёт.

— Простите, если я неделикатно вмешиваюсь, Михаил, но будьте осторожны. Все эти девушки — настоящие дикарки, и они, как все дикари, очень легковерны. Она вам не всё рассказала. Видите ли, над вами тут многие посмеиваются. И Найга на той неделе ударила ножом одного парня, который неподобающим образом о вас отозвался. К счастью всё обошлось благополучно. Её отец заплатил полторы тысячи зуро, для того чтобы уладить дело. Для него это немалые деньги. Почти двести долларов. Он продал вторую лодку.

— Чёрт возьми, я ему заплачу…

— Вы его этим оскорбите. Он очень гордится своим поступком. Ведь он заступился за друга и покровителя своей старшей дочери. Вы просто учтите в дальнейшем, что все эти разговоры о премии и о поездке в Европу она принимает за чистую монету.

— С ума сойти, — сказал я. — Я же просто шучу. Теперь я буду осторожней. Это замечательная девушка.

— Её пора выдавать замуж, а она теперь не хочет. Не в Мадрид, а она говорила подругам, что вы её в Москву отвезёте.

Будьте осторожны.

— С ума сойти. Я буду осторожней.

— Пойдём сегодня, поохотимся на коз?

— Нет, я что-то чувствую себя паршиво, — сказал я. — Старею. Лучше я пройдусь по городу и лягу спать пораньше.

Мне захотелось поскорее исчезнуть с этого острова, а ведь для этого достаточно просто уснуть, как и для того, чтобы снова там оказаться.

* * *

Эту историю с некоторыми оговорками можно назвать новогодней.

Однажды у меня появился старший брат. К сожалению, очень ненадолго, всего на несколько лет. Я, сколько помню себя, очень огорчался, что нет у меня брата или сестры. Я до сих пор огорчаюсь по этому поводу. И я не раз обращался по этому поводу к родителям, а они как-то сумрачно кивали друг на друга. Но вот, наконец, брат появился. И это был не младший, как можно было ожидать, а старший брат. Легко понять, насколько это удобней человеку в возрасте шести лет. Было это так.

Отцу позвонили с рыбозавода и сообщили, что пропал ребёнок. Двенадцатилетний сынишка бондаря Брагина. Отец в тех местах некоторым образом исполнял административные обязанности, даже имел полномочия временно регистрировать рождения, смерти и выдать временные же свидетельства о браке. Он даже мог заключить человека под стражу. У него для этого был пистолет «ТТ», к которому он как бывший кадет относился презрительно. Он считал почему-то, что это оружие очень плохое, ненадёжное. К тому же, я, хотя много позднее довольно активно занимался боксом и лично знал совсем неплохих спортсменов, ни разу не видел человека, с которым мой отец не мог бы справиться вручную. Но это к слову.

Отец позвонил на погранзаставу. Милиции ещё не было на Южном Сахалине или, во всяком случае, у нас в посёлке она не показывалась. Пограничникам было не до пропавших детей, потому что в тайге было полно беглых, бежавших из пересыльных тюрем, тянувшихся вдоль всего противоположного берега Татарского пролива. Эти люди легко переправлялись через неширокий Амурский лиман с материка на остров. Беглые бывают разные, и в отличие от моей молодой подельницы из ЖЖ (beglya), те беглые были очень опасны. Они были хорошо вооружены, поскольку нападали на конвой, в большинстве

случаев удачно, и разоружали не нюхавших пороху стрелков МГБ без особенных проблем, поскольку после войны среди них оказалось много фронтовиков, партизан, пленных поляков из АК, власовцев, бендеровцев и т. д., то есть профессиональных военных. Я потом обязательно напишу, как они однажды напали на наш посёлок. Особенно интересно, как моя бабушка на это нападение прореагировала.

Итак, отец поставил в известность пограничников о пропаже ребёнка, а сам в течение нескольких дней с рыбозаводскими рабочими и сотрудниками Института пытался прочёсывать тайгу. Мальчик, как сквозь землю провалился. Но мы, дети, знали, где он. Его звали Толик. Он, пока снег не выпал, кормился по огородам, откапывая, что попадётся, и воровал по курятникам яйца. На рыбозаводе было полно солёной кеты и горбуши, икра была, крабы, и он приходил туда ночами. А мы таскали ему хлеб.

В посёлке у нас была баня. Отец сам её рубил с бригадой плотников — без единого гвоздя. Всю деревенскую работу он помнил или, во всяком случае, с удовольствием вспоминал. В субботу — банный день. Сначала парились мужчины, женщины позже, а детей мыли, когда печку окончательно заливали, и жар проходил. И вот, уже в темноте, домработница тётя Катя понесла меня туда на руках, завернувши в тёплое одеяло. Ночь была лунная, снег мерцал, светился и звонко пел под её валенками. Мне было страшно. Я всегда боялся ночи. Не темноты, а именно ночи. Я и сейчас нехорошо себя чувствую в ночное время. Но мне и уютно было в сильных и добрых руках моей первой няньки.

Но когда мы подошли к дверям бани, Катя вдруг задумчиво произнесла затейливое матерное ругательство, чего никогда себе в моём присутствии не позволяла. В баню вели следы огромных мужских сапог. Она не зря, однако, была казачкой. Поставила меня в снег, велела мне не плакать и, взявши в руку небольшое полено, отворила дверь и вошла в тёмное помещение. Оттуда она через минуту вытащила за ухо Толика, который огромные сапоги нашёл на помойке — летом-то он ходил босой.

— А они ещё долго будут мыться?

— Это директорский, его отдельно мою. А после ещё бабы придут малых мыть. Долго. Часа ещё три. Ты заройся в стожок, может, не околеешь. Что ж я тебе сделаю?

Катя помыла меня, стараясь сделать это быстрей, завернула в чистое и понесла домой. По дороге я увидел голову Толика, которая высунулась из стога сена. Стоял сильный мороз. На нем, кроме сапог, были чьи-то совсем рваные штаны и на полотняную рубаху какая-то куртка х/б. Без шапки. Катя остановилась.

— Это ты только этого ещё помыла?

— А ты, как думал? Терпи уж, казак, атаманом… — тут она снова выругалась. И она заплакала. Это меня очень поразило и напугало. Она никогда не плакала.

Когда дома она рассказала про Толика, отец немедленно сам вышел и притащил его в дом. Толика вымыли, прополоскали ему волосы керосином, потому что он сильно завшивел, и одели на него всё бабушкино, бабушка была совсем маленькая. Не намного больше его ростом. Он сидел за столом в её лыжных штанах, вязаной кофте, тёплых носках и ел. Он ел очень долго. Он голодал уже несколько дней.

Произошло вот что. Отец Толика был запойный пьяница. Он регулярно избивал мать, которая, впрочем, пила не меньше его, но за сына всегда заступалась. А потом она исчезла, вернее всего, просто не выдержала, и сбежала в Холмск, и ушла во Владивосток, и дальше на материк. Отец стал бить Толика ежедневно, но тот оказался паренёк крепкий, плюнул и исчез из дома.

Наутро перепуганный бондарь пришёл за сыном. Отца, как я уж говорил, боялись.

— Ну, ладно, сынок, — сказал бондарь, — побегал и довольно. Айда домой.

— Чего я там не видал?

— Хватит, — сказал отец. — Про этого пацана забудь. А не хочешь, так я тебя под суд отдам. А не нравится — выходи во двор. Я тебя покалечу, — в некоторых случаях отец бывал просто страшен.

— Начальник, а закон?

— Какой тебе закон? Ты — крыса. Тебя убить богоугодное дело.

Человека этого я видел ещё один раз в жизни, когда мы уезжали с Сахалина в Ростов-на-Дону. А Толик стал моим братом. Родители его усыновили.

Прежде всего, Толика отвезли в Холмск, где он почти целый месяц провёл в больнице, потому что у него на ноге начиналась гангрена. Он стёр ногу сапогом на босу ногу. Когда он вернулся, он всё время молчал, озираясь, как зверёк, и это длилось несколько дней. Потом неожиданно заговорил. Он сказал:

— А что это угаром так тянет?

— Заговорил! — обрадовано сказала бабушка.

— Плита в кухне дымит, — сказала Катя.

Толик немедленно полез осматривать плиту, залез на крышу, смотрел там трубу. Потом он совершенно по-взрослому подошёл к отцу и, откашлявшись, сказал ему:

— Хозяин, плиту эту спьяну ложили. Перекладывать надо.

Кирпич есть, я видел во дворе. А то, так и не проснёшься утречком. Угар! Разве ж можно?

Ему было двенадцать, а на взгляд можно было дать лет восемь — худенький, низкорослый. Однако, он ловко переложил плиту. И ещё принёс откуда-то новые колосники. При этом он сказал:

— Да вы не бойтесь. Я не стырил их. На яме (мусорной) нашёл. С такими колосниками надёжней, к тому ж они чугунные, а те были железные просто. Вот они и прогорели. Железных колосников в природе не бывает. Людям же любую липу гонють, а они берут за спасибо. Потому что городские, а здесь места дикие.

У Толика были злотые руки. Он просто был прирождённый инженер. Легко мог починить часы, например, или даже барометр. Многое умел. Только читать он не умел и совсем не хотел учиться.

— А зачем мне читать? — резонно сказал он. — Я ж не на профессора буду учиться.

— На кого ж ты станешь учиться? — спросила бабушка.

И он совершенно серьёзно ответил ей:

— А куда спешить? Поживём — увидим.

Всё это мне вспомнилось, вероятно, потому, что скоро ёлка, и тогда была ёлка. Толик, подробно расспросив отца какие бывают электрические, мигающие гирлянды, легко наладил такие же из обыкновенных лампочек. А для этого, насколько я в этом разбираюсь, нужно было сделать реле. В общем, это ведь не просто было? Все удивлялись.

Потом, когда уж ёлку нарядили, он стоял под ней, не двигаясь, и смотрел. Губы его шевелились, и казалось, что он молится. Потом он потрогал большой шар и сказал уважительно:

— Да. Стекло. Чего только не придумают!

Мы все его очень любили. Но у меня почти не бывает хэппи-эндов, и окончание этой истории я расскажу после Нового Года, чтоб никому не портить настроение.

* * *

Хотел написать что-то новогоднее — не выходит.

Всех поздравляю, и пусть в связи с этим сбывается самое несбыточное — остальное и так сбудется.

* * *

Тот, кто по этому моему сочинению станет судить о положении дел в Гане после переворота 66 года, может попасть в неловкое положение. Я ещё раз напоминаю — это не документальные материалы. Здесь много вымысла и полно домыслов. Я иначе не могу. Мне скучно становится.

Тут как-то зашёл разговор о том, как работало КГБ. Мне, наверное, не везло. Каждый раз, как я с ними сталкивался, они являлись мне в каком-то непрезентабельном виде. Может, притворялись? Специально для меня что ли? Это бывало и в Союзе, и за его пределами. Я даже больше скажу. Я, вообще, не верю в многочисленные легенды о таинственной деятельности всевозможных спецслужб во всём мире. Шпионы, они шпионы и есть. Но я за это не стою. Если меня сочтут злопыхателем, я не стану обижаться, но это смешно.

Вот история, совершенно подлинная, с поправкой на время, конечно — я многое забыл, особенно, о городке, где всё это произошло, и только в самом общем плане он похож у меня на тот, где я в действительности бродил без малого сорок лет тому назад. Судьба беглого, о котором речь идёт — подлинная, вот что я имел в виду.

В Новом 1966 или 67, кажется, году мы стояли в Такоради. Только что убрали Нкруме. Такоради — большой порт, раньше здесь был один из самых богатых на западном побережье Африки рынков работорговли, в те времена это был Золотой берег. А, когда я там оказался, город был захламлен и порт приведён почти совсем в нерабочее состояние. Так мне запомнилось.

Гана — страна маленькая. И она лет за десять лет до того стала независимой. Я сейчас боюсь ошибиться, какие там тогда деньги ходили? Были, конечно, английские фунты, но ходила, по-моему, и какая-то национальная валюта, от которой все старались избавиться. Новый Год там праздник, насколько я понял, не слишком популярный, но тут праздновали свержение Квамме Нкрума. Я не знаю, что он там натворил, но все очень радовались. В тех краях, вообще, любят праздновать и радуются любым переменам, вероятно, предполагая, что хуже будет вряд ли.

Наше начальство очень нервничало, потому что СССР одно время делал ставку на этого Квамме Нкрума (правильно ли я его имя пишу?). Хотя это вовсе не значит, конечно, что его скинули не по инициативе Политбюро. Политика Советского Союза в Африке была ведь на удивление импульсивной. Поскольку настоящих коммунистов или уж на крайний случай левых социалистов — таких, чтоб с ними можно было дело иметь

всерьёз — нигде в мире найти не удавалось, решили искать их в Африке. А в Африке реальное содержание политических движений очень редко соответствуют своим широковещательным названиям.

Мы должны были срочно сдать груз сардины и снова уходить в море, поэтому первые трое суток никого в увольнение не отпускали, и приходилось работать световой день, а дело продвигалось медленно. Как-то всё у них тогда было не в порядке, техника выходила из строя, люди работали плохо и настроены были празднично, и даже слегка по-хулигански — ничего, впрочем, опасного, и к нам относились хорошо, просто дурака валяли.

— Гляди, гляди, что делают!

Парень с девушкой забрались в кабину автопогрузчика и безо всякого стеснения занимались там любовью. И нашего помполита, который прибежал прекратить это безобразие, парень весело приветствовал добродушным возгласом и взмахом руки. Помполит был с военки, недавно демобилизован, очень боялся, как бы чего не вышло, но и он не мог не рассмеяться в ответ на их белозубые ликующие улыбки.

— Слушай, профессор, — сказал мне боцман. — Пойдём с тобой в Управление порта, с понтом я туда документы понесу, а потом смоемся. Я тут ещё не разу не был. Я вижу, место весёлое. Пошли сперва к начпроду и наберём в ларьке носков, маек, трусов поярче, у него там были женские купальники, им здесь, наверняка, цены нет, парфюма, косметики. С таким товаром мы с тобой тут важными господами будем, а при расчёте не дорого обойдётся. Я знаю, куда пойти. Нам на базар надо. Там, как в Польше, всё есть.

Мы с Александром Ивановичем дошли до Управления, сдали туда какие-то бумаги и ушли в город, благо никакой проходной в этом порту не было в принципе. Долго шли мы улочками, извилистыми, узкими, очень грязными, заваленными обрывками листовок и плакатов, не убранных со времени недавних политических потрясений. Голые малыши играли на мостовых, женщины перекликались из окна в окно и развешивали сушиться цветастые тряпки у нас над головами, а мужчины курили короткие трубки, сидя на чём попало, а иногда и прямо на булыжнике мостовых. Никакого базара найти нам не удавалось, а жара стояла такая, что мы взмокли, хоть выжимай.

Подошёл к нам человек лет пятидесяти, и что-то в нём знакомое показалось. И он представился болгарином. Спрашивать, как он попал сюда, было неприлично. Но он сам сказал, что его родители приехали сюда во время войны, они

были евреи.

— Что ж, родители евреи, а ты болгарин? — спросил боцман. — И по-русски говоришь ты хорошо… уж слишком. Нас не интересует, кто ты. Только голову не морочь. Не люблю.

— Я здесь болгарином называюсь, так проще. Потому что порядочные евреи живут в чистом городе, там, где бывшие хозяева. А я? Чёрт знает кто. Я уехал бы в Израиль, да тут одна баба мне нарожала кучу негритят, и жаль бросать, а тащить их туда — боюсь, я там их не прокормлю. Здесь я уж приспособился. Не очень хорошо, но приспособился. У меня тут есть хороший бизнес. Очень хороший. Немного рискованный, но ведь, кто не рискует, — он как-то неуверенно засмеялся, — тот не пьёт шампанского. Заплатите мне немного, я вас отведу в приличное место, где вы сможете отдохнуть. Посмотрите, как девушки танцуют, и там можно спокойно выпить. Там много советских моряков.

Район, которым мы шли, тем временем всё больше и больше напоминал помойку. И стали появляться какие-то мрачные личности. Не все они были чернокожие. И некоторые подходили к нашему самозваному гиду, спрашивали его, явно о нас, по-английски. Иваныч английский немного знал.

— Его спрашивают, много ли он на нас хочет заработать.

— Иваныч, пойдём отсюда к чёрту.

— Да не бойтесь вы! — испуганно сказал это еврейский болгарин. — Ну, чего вы испугались? Мы уже почти пришли. Вот. Это здесь.

Там была вывеска, совсем, как в ЖЖ: «Friends».

— Иваныч, это нормальный бардак, но этот парень мне не нравится. Конечно, взять с нас нечего… Но таких заведений полно прямо в порту. Куда это нас понесло?

— Точно. Дурака я свалял, — сказал Иваныч.

Этот болгарин подошёл к дверям заведения и нажал кнопку. Вышел здоровенный молодой чернокожий. Дальнейший разговор был нам понятен, даже если б они говорили по-китайски:

— Я тебя просил сюда не ходить? А ты ещё притащил сюда советских. Убирайся.

— У них полно добра. Ты с ними только поговори. Хорошие клиенты.

— Я не принимаю тряпок. И парфюм мне не нужен. У меня приличное заведение. Вчера приходили твои друзья. Всё у меня тут перевернули и напугали мне девок. Оставь нас в покое. Я уже знаю, кто ты такой.

— Пойдёмте, — сказал мне наш гид. — Пойдёмте ко мне домой. У моей жены есть сестра, удивительная красавица. Её все

зовут здесь чернокожая Мэрилин Монро.

— Живо веди нас в сторону порта, — сказал боцман. — Гляди, парень, я полицейского позову.

— К сожалению, здесь полицейских не бывает, — сказал болгарский еврей, глядя куда-то в сторону.

Посмотрел и я туда, куда он глядел. Из-за угла переулка, не торопясь, выходили четверо прекрасно одетых, очень внушительного вида европейцев. Все четверо были пьяны. Так пьяны, как только может быть пьян советский человек первого января. И один из них сделал болгарину знак, чтоб он никуда не двигался. Стояли и мы. Когда они подошли к нам вплотную и разглядели нас, тот, что казался начальником, заговорил по-русски. Сначала он обратился к нашему приятелю, болгарскому еврею.

— Тебе где велено было находиться всё это время? Со вчерашнего дня? Чем это ты опять занимаешься? Я не знаю, что с тобой делать. Ладно, сейчас поговорим, — он обратился к нам. — Ну, товарищи моряки, что скажете? Вы в увольнении? Знаете дорогу, как отсюда выбраться?

— Мы… с ведома помполита…

— Нам насрать на твоего помполита. Вы почему на улицах с кем попало заводите знакомство? Вы члены партии? С какого судна? — но он тут же забыл этот свой вопрос. — Этот сумасшедший, что вам уже тут наговорил? — Вы знаете, куда он вас привёл?

Мы не знали.

— В бордель, — сказал мой боцман.

— Если бы, — сказал наш земляк в светлом полотняном костюме.

— Я хочу уехать из этой страны, — сказал наш загадочный приятель. — Я просто хочу забрать жену и детей и уехать. Разве я не имею права?

— Я тоже хочу уехать отсюда, — сказал один из них, помоложе, а остальные молчали. После этого он ударил болгарина по лицу, а тот закрыл лицо ладонями. Тот, кто бил, не очень сильно его ударил, а потом сказал:

— Но мы с тобой, ты и я, оба находимся на службе. Просто я нормальный человек, а ты наркоман.

— Не я наркоман, ты же знаешь. Мой старший сын не может жить без дозы.

— Это меня касается, а? А то, что ты здесь под суд умудрился угодить? Он вам как представился? — спросил он нас.

— Он сказал, что болгарский еврей.

Эти люди засмеялись.

— Он сумасшедший. Это ж надо придумать, а он всё время что-то новое придумывает. Ребята, вы помалкивайте про эту историю, вам же будет лучше. Хотите виски? — Он достал из кармана бутылку, и мы сделали по большому глотку. — Сейчас вас отвезут в порт. И не шляйтесь здесь. Видите, что твориться? И я ещё раз повторяю: Помалкивайте. А не хотите — не помалкивайте. Этот парень спятил, потому что ему здорово досталось, когда отсюда англичан выкидывали. Ещё пятнадцать лет назад было ясно, что его нужно отозвать. А когда он натворил делов, тогда спохватились. Кто виноват? Хотите ещё виски? — мы не стали отказываться. — Его давно б уже убрали, да он так запутался, что шуму будет больше чем толку от этого. Тут, видите ли, вдруг начальство велено было поменять. Так вы с какого судна?

— РТМ «Галатея».

— О! Да это ж Калининградского Управления. У меня сестра в Калининграде живёт…

— Ну, хватит болтать.

Они то и дело напоминали друг другу, что болтать нужно поменьше.

* * *

Итак, мы приехали в Ростов-на-Дону, и брат мой Толик с нами. Он чудесный был парень, но город, куда его привезли, был известен всей стране, и, пожалуй, такому мальчику не следовало там появляться, и, быть может, если б отец тогда не получил кафедру в РГУ, Толик и сейчас был бы где-то здесь, от меня неподалёку. Хотя…

— Вот вам — наследственность. Пожалуйста, — говорил отец, (совсем, как профессор Преображенский). — Это будущий бондарь Брагин.

— Черты характера — да. Но судьба, надеюсь, генетически не передаётся? — бабушка моя в таких случаях всегда невозмутимо вязала, изредка только взглядывая собеседнику в лицо. С ней было трудно спорить. — Простите… Раз, два, три, четыре, пять… Ну вот, я ошиблась, придётся распустить.

— Генетически — нет. А вследствие влияния условий окружающей среды… Я позвонил бы уважаемому Трофиму Денисовичу, чтобы его обрадовать. Это бывает очень полезно из соображений безопасности, только… От его голоса меня тянет блевать.

— Как вы изящно выражаетесь, — сказала бабушка. — Это

вполне подтверждает его учение, если я в этом хоть что-то в состоянии понять.

Толик не хотел учиться. И он совершенно не учился. Сначала он ещё хотел работать. Дома он готов был на любую домашнюю работу, лишь бы его не заставляли читать.

— Возьми книжку, Толик!

— Можно я с краном повожусь? Надо прокладку поменять.

Ему было уже лет пятнадцать, когда я неожиданно обнаружил, что по всей улице Энгельса, где мы жили тогда, все пацаны бояться меня, как огня.

— Не связывайся. Скажет Толяну, на улицу носа не высунешь, — и я этим совершенно бессовестно пользовался. Со мной в одном классе учился сынишка маршала Ерёменко. Даже этот мальчик, являвшийся в школу в сопровождении великолепного офицера, на которого, вероятно, были возложены обязанности его воспитывать, даже этот советский принц, не считал унизительным повсюду уступать мне дорогу. Он приносил в школу, специально для меня, какие-то очень вкусные пирожные. Он, я думаю, был не очень хороший мальчик. И я то же самое. В то время в Ростове хороших мальчиков было немного, во всяком случае, я не знаю, где они водились.

Обстановка в городе была такая. Блатные вели себя, будто они Ростов захватили с бою. Это был их город. Ростов-папа. Я прекрасно помню немолодого, очень достойного вида человека, который трясущимися руками и как-то забавно приседая от ужаса, стягивает с себя драповое пальто, а урка стоит, рассеянно играя финкой и зевая:

— Та, гражданин, дорогой, у меня вже й врэмя нэмае з вамы тута заниматься. Часики не забудьте снять, — всё это среди бела дня, в самом центре города. Везде полно милиции. Милиционеров убивали почти ежедневно и стрельба по ночам звучала, как в кино про войну.

Как-то морозной зимой… Тогда были ещё морозные зимы. Мама поздно возвращалась домой одна. Постоянно говорили, что с наступлением темноты на улицу, особенно водиночку, выходить нельзя. Но моя мама не боялась и слышать об этом не хотела. В подъезде её остановили двое молодых людей. Они одеты были так, как все урки тогда одевались. Хромовые сапоги в гармошку, брюки с напуском на голенища, полупальто «москвичка».

— Мадамочка, — сказал один из них, вы только не волнуйтеся и, упаси вас Бог, не кричите. Мы вам ничего не сделаем. Шубейку сымайте.

Мама скинула шубу. Она сняла несколько колец и браслетов и очень дорогое, золотое с камнями колье. Всё это бандиты

побросали в простой мешок. Мать была совершенно спокойна. Она улыбнулась:

— Ребята, к вам просьба.

— Для вас, шо угодно.

— Вы взяли одно колечко, мужа подарок. Он это может неправильно понять.

— Та боже ж мий! Шо за беда. Поправимо.

И маме вернули кольцо. Когда же она собралась уже подниматься по лестнице, а лифт был, вероятно этими людьми, предусмотрительно отключён, один из них сказал:

— Пардон, мадамочка. Вы, если не секрет, на каком этаже проживаете?

— На четвёртом.

— А тогда туфельки сымите. Пол не шибко холодный, и недалеко.

— Ты, лапоть! — возмущённо сказал ему товарищ. — Женщина по-человечески, а ты деревня, як со свинарника сюда явился. Не умеешь з людями. Я, мадамочка вас на руках донесу, не беспокойтеся.

Мама сняла туфли и оттолкнула его.

— На руках меня другие носят.

— И не робеешь?

— Нет.

— Добре. Иди, — со вздохом сказал этот человек. — А простудишься, на меня не вали! — со смехом уже крикнул он ей вдогонку.

И моя бесстрашная мама засмеялась ему в ответ. Она знала, однако, что весь этот спектакль мог пройти и совершенно по другому сценарию. Её проще было убить или хотя бы просто оглушить, чем разводить с ней антимонии. Может быть, впрочем, она им понравилась хладнокровием. К тому же мама тогда была красива.

Не смотря ни на что, я считаю своим долгом здесь повторить, что эти чудовищные уголовники были единственной категорией населения страны, открыто демонстрировавшей своё неподчинение людоедской власти. Неужто это само по себе ничего не стоит? Конечно, они сами были продуктом этой власти. Её детьми. Её доверенными лицами. Социально близкими. А всё же они в большинстве случаев не вступали в контакт с советской властью, не принимали её авансов. И вся эта всем известная тягомотина с перековкой, всё, что Шейнин писал, как завязывали они — враньё.

К этому моменту Толик работать уже не хотел. Он стал пропадать на день, на два, и на расспросы угрюмо отмалчивался.

Однажды после такого отпуска он пришёл домой с температурой. Его уложили в постель. Этими вопросами ведала в доме бабушка. Через некоторое время она негромко позвала:

— Ида, Александр Николаевич! Зайдите.

Толик был весь, с ног до головы покрыт удивительно художественной, затейливой татуировкой в стиле барокко. И, конечно, всё это воспалилось. Положить его в больницу не решились, и еле выходили дома.

Он учил меня драться. Там были свои приёмы. Например, удар лбом в переносицу или челюсть (на калган). Был страшный удар одновременно двумя ладонями по ушам. Тут важна была синхронность — лопались перепонки, человек мог оглохнуть.

Однажды Толик, вероятно, не зная, как отвязаться от меня, взял меня с собой на квартиру, которая называлась хаза. Слова малина, я почему-то не запомнил. Там я увидел и услышал достаточно такого, что вполне могло сделать из меня совершенно взрослого человека. Одна молодая женщина посадила меня на колени со словами:

— Ой, до чего же еврейчик красивый. А пугливый, как козочка. А глаза, глаза, глядите, девки, аж как жаром обдают, — и она меня крепко поцеловала в губы, от чего у меня еле сердце не выскочило.

— Ты дома-то не звони. Не будь мусором, — сказал Толик.

Каждое лето мы уезжали в Крым, на Кавказ или под Таганрог к тёте Кате, которая там тогда жила у родни, и, кажется, даже муж её оказался жив после фронта. Накануне очередного отъезда Толик пропал совсем надолго. Отец позвонил в Городское Управление милиции, но его там нисколько не утешили. И он звонил даже в Обком. Безрезультатно.

Однажды под вечер наша новая домработница, Надя, вдруг закричала, глянув в окно:

— Толик стоит на той стороне с уркаганами!

Отец вышел. Но, перейдя на противоположную сторону улицы Энгельса, он никого там не увидел. Они исчезли. Как только он вернулся, они снова появились напротив наших окон. Выходила ещё мама, а потом вышла и бабушка. Они уходили.

— А если я выйду, они не уйдут, — сказал я.

— Верно, — сказал отец.

— Тебе не страшно, Мишутка? — спросила бабушка.

— Нет, — сказал я. — Я Толика не боюсь. Он меня любит.

Я перешёл улицу и Толик подхватил меня на руки.

— Как там… дома?

— Тебя все ждут, Толик. Все любят тебя.

Два человека рядом с ним молчали. Потом, дождавшись, пока Толик поставит меня на асфальт, один из них положил мне на голову тяжёлую руку.

— Пацан. Передай своему батьке, шо Толян придёт завтра утром. Бежи домой. Не бойсь.

Утром Толик пришёл, и они с отцом долго говорили о чём-то в кабинете. Толик сказал ему, что, если он не поможет ворам очистить эту квартиру, его обязательно убьют. Договориться с ними нельзя. К тому времени, как семья соберётся на курорт, у них уже должны быть ключи, потому что ломать такую дверь опасно, шуму много, и они не хотят зря рисковать. Кроме того, он хотят Толика проверить.

Отец отправил Толика в станицу, где председатель колхоза был его друг, а по станицам уголовники не ходили. Они боялись казаков. Затем он оформил все необходимые документы для того, чтобы отправить моего брата в Комсомольск-на-Амуре. По комсомольской путёвке. И Толик уехал. Ему едва исполнилось семнадцать. Это было не вполне законно, но для отца сделали. Из Комсомольска пришло два письма. В одном Толик писал, что хорошо устроился и собирается жениться. Во втором письме — он лежал в городской больнице, но чем болен не сказано. Просил выслать денег до востребования. Выслали деньги на адрес больницы, и отец связался с Главврачом этой больницы. Такого больного в больнице никогда не числилось.

Начались поиски, которые ничем до сих пор не кончились. Мои родители усыновили Толика, но фамилию ему оставили прежнюю Брагин. Анатолий Брагин. Если кто помнит такого человека, напишите. Только вряд ли. Был же всесоюзный розыск. Хотя, говорят, этот розыск — липа. Я его очень любил.

* * *

Уважаемый рав Авром Шмулевич! Я очень (наверное, слишком) эмоционально прореагировал на содержание одной из Ваших страниц в ЖЖ. Вы просили меня ответить не возгласом, а более развёрнуто и аргументировано.

Я — человек несистематического склада ума, образован очень фрагментарно, совсем ничего в богословии не понимаю, к тому же неверующий — не материалист, конечно, но и не являюсь адептом ни одной из существующих религий. Вы религиозный деятель и стоите фактически во главе праворадикальной оппозиции в еврейском государстве, хорошо известны во всём мире как деятель решительных, крайних взглядов, чрезвычайно

популярный и убедительный. Поэтому я не стану пытаться теоретизировать, это мне не под силу. Я останусь в области низкой публицистики — ремесло, которым кое-как владею.

Я написал, что меры, предлагаемые вами, могут привести к войне со всем миром. Вы же ответили, что мир уже ведёт войну с евреями. Если я неправильно понял Вас, Вы меня поправите, я ни в коем случае не хочу сознательно приписывать Вам мнения и высказывания, которые вы не имели в виду.

Рав! Мне кажется, вы согласитесь с тем, что Израиль на сегодняшний день — страна очень сильная в военном отношении, а политически, экономически и идеологически — неблагополучная. Это самое скверное сочетание, какое только представить себе можно в нынешней ближневосточной, да и в общемировой ситуации. Это чревато социальными и военными катаклизмами, которые, безусловно, будут иметь тенденцию к разрастанию.

Если отвлечься от нравственной стороны вопроса, а только говорить о возможностях осуществления планов, которые вы пропагандируете, есть ли реальные возможности их претворить в жизнь, не потеряв всё то, что было приобретено в кровопролитных войнах и тягчайших трудах? Это вопрос, который, с моей точки зрения, не требует ответа. Всё очевидно.

Если сейчас США, Евросоюз, Россия, Япония, и не сложившееся ещё, но болезненно агрессивное объединение исламских государств — каждый в отдельности — невольно нуждаются в еврейском государстве на Ближнем Востоке, поскольку сам факт его существования не позволяет помышлять об установлении здесь непререкаемого диктата той или иной из этих постоянно конфликтующих сторон, то при малейшем агрессивном движении со стороны Израиля они немедленно объединятся. Вы не военный, и я не военный. Но здесь, мне кажется, не нужна и военная наука — ничего, кроме простой арифметики.

Вы очертили территорию значительно более обширную, чем Объединенное Царство Шломо, а речь по-прежнему идёт о том, чтобы сохранить территорию, «достаточную для достойного и безопасного существования народа». Простите мне эту неточную цитату из Герцля — по памяти. Даже эта задача, поставленная более столетия тому назад, в наши дни кажется чрезвычайно сложной. Армия Обороны — одна из наиболее технически оснащённых в мире, лидирующая по боевой выучке и вооружённая великолепной военной доктриной, безусловно, станет терять эти преимущества, расширяя радиус своего действия, который со времён Войны за Независимость

рассматривался как ограниченный и стратегически компактный.

Разумеется, следует отстоять то, что было отбито в результате оборонительных войн — любой ценой. Из этих районов нельзя отдать противнику ни единой пяди. Но куда же вы ещё хотите двинуться? Где для этого людские ресурсы? Кто окажет политическую поддержку? На что мы будем опираться экономически? Вспомните о том, что многочисленные олимы, приехавшие в последнее десятилетие, настроены в большинстве не так воинственно, как люди, сражавшиеся в былые войны, начиная с 48 года! Вспомните, что за океаном, в Европе, а в России, тем более — искренних союзников мы совсем не имеем, и усиление еврейского государства в важнейшем регионе современного мира не выгодно сегодня никому.

Что касается нравственной стороны. Агрессивная война лишит еврейский народ его вечного преимущества — правоты передовой культуры перед лицом невежественного варварства. Сейчас Государство Израиль отстаивает демократические принципы против надвигающейся дикой тирании, поскольку непосредственный противник находится культурно и нравственно на уровне раннего средневековья, а исламское духовенство вольно или невольно это положение усугубляет, призывая исламские народы вернуться к истокам, то есть к дикому стремлению навязать соседу свой собственный стереотип, что было естественно для человека в глубокой древности.

Я всегда предполагал, что сионистское государство будет на Ближнем Востоке служить фактором позитивного культурного и хозяйственного развития, а Вы призываете развязать целую вереницу агрессивных войн, которые прежде всего погубят окончательно совершенно разбитое хозяйство богатейшего некогда края, население которого сейчас вынужденно жить, распродавая природное сырьё.

Разве евреи пришли на Ближний Восток с целью кого-то здесь утеснить? До середины XIX века турецкая Палестина, буквально лежала в руинах, была совершенно заброшена и разорена. С нарастанием еврейского присутствия здесь стали возникать промышленные и сельскохозяйственные предприятия, появились и рабочие места. Наконец, появились и учебные заведения, не имеющие сегодня равных в мире по качеству преподавания. И всё это Вы предлагаете бросить и начать войну за приобретение территорий, которые совершенно сегодня стране не нужны, кто станет там селиться? Это естественно, когда поселенцы готовятся сражаться за Иудею и Самарию. А кто будет драться за предместья Багдада, ведь вы хотите подступить почти вплотную к этому городу. В случае, если б что-то подобное удалось, никакой

речи не могло бы уже идти о культурном влиянии на Ближний Восток, потому что евреи рассматривались бы населением как завоеватели, которые должны быть отброшены. Я не хочу об этом и думать.

Рав Авром! Мне кажется, сейчас время готовиться к реальной войне за то государство, которое у евреев есть — много сил и крови уйдёт для того, чтобы отстоять его от явного агрессора! — думать же о создании некой империи в такой тяжкий исторический момент совершенно не своевременно и просто не достойно.

Наконец, внутри страны нарастают тягчайшие противоречия одновременно по нескольким направлениям, и преодолеть их никак пока не удаётся. Ведь никто же ни с кем, ни в чём не согласен! Разве в такое время, разумно говорить о Великом Израиле? Духовно Израиль всегда был велик. А нужна ли евреям империя на огромном пространстве, где живут иные народы? Ведь такие империи всегда недолговечны. И так всё тревожно внутри страны. У меня из головы не идут слова известного вам Яакова Хисдая: «Для того чтобы защитить наших детей в Дельфинарии, нам нужно прежде укрепить стены «Версаля». Пока, мне кажется, и этого не удаётся.

То, что я написал, может показаться выносом сора из избы. А разве из избы не следует выносить сор?

* * *

Я уже несколько раз зарекался говорить о чём-то серьёзном, обращаясь к кому бы то ни было из многомудрых и многозначительных деятелей израильской русской улицы, черпающих с потолка некие сведения, достоверные, как показания человека, рядом с которым только что взорвался умалишёный. Но по легкомысленному нетерпению я всегда этому своему слову изменял.

Вчера вечером меня за это совершенно справедливо наказали. Попробую ещё раз. Ведь мнение любого из моих товарищей, с которыми я работал по шестнадцать часов при температуре близкой к пятидесяти всегда более обосновано, поскольку в нём отсутствует истерика.

* * *

Что такое птицы? Кто они такие? Они совсем не похожи на

животных, и в них редко проявляется что-то нечистое. Их любовь, мне кажется, не знает тяжкой страсти, но в ней много нежности, человеку недоступной. Их стычки совсем беззлобны, не похожи на драки зверей, а скорее на детские ссоры.

Есть поразительные строчки у израильского поэта Григория Люксембурга, написанные о танковых боях за Голанские высоты в 73 году:

Вот птица летит из Дамаска,
Глядит с удивленьем на нас.
Стальная не выдержит каска
Её целомудренных глаз!

У птицы есть некое таинственное, почти божественное непонимание бессмысленной человеческой мясорубки. Это даже относится к тем зловещим воронам, которые кружат над яростным сражением. Они ждут кормёжки. Им неизвестны, непонятны и ненужны сумасшедшие порывы бесстрашных воинов, которые убивают друг друга во имя наживы, во имя правды (или отчаянно отстаивая неправду), во имя всевозможных умозрительных заблуждений и просто, потому что кто-то их туда пригнал на убой.

Птица в небе — мне часто представляется безысходным свидетельством моей неспособности уйти на свободу. В море, в степи, в горах, в лесу, в пустыне — нигде там нет свободы. А задерёшь голову к небу — птицы, облака, синева. Там, мне кажется, всегда трубит ветер, выпевая какую-то торжественную мелодию, гордую, мощную, исполненную гармонии, которая внизу тут же расстроилась бы, распалась бы на ничтожные звуки.

Поэтому, признаюсь, хоть у меня много друзёй лётчиков, я не люблю авиацию. Зачем они туда летают? Они мешают ветру трубить.

У нас за форточкой вывесили к началу зимы кормушку и на нитке — кусок сала. Я просыпаюсь рано, часто сижу и смотрю, как воробьи, синицы, трясогузки, ещё какие-то маленькие, мне совсем неизвестные, прилетают и весело, хлопотливо пируют.

Только городские голуби как-то не похожи на других птиц, они очеловечились, совсем не похожи на лесных горлинок, в них много зла и лени — совершенно человеческие качества.

Птицы чужих к себе не пускают, я это много раз наблюдал, глядя, как альбатросы гоняют и клюют своего же собрата, которому моряки выкрасили крыло красной краской, суриком.

Но есть удивительная птица пингвин, которая любит ходить в гости. На 42 южной широте, у небольшого острова Кергелен, они

плавают вокруг судна, хватая рыбные отходы. Можно привязать на шкерт корзину с кусками рыбы, внизу тяжёлая скоба, чтоб корзина тонула, и бросить за борт. Пингвин в корзину залезает, и его можно поднять на палубу. Он не станет выпрыгивать. Он совсем не боится и бродит по судну, часто забираясь в такие места, откуда его нелегко бывает вытащить. Он ведь не знает, что может человеку в голову прийти, на какую он идиотскую жестокость способен.

Огромные и свирепые хищные птицы — соколы, орлы, беркуты — всё равно отличаются от земных хищников. Не очень остроумная была идея, напяливать на орлов княжеские короны и в лапы им вкладывать мечи и скипетры. Такие пернатые слишком благородны для всей этой мишуры, выглядят в этом наряде униженно.

Когда уж я не смогу птиц наблюдать в небе — делать нечего, придётся умирать. Уныло будет без вольных птиц.

Хотя можно будет их вспоминать. Глаза зажмурить и вспомнить, как чайка парит.

* * *

У меня были друзья в Долгопрудной. Там большая психиатрическая лечебница и, кроме того, база института Сербского, то есть большое отделение судебно-психиатрической экспертизы. В семидесятые годы это было. И ребята мне предложили устроиться туда санитаром. В этом отделении, если я правильно вспомнил, платили 120 рублей в месяц за сутки через трое — это очень много тогда считалось. В смену выходило двое. Один санитар, как правило, спал, а второй просто прохаживался по палатам. Палаты без дверей, всё видно. Спрятаться негде. Нетяжёлая работа, если есть привычка быстро успокоить буйного.

И вот привозят туда одного парня, который уже второй раз попадает за немотивированное избиение. Звали его Юра. Первый раз он отсидел всего год, кажется. А тут ему накатывало гораздо больше, потому что с особой дерзостью и с тяжкими телесными повреждениями. И сопротивление сотруднику милиции. И снова — немотивированно. Мне стало интересно, И я как-то к нему подошёл в туалете, где все курили. Ко мне экспертизники относились доверительно. На то причина была.

Одно время со мной там работал напарник — настоящий зверь. Звали его Вагиф, он был татарин. Лет сорока, очень сильный и злой, с вечно засученными по локоть рукавами белого халата, чтоб видны были мускулистые руки. Раз подходит к нему

мальчишка, которого взяли за то, что он на чужом мотоцикле въехал в пивной ларёк. Тот парень был, больной на самом деле — не косил. И вот он Вагифу говорит:

— Вагиф, а у меня есть пятёрка. Давай с тобой выпьем. Сбегай.

— Давай. Только языкам не трепи никому, — и взял у парня пять рублей.

Проходит час, другой. Не идёт Вагиф за водкой. Сперва отговаривался, мол времени нет, и завотделением может усечь такое дело. А после и совсем стал отмахиваться от него:

— Да, пошёл ты на хер!.. Чего тебе от меня надо?

Прошло ещё какое-то время. Снова подходит экспертизник к санитару.

— Ну, ты чего в натуре? Не пойдёшь, отдай тогда деньги.

— Какие деньги? У тебя глюки. Откуда деньги у тебя могут оказаться? Тебе известно, что в экспертизу деньги не положено передавать? — положение этих людей в некотором смысле хуже, чем у заключённых, потому что им веры нет ни в чём.

Я гляжу, мальчишка сидит и плачет. И он мне всё рассказал. Кому было ещё пожаловаться? Я тогда подошёл к Вагифу и говорю:

— Смотри. Ты сейчас отдай парню пятёрку, и ничего не будет. А если только не отдашь ему сейчас, тогда вечером пойдём к станции ведь через лес, я у тебя пятёрку эту отберу, и что, если есть своего, тоже. А зубы начнёшь с утра пересчитывать, и можешь многих недосчитаться. Ты меня знаешь.

Подлец этот подумал, подумал. А я в то время ещё был не совсем в плохой форме. И он отдал пятёрку бедолаге этому. Рисковать не стал. Понятно, после такого случая они относились ко мне хорошо. И мне верили. И этот Юрка, с которого я начал эту историю, как-то подходит ко мне:

— Миш, будь человеком, позвони Таньке, спроси её, будет она меня ждать или нет. Меня ж признали уже. Можно сказать, что признали. Заведующий мне сказал. И ты ей передай.

Я позвонил этой девушке и передал, что Юрка просил.

— Миша, его неизвестно, сколько продержат в больнице. Может ещё дольше, чем на зоне. Срока ж не дают, а только перекомиссия раз в полгода. Взятка будет нужна, а взять негде. Я б за Юрку подохла, клянусь. Кроме него не знала я настоящего мужика. Он это знает. Но ты всё ж его спроси, я живой человек или, как он думает? Ты ему не говори, но есть тут один человек порядочный, хоть он мне, как рыбе зонтик, зато спокойный и солидный. Жить хочу, а не умирать каждый день из-за Юрки этого. Спроси, спроси, человек я или нет?

Конечно, таких вопросов Юрке я задавать не стал, а просто сказал, что пока ждёт его девка, а что дальше будет, кто знает? В результате он устроил в отделении драку и мне же пришлось его укладывать на вязки, а это очень неприятная штука.

— Ну, ты ей позвони ещё, Мишка. Скажи, что я на вязках лежу.

Нельзя пытаться помочь человеку, если реальных к тому возможностей у тебя нет. Вот это мне никак усвоить не удаётся. У Цвейга есть даже роман об этом «Нетерпение сердца». Прошло ещё недели две, Таня эта к Юрке не приходит, и он мне как-то говорит:

— Ну, гадом буду, выйду на волю, припорю её. Ещё, паскуда, клялася, без тебя жить мол не стану. Ты думаешь, она там одна? Мало на неё мужиков заряться?

— Не важно, что я думаю. Ты-то об этом не думай. Пойми, этот кусок жизни для тебя отрезанный напрочь. Забыть надо.

— Ага. Забыть. Миша, я, конечно, человек с придурью и в драку часто лезу без толку. Зацепит кто-то, не могу стерпеть. У меня ж не было грабежа ни разу, и не воровал. Чего они и удивляются-то на счёт меня. Думают я ненормальный. А может, я и точно ненормальный, а? Мне следователь говорит: «Чего ты от людей хочешь? Чего тебя в драку тянет? Мир переделать хочешь?» А я не хочу переделывать ничего. Я ж и не знаю, как устроено-то всё. Вижу просто, что гадов полно. Почему ж гаду морду не набить? Это ж святое дело. Или нет? Но в последний раз дело было так, что я за Таньку заступался. К ней кодла целая липла у пивбара. Ну, когда один против кодлы, разве будешь рассчитывать? Да перелом ребра, это что? Были б деньги, не засчитали б за тяжкое. Я доказать только не могу самозащиту. Она-то подтверждала в ментовке, а какая ей вера? Та же, что и мне. Так не стали даже в протокол заносить. Оперативник говорит: «Вы всегда за кого-то заступаетесь»…

— Забыть трудно, брат! Вспомнишь её, какая она баба, зубы аж скрипят. Бывает ласковая, тихая такая. А то раз меня искусала всего, веришь? Прям до крови. Люблю, говорит, не могу! А красивая до чего? Как сейчас подумаю, что она там — с кем? Думаю, вот глотку перерву! Эх, зачем я дрался…

А вот я сейчас о себе подумал: «Эх, зачем меня всю жизнь таскало по таким местам, где люди друг друга калечат? И это всё, что я написать могу? Для этого в меня кто-то эту способность вложил?»

Ну, хорошо, ребята, а в Академии наук, в монастырях, в разных там благотворительных и богоугодных заведениях — не

калечат друг друга? Чудо, как раз, в том, что любовь, верность, чистые слёзы на свете есть повсюду, и человек — всегда человек. Хоть один, да найдётся. Акакий Акакиевич работал в каком-то просто свинарнике и хуже свинарника. А один человек нашёлся. Пожалел его. И ещё там был этот портной. Хоть и запойный пьяница, а человек.

Последнее. Принято считать, что хулиганство это стремление простейшим образом самоутвердиться. Во многих случаях это так. Но не всегда. А то получается, что человек выходит в какой-то филиал Рая небесного и начинает ангелам морды поправлять. А если он вышел к пивному бару, он там кого увидел? Святых что ли? Давайте-ка на себя почаще глядеть.

Меценат

У меня есть один знакомый олигарх. Ну, не олигарх, немного не дотягивает, а, вообще-то, кто его знает? Я в его дела не суюсь. Знаю, стоит несколько миллионов. Именно — несколько. Более точная цифра мне не известна. Оно может и к лучшему. Таких вещей лучше не знать. Это мы с ним как-то сидели и пили. И уж когда градус достиг достаточной высоты для идиотских вопросов:

— Слушай, Витька, а сколько у тебя денег, если не секрет?

— Почему ж не секрет? Конечно, секрет. Несколько миллионов. Тебе говорю, как старому другу, под большим секретом.

— Долларов?

— А ты думал?

— Действительно.

Откуда у него это всё, — врать не стану. Ну, это что-то с компьютерами. Да если бы он два часа пытался мне это растолковать, я всё равно б не понял ничего. Живёт то в Германии. И в Израиле у него есть дом. Временами в России. Временами в Штатах. А то в Европе. В Израиле я не повидался с ним. Он был в отъезде. А в Москве провёл с ним два вечера. Сперва я был у него дома. Он женат на чудесной женщине, она гораздо его моложе, в дочки годится, и родила ему двоих малышей. Старшая девочка трёх лет и мальчику годик. Это ж надо так повезло старому дураку. И такая хлопотливая, добрая, сердечная хозяйка. Закуска — просто пальчики оближешь:

— Вы кушайте, кушайте, что ж вы совсем не кушаете? Сейчас будет жаркое…

Только не говорите мне, что дело тут в его миллионах. Уж когда она так на него смотрит, на старое это пугало, будто он нерукотворная икона, так не в миллионах дело.

А в другой раз он мне говорит:

— Миш, приезжай тут в одно место, я тебя с женщиной познакомлю. Понимаешь, такая женщина…, — Витька этот, вообще, с молодых ещё лет был порядочный бабник. Так я и не удивился.

— Понимаю, чего не понять.

— Дурак ты. Она, понимаешь, пианистка, ну и… вообще. Хочу тебя познакомить, как друга.

Я его так понял: похвалиться хочет. Думаю, не иначе, Клаудия Шифер, или как там её? Квартирку он ей купил, во-первых, в Центре, да и побольше, пошикарней, чем для семьи. Хорош гусь. Да ладно, это дело не моё. Значит, мы выпили

немного, она закуривает, ногу на ногу кладёт, чтоб я её коленками любовался. А такие острые коленки для кикбоксинга совершенно незаменимое дело. Если резко так, и с правильного короткого разворота дать такой коленкой в бедро — считай человек на всю жизнь хромой. И начинает она тягомотину про постмодернизм. Таких фамилий наговорила, что мне и не выговорить.

Я на неё гляжу и думаю. Ну что ж мы за люди, мужики? На какую ерунду покупаемся. Там уж этих подтяжек на роже, каждый год что ль она их делает? Беда. А Витьке всё не терпится:

— Лариса, да ты сыграй. Ну, сыграй чего-нибудь на пианино.

— Виктор, зачем тебе это надо? Вы, ребята уже выпили. Лучше я включу телевизор.

Может и правда, я думаю, посмотрели бы что-нибудь облегчённое. У меня от премудростей современного литературоведения уже и скулы водит. А тут ещё фортепьянная музыка. Для меня это вроде лошадиной дозы феназепама. Помру, ей-Богу помру. Но я не помер. Ладно. Зашуршала она своим парижским платьем и прошла к инструменту. И говорит:

— Эту пьесу небольшую, я написала для Витеньки, я её не исполняю в концертах. Он, с моей точки зрения, очень суетную жизнь ведёт. И вот я, в меру своего понимания… Пьеса называется «Кружение» — а наш Витенька от гордости раздулся, как пузырь.

— Мишка, ты, знаешь что? — закури-ка сигару. Это надо слушать под хороший табак. И давай-ка немного коньячку. Коньячок у меня настоящий. Прямо из той самой провинции Коньяк. И выдержанный.

И мы с ним выпили и закурили сигары. Запах, действительно, хороший, но крепковато с непривычки. Ну, думаю, хоть не усну на крайний случай.

Стала играть она и я так, что-то знаете, задумался. Музыка играет, а я думаю. Зачем я, думаю, жизнь свою поломал? Вот была хорошая баба, я потерял её. Другую ведь на бегах не выиграешь. Жить осталось недолго, а к чему жил? Что такого здесь натворил? Так, пурга одна свистит в ушах. Друга одного вспомнил — его убили в Газе. Ещё был один — его в Осетии случайно зацепили, и до госпиталя не довезли.

И что я делать буду? Поеду сейчас к себе? А где мои дети? Куда-то все разъехались. Где-то, говорят и внуки есть. И даже один внук в Румынии сидит тюрьме. Послезавтра мне ехать в Португалию. Вернусь? Не вернусь? Такая разборка там, что лучше даже и не думать. А музыка эта мне просто душу надрывает. И мне, понимаешь, почудилось, будто мать покойная на ухо шепчет:

— Мишенька, да ничего, ничего. Всё до свадьбы заживёт. Вот мы сейчас Мишутке слёзы вытрем… всё и пройдёт. Мишутка. Мишка-медвежонок…, — это мать мне, бывало, так всегда…

Тут меня чего-то совсем развезло.

— Ну, ты, чего? Вроде и выпили немного.

А Лариса эта подошла ко мне с платком и, представляешь? — слёзы мне вытирает.

— Спасибо вам, Михаил.

— Мне-то за что?

— А ведь для артиста дороже слёз ничего нет.

Да, интеллигенция! Особенно, если настоящая. Приморили их, конечно, а всё ж они тоже люди. Надо с ними поаккуратней.

* * *

Под Рождество, рано утром, ко мне подошёл один нищий. Я его помню ещё с Ваганькова. Бывают же такие люди: Вот, как ему двадцать лет тому назад было под шестьдесят, точно так же и сейчас. А встретил я его в магазине.

— Миша ты случаем не выпить намылился?

— Не. Я за продуктами.

— Вот, зараза, и выпить не с кем.

— Уже насобирал? Время то вроде ещё…

— Да я женился. Больше не собираю. Зачем? Ну, что ты не выкроишь полчаса? Выпьем, я тебе расскажу. И ты расскажи. Мне звонили, ты весной на Ваганькове кони чуть не двинул.

— Слушай, я на улице пить не стану. Я и так кашляю всё время.

— Вот, ты чудила! Зачем на улице? У моей бабы выпьем, она ж здесь директор.

Смотрю я, а дядя Толя что-то совсем на себя не похож. Одет, как молодой депутат от партии власти. И даже брюхо отрастил, и бороду стал так аккуратно подстригать, волосок к волоску, и всё время в руке крутит связку ключей с брелоками. Зубы вставил. В общем, человек вышел на верный путь. Только сколько ж ему лет? Или он бессмертный?

— Она директор чего? Это которая?

— Люська моя, всё та же. Директор магазина этого. Мы ж теперь поженились. И квартиру заимели. А ты как думал? Айда. Ну, чего ты в своих червонцах копаешься? Пошли, давай. Я при ней вроде адъютанта. Делать-то мне здесь нечего.

Когда-то этот дядя Толя со своей Люськой красили оградки на кладбище. И кто-то надоумил их, чтоб они разделились.

Люська встала у церкви и не так собирала, как ловила клиентов на покраску. А он красил. А потом поменяются. И дело у них пошло. Тогда у Люськи муж был другой. Этот муж её нигде не работал, только пил и потихоньку умирал. Он, вообще, на кладбище не появлялся. Его там сильно за неё не любили. Он её бил. Толик иногда вступался, но без толку. У того голова была деревянная. Толик уйдёт — он Люську ещё хуже отметелит. Беда.

— Людмила Павловна! — торжественно провозгласил Толик. — К вам тут представитель поставщика. Зайдите в кабинет на минуточку.

— О! — закричала Люська, — Лысый пришёл. А я знала, что здесь недалеко живёшь. Думаю, загордился и не заходит.

Она живо заперла дверь, убрала со стола бумаги и выставила полно всяких деликатесов и напитков.

— И что, Люсь, действительно, твой магазин?

— Да, какой там! Одного молдаванина. Но он ничего себе мужик. Живёт всё время в Кишинёве. Я хороший навар даю, так ему чего?

И так вот мы выпили, закусили и сидели, вспоминали старые времена.

— Если б я руку не сломал, никогда бы просить не стал. Не повезло. Когда этот камень только тронулся в мою сторону, думаю, удержу, а он скользнул по подставке и пошёл весь прямо на меня, — Толик рассказывает в тысячный раз.

— А помнишь, зима была в 79?

— Как забудешь? Пальцы на ногах я отморозил.

— Да мы и на оградках неплохо имели. Бывало, по шесть оградок в день красили, — Люська встревает.

Ещё выпили. Стали они, конечно, ругаться. Но так, не слишком. Не видно, чтобы они особенно грызлись в жизни. Больше в шутку. Особенно Люська напирала на некоторые недостатки, которых у Толика прежде не было, и они носили по его версии возрастной характер.

— Я ж говорю, давай купим виагру, так ты жмёшься. А дорого — тогда не жалуйся.

— А когда Галка идёт на склад, ты сразу за ней — и безо всякой виагры. Так бы и треснула по башке!

Потом они загрустили.

— Детей нет. Разъехались все, кто куда. Были б, Миша у нас дети, теперь уж внуки… А то без детей и на дачу не охота ехать. Иногда навестят. А в Москве, вообще, никого. Зачем тогда это всё?

— Слышь, Лысый, а тут ещё новость. Люська теперь боговерующая. В церковь ходит каждое Воскресение. Не знаю, что

она там делает.

— Да, — Люська говорит. — Не понятно там. Красиво, конечно. А всё сходишь, не так скучно. А может ещё и, правда, что-то там есть? Ты-то как думаешь?

— Очень может быть.

— А как здоровье?

— Да что здоровье…

Уж я не помню, кто-то из них спросил меня:

— Ты вот как-то живёшь вроде бестолково, но…

— Что?

— Да ты, будто чего-то хочешь, чего-то у тебя не клеится, стремишься ты, к чему-то, хер тебя знает… Конечно, так время и идёт. А у нас цели нет в жизни. Да! Цель в жизни это, конечно… Денег у тебя никогда нет, а… А ты всё вроде ждёшь чего-то что ли.

Я молчал. Чего это я такого жду? Да ничего. Мне нечего сказать было этим мученикам жизненного смысла. Кто им сказал, что жизнь имеет смысл? Кто их так обманул?

— Люсь, а что это за цветы у тебя такие красивые? Здорово.

— Это один из Мексики мне подарил. Я ему на всю свадьбу поставила продуктов и напитков, он очень доволен был и выписал из Мексики специально. Цветут круглый год. Вот они как называются… У меня где-то записано было. Толян, как они называются?

— А хрен их знает, — сказал Толян, разливая по стопкам.

— От них эти… саженцы я уже два раза продавала. По триста баксов улетают, как не было.

Всё же, что у меня такое есть, чего у них-то нет? Я знаю, что старость у меня вернее всего окажется очень неблагополучной. Но я ещё думаю о некоторых явлениях, в существование которых не верят эти несчастные люди. Кому-то это даётся даром, а кто-то ни за какие труды этого не может получить. И какая-то в этом есть жестокая несправедливость.

Не будучи людьми жадными, не могут они наслаждаться материальным достатком, который дался им каторжным трудом. Никакая виагра любви им не даст, а настоящей любви им не досталось почему-то. Откуда эта пустота в человеческой судьбе? От этой пустоты и не сбежишь-то никуда.

* * *

Я должен был встретиться у метро с одним человеком, а он опоздал на целый час. Он меня предупредил заранее, что может

задержаться. И я терпеливо ждал его. Мне было не к спеху.

У метро «Чистые Пруды» мимо меня бежали разные люди, и мне казалось, что они один за другим бегут — что-то вроде френдленты. Кого там только не было! Но я, вообще-то, стараюсь наблюдать за людьми, соотнося их с самим собой. Ведь если б меня там не стояло, то и никого б там не было. И говорить было б не о чем. Я этот давно устаревший философский парадокс усвоил с детства, он мне понравился, и я часто его вспоминаю к месту и не к месту. Выходит, я не столько людей разглядывал, сколько любовался самим собой.

К сожалению, ничего слишком уж привлекательного я не замечал первое время. Много стариков, много пьяных, праздники же, много каких-то личностей, не вполне понятного происхождения, у многих на лицах напряжённое выражение готовности дать отпор кому-то неведомому (это советское), многие имеют дурную привычку время от времени что-то сказать себе под нос, как правило, не очень доброе, и чаще всего — это простое русское ругательство.

Рядом со мной стояли люди в ожидании кого-то или чего-то, как и я. И они все чем-то на меня походили, точнее наверное, я — на них. Просто я, как говорят, был одним из них. Несколько раз ко мне кто-то обращался с разной ерундой. И я отмахивался. Один раз дал два рубля совершенно раздавленному похмельем человеку и злобно промолчал на замечание пожилой дамы о том, что на этом жеребце пахать надо, а не милостыню ему подавать. Она знает! Кому-то я дал закурить. Кому-то объяснил, где тут улица Мясницкая. Мне совсем не было скучно.

И вдруг! Ну что уж вы подумали? Автоматная очередь? Ничего подобного, но вроде того. Останавливается BMB, и выходит очень красивая, молодая женщина. Она некоторое время, улыбаясь, болтала с водителем, потом дверца мягко захлопнулась, и женщина эта, не торопясь, пошла прямо ко мне. Идёт, понимаете, ко мне. Именно ко мне. И смотрела на меня. И когда подошла, обратилась ко мне. Ей было лет 25 или 30 — самые лучшие годы. Не смотря на то, что слегка морозило, шубка на ней была распахнута, ей легко дышалось, и она была молода и сильна каждым своим движением, и свободна взглядом светлых глаз и гордо поднятой головой. И она спросила меня:

— Что, он тебя прислал? Что-то я тебя не помню. Ну… Ну, давай, давай, говори, что там опять стряслось?

— Никто меня не присылал, — сказал я. — Простите. Вы ошиблись.

Ничего мне не ответив на это, она стала кого-то искать в толпе. Никого не нашла и посмотрела на часы. И увидела на

часах, вероятно, что-то очень неприятное. Она покопалась в сумочке, вынула оттуда мобильник и набрала номер. Судя по выражению лица, автоответчик не сообщил её ничего утешительного. И вот эта замечательная женщина стояла среди нас, ожидая чего-то. И многие смотрели на неё. Многие, наверное, как и я хотели бы отгадать, чего или кого она ждёт. Ждала.

Потом она снова стала копаться в сумочке, но чего хотела, там не нашла. И снова стала озираться. Время шло. Уже минут двадцать пролетело. Наконец, она снова обратилась ко мне:

— Вы меня простите, пожалуйста, у вас не найдётся… закурить?

А я, как на грех, курю LM, красный. Это сигареты крепкие, и женщины курят их редко. Предложил я ей. Делать-то ей было нечего, не спрашивать же ещё кого-то. И она закурила мои и закашлялась. Тут просигналил её мобильник. Она бросила сигарету и отозвалась:

— Блин, ну что такое опять? Но ты мог бы кого-нибудь прислать, предупредить. Мобильник твой всегда заблокирован… Всегда! Ты это нарочно делаешь. Ну, ладно. Так ты выезжаешь? Когда ты будешь?

Потом она, услышав что-то такое, что, вероятно, оскорбило её, сказала:

— А, пробки? Ладно. Ещё целый час я ждать тебя здесь не стану. А вечером сегодня тебе в жопу забьют пробку. Можешь не сомневаться… Наглая ты скотина. Я сказала, ждать не буду! — закричала она высоким, звонким голосом, так что стали оборачиваться. — Можешь не появляться. Я беру тачку и уезжаю домой.

Она положила телефон в сумочку и собиралась, кажется, поступить именно так, как обещала. Но вместо этого попросила у меня ещё раз закурить. Она кашляла и курила. А время шло. Снова просигналил мобильник в сумочке.

— Чего тебе? Ну… Где я, ты спрашиваешь? — неожиданно жалобно сказала она. — Здесь. Когда ты будешь? Ты подъезжаешь? Правда? Где?

Я уже видел машину, которую она ждала. Я просто догадался, что она ждала именно эту машину, потому что только к таким красавицам приезжают на таких машинах. Я затрудняюсь, правда, определить модель этого автомобиля. Он просто сиял, как новенький пятак. Из этого чуда техники с трудом вылез человек огромного роста с сонным выражением лица. Он жевал резинку. И эта женщина! Почему эта женщина закричала ему:

— Лёня! Лёник! Ну, ты меня прости, милый. Я просто ждать

уже не могла. Никак не могла. Я тут чуть с ума не сошла. И у меня даже сигарет не было. Я попросила у какого-то тут…, — она оглянулась, не нашла меня взглядом и тут же про меня забыла. — Ты сказал в четыре…, а сейчас уже… Лёничка, милый, ну посмотри на меня. Ну, скажи теперь, куда мы с тобой поедем?

Почему? Что это с ней случилось?

— Да поедем, куда хочешь. Какая разница? — сказал он и потрепал её по щеке. — Застёгивай шубу-то, простынешь. Ныряй в машину. Сейчас что-нибудь придумаем. Только нервы не трепи, ладно?

Так это, что такое всё-таки? Немного поразмыслив, я вспомнил, что подобные явления случаются и даже нередко с мужчинами, как и с женщинами.

У царя олимпийских богов Зевса есть свирепая дочь Афродита. Сама в любви была она несчастна однажды и с тех пор не любит никого и ни к кому не испытывает жалости. Беда, на кого обратиться ясный и холодный взор её глаз, бездонно-синих, будто море из которого она некогда вышла.

* * *

Мне всё время вспоминается Израиль. И вот одна история в связи с этим вспомнилась.

Эта история начинается точно так же или почти так же, как миллионы историй, сложившихся в результате Второй Мировой Войны. И вам придётся прочесть это начало. Конечно, это немного скучно. Ведь если, несомненно, достойна внимания просвещённого читателя «История, которой нет конца», что нам поведал некогда Энде, то вряд ли кому захочется прочесть историю, у которой нет начала. Как тут быть? Наберитесь немного терпения. Иного выхода я просто не вижу.

В марте 1946 года, в Воскресение, таким морозным и метельным днём, когда от сырой стужи стынет сердце и прохожие, поднимая воротники и торопливо проходя оледенелыми тротуарами, не глядят друг другу в лица, будто опасаясь увидеть что-то очень скверное, в Москве по улице Сретенке шёл человек. В тот год таких людей, было много в городе. Вся страна была ими полна. В офицерской шинели со следами споротых погон, разбитых солдатских сапогах и ушанке, как и шинель, сохранившей ещё свежий след снятой красной звёздочки, он топал по направлению к Сухаревке бодрым шагом с резкой отмашкой рук, характерной для строевого военного, и высоко поднятой головой, не глядя по сторонам. Хотя было ему

не больше тридцати лет с небольшим, высокий и широкоплечий, он, однако, выглядел больным. Бледный, очень исхудавший, через каждые несколько десятков шагов, тяжело закашлявшись, сбивался с ноги. И всё же решительное выражение лица и твёрдый, строгий взгляд придавали ему вид уверенности и власти.

У кинотеатра «Уран» стояла очередь на фильм «Леди Гамильтон», и женщина продавала горячие пирожки. Он, поколебавшись, купил один, не спрашивая с какой начинкой. Пирожок этот он проглотил мгновенно, но трогаться дальше не спешил.

— Что это, один пирожок для такого мужика здоровенного? Бери ещё.

— Что так закуталась? — одни глаза.

— Потанцуй здесь с самого утра, так и валенок на голову наденешь, — с весёлым отчаянием отозвалась торговка. — А что, глаза-то, не понравились?

— Понравились. Но как-то отогреваться всё ж надо.

— А кто отогреет?

— Сейчас у меня дело тут, на Мещанской. А часа через два освобожусь, и почему б не согреться?

Белозубо, совсем по-молодому улыбаясь, женщина открыла жгучему ветру и незнакомому покупателю круглое, румяное лицо бедовой обитательницы опасных лабиринтов великого мегаполиса:

— Через два часа меня уж здесь не будет. Пирожки холодные. Без толку только морозиться.

Офицер, откинув полу шинели, достал большие серебряные карманные часы с обрывком цепочки, к которой был привязан простой ремешок. С протяжным мелодичным звоном крышка отскочила, и часы сыграли «Ах, мой милый Августин».

— Здесь я буду ровно через час, сорок пять. Раньше не успею. Охота есть — подожди. Только учти: отогреваться будем спиртом. Потому что после контузии я мужик плохой, а точнее вовсе никакой.

На эти слова, сказанные с горькой усмешкой и дрожью, сдержанной мучительным усилием, она совсем не обратила внимания, только глянула на него, неясно улыбаясь, будто не поверила.

— Трофейные? — спросила она о часах.

— Именные.

— Дай, погляжу.

На крышке часов была причудливая монограмма из каких-то нерусских букв, пониже немудрёная гравировка, а вернее просто

нацарапано было стальной иглой: «Гвардии капитану Мирскому за геройское командование батальоном при форсировании реки Днестра. 1944 год».

— Комдив вручал, — большим пальцем он указал себе за спину, где был туго набитый сидор. — Есть чем согреться. Хочешь — подожди меня, — повторил он. — Скорей пойду, скорей вернусь. Мужа-то нет?

— Не, откуда? — радостно сообщила женщина.

— Убили?

— Ага. В сорок третьем.

— На каком фронте?

— А кто его знает? Кажись, был на Втором Украинском.

— Мы с ним вроде земляки тогда, — почему-то это обстоятельство обрадовало их обоих.

Он пересёк Сухаревку и по пути несколько раз оглянулся. Пирожница смотрела ему вслед. Не доходя площади Рижского вокзала, он вошёл в круглую просторную арку, пересёк двор и вошёл в подъезд. Лифт не работал. Он медленно, нехотя, долго подымался по лестнице на четвёртый этаж и остановился у двери, аккуратно обитой коричневой кожей. Эта обивка была новая и ему незнакома, он нерешительно потрогал её рукой. Потом вытащил записку, заткнутую за почтовый ящик, и развернул её. Торопливо было написано: «Серёженька, милый, я — на барахолку. Не жди меня, ешь картошку, на плите в кастрюле, я завернула в старый плед, а за окном селёдка, хлеб в буфете. Пей чай, сахару много. Твоего джема ещё целая банка. Я сэкономила для выходного. Целую. Люда». Эта записка не ему была адресована. Не ему предназначалась и картошка в кастрюле, завёрнутой в старый плед, который был новым, когда он покупал его своей жене, много лет тому назад, и не для него за окном была селёдка, и чай с сахаром не для него, и джем, и жена его, Люда, целовала вовсе не его. Он аккуратно сложил вчетверо тетрадочный в клеточку листок и затолкал его обратно за ящик, бережно стараясь не нарушить линии сгибов, чтоб неизвестный ему Серёженька не догадался ни о чём. Он совсем не обиделся на Серёженьку, потому что, тот, вернее всего, тоже был фронтовик — американский джем в то время демобилизованные везли из Германии — и сбежал по лестнице, испытывая одновременно и муки ревности, и облегчение от того, что прошлое миновало безвозвратно, и впереди неведомая свобода. Свобода эта не показалась ему слишком холодна, когда он вспомнил весёлую бабу, возможно, ещё ждавшую его на Сретенке, и тем же бодрым шагом, изредка останавливаясь, чтобы преодолеть мучительный сухой кашель, он пошёл обратно. Торговка всё так же сиротливо

стояла у входа в кинотеатр. И она обрадовано помахала ему рукой, издалека увидев его высокую, прямую, но и складную, ловкую фигуру.

— Быстро ты вернулся.

— Дома не застал.

Она держала на сгибе левой руки большую, полупустую корзину с товаром, на которую была накинута для тепла стёганая телогрейка.

— Давай понесу. Куда идём-то?

— Да не тяжело. К подружке моей пойдём? Или к себе приглашаешь?

— А почему к подружке? Дома у тебя кто?

Она со вздохом помолчала и призналась:

— Да там мужик один сейчас. Тебе с ним лучше не встречаться он тебя убьёт, а может и меня.

Он придержал её, и они остановились.

— Слушай. Зовут меня Семён Михайлович Мирский. Майор запаса. Утром приехал. Месяц добирался из Берлина. Ночевать мне негде. Моё место дома уже занято. Убивали меня пять лет и не убили. Если тебе самой мужик этот не нужен, так я могу проводить его. Убивать не буду, а просто провожу, — Семён улыбнулся. — А может и убью. Как получится.

— А меня Фрося зовут, Ефросиния. Такой уж ты в себе уверенный? Человек тот не один. Это жиган, понимаешь?

— Он сейчас на квартире не один, или не один — вообще?

— Вообще — их тут целая Сретенка. Ну, и на квартире с ним может оказаться кто-нибудь, он редко один ходит. В большом авторитете. Учти, у них оружие всегда.

— Знаешь, Фрося, я воюю с сорокового года, как на финскую ушёл, и вот только что вернулся. Уже и забыл, как нормальные люди живут. Тебе, может, нужен этот человек? Тогда я не стану его трогать. А так… Оружие — это к человеку приставка. Если человек — дерьмо, так и оружие не поможет.

В то время жиганов в Москве очень боялись, и Фрося с восхищением смотрела на Семёна блестящими карими глазами.

— Вот именно, забыл, как живут. Нужен — не нужен он мне, а я ему нужна, а главное квартира моя. Они там встречаются. Урки, понимаешь?

— Понимаю. Теперь меня послушай. Я ранен был в сорок четвёртом. Как раз, только успел часы эти получить и к ним ещё орден Красной Звезды, это второй уже, — с гордостью говорил он. — Зацепило-то легко, а сильная была контузия. Я ж тебе говорю, а ты может не поняла? Как мужик я интереса для тебя не представляю.

Она продолжала смотреть на него, и выражение глаз её постепенно принимало какое-то странное выражение.

— Всё будет хорошо. Я знаю, — сказала она. — Что плохого было — пройдёт, а хорошее воротится.

— Ну вот. А ты откуда знаешь?

— Сёма, ты только не пугайся. Я колдую.

Семён засмеялся и закашлялся. Они тем временем шли по Сретенке в сторону Лубянки и, не доходя кинотеатра «Хроника», свернули в переулок.

— Зря смеёшься. Наколдую. Я могу.

— Наколдуй. Я не возражаю.

Они вошли во двор, узкий, длинный, заваленный мусором и снегом, безлюдный и серый. Тёмные окна многоэтажных домов недобро смотрели на них со всех сторон.

— Сёма, теперь уж они знают, что я не одна пришла, потому что в окно всегда следят, и встретят нас прямо в прихожей.

— Вряд ли. Встретят, где им покажется, что я не ожидаю. Ты, Фрося, спокойно проходи вперёд, на кухню что ли. Молчком проходи, и знакомить нас не надо. Мы с твоими дружками сами познакомимся, — сказал Семён.

Действительно, когда Фрося открыла сильно облупленную и много раз чиненую дверь, в прихожей никого не оказалось. Семён снял шинель, аккуратно повесил её на вешалку, где уже висели несколько пальто. После этого он как-то совсем незаметно оказался в ванной и через минуту вышел оттуда. В руке у него была финка с красивой наборной рукоятью.

— Э, есть тут кто живой? Выходи. Человеку нужно помочь, а то он что-то себя почувствовал плохо.

В прихожую из комнаты появился молодой парень, который растерянно спросил:

— А где он?

— Где он может быть? В ванной, конечно. Вы когда устраиваете засаду, старайтесь, чтоб там никто не сопел, как бегемот. Я даже испугался. Думаю, может правда. Купила Фрося бегемота в зоопарке и в ванной держит его.

Тогда из комнаты послышался низкий и хриплый голос:

— Слышь, ты, суета! Гостя проводи к столу, а потом посмотри, как там Кузнец. Может он уже готов? — за этими словами засмеялись сразу несколько человек.

Семён вошёл в комнату, где за столом, уставленным бутылками и закуской сидели впятером урки. Их легко узнавали в те времена по одежде и даже манере поведения и говору. Он спокойно подошёл и положил на стол финку.

— Здравствуйте. Разрешите присесть? Целый день хожу, ноги

гудят.

— Садись, рассказывай. Выпей сперва с мороза. Закуси.

— Благодарю, — он налил себе стопку водки, проглотил её и подцепил первой попавшейся грязной вилкой кусок селёдки. — А нож-то, хотя и сделан хорошо, но как оружие — негодный. Это ж не финский нож, ребята.

— Как не финский? Разве ж это не финка? — с интересом спросил его пожилой человек, вероятно, тот, что позвал его в комнату.

— У них ножи были короче и шире. Воткнёт его в левый бок и повернет слегка — всё. Никакая операция не поможет. И, вообще, нож очень сложное оружие, с любым холодным оружием трудно управляться. Учиться надо.

За столом весело переглядывались.

— Гляди, — сказал чернявый, кудрявый, цыганистый красавец, — да ты прямо профессор. А финны вам все ж врезали той зимой.

Офицер помолчал, прожёвывая кусок ветчины.

— Врезал нам тогда Маннергейм, потому что он был дельный офицер русской армии, а наше командование, да и весь наш корпус офицерский — это ж просто шпана. Вот, к концу сорок второго года кое-как научились воевать. А в сороковом что ж… Замерзали ведь люди просто безо всякого толку.

Пожилой с удивлением посмотрел ему в лицо:

— А за такие слова, мил человек, знаешь, что вашему брату бывает?

— Нашему…, а вашему брату, что — всё нипочём?

— Так мне-то нечего терять.

Семён закурил и сказал, усмехнувшись:

— Терять-то нечего и мне.

В этот разговор никто не вмешивался. Вообще, когда пожилой заговаривал, все умолкали. Парень притащил на себе из ванной громадного мужика, белого, как мел, и тихо усадил его за стол. Тот время от времени судорожно икал.

— А свободу не боишься потерять? Слушай, что ты ему сделал? Его кликуха у нас — Кузнец. Амбарный замок может со скоб сорвать одной рукой.

— Ничего с ним не случится. Просто я слегка пережал ему сонную артерию. Ты про свободу спросил. Где она, свобода?

— Вот мы здесь все, люди свободные.

— А по товарищам твоим не скажешь, чтоб они свободны были от тебя. Боятся тебя. Какая ж свобода? А ты сам? Свободный, точно так ли, а?

— Давай-ка выпьем ещё понемногу и поговорим о деле. Мы,

видишь ли, сейчас уходим, до среды нас не будет, — он налил две стопки — себе и гостю, а остальные напряжённо молчали. — А в среду квартира эта нам будет нужна. Выпьем?

— Будем здоровы! — сказал Семён, и они выпили. — Ты уж не обижайся, друг, а квартиру придётся новую искать. Жить, похоже, я здесь буду, а такие соседи мне ни к чему, да и вам я не нужен.

Наступило молчание. Фрося ушла на кухню. Совсем было тихо.

— Да ведь это ж смертельное дело, — сказал один из бандитов. — Ты до сих пор-то живой, почему? Понравился нам. С тобой хотят по-людски. А не хочешь — не надо.

Майор Мирский внимательно выслушал его, а потом ударил длинным прямым ударом — через стол. И этот человек упал.

— Он готов, — сказал Мирский. — Удар такой. У него проломлена гайморова полость. Его вытащите, как вы умеете, и спрячете, где у вас принято, а потом похороните. Хотите — так хоть на помойке. Мне всё равно.

— Слушай, — сказал старший, — ты, я понимаю, рассчитываешь, что мы шума не захотим. А нам это ни к чему. Никто не придёт. Мусора сейчас робкие.

— Ещё кончить одного? На мой бы взгляд хватит и этого, — сказал майор.

Тогда молодой, цыганистый парень прыгнул и тут же упал ничком на стол. Столовая вилка вошла ему в шею с правой стороны так, что едва виден был круглый конец костяной ручки.

— Ох, вернёмся, — сказал старший. — Ты ж на всю Сретенку поднялся.

— Добро, возвращайтесь, — сказал Семён. — Кто кого. Только ты пойми. Я воюю с сорокового года, а вот сейчас впервые за себя дерусь, за свою будущую жизнь. Драться буду хорошо.

Через некоторое время, когда Фрося появилась в комнате, никого уже не было. Только Семён сидел за разгромленным столом, задумавшись о чём-то.

Удивительно, что дядя Семён и тётя Фрося живы до сих пор. Я с ними хорошо знаком. Им обоим больше ста лет. И живут они в городе Ашкелоне, в Израиле. Дядя Семён теперь велит звать себя Шимон. Он правда не стал верить в Бога, но строго соблюдает всю иудейскую религиозную традицию, так что ему в субботу и не позвонишь. И они почти совсем не болеют никогда. Я как-то заговорил б этом.

— Так я ж колдую, — сказала тётя Фрося. — Он когда пришёл ко мне, был заколдованный. Ну, по мужской части ничего не мог.

Я его сразу расколдовала.

Они оба улыбались.

— А как?

— А вот так, — она крепко взяла старика за лицо смуглыми, почти чёрными от загара пальцами и посмотрела ему в лицо.

— Ладно, хватит, — сказал он. — Детей, однако, родила мне четверых. Один только погиб в Ливане, его жаль очень, самый младший. А остальные живы. Все мальчики, одного ты знаешь, Мотьку. А двое в Штаты уехали. Гийюр она не хочет проходить. Да я за это не стою. Не хочет, как хочет. Она русская.

— А почему вы уехали сюда?

— Момент был подходящий. Я — после ранения. Евреи ехали. Бардак был такой, что особенно не придирались. Отпускали. А эти крысы, может, и по сию пору нас там ищут, — мы все втроём засмеялись так облегчённо, будто опасность только что миновала.

— Пошли к морю, — сказал дядя Семён. — Ты любишь закат смотреть.

По дороге нам встретился какой-то молодой человек.

— Э, Бени! — окликнул его Семён. И он о чём-то спросил его на иврите, а тот, улыбаясь, ответил.

— Его на той неделе призывают на милуим (частичный призыв резервистов). Он танкист. Я его спросил, что делать будем. Он сказал: «Драться надо, пока не поздно. Приказа нет».

— А что, дядя Сёма, миром никак нельзя?

— Может и можно, да никто не знает как. И многие уже не хотят. Слишком много тут крови пролилось. Вот Фроська, ты б наколдовала.

— Нет, — сказала Фрося. — Я не по этой части. Вот, как станет Бени женится, тогда можно наколдовать. Но, я думаю, он обойдётся и так. Я видела его невесту.

Всё время мне вспоминается Израиль. И скоро я туда снова приеду. Но я не знаю надолго ли. Когда туда едешь, лучше не загадывать.

* * *

Тут есть один парень, я никак не сумел его сноску сюда перенести, забыл опять, как это делается. Его прозвище Гарпун.

Это очень трудное и серьёзное чтение. И там много такого, чего б я, может по старческой глупости, молодым девушкам не порекомендовал, бывает страшно.

Но мне очень по душе пришлось. Не мне судить, пишет ли он, собирается ли писать что-то большое по объёму. Но, на мой

взгляд, он очень хороший писатель.

Может, он вовсе и не хотел, чтоб я его всем предлагал читать? Ну, тогда, брат, извини. Поделиться хотелось. Я-то читаю, а другие не могут.

* * *

Я хорошо помню, что это было осенью 91 года. Я тогда работал в одном строительном кооперативе снабженцем. И выдался очень тяжёлый день. Я с утра мотался на машине по Москве, выпрашивая что-то у кого-то, подробности здесь не важны. Время было такое — никто ещё толком ничего понять не мог, размеры взяток были совершенно неопределённы, а главное, все старались материалы придерживать на складах про какой-то непонятный чёрный день и твердили, что нет ничего, вообще.

«В качестве производственно-финансового (так что ли?) сотрудничества просим отгрузить столько-то тысяч метров арматуры такого-то диаметра. Наш расчетный счёт в таком-то банке….».

— Давай так. У тебя обрезная доска есть? Должна быть. Стандартная, столько-то миллиметровая. Баш на баш. Отгрузи мне трайлер и завтра я тебе арматуру доставлю, а с документами разберёмся. Ты письмо-то пока забери. Сейчас эти письма ни к чему, — снабженцы, которые в этот момент чувствовали себя как бы в пещере, полной сказочных сокровищ, но ещё не решались или не знали, с каким именно заклинанием ко всему этому подступиться, сразу видели во мне чужого, а это гораздо хуже явного лоха. Ничего у меня тогда не выходило. К вечеру я замёрз, как собака, охрип, валился с ног и ужасно хотел выпить.

Куда, как не в баню? Конечно, я часу в шестом плюнул и пошёл париться. Это были Кожевнические. Не знаю, работают ли они сейчас, но тогда там была отличная парная. Народу полно, но я тогда ещё в московских банях воспринимался как свой. Помню даже, что пространщика звали Колей. И даже он мне места нигде найти не мог, а у него в подсобке сидели чеченцы.

— Ну, они что, не хотят пускать?

— Да ты ж их знаешь…

Тогда я молча вошёл в подсобку, где чеченцы пили водку, завернувшись в дефицитные махровые простыни, и сказал, стягивая штаны:

— Ребята, с лёгким паром. В тесноте, да не в обиде. Так?

Их было четверо. Старик и трое молодых.

Если кто не знает или забыл, прямо в этом самом Интернете можно прочесть побыстрому, что такое делалось в Чечне осенью 91-го, а как чеченцы вели себя в Москве в это время — об этом и речь.

— Брат, у вас ведь как говорят? — сказал старик. — Незваный гость хуже татарина. Так? Нет, брат, не надо молчать, а скажи, так у вас говорят?

Торопливо раздеваясь, поскольку в соответствии со здравым смыслом, уж если драться, так лучше совсем голым, чем полуодетым, я говорил, слегка задыхаясь от не во время расходившихся нервов — я всё ж не Лермонтов и не генерал Ермолов:

— Извини, брат. Я не к тебе в гости пришёл. У меня здесь друг работает. Это его подсобка, а народу, гляди! Куда-то приткнуться мне надо? Я весь день работал. Устал. Я могу отдохнуть? Разве в подсобке места не хватает?

Они засмеялись.

— Мы заплатили, брат. Заплатили за четыре часа попариться и отдохнуть, выпить рюмку. Мы заплатили, сколько нам твой друг объявил. Мы не стали торговаться. Поэтому ты у нас теперь в гостях. Мы тебя как гостя примем. Для гостя всегда место найдём.

Между тем, мой друг Коля подсобку свою запер, и меня вместе с чеченцами, чтоб нам было уютней толковать. А сам смылся.

— У нас так не говорят, как у вас. У нас говорят: Гость — святой человек. Вот, что на этом столе всё твоё. Пей, ешь. Париться будешь? У нас есть веники такие, что и в Сандунах не стыдно. И ничего не бойся. Хорошо?

Я разделся таким образом — остался в трусах и ботинках, которые ещё натуго перешнуровал.

— Ты, наверное, борец? — спросил чеченец помоложе.

— Боксёр, — сказал я, нисколько не надеясь, что мне поверят, поскольку моё боксёрское прошлое, особенно в тот момент, казалось мне уже чем-то совершенно мифическим.

Значит, я встал в угол так, что напасть на меня можно было только вдвоем, да и то в сильной тесноте. Но каждый из них был здоровей меня. И, что немаловажно — килограмм на двадцать тяжелей. Я ж на ринге-то был «мухачом». Это было совершенно безнадёжное дело. К тому же я ничего не ел с самого утра. И не то, чтоб я боялся, а просто у меня почему-то ёкала селезёнка.

— Ну, хорошо, — сказал старик. — Я тебя пригласил. Не хочешь, тогда ты меня пригласи, и давай выпьем. Уже мне надоело. Ты не молодой, а я тебе в отцы гожусь — ты это не в обиду прими — сто лет жизни твоему уважаемому отцу.

Итак, хотя вопрос о том, кто в гостях у кого, остался нерешён, атмосфера слегка разрядилась. Я снял ботинки и трусы и завернулся в простынь, потому что дуло в окно, а с потолка капало. О парной я как-то ещё не вспомнил, но выпить мне уже снова хотелось и очень хотелось есть, а на столе было полно мяса. Я знал, что молодые не тронут меня, пока старик не велит, а ему, видно поговорить хотелось, а вернее, я его заинтересовал. Я ж еврей. И не привычный ему, кавказский еврей или тат, а натуральный ашкеназ. И мы выпили и поговорили о том, что Пророк заповедал не пить сок виноградной лозы, а водка эта никакого винограда содержать не может.

И мы ещё выпили. Тогда старик, глядя на меня своими орлиными глазами спросил:

— Ну, так что ваши говорят про всё это, расскажи нам?

— Ты о ком спрашиваешь, уважаемый отец?

— Разве ты не еврей? Ты не обрезанный, но я вижу — еврей всё равно.

— Никто ничего не знает.

Потом о тех днях по-разному говорили и писали, но в тот момент в Москве мы знали, что сотни русских семей и семей других национальностей, евреев, в том числе, оказались в Чечне накануне зимы под открытым небом. Ещё боевые действия не начались, но стрельба уже шла. И людей убивали. И женщин насиловали. И многих угнали в горы в рабство. Увы, это чистая правда. Хотя мой любимый герой у Толстого — Хаджи-Мурат, а из песни слова не выкинешь.

Мне было ясно, что эти люди приехали в Москву с Кавказа, это не московские были чеченцы, потому что чеченская мафия в нашей столице, как и любая другая, в простых банях не парится, и тогда не парилась.

— Говорить не хочешь или боишься? Сперва ты не испугался.

— Никто ничего не знает, — сказал я. — Евреи не знают, и русские не знают. Вижу, дело плохо.

— Почему это плохо, когда народ хочет жить на своей земле, у себя в горах, и чтоб его никто не трогал?

— Ох, отец, разве ты не знаешь, что из большого легко сделать малое. Но уж потом из малого — большое не сделаешь никак, разве это не ваша пословица?

— Слушай меня, старика. Эта пословица у нас есть, но она не про то. И она к нам пришла издалека. Армяне из Персии, говорят, её к нам занесли.

Молодой чеченец подошёл к дверям и постучал условно, чтобы Коля открыл подсобку. И мы пошли париться. Мы хорошо попарились. Я сам попарил каждого из них, я это хорошо умел,

пока не ударил меня инфаркт. Веники у них, действительно были хорошие. Мы распаренные, по моему совету не стали пить водки или пива, а велели Коле заварить крепкого и сладкого чаю.

— Так лучше. Как чаем всё прогреет изнутри, тогда и водочки можно. А холодного — пива или кваса — лучше не надо. Нельзя остужаться, — сказал я.

— Запомню, — сказал старик.

— В Грозном тоже баня есть неплохая, — сказал кто-то из молодых.

— Нет, — сказал старик. — Хорошие бани есть только в Тифлисе, но там по-другому.

И вот мы лежали, накрывшись простынями, чтоб не сразу остывать, а потом ещё выпили.

— Ты меня послушай, — сказал старик. — Я ведь на фронт не пошёл. Сбежал в сорок первом году. Наши многие не хотели воевать за Сталина. А мой старший брат пошёл. Его в сорок четвёртом году расстреляли пред строем за шпионаж, хотя у него была медаль «За отвагу», и он не был шпионом. Он честно дрался. Мы и до сих пор не знаем, где его закопали. Да закопали его они, или так бросили?

Вот стали сгонять народ, мы тогда с отцом, и матерью, и сёстрами и маленьким братом моим жили все в Бамуте… слыхал про Бамут?

Но я тогда ещё ничего не слышал про Бамут и отрицательно покачал головой.

— Большой аул у нас считается или небольшой городок в горах. Согнали всех, а кто хотел отстреливаться, оружие всегда было у наших мужчин, тех сразу автоматами посекли. Погрузили в грузовики, а потом на поезд, в теплушки. Ты мне поверишь? Кого в теплушку затиснуть не получилось, так стреляли прямо на перроне. И увезли. От моей семьи остались живы только моя младшая сестра, а было трое, и я ещё. Братишка маленький был совсем, умер в теплушке, там воды было мало. А все ж Бог не дал им всех нас погубить. А за это наш народ мстит врагам до седьмого колена.

— Это по-мусульмански? — спросил я.

— Нет, это наш горский закон. Я вижу не глупый ты и не злой человек. Что будет, как думаешь?

— Всё утрясётся, — неуверенно проговорил я.

— Нет, — сказал старик. — Нет. Добра уже не будет никогда.

И я сейчас не знаю, что ему ответить. Тогда же я просто молчал и смотрел в потолок. Я тогда ещё думал, будто за всё это сумасшествие просто кого-то нужно и можно посадить в тюрьму. А теперь вижу: Нет. Не будет добра. Хотя посадить, конечно,

можно. Может, даже и нужно посадить. Только всё равно добра не будет. Разве только при моих правнуках.

* * *

Вот я похвалился, что в день буду по одной истории посылать сюда, а не выходит. На работе можно было бы — компьютер есть. Да там две мои ровесницы сидят со мной в одной комнате. Они это могут неправильно понять.

Можно только читать журнал «Семь дней» и разгадывать кроссворды. А сочинять нельзя. Почему? Не хочу спрашивать у старух, они обидятся и сразу поймут, что я беглый, а беглых они не любят. Им нравятся стационарные мужчины.

* * *

Сегодня утром я по долгу службы должен был отвезти куда-то какую-то бумагу. Этот важный документ аккуратно уложили в прозрачный файл, а затем ещё и в красивую кожаную папку, и мне велено было его нести в руке, в случае дождя бережно укрыть запазухой и не возвращаться никуда и никогда до тех пор, пока он не будет доставлен по назначению. После чего я получил полное право, не возвращаясь в офис, отправляться до утра на все четыре стороны.

Я был несказанно обрадован тем, что мне не обязательно сидеть целый день за столом с телефоном, который время от времени звонит для того, чтобы кто-то начальственный или наоборот робкий задавал мне вопросы, недоступные моему пониманию, на которые я, однако, научен, отвечать, таким образом, будто имею непосредственное отношение к их решению. Хотя эта работа мне совсем не по душе, но, человек порядочный, я не стану раскрывать профессиональную тайну и не расскажу вам, как это делается. Тут главное не то, что именно вы ответили, а каким тоном — вот всё, что я могу вам об этом сообщить.

Но сегодня утром я был отправлен в город с важным поручением. Первое, что я сделал, это, конечно, проехав для конспирации несколько остановок на метро — вышел наверх. Я вышел из метро, это была Курская, пересёк Садовое Кольцо и в одном из переулков вошел в полутёмное помещение под вывеской «Кафе-бар». Полутьма в этом помещении создаёт интимную обстановку. С той же целью там оборудована ещё и склоняющая к моральному падению коварная красная подсветка, но она почему-

то через несколько часов после того, как электрик её исправит, обязательно начинает противно и двусмысленно подмигивать, и её обычно отключают.

Я никому не расскажу, где находится это кафе. Это место не принадлежит мне лично. И я никого туда не приглашаю. Даже любимую женщину, если б она вдруг каким-то чудом оказалась в Москве, я не пригласил бы туда. Впрочем, она вряд ли со мной туда согласилась бы пойти, потому что ей слишком хорошо известно, как выглядят места, где можно встретить моих товарищей по вечным странствиям. Этих моих беглых товарищей она очень не любит, они отчасти и явились невольной причиной нашей с нею горькой разлуки.

— А почему у вас тут так темно? — спросил я, когда попал в это заведение впервые, чуть более года тому назад.

— А это для интима. Не бойся, мимо-то не пронесёшь — Тяжёлым мефистофельским басом ответила мне из-за стойки женщина, о которой я ещё расскажу кое-что. Она меня не обманула. Эта женщина всегда говорит правду. Для того, чтобы солгать, она слишком проста душой. Обстановка в кафе, действительно, интимная, но стопку мимо рта я ещё ни разу в жизни не проносил. Как потом выяснилось, барменша имела в виду вовсе не стопку, а нечто иное, гораздо более интимное. Но и в этом случае у меня редко бывают промахи, разве что спьяну.

Особенно интимно в этом кафе днём, когда там не более двух-трёх посетителей. Там за стойкой стоит самая толстая женщина, из тех, с которыми мне тем или иным образом довелось общаться за долгие годы моей сознательной жизни. Поскольку она никогда не прочтёт того, что я здесь собираюсь о ней написать, я позволю себе признаться публично: такие толстые женщины, никогда не вызывали у меня слишком горячих чувств, поскольку, вслед за Эпикуром, я считаю, что всё хорошо в меру.

Но она мне нравится — не так объёмом форм, как их изысканными очертаниями, темпераментом, каким может отличаться только малообразованная, однако от природы наделённая неистощимой фантазией вакханка, наивным, совершенно детским бесстыдством, а также склонностью к нравственной и даже религиозной философии в самый неподходящий для этого момент, что бывает иногда пикантно, а иногда очень глупо, но тут засмеяться нельзя — она обидчива.

Её зовут Виолетта. С двумя буквами «т». Когда я осведомился в минуту первого знакомства, как мне следует к ней обращаться, она, пытаясь некоторое время понять смысл этой слишком сложной для её простого, трезвого рассудка формулировки, зардевшись малиновым румянцем, наконец, сообщила мне:

— Меня зовут Виолета Фоминична.

Припоминая старинные приёмы искусства обольщения прекрасных дам, которыми я некогда владел вполне удовлетворительно, я спросил её:

— А если просто Виолета?

— Можно и так, — сказала она. — Только нужно познакомиться поближе.

— Познакомимся. Мне здесь нравится, — и тогда я спросил. — А Виолета это пишется с одним «т» или с двумя?

— Ты что? — возмутилась она. — Как это с одним? Только с двумя.

После этого я заказал двести грамм водки и стакан чаю.

— Закусывать надо, — лукаво посоветовала мне она.

— Я после первой не закусываю, — сказал я.

— Вот был фильм! — восторженно пробасила она с горьким вздохом, от которого мощно затрепетали её необъятные перси. — Почему больше таких фильмов не снимают?

— Ну, так страну развалили, чего ж ты хочешь?

— Вот именно. Олигархи.

— Точно, — сказал я. — Это они.

Так мы познакомились с Виолеттой. Виолетта не замужем. Разошлась. Её муж был очень хороший человек, неплохо зарабатывал, любил её и устраивал как мужчина. Но он почему-то каждый день её так бил, что у неё теперь больные почки. Это всё от водки. Человек он был не злой. Так она мне рассказала. А теперь Виолетта, как я выяснил несколько позднее, состоит в браке с хозяином этого кафе, которого зовут Давид. Этот брак, правда, не оформлен официально, хотя и достаточно гарантирован рядом серьёзных практических обстоятельств. Он грузин из Сухуми, у него какое-то тяжёлое прошлое, связанное с обретением независимости самопровозглашённой республикой Абхазией. Я спросил как-то, почему он не уедет в Тбилиси — в Москве у него бесчисленные неприятности с милицией, налоговой инспекцией, мафией, и даже свои грузины как-то не ласково к нему относятся. Поэтому-то его кафе-бар посещают беглые и я среди них, а от нас серьёзной прибыли не жди.

— Какой-то у меня клиент непонятный, — сказал он мне. — Я этих людей не понимаю. Они вроде тебя.

— А я — что?

— Ну, ты… не знаю, — он не хотел меня обижать. — Слушай, что мне делать с этой Виолеттой? Я у неё комнату снял, а она мне спать не даёт. Я очень устаю. У меня жена в Элисте, если уж честно. Жаль только мы с ней не знаем, где наши дети. У нас было трое. Все мальчики. Младшему сейчас уже было бы

семнадцать.

Я пожал плечами и сочувственно покачал головой. Я немного знал Виолетту с той стороны, которую грузин имел в виду. А события в Абхазии я комментировать не решился. Мне просто нечего было сказать по этому поводу.

— Я б её уволил — комнаты жаль. Хорошая комната, и отсюда недалеко. Вся обстановка её. Телевизор. Даже компьютер. И она очень хорошо готовит. Я не знаю, что мне делать, — Этот Давид какой-то странный грузин. Редко встретишь нерешительного грузина.

Итак, мы с Виолеттой поговорили о том, о сём, а потом она сказала:

— Миша, тут стал тусоваться один человек, который тебя знает. Ты бы с ним поговорил. Он скоро придёт. Я его что-то боюсь.

— Его как звать? — спросил я.

— Сказал, зовут Рома. Он недавно приехал из Канады. Так он сказал. Только непохоже.

— Почему?

— Прикид не тот у него. И денег мало. Он мне уже должен двести пятьдесят рублей. Пьёт, как слепая лошадь.

— А он откуда меня знает?

— Сказал, вы с ним вместе золото искали где-то. Не помню, как он это место назвал. Только не на Колыме, хотя название похоже. Где-то за границей.

— Ага, в Калифорнии — сказал я. — А откуда он узнал обо мне?

— Спросил, лысый сюда не заходит? Ну, я говорю, сюда лысых заходит много.

— Лысый и небритый такой, с интеллигентным разговором. И ничего, кроме водки не пьёт, — ну, я подумала, что это ты. Кто ж ещё?

— Ты не спросила, как зовут лысого, которого он ищет?

— Конечно, не спросила. Зачем? Он бы не сказал. Вы же все по кличкам. Думаешь, правда, его Ромой звать?

— Не думаю. Когда он приходит?

— Через полчаса будет здесь. Он уже неделю в это время приходит, как на работу.

— Хорошие новости, — сказал я.

— Что?

— Всё нормально. Это старый дружбанок. Ты его не бойся. Налей мне водки, как всегда. И чаю, погорячей и послаще.

— А почему ты всегда водку чаем запиваешь?

— А это я в бане привык. Я раньше в бане работал.

— На пространке? А в каких банях?

— Я уже не помню. Чего ты вяжешься?

В это время показался Рома. Я никогда не знал, как его настоящее имя. А ведь мы несколько лет мыли золото в Калифорнии. Он, во всяком случае, был уверен, что всё было именно так с нами — лет полтораста тому назад. Мы оба были гораздо моложе. Только вот золота было очень мало. Не везло нам. Я не очень ему обрадовался и спрятал свою папку запазуху, как мне велели.

— Это что у тебя? — спросил Рома.

— Просто бумаги.

— Да я вижу, что там не самородки. И сколько это стоит?

— Недорого. Точнее, вообще, ничего не стоит. Это просто перечень какой-то старой техники. Для тех, кто ей интересуется.

Рома выглядел, как настоящий московский бомж. Помимо старого шрама от ножа на лбу, который был у него ещё с тех давних времён, его ещё совсем недавно где-то разукрасили так, что и глаз было не видать. И на нём была старая и сильно рваная куртка, вроде «аляски», которая блестела, будто её гуталином натирали. Я этого человека совсем не боялся. Просто было неприятно, что он явился сюда из такого далека. Я всегда был уверен, что оттуда никто не возвращается. Хотя я-то сам откуда здесь? Может быть тоже из Калифорнии? Хотя, если вспомнить, как следует… И что получится?

— И почём ты продаёшь эти бумаги? — спросил Рома.

— Нипочём. Мне просто велели их отнести. Я вроде курьера.

— Хватит врать. Возьми-ка мне выпить.

Мы выпили, и я всё время ждал, когда же он спросит про долг. А он молчал и курил.

— Слушай, а куда делся тот мексиканец, что к нам прибился, когда мы к этому проклятому водопаду вышли? Забыл я, как называется.

— Я помню, — сказал я. — Водопад Бёрни. Можно прочесть в любом туристическом проспекте. А мексиканца я не помню, как звали. Мало там было мексиканцев? Тебе бы лучше пить поменьше. Опять буянить начнёшь.

— Ты говорил, что моя доля песка была у него, а его потом застрелили на Кубе.

— Говорил.

— Будем мы рассчитываться, чёрт возьми, или нет?

— Ромка, тебе снова надо в дурдом. Отдохнёшь, и вся ерунда пройдёт. Это же просто сказки. Я пошутил один раз, а ты потом стал вспоминать и вот уж тебе кажется…

— Иногда кажется, а иногда — ничего, всё нормально. В

больницу-то я не хочу. Но жрать нечего, и ночевать негде. Ты деньгами не подмогнёшь?

— У меня есть пятьсот рублей. Возьми, только сразу не пропивай. Больше нет. А жить негде. Сам живу — там, как сельдей в бочке. Ром, ты извини, но мне пора.

— За деньги спасибо. Хорошая баба эта барменша. Я ей сильно задолжал. И такая толстая — чудо. Вот бы мне такую жену, — сказал он.

— А ты приходи в себя потихоньку. Она совсем не против того, чтоб замуж выскочить. Ты мужик здоровый.

— Ну да, здоровый. Я психический. Ты не знаешь, в 23 больнице, кто сейчас заведующий четвёртым отделением?

— Да я там не был лет десять.

— Так что, уходишь? — спросил он.

— Я опаздаю.

— Так ты всё это про Калифорнию придумал? Это точно?

— Конечно, придумал. Откуда мне было знать, что ты поверишь? Это ж было в психэкспертизе. Ты хотел ограбить сберкассу и нацепил себе на голову женский чулок, как в боевике. Ты просто насмотрелся этих дурацких фильмов. Брось.

— Я уже бросил, — сказал он. — Всё нормально. Мне бы только приодеться, документы получить, и можно было бы искать работу.

— Виолетта, — позвал я. — Давай рассчитаемся. Я ухожу. Ты его не бойся. Он хороший парень. Он мой друг. Ну, ребята, пока!

Когда я уж был в дверях, Рома меня окликнул:

— Лысый! И мы никогда не ловили рыбу на этом водопаде? Ты не помнишь? Там был ещё индеец, который хотел жениться на одной ирландке, его застрелили. Не помнишь?

Я остановился и смотрел на него. Чем можно помочь такому человеку?

— Я вспомнил, — сказал я. — Помню этого парня. Жаль его. Он отстреливался.

— Так это всё правда? Ты не придумал?

— Всё правда.

— А мексиканца застрелили? Что это его на Кубу понесло?

— Да он был с Фиделем. Связался с этими бандитами. Они там много народу постреляли.

— У него было на три тысячи золотого песка. Никак не меньше. Вся моя доля. А когда его застрелили?

— Я не помню. Разве всё упомнишь. Застрелили и всё. Ты не думай об этом.

— Ну, хорошо, — сказал он. — Я не буду думать. Больше не буду. А то опять засадят в дурдом, чего там хорошего?

— Точно, — сказал я.

* * *

В середине девяностых я работал в Малаховке у одних новых русских, которые одновременно были и давними друзьями, так что обстановка была сносная и хорошо платили. И работа была подходящая для меня. Я был там вроде санитара. У них безнадёжный психиатрический больной, уже взрослый человек, довольно крупный и сильный, которого они ни за что не хотели в больницу сдавать, а я умею обращаться с такими больными, мне это, как ни странно, вовсе не трудно.

Но, помимо меня, там работала большая бригада строителей. Там в то время строился целый замок — трёхэтажный, и три этажа вниз. Бассейн, баня, зимний сад — чудеса. Это были украинцы, столяр, уже пожилой человек, очень хороший специалист, прямо художник — как-то попал к ним из-под Смоленска, а один парень, электрик — молдаванин. Этот молдаванин был очень красивый парень, весельчак, выпивоха, женский угодник. Что ему делать было? Женщина в бригаде была всего одна — штукатур. И хотя она была не очень молода, не очень красива, не очень весела нравом и стеснительна, но он привязался к ней не на шутку.

Да что, в конце концов, — как-то сказал он мне. — Разве дело в роже? Вот она человек, так человек. У неё муж в Полтаве, я знаю, что он, гад, не работает и деньги у неё отбирает. Я, как рассчитаемся тут, приеду, мозги ему вправлю. Пусть баба поживёт, как человек.

Все эти люди, их было около десятка, жили за высоким забором и калитка с домофоном, как в тюрьме, потому что местная милиция, буквально, охотилась за нелегалами и, встретив такого человека, обдирала его нещадно. Тут ещё надо для тех, кто не в курсе, обязательно отметить, что население люберецкого направления среди подмосковных жителей славится просто бешеным характером. Здесь чужих очень не любят. Чуть что — нападают. А милиция, какая-никакая, а всё ж своя. Я среди ментов там не знал не люберецких. Во всяком случае, в патрульно-постовой службе. Да их, думаю, там просто поубивали бы.

Хозяева лето проводили в тот год, кажется, за границей. Охрану я мог вызвать по телефону, и она приезжала всегда минут через сорок, как часы. Со мной оставалась только старенькая мама хозяина, да и она часто уезжала в Москву. Я с моим

пациентом, да рабочие, для которых мне приходилось даже продукты закупать, чтоб им в посёлке не светиться. Больше никого. Лето выдалось дождливое. Все мы помещались в старой деревянной даче, которая была уже под снос, это были руины. Крыша текла, латать не успевали. Настроение у всех было дрянь, и по выходным (у них был один выходной) рабочие сильно напивались. Тогда они вполголоса пели свои песни, но когда хохлы грустят, у них и песни невесёлые. Тоскливо было.

Как-то вечером, когда уж я больного уложил спать, в окно постучали.

— Миха, выдь на час!

Я вышел во двор. Это был старик столяр, которого звали дядя Володя. Он, молча, кивком головы показал мне на стройку, где на втором этаже горел свет.

— Ну, и что?

— Когда пошабашили, везде свет погасили. Это кто-то туда пришёл после нас. Сходи. Если какая гнилая заваруха, нам не дело туда соваться. Это ж там прячется кто-то.

— Пацаны туда девок приволокли, перелезли с ними через забор и водку пьют, — сказал я. — Я их сейчас шурану.

— Возьми с собой монтировку. Это не пацаны, и там не пьянка. Прячутся. Потому что тихо очень.

— Вот, зараза! Только этого ещё мне не хватало, — я выругался и пошёл в дом. Монтировки я с собой не взял. Я не люблю этого.

Когда я поднялся по лестнице на второй этаж, в нос мне сразу ударил запах травы, которую продавали в Красково цыгане.

— Э, там есть кто? — послышались нетвёрдые шаги и молодой голос ответил мне:

— Дядя Миша, не бойся, это я.

Ко мне вышел Федька, двадцатилетний сын председателя ДСК. Он был сильно грязный, чёрт знает, где ночевал до этого, и под кайфом.

— Дядя Миша, ты не бойся, — повторил он.

— Никто не боится, а ты рассказывай, давай, пока я тебе по тыкве не наладил.

— Отец здесь будет часа через полтора. Он сейчас в Москве. Или уже сюда едет. Он на Петровке, дядя Миша.

— Это меня не касается, где он, хотя бы и в Лефортово. Он со мной мог поговорить сперва?

— Времени не было. Наших же ребят сегодня всех взяли оперативники. А меня не взяли, потому что я в Люберцы ездил. Так батя срочно, понимаешь? Говорит, скажи Мише, так и так. И пусть меня подождёт. А мне велел здесь сидеть.

— А-а-а! — сказал я. — Вон оно что…

— Ага, дядь Миша. Оно самое. Ты ж не продашь?

— Я не торгую — сказал я. — Слушай сюда. Жду Васильича до утра, а перед рассветом, если он не придёт, сигай через забор и — ходу. Я здесь не хозяин. Мудаки вы сраные, вашу мать! Тоже урки нашлись — с трикотажной фабрики. Свет гаси, я тебе внизу зажгу АГВ, и не совсем будет темно. И чтоб дури я здесь запаху не слышал. Выкидывай папиросу. Жрать хочешь?

— Ага.

После этого я вышел во двор и сказал дяде Володе:

— Слушай, дело очень гнилое, но я без вас разберусь. Только смотри, чтоб ребята не совались из дома никуда. И даже по нужде пускай ходят в ведро. Понял?

— Чего ж не понять? — со вздохом сказал он.

Я принёс Федьке полкило колбасы, хлеба, чаю и сахару, показал, как на крышке АГВ можно чайник вскипятить и ещё раз напомнил, чтоб он не курил траву в помещении, а на двор носа не совал. Он меня понял. Смирный был, как овечка.

Через час, примерно, я услышал звук двигателя и сигнал. Это приехал на своём «Ауди» отец нашего героя. А дело было так. Ребята перепились и ограбили промтоварный магазин в Красково. Долго ждать не стали, а прямо тем же утром стали барахло продавать на малаховской толкучке. Сразу всё стало ясно. В Малаховке и Красково все друг друга знают.

Василий попросил разрешения загнать машину во двор: «Чего она тут светиться будет?» Мы с ним прошли ко мне, я с больным помещался на первом этаже старой дачи. Больной мой спокойно спал. Мы сели на кухне за стол.

— Сухая ложка рот дерёт, — сказал Василий Васильевич и поставил на стол бутылку «Смирновской».

— Ну, ты парня нашёл, где пристроить?

— Постой, давай сперва выпьем. Прямо ком какой-то в глотке встал. Ну что делать, а? Ты, блядь, на гору, а тебя чёрт за ногу! От армии уж его отмазал. Такие бабки зарядил. Что ещё надо?

Мы выпили. Оказалось, что с милицией удалось договориться только так: Федька прячется в Малаховке до выходных, то есть среду, четверг и пятницу. А в субботу его можно будет вывезти в деревню к бабке под Воронеж. Арестованные ребята, конечно, повесили на Федьку всё, что только было можно и нельзя. Вообще перспектива плохая.

— Хозяйка-то не появится?

— Нет, — сказал я. — Раньше вторника её не будет. Точно.

Этот Василий Васильевич был человек, лет сорок пяти, очень

сырой, одышливый, с серым лицом и глазами, как у сушёной воблы. И ему было очень тяжело. В связи со строительным бумом, который разразился в Подмосковье с конца восьмидесятых он заработал сумасшедшие деньги, но знал, что является козлом отпущения, и его посадят при первой же необходимости, потому что застраивались участки для этой цели совершенно непредназначенные, а подпись всюду стоит его.

— Так что, поможешь?

— Скажи Федьке, чтоб он сидел здесь тихо, как мышь.

— Об этом даже и не беспокойся.

Как мы решили, однако, не вышло. На следующий день во время работы Фёдор вышел на леса и стал приставать к Лене. Она ударила его мастерком по лицу, а он тогда так ответил ей, что он упала с лесов, сломала ногу и сильно разбилась. Ещё хуже было то, что Степан, так звали молдаванина, вступился за Лену и стал бить парня, а тот стал кричать, и тут же через забор перескочили человек пять Федькиных дружков. Тогда уж бригаде не оставалось делать ничего, как только драться. И мальчишек отделали в лучшем виде, а их родители немедленно позвонили в милицию. Вся несложная операция по спасению юного грабителя была сорвана.

Там был один счастливый человек. Лена. Она сказала мне:

— Но как Стёпка дрался! За меня ведь он дрался, а? Дядя Миша… Может…

— Да может, — злобно сказал я, прикладывая ей ладонь ко лбу, чтоб ей не так было горько это слышать. — Может-то быть всё. Вот, что будет, Лена? Ты уж не ребёнок.

— Нет, он за меня дрался, — упавшим голосом повторила она.

— Точно. Только у него жена в Кишинёве.

Гастабайторы.

* * *

Работает! А я вчера уж думал, плюну и уеду во Францию. Или в Елегино — разница-то невелика. Без ЖЖ здесь просто с ума сойдёшь. Но я вчера не нарезался. Думаю, включат, а я пьяный.

* * *

От судьбы не уйдёшь. Я, кажется, ещё и обсохнуть не успел после ливня разноречивых комментариев моего письма раву

Аврому Шмулевичу. Я, однако, снова посылаю в свой журнал запись о ближневосточных делах, правда, на этот раз в некоторой связи с положением в мире в целом и в России в частности. Свой журнал я не закрываю ни для кого. Прошу учесть, однако, что на этот раз я просто не стану отвечать на брань (не только матерную, но даже если она будет написана на французском языке). Оскорблять меня так же бессмысленно. Но это имеет смысл сделать при личной встрече. К подобной встрече я готов всегда, всю мою долгую жизнь. Я таких встреч никогда не боялся. И я от них никогда не уклоняюсь до сих пор. Последний раз в жизни я испугался, кажется, лет сорок тому назад. Это тоже следует учитывать.

Любой встречный на улице современного города, если вы спросите его в понятной простому человеку форме о существе исторического движения, почти наверняка скажет вам, что раньше было лучше, что с каждым новым периодом, который приходилось ему переживать, становилось всё хуже, что перспективы ещё хуже, что лучше вернуться, пока не поздно. Очень немногие в наши времена уповают на спасительное движение вперёд к неясному «свету в конце туннеля». И это меньшинство всё менее способно влиять на настроения миллионов, поскольку речь идёт о технократической интеллигенции, напрочь оторванной от жизненных реалий исторического момента, утратившей ощущение долга обеспечивать плодами своего творчества нужды простого народа, в массе которого крепнет паническое ожидание крушения. Сегодня эти люди уповают на быстроту распространения независимой информации, с помощью Всемирной Паутины, которая якобы способна предотвращать катастрофические социальные и межнациональные конфликты. Однако, в Истории не было эпохи, когда человечеству в той или иной форме не предлагалась бы подобная панацея. Паровой двигатель, а затем двигатель внутреннего сгорания, воздухоплавание, космонавтика — спасения не принесли, напротив они были поставлены на службу зловещему ВПК, который сам по себе возник в качестве их порождения. И огромному большинству населения планеты движение вперёд представляется движением к концу.

Вместе с тем, в конце минувшего тысячелетия на протяжении всего грозового 20 века в мире появилось неясное ощущение того, что наступает некая новая эра. И были подвергнуты сомнению и переоценке практически все устоявшиеся в ходе Истории представления, будь то культура, политика, идеология или наука. В некоторых случаях это привело к неожиданно благотворным

результатам — неожиданно, потому что в начале истекшего столетия миллионы людей на планете совершенно серьёзно ждали конца света, имея к тому вполне реальные основания. В других случаях результаты оказались крайне негативными. В частности радикальный пересмотр религиозных взглядов породил чудовищного монстра, борьба с которым в настоящее время идёт для современной цивилизации весьма неуспешно. Культурное человечество находится в глухой обороне, а религиозный зомби наступает, отвоёвывая одну за другой позиции, ещё недавно казавшиеся совершенно надёжными. Фундаментализм — нечто противоположное научно-техническому прогрессу. Оба эти явления, вместе представляют собою нечто настолько опасное и непредсказуемое, что на ум не приходит иного слова, как чума. И уж если я упомянул здесь медицинский термин, следует отметить, что эта болезнь поражает прежде всего молодёжь. Никогда ещё в Истории не было столь бессовестной и безудержной спекуляции молодёжным сознанием, как в наше время.

Когда я впервые услышал о фундаментализме и в связи с чем? Не помню. Хорошо помню, однако, когда оно зазвучало по радио и телевидению, появилось в ежедневных заголовках газет, стало понятно любому школьнику: Исламский фундаментализм — 1979 год, в Иране революция. Религиозный лидер, необыкновенно красивый, величественный, поистине харизматический народный вождь, аятолла Хомейни. Придя к власти, в одном из немногочисленных открытых интервью он дал краткую, предельно чёткую характеристику фундаментализма — возвращение к истокам. Извечная мечта человечества. Мы шли неверной дорогой, вернёмся назад и всё начнём сначала.

Что касается меня, пишущего эти строки, то мне, родившемуся и воспитанному в семье учёных-биологов, само это словосочетание напомнило давний разговор с отцом. Мне тогда исполнилось пятнадцать лет, я начинал размышлять о жизни и смерти. Что такое смерть? Отец, а он был учеником академика Л.С.Берга, сказал мне как-то:

— Знаешь, это, может быть единственный пункт, где человек, верующий в Бога, и атеист, безусловно, сходятся. Смерть — возвращение к истокам жизни. Для верующего это возвращение к Богу, а для атеиста — возвращение к вечно меняющейся неорганической материи. В обоих случаях смерть, прерывает материальную жизнь, возвращая организм в первобытное состояние. Ты постарайся на это не смотреть трагически. Если Бога нет — посмотри, как прекрасно наше море, наши горы, наше небо над миром. Умирая, мы становимся частью всего этого, —

меня это не слишком утешило. Философа из меня не получилось, и сейчас, когда мне скоро шестьдесят, я умирать не хочу, боюсь смерти.

Итак, возвращение к истокам — классическая характеристика умирания живого организма. В какой степени это верно для процесса общественного развития? Поскольку общество — живой организм, всякая попытка повернуть его развитие вспять ведёт к истокам, то есть к смерти.

Хомейни, несомненно, был чрезвычайно талантливым и значительным человеком. Можно предположить, что в отличие от большинства своих яростных сторонников, он не был ни твердолобым фанатиком, ни бессовестным спекулянтом. Он видел, что общество, двигаясь вперёд, катастрофически набирает ускорение, а цель впереди неясна — возможно, там пропасть, возможно, мы движемся в сторону неведомого хаоса? Например, прекрасные персидские женщины, о которых Александр Македонский сказал как-то раз, что боится на них глядеть, чтобы не ослепнуть. Пока лицо такой красавицы скрыто чёрной чадрой, и вся она невидима в грубом мешке с головы до пят — соблазн её не коснётся. Американцы хотят одеть её в бикини. В результате древняя строгая нравственность ислама уступит место распущенности и разврату, станет разваливаться семья — опора государственного строя. Налицо явные признаки того, что направление неверно, следует вернуться к истокам. Но ещё сам он не успел вернуться к своим истокам, а уж тысячи ни в чём неповинных людей погибли по его слову или наоборот, сражаясь против него — и те, и другие вернулись к истокам, их больше нет, ушли к Создателю или растворились в неорганической материи.

Прошли годы. Давно вернулся к своим истокам этот загадочный человек, а люди, воодушевлённые его страстными призывами, и те, кто им противостоит, продолжают погибать — возвращаются к истокам. Фундаментализм. Чума.

Долгие годы, когда речь заходила о фундаментализме, имели в виду ислам и общественное движение, цель которого тем или иным способом восстановить утраченные позиции этой системы религиозных взглядов, восстановить его духовное влияние в мире, реконструировать теоретическую базу, пробудить прежний динамизм и боевую инициативу на международной арене. А для этого в соответствии с простой логикой необходимо повернуть обратно.

Между тем, в СССР, а позднее в постперестроечной России что-то похожее происходило и происходит с русским православием — я в особенности имею в виду бурную деятельность покойного митрополита Иоанна, которая, на мой

взгляд, принесла весьма горькие плоды. Во всяком случае, всюду, где мне приходилось сталкиваться со сторонниками коммунистического реванша или ещё более решительного перехода к тоталитаризму — немедленно слышалось имя этого одиозного и чрезвычайно популярного деятеля.

Есть народы и целые континенты, исторические судьбы которых неразрывно связаны с возникновением и развитием того или иного религиозного мировоззрения. Для России — это, безусловно, православие. Несомненно, до крещения Руси восточные славяне, селившиеся по Днепру и в верховьях Дона и Волги, не представляли собой национальной общности. И только обретя нормативную и тщательно, в течение столетий теоретически разработанную идеологию, они получили возможность ощутить себя единым народом. Беда, однако, в том, что не прошло и трёх столетий, как Византия была уничтожена, и Россия, ещё только освобождавшаяся от дикого гнёта кочевников, была вынуждена налаживать жизнь в далёком отрыве от всего христианского мира. А. С. Пушкин считал это благом, позволившим русским сохранить национальную самобытность. Н. А. Бердяев наоборот расценивал это как величайшее зло и причину всех национальных бедствий и многочисленных тупиков на пути культурного и государственного развития.

В 2000 году я переехал в Израиль и к своему удивлению обнаружил здесь абсолютно аналогичные явления в рамках иудаизма. По мере того, как позиции древнейшей из трёх мировых религий ослабевали в национальной среде, со стороны той части верующих, которых принято называть ультраортодоксами, крепло стремление реанимировать религиозный диктат в обществе в том объёме, в каком он существовал в течение тысячелетий. Каждому еврею, как и вообще каждому сознательному человеку, свойственно весьма бережное отношение к национальной религии, поскольку религия — важнейшая составляющая национальной культуры, и национальная самоидентификация человека, совершенно отвергнувшего религиозные принципы, сомнительна и трудно осуществима. Однако, на сегодняшний день ультраортодоксы, переходя в наступление, зашли в Израиле так далеко, что их деятельность явно угрожает и безопасности самого государства в условиях мучительной борьбы с исламскими державами, и его нормальному мирному развитию. В стране, более полувека ведущей перманентную войну, слушатели духовных учебных заведений не подлежат воинскому призыву. В Израиле в субботу, в день, когда в соответствии с древними установлениями Торы

верующий не должен работать (одновременно это и общегражданский выходной), почти повсеместно запрещено движение какого либо транспорта. Включая телевизор и позабыв задёрнуть шторы, вы рискуете получить субботний подарок в виде камня, брошенного в окно, и тем более опасно выезжать на улицу в автомобиле. Появившись в районе, где селятся религиозные израильтяне, без головного убора, вы попросту можете быть избиты. Магазины, кафе и рестораны, открытые в субботу или продающие не кошерные продукты, платят непомерные налоги, их очень немного, настолько, что в субботу трудно купить пачку сигарет. На улицах израильских городов вы увидите сотни прохожих, одетых, буквально, в маскарадные костюмы — именно так, как одевались евреи в 16–17 веках. Можно представить себе, как смотрят на них сотни всегда вооружённых солдат, готовых каждую минуту в бой, поскольку война идёт всегда и повсюду. Между тем, значительная часть наиболее радикальных ультраортодоксов вообще отрицает государство, хотя исправно пользуется многочисленными льготами, которое им государство предоставляет. Несомненно, такое положение чревато внутригосударственным и внутринациональным расколом. В самый неподходящий момент.

Результаты присутствия фундаментализма в религиозной и общественной жизни еврейской страны принимают здесь формы крайне резкие и угрожающие в смысле возможного поворота от демократии к диктатуре, развитие которой совершенно невозможно прогнозировать. В этом случае гибель Государства Израиль — дело времени, поскольку это оторвёт его от Мирового Сообщества, весьма важной частью которого Израиль является со дня своего возникновения. Это будет иметь и другие катастрофические последствия, так как, на Ближнем Востоке сегодня, помимо Израиля, нет государства с более или менее правильной административной организацией и достаточным культурным уровнем государственных институтов для того чтобы нести ответственность за состояние дел огромного региона, столь важного для жизни всей планеты в эти дни, как и многие тысячелетия назад.

Увы, вопреки остроумным, убедительным и назидательным урокам господина amddiffynfa, я не поверил, будто учение и религиозно-политическое движение, во главе которого стоит Рав Авром Шмулевич, является малочисленным и мало влиятельным. Я этому не мог поверить. Не на Северном же Полюсе я прожил три с лишним года! Нет, уверяю вас, я жил в гораздо более реальном Израиле, общаясь с рабочими, как евреями, так и арабами, чем если бы мне предоставили возможность работать в

тишине многочисленных академических библиотек и аудиторий. Я этому не поверил и не хотел бы, чтоб этому поверили те, кто читает мои записи в ЖЖ — таких людей довольно много, а среди них значительную часть составляют евреи. Нет, к сожалению, это крайнее крыло правой оппозиции в стране, где и без того у власти находятся правые, и такой человек, как рав Шмулевич, представляет собой серьёзную опасность, открыто высказывая взгляды чреватые эскалацией конфликта, который не угасает и без его усилий.

Несомненно, такая деятельность способна принести сокрушительные результаты, учитывая внешнеполитическое положение Израиля. Это религиозный фундаментализм со всей его характерной симптоматикой. Возвращение к истокам. Смерть.

Вследствие чего религиозный фундаментализм возник именно сейчас, на рубеже тысячелетий? Невозможно найти иного ответа, как только — вследствие общего кризиса религиозного сознания и явной бесперспективности поисков новых путей развития той или иной системы религиозных взглядов. Религия стремительно трансформируется в исторический реликт. Ничего равноценного не выработано ей на смену. Общество стоит перед угрожающей необходимостью существовать в условиях отсутствия идеологии вообще, а это по логике вещей невозможно. Не имея идеологического фундамента, общественное строение не может устоять. А почему, собственно, нельзя вернуться к былым установлениям, которые прочно удерживали всю тяжесть этого строения в течение достаточно длительного периода?

И вот некоторые страны вернулись. Наиболее значительная из них — Иран. Иран, успешно развивающий техническую базу, уже готовый вступить в ядерный клуб. В связи с этим абсолютно непонятно (во всяком случае, глядя с Ближнего Востока) упорное стремление российского руководства поддерживать Иран, в особенности в области приобретения ядерных технологий. Ведь совершено невероятно, чтобы эти технологии не были бы использованы руководством исламского государства в военных целях. Против кого будет использовано иранское ядерное оружие, если Иран его получит? Точно ли против Израиля в первую очередь? Точно ли против США? Ведь исламский фундаментализм в России и ближнем зарубежье имеет, как известно, многочисленных сторонников, а границы в двух шагах.

И ещё один болезненный и даже трагический в современных условиях вопрос. Точно ли совершенно исключено, что назад к истокам может вернуться и Россия? А ведь это будет иметь последствия гораздо более серьёзные не только для самой страны, но, безусловно, для всей планеты и сложившегося на ней

в течение истекших двух тысячелетий миропорядка. Между тем, в России то и дело слышишь и читаешь (и далеко не только на заборах): «Не православный христианин не может считаться русским человеком». Что это, если не религиозный фундаментализм? Думается российские властные структуры и общество в целом должны быть готовы к такому повороту событий, когда религиозные фундаменталисты предпримут решительную атаку с целью захватить инициативу в ходе государственного развития. Это чрезвычайно опасно. И, к сожалению, вполне реально. И печально, и возмутительно то обстоятельство, что позиция Московской Патриархии по этому поводу очень неопределённа.

Остаётся только оговориться (невольно повторяясь), что религиозный фундаментализм не есть подлинное возвращение к прошлому, поскольку в прошлом — пустота, там нет ничего живого, только шелестят страницы невозвратной Истории. В действительности же, стремление к истокам, в независимости от побуждений часто искренних но, как правило, сильно оторванных от современной реальности деятелей — просто повод для обскурантистских спекуляций, не более того. Только так расценивая подобную фальсификацию подлинного развития, и можно с этим бедствием бороться. Нет, Хомейни не вернул Иран к могуществу, культуре и национальному величию древней Персии. И не к воссозданию Великого Халифата зовут мусульман бен-Ладен и фанатические последователи покойного шейха Ясина и других вождей арабских экстремистов. И Израильские харидим не собираются реконструировать Царство Давидидов, а восстановление Храма для них не что иное, как популистский лозунг, всегда зажигающий сердца евреев. Все фундаменталисты, независимо от их религиозной ориентации, добиваются узко корпоративных, корыстных целей и беззастенчиво фальсифицируют религиозное наследие прошлого, которое принадлежит национальной культуре и может рассматриваться только в рамках этой культуры.

Разумеется, В. И. Ленин ошибался, а вернее всего, беззастенчиво по своему обыкновению лгал, когда определил религию, как «опиум для народа». Он хорошо знал, насколько важны и необходимы простому человеку религиозные представления его предков. Но фундаментализм — стремление механически вернуться к истокам, к немудрёному, детскому миропониманию далёкой и невозвратной древности — это, безусловно, опиум. Будет ли в обозримом будущем найдено противоядие против этой зловещей отравы? Что-то пока не слышно нигде ни словечка, помимо бессмысленной брани в адрес

проклятых обскурантов, а им эта брань только на руку.

* * *

Когда я работал в психбольнице, там произошёл загадочный случай с одним врачом. Друзья его звали Звон — прозвище такое было. А настоящая фамилия, кажется, Звонков. Это не простой был врач, а кандидат медицинских наук, заведовал отделением, человек, склонный ко всевозможным научным новациям в области психиатрии. Он пробовал лечить некоторые заболевания психики цветомузыкой, используя какие-то опыты Скрябина, изучал китайскую медицину и йогу, пытался осмыслить Фрейда в свете новых данных, полученных в результате позднейших наблюдений. Но большой циник, взятки, которые называл гонорарами, брал совершенно безбожно, мог выпить поллитра коньяку и вести приём больных, как ни в чём не бывало. О больных так отзывался: «Они нужны мне для работы, которая — глоток воздуха в этой душегубке — вот и всё». И был он ужасный бабник. В отделении, да и во всей клинике не было молодой женщины, которую он обошёл бы своим вниманием.

— Присылают мне практикантку — я чуть в обморок не упал. То есть, ей восемнадцать лет и такая задница, нежная, и румяная, как персик, только огромный, гораздо больше тыквы понимаешь? Можешь себе представить персик такого размера? А сиськи, как два яблока, величиной с дыню каждое. Знаешь, такие небольшие дыни бывают совершенно безукоризненной формы — сорт «колхозница», а всё остальное… Нет, не могу описать. Куда там Рубенсу. Чистая поэзия. Песнь Песней. Сексуальный бред гениального самодержца. И при этом комплексов никаких. Всё, что угодно — фантазия пьяной нимфы. Нет, это тебе надо лично осмотреть. Хочешь? Я её сейчас вызову. Этого словами выразить нельзя — что-то грандиозное. Понимаешь? Я тебе её настоятельно рекомендую в качестве релаксирующего и стабилизирующего средства при внезапных стрессах и повышенном кровяном давлении, а, также от бессонницы и некоторых застойных явлениях урологического характера, простата, то, сё… Ну, так что, позвонить ей? — в общем, он был мужик в таком стиле.

Поскольку я этого взгляда на вещи стараюсь не принимать, меня он прозвал великомучеником нравственной догмы, хоть я этого, сказать по правде, и не заслуживал в те годы, разве в сравнении с ним самим.

Человек он был очень образованный, остроумный, резкий и точный в определениях, особенно когда дело глупости касалось.

Что же до его философских и научных взглядов, то — совершенный материалист, даже с уклоном в ламаркизм, и уж более уничижительных определений, чем мистика или суеверие, у него не было. Мы с ним здорово пьянствовали.

— Если вы, ребята, считаете, что Господь Бог зачем-то залез в горящий куст терновника — согласитесь, не вполне комфортабельная трибуна для подробного отчёта о целом мировом вероучении, вы читали Книгу Бытия? — очень длинно, и вот он из этого пылающего терновника учил Моисея Закону. Если вы, действительно так считаете, если не притворяетесь, как в последнее время принято среди московской интеллигенции, так я вам предлагаю пройти у меня курс лечения. Есть сейчас новые очень эффективные методики, — яростный атеист, единственный случай, когда он действовал, говорил или просто настроен был принципиально.

Мы с ним дружили и, тем более, что я работал в другом отделении, частенько в рабочее время выпивали у него в кабинете. Вот я как-то раз к нему заглянул. Он сестре сказал, чтоб она нас не беспокоила, со стола бумаги убрал, спирт развёл в графинчике, достал из холодильника кое-какую закуску…, и тут ему докладывает санитар, что какой-то больной сильно возбудился.

— Его — на вязки или будете укол делать?

— Это опять Конаков?

— Он самый.

— Что он сейчас делает?

— Да ему что делать, доктор? В туалете речь толкает. Пока ещё никого не тронул, но…

— Хочешь пойти послушать? — спросил меня Звон.

— Артист?

— Ещё какой, — почему-то мрачно сказал он. — Лёха пойди туда, не в службу, а в дружбу, покарауль, мы через десять минут придём.

Когда санитар ушёл, Звон торопливо трясущейся рукой налил себе спирту и выпил почти целый стакан.

— Чёрт возьми! — сказал он, отдышавшись и наливая мне. — Прости, я про тебя-то и забыл. Тут совсем с ума сойдёшь.

— А что такое?

— Да… Пошли, посмотрим. Там покурим.

Мы с ним прошли в туалет. Очень высокий, худой, какой-то жилистый, высушенный человек с мёртво серым лицом местного старожила и яркими, лихорадочно блестящими чёрными глазами громко кричал, распахнув на впалой, ребристой груди пижамную куртку:

— Возлюбите ближнего своего! А ну-ка быстренько возлюбляем ближнего! Все — хором! Ну! Чего непонятно? Просто возлюбите его. Давайте. Как вы только его возлюбите, сразу с неба, — он указал тонким узловатым пальцем в низкий заплёванный потолок, — сразу же оттуда вам, дуракам, на голову свалятся два, нет, целых три ящика «Посольской» водки и станут прыгать голые девки. Все до одной красавицы. И без комплексов, как определяет это состояние женской психики наш уважаемый доктор. Доктор, здравствуйте! Вот я тут, пока вы заняты наукой, вдалбливаю в головы этих баранов простейшие принципы моего вероучения. Это христианство для умственно отсталых. А поскольку отстают в умственном отношении сейчас едва ли не все жители нашей грешной планеты… Да! Про музыку-то я забыл. Девки-то все будут с арфами и виолончелями. А когда голые девки играют на этих музыкальных инструментах… вы хоть понимаете несчастные жертвы отечественной психиатрии, какой при этом открывается вид для человека, опытного и знающего, куда именно следует смотреть в определённые моменты развития музыкальной темы? Но для этого нужно быть меломаном. А вы, кретины, даже нотной грамоты не знаете! И это всё вам с рук сойдёт, только надо ближнего возлюбить — и всё. Ну-ка быстренько все — начали!

Но, доктор, если они будут упорствовать в своих нечестивых заблуждениях, даже такое терпение, как моё, рано или поздно, лопнет, и я смешаю их с содержимым этих вот никогда несмываемых унитазов — не примите это за упрёк в адрес администрации клиники. Смотрите уважаемый доктор, как глупо устроен человек. Ему предлагают вполне определённую альтернативу: Или он напьётся водки, а девицы ангельского звания станут под звуки нежных струн его, совершенно пьяного, услаждать средствами, всегда имеющимися для таких случаев в их распоряжении, или же я властью, данной мне силами нездешнего мира, их сейчас с говном смешаю. Казалось бы, о чём тут можно задуматься? Думают. Смотрите, молчат и размышляют, но как только я одного из них, хотя бы этого, возьму за шиворот и потащу… Вот так, вот так! — говорил он, встряхивая маломощного умалишённого, пытаясь привести его к здравому рассудку.

— Так, — сказал Звон. — Давайте его в изолятор, и сестру зовите. Она знает. Привязать, и там аминазин, и ещё что-то — у неё записано.

— Поможешь? — спросил меня санитар Лёха. — Не гляди, что тощий, а сильный, и дерётся, как-будто его на виселицу тащат.

— А вы меня, куда тащите? Разве не на эшафот? Вы, пособники беззаконной, безбожной власти, прервав проповедь святого учения, волокёте апостола, пророка и великого праведника из сортира, который он избрал местом молельных собраний своих духовных детей… Куда? В омерзительное узилище. Но предвечный Бог воздаст вам за это — можете не беспокоиться. Вы оба, каждый в своё время получите по заслугам. За Ним не заржавеет. Бог не фраер, своих не выдаёт — русская народная пословица.

Мы провозились с больным с полчаса, пока он уснул в изоляторе, накрепко прикрученный вязками к койке. После этого в кабинете у Звона мы ещё немного выпили, и он позвонил в моё отделение, где я, собственно, должен был нести дежурство.

— Евгения Степановна, как там у вас? Спокойно? Ах, вы уже спали, извините, ради Бога. Послушайте, одолжите мне Пробатова до утра. У меня один санитар, и не справляется. Сразу несколько человек пришлось фиксировать, и очень возбуждены. Погода? Возможно, влияет погода. Конечно. Ну, спасибо вам…

— Ну, что? Пить будем? — спросил Звон.

— А спать?

— Спать мы сегодня не будем. Этот Канаков нам устроит такую весёлую ночь, что… спать не захочется. Это очень интересный случай. Только, знаешь что? — он вдруг помрачнел. — Давай-ка сперва выпьем, я тебе расскажу. Что-то странное. Я всё-таки не первый год работаю, и теперь мне уж кажется, что это со мной неладно.

— А с ним всё ладно?

Доктор Звон налил нам по полстакана и развёл ещё целый графин спирта.

— Очень интересный случай у этого больного, — повторил он. — Хотя… В литературе описан много раз. Чертовщина какая-то Типичный маньякально-депрессивный психоз. Разве я в первый раз наблюдаю таких больных? Но… Постой! Слышишь?

Я прислушался. Ничего не услышал, кроме угрюмой музыки тяжёлого храпа полусотни человек, спавших в душных и тесных палатах.

— Послушай. Разговаривают.

И вдруг я совершенно явственно услышал, что в изоляторе кто-то говорит. При чём это не был бред больного. Там говорили о чём-то двое. Один из голосов принадлежал Конакову, а второй, низкий, хриплый бас, был мне совершенно незнаком.

— А где Лёшка?

— Спит, — сказал Звон. — Теперь я прошу тебя, пойдём и послушаем, о чём разговор там идёт. Это повторяется регулярно

через каждые пять-шесть дней. В остальное время Конаков спокоен и, по видимости, совершенно нормален.

Мы прошли коридором, свернули в узкий тупичок, где находился изолятор, и остановились. В изоляторе было темно, но свет от уличного фонаря, падая на стол за которым сидели двое, освещал силуэты, а лиц было не разглядеть.

— Чёрт возьми! — сказал я.

— Что такое?

— Да я ж сам его вязал. Когда я вяжу, невозможно развязаться. Этот мужик его развязал. Кто это?

— Не знаю. Послушай.

Они говорили негромко, но внятно и неторопливо. Всё было хорошо слышно.

— Вы, Ваше Сиятельство, уже приняли решение относительно этого человека? Я, признаться, очень устал с ним возиться. Я потратил шесть лет. Что дальше?

— Вчера, наконец, я получил окончательное постановление, и только сейчас он мне стал подсуден. Теперь я буду думать о том, что именно я мог бы сделать для него. Я знаю, что вам очень скучно. Наберитесь терпения. Мы ведь ничего не создаём. Мы разрушаем, а это труд длительный и в большинстве случаев не слишком увлекательный. Расскажите мне о нём поподробней.

— Князь! Мы, безусловно, имеем дело с человеком незаурядным, но очень слабодушным. Он богат. Подвержен многим порокам и ненасытен в их удовлетворении. Но ему свойственна робость перед властью. Он постоянно думает о расплате за преступления и эти помыслы гнетут его.

— Он совершает преступления?

— Постоянно. Он очень жаден. Вымогает деньги у родственников своих неизлечимых больных, а в этой стране это очень строго наказуемо.

— Нет, пожалуй, сначала расскажите мне о его пороках. Так мне проще будет понять его.

— Разврат, пьянство и обжорство. Он склонен с наслаждением принимать низкопоклонство. Сейчас, например, он пьянствует с человеком, которого люто ненавидит за то, что тот, будучи по службе неизмеримо ниже его, считает себя ему равным.

— Странное явление.

— Это связано с политикой. Его собутыльник не хочет служить здешним властям и работает на самых простых, низкооплачиваемых или неуважаемых обывателем работах. Но он имеет силы гордиться этим. Таких людей здесь немало, и возможно в ближайшее время власть станет предпринимать против них строгие меры. Вместе с тем, возможны события,

которые власть не сумеет преодолеть, и тогда разразиться хаос, поскольку люди, о которых я только что имел честь Вашему Сиятельству докладывать, не в состоянии сами взять власть в свои руки. Это люди не деловые. Дилетанты. Среди них много пустых болтунов. И большинство из них интеллектуально очень ленивы.

— Забавно. Итак, мой дорогой, поскольку я вижу вам уже не терпится выйти на свободу и развернуть проповедь своего вероучения, которое, боюсь, вызовет смех у людей благоразумных, но это свойство большинства самодеятельных религиозных посторенний, поскольку это так, а мне не хочется вас больше мучить здесь — скажите мне, чего хочет этот человек, которого вы так разноречиво характеризовали. Его пороки мне уже известны, они в порядке вещей. Но такой человек наверняка имеет какую-то сильную страсть.

— Князь! Вы будете смеяться. Он хочет совершить великое открытие.

Князь, действительно, засмеялся:

— У меня в этом на ноготь сомнения не было, — сказал он. — Открытие в области психиатрии, так я понял?

— Именно так, князь, Ваше Сиятельство. Он хочет стать во главе большого научно-исследовательского института, но для этого ему необходимо защитить докторскую диссертацию, которая ему не под силу. Это не настоящий учёный. Он стремится к славе, но путь к славе — он хотел бы его пройти как бы во сне.

— Хочет проснуться доктором наук и директором?

— Точно так, Ваше Сиятельство. И от этого многие судьбы будут искалечены. Многие способные люди будут влачить нищенское существование, а сотни тысяч и даже миллионы больных во всём мире вместо лечения получат нечто шарлатанское.

— Мы это устроим. Это как раз очень просто. И человек того стоит, — произнёс голос князя тьмы.

Звон потянул меня за рукав. Мы вернулись к нему в кабинет.

— Давай-ка выпьем. Я надеюсь, ты всерьёз этого не принимаешь?

— А кто этот мужик?

— Это больной из третьей палаты. Он плохо спит, а Лёшка плохо запер изолятор, там, вообще замок барахлит, — Звон вдруг закрыл лицо ладонями. — Но неужто… Но может быть, действительно? Столько лет, столько лет в этой проклятой дыре…, — я ничего не понял. Сказать по правде, я был уже сильно пьян.

Утром я сменился и ушёл, не повидавшись со Звоном. А когда

через трое суток снова вышел на дежурство, напарник меня спросил:

— Ты знаешь, где сейчас Звонков?

— ?

— В остром. Его взяли на вязки. Еле справились. Какой-то припадок у него. На тебя катили бочку. Ты с ним пил перед этим. Всю ночь, болтают, сидели — квасили.

Врач Звонков долго лежал в Долгопрудной, потом в Сербского, потом его перевели в какую-то ещё психбольницу, и я его потерял. Но мне говорили общие знакомые, что он так и не вышел из больницы. И умер в больнице.

А знаете, что я думаю по этому поводу? Никакого князя не было. В изоляторе, действительно, сидел больной, как-то сумевший открыть дверь, а вовсе не князь тьмы. Мы просто очень напились. Они говорили о Звонкове. А что о нём можно было говорить, кроме того, что было ими сказано? Но ему, бедняге, уж очень хотелось. Очень. Пропал человек.

* * *

Я ведь не знаю английского. Утром обнаруживаю на электронной почте какое-то сообщение по-английски. И вот только что пришёл зять и мне объяснил, что кто-то анонимно сделал мой аккаунт платным. Я просто ужасно этим тронут. Не знаю, что сказать по этому поводу, кроме как: «Спасибо, браток (или сестрёнка), дай тебе Бог здоровья», — наши так говорят, я же беглый:)))

* * *

Была у меня одна знакомая, ещё со школьных лет. Звали её Вера. Её и сейчас так зовут, только она живёт в Германии. Живёт она там одна. Не замужем, и детей у неё нет. В Ленинграде у неё, кажется, тётка, но я знаю, что они даже не перезваниваются.

А мы все тогда, в молодости, её звали Верочкой. Она отличалась каким-то ясным, прозрачным, чистым и невинным легкомыслием в отношениях с мужчинами, которым она всегда очень нравилась, и без которых обходиться не могла, и не умела, и не любила без них жить. В этом смысле жизнь её была совершенно безоблачна. У неё не было трагедий, мучительных порывов, душевных потрясений и даже каких-то тяжких объяснений, тем более слёз, истерик, драк и тому подобное. Была

любовь. Прошла. Кто-то следующий. И, удивительно — во всём этом не было никогда ничего нечистого или безобразного. Как-то естественно всё это получалось. И так она дожила до тридцати пяти лет. Мы с ней ровесники.

И тут у неё умирает мать, которую она очень любила, хотя и была для неё источником горьких слёз, начиная лет с шестнадцати всё по той же причине — с этого возраста начались у неё отношения, с мужчинами.

И Верочка осталась одна в трёхкомнатной прекрасной квартире в Центре Москвы, и вдруг как-то всем стало ясно, что лимит времени исчерпан, и пора замуж. А то… в перспективе уже клубится непроглядный туман. Но Верочка почему-то к такому положению вещей отнеслась совершенно неожиданно. Она, как княгиня Шерер, вместо того, чтобы свою жизнь налаживать, принялась устраивать чужие судьбы. И получалось у неё это очень удачно — иногда. Но её жизнь изменилась тогда в какую-то тёмную сторону. Она уже не знакомила весело и с некоторым лёгким юмором всех своих друзей с каждым новым возлюбленным.

— А, Верочка, это кто?

— Да так. Он человек неинтересный. Тебе с ним скучно будет.

И я как-то печально задумался о ней, когда она меня спросила однажды:

— Мишка, а ты в принципе, как, вообще, смотришь на групповой секс?

Я ответил ей, что мне самому это не нужно, но я никого не осуждаю. Но потом я сказал, что видел это в Охотске, где, работали на путине только что освободившиеся зэки. И это было очень тяжёлые отношения, и там было много насилия, и злой подлости, и грязи.

— А ты, почему спросила?

— Да есть тут один человек. Ему, понимаешь, это нужно. А он мне нужен, — потом она помолчала и добавила со вздохом. — Вот не знаю только зачем он мне.

— Верка, брось! Хочешь, он у меня все свои зубы на полу пересчитает?

— Нет, — сказал она. — Не хочу. У него очень красивые зубы. К тому же, ещё неизвестно, там чьи зубы кто будет считать.

Однажды она мне говорит:

— Мишка, давай-ка мы организуем тебе личную жизнь.

— Да я ж вроде женат.

— Ты всегда женат. Но ты уже вполне дорос до того, чтоб

тебе вести полноценную половую жизнь. На тебя бабы западают, а ты… Это ж необходимо.

— Для чего?

— Пора, молодой человек, мужчиной становиться. Ты знаешь Лору Раеву?

Лариса Раева была женой одного очень известного в то время писателя-невозвращенца, к которому, она ли не поехала, он ли её не захотел взять с собой, а, вернее всего, и то, и другое. Это была удивительная красавица. Денег у неё было немеряно, и она, действительно, на меня западала. Каждый раз, когда мы с ней встречались где-нибудь, она говорила одну и ту же фразу:

— Миша, давайте мы вас оденем, а то вы похожи на несостоявшегося лидера наших советских хиппи. И вы неправильно бороду подстригаете, а от этого вы похожи на несостоявшегося диссидента.

И я отвечал тоже всегда одно и то же:

— Я постараюсь состояться.

— В качестве хиппи или в качестве диссидента?

И я отвечал:

— Поживём, увидим.

Как-то раз мы шли по улице Горького (тогда ещё так) с Лёней Губановым, и где-то мы с ним надыбали червонец. Что это такое, червонец с Губановым в Центре — само по себе уже целый роман. Это был человек, у которого талант лез, буквально, отовсюду, и он пить, даже и напиваться умел талантливо, хотя это бывало страшновато и часто безобразно. Идём мы, значит, по Горького, а с червонцем весь великий мегаполис нам принадлежит. Доходим до угла Манежной, и тут нам надо в подземный переход, поскольку мы собирались первую бутылку выпить в пельменной в одном из переулков улицы Пушкинской (ныне Малая Дмитровка, кажется). Я просто для молодёжи объясняю, что червонец — это нам немного до трёх бутылок не хватало, но такую малость, да ещё выпимши, мы могли легко раздобыть. Как? — было несколько способов, не подумайте, что украсть. Мы не воровали. А можно было спросить:

— Девушка, если вы нам дадите два рубля, услышите гениальные стихи, — время было другое, и представьте, действовало. Нас узнавали — мы были из андеграунда, не нынешнего, а настоящего, из-под земли мы были. Мы были вроде гномов.

Мы с Лёнькой уж собирались спуститься в переход, как вдруг меня остановил голос:

— Мишка! Постой…

Из дверей кафе «Националь» вышла Вера. Дело было зимой, а она выскочила в очень лёгком платьице и даже легче, чем вы, ребята, уж сейчас ко всему привычные, можете предположить.

— Ну, куда тебя несёт? Зайди на минуту ко мне за столик. Со мной там Лариса Раева.

Мы вдвоём подошли к ней.

— Верка, я не один.

— Здравствуйте, Леня. Вы никогда не оденетесь по-человечески?

— Вряд ли, — сказал Губанов. — А что такое стряслось?

И она сказала:

— Вы так одеты, что вас невозможно в это кафе пригласить, — но дело было не в одежде, а просто она его очень не любила.

— А мы не в сюда, — добродушно сказал Губанов. — Мы тут, Верочка, в другое заведение собрались. — Во мне он был уверен. А я оказался предателем. Потому что я подумал о красавице, которая ждёт меня. Ведь это из-за меня Верка выскочила на мороз почти что, в чём мать родила.

Червонец наш был у меня в кармане, и я с унылой харей протянул его Губанову.

— Так ты здесь будешь? Оставь деньги, пригодятся, — сказал он.

— Бери, ну что меня травишь? — он, сочувствуя мне (он умел сочувствовать слабости) и даже с некоторым жалостливым пониманием взял деньги.

Мы с Верой прошли в тепло и ароматный уют знаменитого кафе, а Лёнька остался с червонцем на улице. Никогда себе этого не прощу. Впрочем, сейчас уже поздно об этом думать. И каяться поздно. Просто не перед кем покаяться. Можно перед Богом — но это слишком легко.

Итак, мы прошли к столику, за которым сидела красавица. Я, как только увидел её, и понял, что меня она ждёт, совершенно забыл про своего друга, замерзающего под зарядами сырой московской метели. И, вообще, обо всём на свете я забыл, а только смотрел на неё. Глаза у неё были какие-то зелёные в голубизну — как морская вода.

И тут со мной случилось то самое, что с Кисой Воробьяниновым случилось, у меня язык отнялся, и я ещё вдобавок ужасно покраснел.

— Водки выпью — разойдусь, — подумал я.

И, как Киса, я водки выпил, но не разошёлся. Что-то говорили про котлеты по-киевски. И ещё говорили про повесть Распутина «Прощание с Матёрой». А молчал, как рыба.

— Вы себя плохо чувствуете, Миша? — спросила красавица.

— Нет, всё нормально, — сказал я и выпил ещё стопку водки.

— Нет, ты погляди, как покраснел, — сказала Верка.

— Я вам дам книгу Леви о преодолении стеснительности, — сказала красавица. — Вы прочтёте и больше никогда не станете краснеть.

Тут я вспомнил своего друга, одного на снежных улицах жестокой столицы. И я ужасно разозлился.

— Да во мне, если человеческого что ещё осталось, так это способность краснеть. А ты и это у меня отнять хочешь? — сказал я. Выпил я, всё ж лишнего.

Через несколько дней мы встретились с Веркой, и она сказала мне:

— Ты просто безобразно себя вёл и оскорбил женщину.

— Верочка, не сердись, — сказал я. — Я постараюсь больше так не делать.

— Ага, — сказала Верочка, — так я тебе и поверила. А что Лёнька?

— А что ему делается? — ответил я.

* * *

Была у меня одна знакомая, ещё со школьных лет. Звали её Вера. Её и сейчас так зовут, только она живёт в Германии. Живёт она там одна. Не замужем, и детей у неё нет. В Ленинграде у неё, кажется, тётка, но я знаю, что они даже не перезваниваются.

А мы все тогда, в молодости, её звали Верочкой. Она отличалась каким-то ясным, прозрачным, чистым и невинным легкомыслием в отношениях с мужчинами, которым она всегда очень нравилась, и без которых обходиться не могла, и не умела, и не любила без них жить. В этом смысле жизнь её была совершенно безоблачна. У неё не было трагедий, мучительных порывов, душевных потрясений и даже каких-то тяжких объяснений, тем более слёз, истерик, драк и тому подобное. Была любовь. Прошла. Кто-то следующий. И, удивительно — во всём этом не было никогда ничего нечистого или безобразного. Как-то естественно всё это получалось. И так она дожила до тридцати пяти лет. Мы с ней ровесники.

И тут у неё умирает мать, которую она очень любила, хотя и была для неё источником горьких слёз, начиная лет с шестнадцати всё по той же причине — с этого возраста начались у неё отношения, с мужчинами.

И Верочка осталась одна в трёхкомнатной прекрасной

квартире в Центре Москвы, и вдруг как-то всем стало ясно, что лимит времени исчерпан, и пора замуж. А то… в перспективе уже клубится непроглядный туман. Но Верочка почему-то к такому положению вещей отнеслась совершенно неожиданно. Она, как княгиня Шерер, вместо того, чтобы свою жизнь налаживать, принялась устраивать чужие судьбы. И получалось у неё это очень удачно — иногда. Но её жизнь изменилась тогда в какую-то тёмную сторону. Она уже не знакомила весело и с некоторым лёгким юмором всех своих друзей с каждым новым возлюбленным.

— А, Верочка, это кто?

— Да так. Он человек неинтересный. Тебе с ним скучно будет.

И я как-то печально задумался о ней, когда она меня спросила однажды:

— Мишка, а ты в принципе, как, вообще, смотришь на групповой секс?

Я ответил ей, что мне самому это не нужно, но я никого не осуждаю. Но потом я сказал, что видел это в Охотске, где, работали на путине только что освободившиеся зэки. И это было очень тяжёлые отношения, и там было много насилия, и злой подлости, и грязи.

— А ты, почему спросила?

— Да есть тут один человек. Ему, понимаешь, это нужно. А он мне нужен, — потом она помолчала и добавила со вздохом. — Вот не знаю только зачем он мне.

— Верка, брось! Хочешь, он у меня все свои зубы на полу пересчитает?

— Нет, — сказал она. — Не хочу. У него очень красивые зубы. К тому же, ещё неизвестно, там чьи зубы кто будет считать.

Однажды она мне говорит:

— Мишка, давай-ка мы организуем тебе личную жизнь.

— Да я ж вроде женат.

— Ты всегда женат. Но ты уже вполне дорос до того, чтоб тебе вести полноценную половую жизнь. На тебя бабы западают, а ты… Это ж необходимо.

— Для чего?

— Пора, молодой человек, мужчиной становиться. Ты знаешь Лору Раеву?

Лариса Раева была женой одного очень известного в то время писателя-невозвращенца, к которому, она ли не поехала, он ли её не захотел взять с собой, а, вернее всего, и то, и другое. Это была удивительная красавица. Денег у неё было немеряно, и она,

действительно, на меня западала. Каждый раз, когда мы с ней встречались где-нибудь, она говорила одну и ту же фразу:

— Миша, давайте мы вас оденем, а то вы похожи на несостоявшегося лидера наших советских хиппи. И вы неправильно бороду подстригаете, а от этого вы похожи на несостоявшегося диссидента.

И я отвечал тоже всегда одно и то же:

— Я постараюсь состояться.

— В качестве хиппи или в качестве диссидента?

И я отвечал:

— Поживём, увидим.

Как-то раз мы шли по улице Горького (тогда ещё так) с Лёней Губановым, и где-то мы с ним надыбали червонец. Что это такое, червонец с Губановым в Центре — само по себе уже целый роман. Это был человек, у которого талант лез, буквально, отовсюду, и он пить, даже и напиваться умел талантливо, хотя это бывало страшновато и часто безобразно. Идём мы, значит, по Горького, а с червонцем весь великий мегаполис нам принадлежит. Доходим до угла Манежной, и тут нам надо в подземный переход, поскольку мы собирались первую бутылку выпить в пельменной в одном из переулков улицы Пушкинской (ныне Малая Дмитровка, кажется). Я просто для молодёжи объясняю, что червонец — это нам немного до трёх бутылок не хватало, но такую малость, да ещё выпимши, мы могли легко раздобыть. Как? — было несколько способов, не подумайте, что украсть. Мы не воровали. А можно было спросить:

— Девушка, если вы нам дадите два рубля, услышите гениальные стихи, — время было другое, и представьте, действовало. Нас узнавали — мы были из андеграунда, не нынешнего, а настоящего, из-под земли мы были. Мы были вроде гномов.

Мы с Лёнькой уж собирались спуститься в переход, как вдруг меня остановил голос:

— Мишка! Постой…

Из дверей кафе «Националь» вышла Вера. Дело было зимой, а она выскочила в очень лёгком платьице и даже легче, чем вы, ребята, уж сейчас ко всему привычные, можете предположить.

— Ну, куда тебя несёт? Зайди на минуту ко мне за столик. Со мной там Лариса Раева.

Мы вдвоём подошли к ней.

— Верка, я не один.

— Здравствуйте, Леня. Вы никогда не оденетесь по-человечески?

— Вряд ли, — сказал Губанов. — А что такое стряслось?

И она сказала:

— Вы так одеты, что вас невозможно в это кафе пригласить, — но дело было не в одежде, а просто она его очень не любила.

— А мы не в сюда, — добродушно сказал Губанов. — Мы тут, Верочка, в другое заведение собрались. — Во мне он был уверен. А я оказался предателем. Потому что я подумал о красавице, которая ждёт меня. Ведь это из-за меня Верка выскочила на мороз почти что, в чём мать родила.

Червонец наш был у меня в кармане, и я с унылой харей протянул его Губанову.

— Так ты здесь будешь? Оставь деньги, пригодятся, — сказал он.

— Бери, ну что меня травишь? — он, сочувствуя мне (он умел сочувствовать слабости) и даже с некоторым жалостливым пониманием взял деньги.

Мы с Верой прошли в тепло и ароматный уют знаменитого кафе, а Лёнька остался с червонцем на улице. Никогда себе этого не прощу. Впрочем, сейчас уже поздно об этом думать. И каяться поздно. Просто не перед кем покаяться. Можно перед Богом — но это слишком легко.

Итак, мы прошли к столику, за которым сидела красавица. Я, как только увидел её, и понял, что меня она ждёт, совершенно забыл про своего друга, замерзающего под зарядами сырой московской метели. И, вообще, обо всём на свете я забыл, а только смотрел на неё. Глаза у неё были какие-то зелёные в голубизну — как морская вода.

И тут со мной случилось то самое, что с Кисой Воробьяниновым случилось, у меня язык отнялся, и я ещё вдобавок ужасно покраснел.

— Водки выпью — разойдусь, — подумал я.

И, как Киса, я водки выпил, но не разошёлся. Что-то говорили про котлеты по-киевски. И ещё говорили про повесть Распутина «Прощание с Матёрой». А молчал, как рыба.

— Вы себя плохо чувствуете, Миша? — спросила красавица.

— Нет, всё нормально, — сказал я и выпил ещё стопку водки.

— Нет, ты погляди, как покраснел, — сказала Верка.

— Я вам дам книгу Леви о преодолении стеснительности, — сказала красавица. — Вы прочтёте и больше никогда не станете краснеть.

Тут я вспомнил своего друга, одного на снежных улицах жестокой столицы. И я ужасно разозлился.

— Да во мне, если человеческого что ещё осталось, так это

способность краснеть. А ты и это у меня отнять хочешь? — сказал я. Выпил я, всё ж лишнего.

Через несколько дней мы встретились с Веркой, и она сказала мне:

— Ты просто безобразно себя вёл и оскорбил женщину.

— Верочка, не сердись, — сказал я. — Я постараюсь больше так не делать.

— Ага, — сказала Верочка, — так я тебе и поверила. А что Лёнька?

— А что ему делается? — ответил я.

Волшебная сказка (начало)

Я попробую в два или три приёма поместить в журнале повесть, которая мне самому очень нравится, а как вам — посмотрим.

Я заранее прошу прощения у каждого грека, тем более киприота, если случайно это моё сочинение попадется ему на глаза: за Грецию здесь выдаётся совершенно вымышленная страна. Но, в конце концов, должно же действие где-то происходить. Какая вам разница? Я во многих странах побывал. Все они здорово похожи друг на друга. Для того, чтоб вам не скучно было читать, приходится выдумать. Вот я и выдумал.

Учтите — очень длинно.

В конце лета 1998 года я работал на одном большом московском кладбище в бригаде по установке памятников. Заработок неплохой, однако, я сильно уставал, и становилось ясно, что время моё на этом производстве истекло. Ребята жалели меня как ветерана, а где на кладбище лёгкая работа? Однажды собирались ставить большой камень. День был очень жаркий. Я с утра водиночку делал под подставку грунтовую насыпь и работая тяжёлой трамбовкой, чувствовал, что спина вот-вот сядет, и сердце колотилось что-то совсем не по-хорошему. Когда приехал я на «муравье» в гранитный цех и пришёл на склад, бригада уже возилась там — готовились грузить стеллу на трактор.

— Ну-у-у, ты ещё намылился сюда! — со смехом сказал бригадир. — Хватит с тебя на сегодня. Пошатайся по участкам, поищи клиентов. Не особо, Мишаня, старайся, покури, а то подохнешь ещё.

— Спасибо, брат, — сказал я.

— Давай, брат, — он так ударил меня по плечу, что я едва не свалился. — Своих не выдаём!

Кинул я лёгонькую лопатку-маломерку на плечо и побрёл. Я люблю эти новые послевоенные кладбища на окраинах Москвы даже больше, чем центровые, потому что здесь молодой берёзы много, на глине она хорошо растёт. Плутал я в этом светлом, солнечном кладбищенском лесу, отдышался, наелся земляники, время от времени садился на скамеечке покурить. Записал несколько пустяковых заказов, и уже собирался туда, где наши камень ставили, помочь хоть раствор размешать. И тут на дорожке меня остановил странный человек.

Он мне сразу странным показался, хотя и очень хорошо, дорого одет, чисто выбрит, трезвый. Тревожный, тоскливый

взгляд — к этому мы здесь, конечно, привыкли. Но он, понимаете, совсем не похож был на того, кто скорбит или хотя бы вид делает, что скорбит по кому-то, безвременно ушедшему. Скорее, похоже, он чего-то боялся. Затравленный взгляд. А на этой работе я людей с таким взглядом сам боюсь, потому что разных гнилых и стрёмных дел здесь всегда навалом, а уж в последнее-то время… К тому же что-то знакомое мне почудилось в лице, а это всегда настораживает. За двадцать лет работы на кладбище поневоле научишься осторожности с людьми. Где я мог его видеть?

— Здравствуйте, — сказал он. — Вы работник кладбища?

— Вроде того.

— У меня к вам дело.

Я предложил сесть на скамейку. Было ему лет под шестьдесят, то есть мой ровесник, высокий, широкоплечий, в молодости, наверное, очень сильный, спортивный, как говорится, но очень исхудавший, бледный и совсем седой.

— Вы можете захоронить здесь… одну вещь?

Стало ясно, что человек этот — с тёмным заказом. Иногда такие дела бывают очень выгодны, а иногда могут быть чреваты большими неприятностями. Он подобострастно угостил меня американскими сигаретами, объяснив, что «Винстон» — не лицензионный, а настоящий:

— Просто я прилетел вчера оттуда, — действительно, он по-русски говорил, хотя и совершенно чисто, но именно так, как говорят русские, много лет жившие за границей, появляется какая-то особенная интонация.

В таких случаях в нашем похоронном деле нужно по возможности тянуть человека за язык, чтоб хоть что-нибудь о нём узнать, а то можно так нарваться, что и бабки ни к чему.

— Что, так прям из Америки и прилетел? — я перешёл на «ты», так проще.

— Да. Я ненадолго прилетел, потому что… Вот, дело тут такое, понимаете, — он волновался.

— Слушай, друг, — сказал я, — говори, давай, толком. Учти, между прочим, что здесь, не камера хранения — вещи не захораниваем. Ну, ты покажи, чего там у тебя.

Он осторожно вынул из внутреннего кармана пиджака небольшой, тёмный конверт. Я взял в руку — заклеен. Наощупь ничего понять было нельзя, но конверт очень тяжёлый, хотя с виду пустой. Качнул его на ладони:

— Что там?

— Золото, — совсем серьёзно сказал подозрительный клиент.

Я помял конверт:

— Где ж оно? Конверт, похоже, пустой…

— Просто в нём тонкий локон золотых волос, — сказал он. Но тяжело весит этот тонкий локон. Золото это, понимаете, непростое.

Я удивлённо глянул ему в лицо и вдруг, неожиданно для самого себя проговорил:

— Стёпка, это ты? — я узнал его.

— Мишка?

Теперь-то, собственно, и начинается история, ради которой я уселся за компьютер.

Много лет тому назад, в начале пятидесятых, жил я в Водопьяном переулке, у метро «Кировская», сейчас «Чистые пруды». Переулка этого давно нет, снесли там все старые дома, и площади не узнать. Раньше на углу Водопьянова, со стороны Кировской улицы была филипповская булочная, а со стороны переулка — кафе «Ландыш», и в переулке нашем громыхала и звенела тогда «Аннушка», старинный двухвагонный трамвай. Моя школа, 610-я, была на Сретенке. Стёпка, которого я встретил на кладбище полсотни лет спустя, жил со мной в одном доме, и мы учились в одном классе. В то время я был для своего возраста паренёк очень слабый, в школе меня ребята колотили, а Стёпка заступался за меня. Он был сильный, всегда уверенный в себе и, кроме того, отец выучил его приёмам японской борьбы джиу-джитсу, которая тогда ещё не вышла из моды. Мы-то с мамой жили бедно, особенно после смерти отца, а Стёпка был мальчик богатый, отец его, полковник сначала МГБ, потом КГБ, когда мы в пятый класс перешли, стал генералом. Они переехали из отдельной квартиры в нашем старом доме в новую огромную квартиру в высотке у Красных Ворот. Я до сих пор не знаю, сколько в этой квартире было комнат, хотя часто бывал у Стёпки в гостях. Для пацана из коммуналки это был дом чудес. Там сиял золотисто-коричневый, скользкий паркет и было множество мягких кресел и диванов, по которым разрешалось прыгать, сколько угодно. Там стоял огромный белый рояль. Там гудел холодильник «ЗИЛ». Там можно было смотреть передачи по телевизору без линзы, с большим полукруглым экраном. Повсюду в аквариумах плавали диковинные рыбки. Стены были увешаны коврами, ковры в некоторых комнатах даже устилали пол. На стенах висели картины и старинное оружие, которым играть не разрешалось, но можно было его рассматривать. У Стёпки было много таких игрушек, о которых тогда в Союзе никто ещё и слыхом не слыхал. Даже была электрическая железная дорога, которая, если её разложить полностью, занимала почти всю комнату. У него была своя собственная отдельная комната, и,

когда приходила его мама, она всегда спрашивала: «Мальчики, можно к вам?». Я думал иногда: интересно, что она скажет или сделает, если Стёпка ей ответит: «Нет, нельзя»? Но вряд ли так можно было ответить такой маме. Она тоже была офицером КГБ. Это ведь она, только совсем ещё молодая, с фотографии на стене в прихожей целилась в кого-то из настоящего пистолета, укрываясь в густых зарослях колючего кустарника. На этой фотографии его родители были рядом в этих зарослях, в горной, каменистой, пустынной местности. Отец перезаряжал свой пистолет, держа его стволом в небо, она стреляла. Однажды при мне одна из домработниц (их было в доме двое), осторожно спросила: «Вера Петровна, это где же вы… на учениях?».

— Нет, — не вполне понятно ответила стёпкина мама, — это не на учениях, а просто… Случайно нарвались на турок. Это было на Кипре, потом помолчала и добавила. — А парень, который фотографировал нас, вместо того, чтобы вести огонь, через несколько минут погиб. Фотографировать — это у него было что-то вроде дурной привычки…

— А что это за форма на вас?

— Обыкновенная военная форма. Английская.

Вообще-то, мы должны были играть у Стёпки в комнате. Но если мы с ним начинали бродить, по квартире, никто не ругался. В одной из комнат на стене висела большая картина в золотой раме. И на этой картине была изображена, очень красивая и совсем голая тётенька. Она была даже без трусов и мирно спала на мягкой траве в какой-то зелёной долине, а позади неё — рощи кудрявых деревьев, кажется, какой-то ручей, вдали крутые горы. Мы оба часто подходили к этой картине и подолгу смотрели на голую тётеньку. Где-то внизу живота тогда возникало мучительное и сладкое томление, становилось жарко, сердце колотилось, громом отдаваясь в ушах, и кружилась голова. Однажды у этой картины нас застал сам генерал. Он засмеялся:

— Ребята, вы здесь подолгу-то не торчите. Я это всё понимаю, но рано вам ещё таращиться на такое. Это не репродукция, а вполне приличная авторская копия «Спящей Венеры» Джорджоне, я из Италии привёз. Дорогая вещь.

Летом 1960 года, когда мы со Стёпкой перешли в девятый класс, он с родителями неожиданно уехал за границу. Больше я о нём ничего не слышал. А эта картина, с голой тётенькой, мне надолго запомнилась, снилась даже иногда. Со временем забыл, конечно.

Значит, когда мы виделись в последний раз, нам было лет по шестнадцать, а сейчас по пятьдесят семь. Однако, я узнал его, сразу, с первой минуты что-то мне знакомое в лице показалось.

— Где ж ты пропадал-то?

— Да разве всё так вот расскажешь… Время есть, наговоримся ещё, а пока ты мне вот что скажи: можешь сделать для меня эту маленькую услугу?

— Конверт прикопать? Могу, но ты объясни, в чём дело. Степан, ты меня тоже пойми…

— Закопать нужно в освящённую землю, желательно под крестом и на порядочную глубину, — сказал он, — скажем на глубину вот этой твоей лопаты. И всё. Денег много, ты не стесняйся. Заплачу, сколько скажешь.

На кладбище я работаю очень давно и накрепко усвоил одно правило: Если тебя просят сделать за большие деньги какой-нибудь пустяк, ты должен ясно понимать, что именно ты делаешь, и зачем это клиенту нужно. Особенно, когда речь о том, чтоб на территории кладбища что-то в землю закопать, тем более в чужую могилу. В лопате моей, примерно, метр-тридцать. То есть, копать придётся до самой крышки гроба. Днём нельзя, надо ждать, пока люди разойдутся. Я объяснил ему, что могилу могут в какой-то момент раскопать, если будут прихоранивать урночку из крематория, а когда срок выйдет, может быть повторное захоронение.

— Это не годится, — сказал Степан. — А раз уж ты всё равно докопаешь до гроба, нельзя ли конверт этот положить прямо в гроб? Ведь гроб же не станут трогать?

— Почему это? По правилам при повторном захоронении мы обязаны перехоранивать его на штык в глубину. Тогда, золотишко, конечно, приберут. Можно найти могилу, куда повторного захоронения не будет. Это значит, которая под охраной государства. Но ты пойми, я ж должен знать, в чём дело. Пока я только вижу, что ты прячешь в надёжном месте конверт, а в конвертах, мил человек, иногда бывают такие вещи, что из-под земли даже стреляют не хуже хорошего миномёта. Не обижайся, но это очень неубедительно, на счёт золотых волос. Здесь, на кладбище таких работников, чтобы в сказки верили, вряд ли найдёшь, и я не исключение.

— Так ты посмотреть хочешь?

— Должен посмотреть. Не обижайся, — повторил я. — Ты тут пока посиди, я схожу отпрошусь у бригадира, он здесь, неподалёку. Потом, если у тебя время есть, возьмём бутылку, закусить, за встречу выпьем, и ты мне растолкуй, что к чему. А так, незнамо что, я закапывать в чужую могилу не могу ни за какие деньги.

Я сходил к своим, объяснил, что наметились неплохие бабки, но проверить придётся, нет ли подлянки какой. Потом купил

бутылку «Гжелки», кое-что закусить и вернулся к Степану. Он ждал с виду спокойно, только полно окурков вокруг набросал, пока я ходил. Нашёл я укромную оградку со столиком и скамеечкой, кругом сирень, и совсем не видно нас. Стакан был у меня один.

— Ну, ты покажи мне своё чудо, пока я не выпил ещё.

Степан открыл конверт и осторожно потянул из него. Действительно, рыжие волосы.

— Ты потрогай.

На ощупь — металл. Яснее дело от этого не стало.

— Давай, рассказывай, Стёпка, что это такое. Не пойму я ничего, а непонятного здесь все боятся. Времена нешуточные. Чьи-то волосы — опасно, и золото — опасно. Если мне не доверяешь, давай выпьем и спокойно разойдёмся. Не стану я влипать в тёмное дело сейчас. Возраст уже не тот.

Мой старый одноклассник подождал, пока я выпью, выпил и сам полстакана водки. Мы оба закурили, и он долго молчал.

— Стану сейчас рассказывать, ты подумаешь, я сумасшедший.

— Я ж говорю: не хочешь — не рассказывай.

И вот, что он мне рассказал.

* * *

Накануне отъезда у родителей начались какие-то неприятности, и я чувствовал, что мы не едем, а попросту бежим. До сих пор не знаю, в чём было дело. Один раз я слышал, как отец сказал кому-то по телефону:

— Слушай, ты что-то долго мушкой водишь. А я, ты знаешь, стреляю всегда навскидку. Гляди не перемудри.

И они подолгу о чём-то с матерью совещались у него в кабинете. И мать сказала:

— Значит, где они нас ждать будут, туда мы и кинемся, чтоб им долго за нами не гоняться…

— Я еду туда, где свои люди у меня. А найти нас, везде найдут…

На меня они совсем внимания не обращали, будто меня и не было. Отец только сказал как-то раз:

— Стёпа, ты сейчас, пожалуйста, поменьше путайся под ногами. Но, упаси тебя Бог, в неподходящий момент куда-нибудь исчезнуть. Ты постоянно должен быть рядом с нами. Лучше всего до отъезда, вообще, на улицу не ходи. У нас небольшие неприятности, но поездку я тебе обещаю очень интересную. На всю жизнь запомнишь.

Нельзя сказать, чтоб я сильно испугался тогда. Чего у меня никогда не было, так это страха. Вот сейчас меня страх достал, признаюсь. Очень страшно, Мишка, я тебе расскажу, чего я боюсь. А тогда я просто насторожился. А уехать за границу мне, дураку, хотелось — страсть. Мы прилетели сначала в Рим, но города я совсем не увидел, потому что нас встретил какой-то человек, торопливо усадил в машину и привёз в гостиницу, где мы провели в номере не больше двух часов. Потом нас снова усадили в машину, и мы уехали в Неаполь. Наш провожатый говорил с родителями по-английски. Язык я ведь тогда уже неплохо знал, если ты помнишь, но всё равно, я ничего не понял. Он повторял:

— Господа, это плохой бизнес. Очень плохой. Мне теперь остаётся только бросить нажитое и уехать в Штаты на пустое место. Вам, конечно наплевать…

Отец ему сказал:

— Вы совершенно правы, нам наплевать, обращайтесь к своему руководству.

— К какому, чёрт возьми, руководству? — нервно дёрнулся он. — Кого именно вы имеете в виду?

— Не понимаю, чего вы от нас хотите. Нас списали со счетов, а вы всё думаете, что мы вам что-то должны?

— О, Господи, все вы одинаковые, — сказал этот человек. Он был одет очень неопрятно, плохо выбрит, глаза его бегали и блестели так, будто он собирался заплакать, и пальцы вздрагивали, когда он закуривал, а курил он непрерывно. — Зачем я только связался с вами?

Отец и мать переглянулись и засмеялись:

— Зачем вы с нами связались двадцать пять лет тому назад? Действительно, зачем? — сказала мать. — По-моему, вы хотели вместе с нами вести двойную игру. Теперь вы хотите выйти из этой игры, хотя вас предупреждали, я же вам говорила в Никосии ещё в сороковом году, помните? Я вам сказала, что, пока вы просто агент Абвера, с вас, вообще говоря, спрос невелик. Но вам хотелось больших денег. Вы после войны могли бы года два-три провести в тюрьме, и всё плохое было бы кончено для вас. Но из той игры, которая вам тогда казалась такой привлекательной, никто не выходит до самой смерти. Для нас с мужем она, возможно, уже кончается. Но для вас…

— Хватит, — сказал отец. — Что ты ему лекции читаешь? Где деньги?

— Чек на пятьдесят тысяч долларов, — сказал он и положил чек на стол. — Но, я думал, признаться, что мне тоже что-то причитается из этой суммы.

— Оставьте нас в покое, — сказал отец. — Нам этих денег не

хватит и на месяц. Послушайте доброго совета: если вы не хотите, чтоб вам набили голову свинцом, ликвидируйте свои дела и…

— Чёрт бы вас побрал! — сказал жалобно этот человек. — О, господи… У меня родился внук. Чёрт бы вас побрал!

Мне было жаль его, а родители весело смеялись.

— Вы человек религиозный, — сказала мать. — Вы, кажется католик? Так что ж вы богохульствуете? На том свете вас за это по головке не погладят, а вы туда можете попасть каждую минуту. Будьте же благоразумны.

— Иди ты… в задницу! — злобно сказал он. — Проклятая шлюха…

— Куда, куда? Кто я? Ах-ха-ха! Вот таким вы мне больше нравитесь, коллега. Больше похожи на тайного агента. А то вы уж стали напоминать проворовавшегося церковного старосту, вам это не идёт.

Это было, в очень дешёвом номере третьеразрядной гостиницы, в районе, как я понимаю, знаменитых неаполитанских трущоб. Скорее, это даже не гостиница была, а просто ночлежка. Единственное окно выходило во двор, и прямо под нами огромная куча отбросов, над которой стояла тьма мух. Мы там и поселились. Несколько дней не выходили из номера. Была невыносимая жара, духота и вонь. Еду нам приносила какая-то мрачная, усатая и растрёпанная старуха в грязном переднике, она молчала, будто воды в рот набрала. Отец целый день спал, как убитый, мать читала старые итальянские газеты, а я листал журналы и от скуки грыз ногти, нечем было больше заняться. Ночью я почти не спал, потому что родители почему-то именно по ночам говорили, спорили, ссорились, вспоминали о чём-то:

— Помнишь рыжего лейтенанта? Ну, рыжий был такой… Он при Рокоссовском постоянно находился, его потом убили в Кракове.

— Это который просил твоей руки?

— Дело прошлое, я тебе скажу. Он работал на англичан. Он мне, действительно, сделал предложение, только совсем иного характера, хотел меня завербовать, но проговорился, что уж Судоплатов его накрыл. Так он вместо себя собирался меня подставить. А я встретилась с Ежи Ланцкоронским и говорю: «Зачем тебе такой беспокойный пассажир, непонятно чей он и откуда?». Ну, ты ж помнишь Ежи: «Пани хочет, чтобы этого человека не стало? Пани стоит только приказать», и ребята из АК на всякий случай списали его, — она смеялась.

— Да, Ежи… рыцарь. Он любил говорить, что его предки были гетманами. Доигрался он. Я ему открыл коридор в Штаты, он не поехал. Я жалел, когда наши его убрали… Забавно. Я,

дурак, из-за этого рыжего чуть от ревности с ума не сошёл. Верка…

— Ой, ну… что-о-о?

— До чего ж ты красивая баба!

— Да ладно врать. Я уже старая…

— Нет, нет, нет!

По ночам они, совершенно не стесняясь того, что я рядом, занимались любовью. Отец как-то сказал:

— Мальчишка не спит и всё слышит.

— Ну и пусть слышит, — сказала мать. — Пусть он запомнит нас, как мы друг друга любили.

Однажды в самый жаркий момент она, задыхаясь, с хриплым стоном проговорила:

— Васька… Васька, давай с тобой умрём вот так… Прямо сейчас, ну! — я услышал негромкий, короткий звук затвора, который она взвела.

— Ну, уж нет, — ответил отец, с трудом переводя дыхание. — Мы умрём на войне, как жили, так и умрём.

Наконец, как-то рано утром старуха, принесла кофе и, поставив поднос на стол, неожиданно сказала по-русски:

— Кто-то пришёл к вам, товарищ полковник.

— А я не полковник, — сказал отец. — Я генерал-майор.

— Не уследишь за вашими звёздами. Пусть войдут?

— Сколько их?

— Двое. И водитель остался в машине.

— Пускай заходят.

Он встал с пистолетом у дверного проёма, спиной к стене, а мама села в кресло с газетой, но я знал, что под пледом, которым она, не смотря на жару, укрылась, тоже был пистолет. Вошли двое, и отец оказался у них за спиной.

— Здорово, гнида! Не оборачивайся, выкинь оружие и руки держи так, чтоб я их всё время видел, — сказал одному из них отец. — А кого это ты ещё с собой притащил? Водиночку уже боишься на люди показаться?

Тот, к кому он обращался, действительно, сунул руку за спину и выбросил из-за пояса пистолет. Второй никак не отреагировал.

— Объясни этому сумасшедшему, что, если б не было мне жаль его бедную матушку…, — второй пистолет тоже полетел на пол.

— Не слишком ласково вы нас принимаете.

Говорили по-русски.

— Ладно, — сказала мать. — Быстро выкладывайте всё и убирайтесь.

— И не забудь, что я уж лет пятнадцать, мечтаю продырявить твою пустую голову, — добавил отец.

Наш гость держал в одной руке кожаную папку. Он открыл её и стал вынимать бумаги и раскладывать их на столе.

— Выездная виза, семейная, на троих. Это паспорта. Это документы для итальянского консульства в Афинах. Это письмо от сеньора Бонденамо для Николо, который вас там встретит. Деньги вы получили.

— На эти деньги мне только один раз в казино сходить, — сказала мать.

— Не время развлекаться.

— Ты сейчас выпишешь чек на двести тысяч или я тебя отправлю к уважаемым родителям, — сказала мать. — Уж когда мне терять стало нечего, шутить не стоит.

— Какие шутки? Это вы шутите. Им пятидесяти тысяч мало… А на этом счету, вообще, ничего не остаётся. Выписать я могу, что вам угодно. А на счету денег нет. Вы понимаете? Попробуйте увидеться с этим чёртом Бонденамо. Вот, он тут написал Николо Статитасу, вашему агенту, что деньгами вы обеспечены минимум на год безбедной жизни.

— Стоп, — сказал отец. — Нечего с ними торговаться. Документы доставили и пусть убираются. Сегодня я увижусь с твоим боссом. Надеюсь, ты нам не соврал. Соврал — с ним и будешь дело иметь. Заниматься твоим воспитанием у меня, к сожалению, времени не хватает. Дел по горло. С удовольствием бы я тебя здесь шлёпнул, да слишком много хлопот из-за такого насекомого, как ты…

— Подождите, подождите… Вы сегодня собираетесь увидеться с Бонденамо? Его здесь нет. Он на Сицилии.

— Хватит врать. Убирайтесь, ребята, нам не до вас.

Когда эти люди ушли, отец достал из чемодана бутылку виски и глотнул прямо из горлышка:

— Ты только не увлекайся, — сказала мать.

— Выпей и ты, — сказал он матери.

— Вообще-то зря, — сказала мать, принимая бутылку. — Ну ладно. За нас тобой! Завтра — мы в Афинах, а там Николо, и с ним все наши ребята. Степан, собирай свою сумку. Возьми вот это и спрячь в карман.

Мать дала мне большой кожаный бумажник.

— Что здесь?

— Ничего, кроме денег, документов и ещё письмо. В документах разберёшься. Письмо прочтёшь, если нас не будет, и ты останешься один. Десять тысяч долларов — немаленькие деньги, если ими разумно распорядиться, понял? Когда прилетим

в Афины, всё это мне вернёшь. Это просто на всякий случай. Не бойся.

Я сказал, что не боюсь.

— Молодец.

Мы вышли из гостиницы и остановили такси. Ехали какими-то закоулками, где прямо на мостовой играли полуголые детишки, и на верёвках, протянутых через проезжую часть, сушилось бельё. Потом выехали на автотрассу. Отец изредка переговаривался с водителем по-итальянски. Мы и километра не проехали по совершенно пустому шоссе, как нас обогнал открытый автомобиль. На заднем сидении сидел человек, который, когда машины поравнялись, поднял автомат и стал стрелять длинными очередями. Наш водитель оказался убит, и машина, развернувшись поперёк полосы, остановилась. Через мгновение убит оказался мой отец. Мама, хладнокровно, слегка придерживая левой рукой правую, в которой был пистолет, прицелилась и выстрелила два раза. Оба раза она попала, и машина с нападавшими на всём ходу врезалась в бетонный столб. Это всё я так рассказываю, а как это было на самом деле, нужно пережить.

Моя мать была очень бледна. Некоторое время она внимательно смотрела на меня. Потом сказала:

— Сильно испугался? Тебя не зацепило? — я молчал. — Об отце пока не думай, обо мне тоже. Каждый из нас всегда, рано или поздно, добивается своего. Вот он и добился. Теперь моя очередь. Мы с твоим отцом никогда надолго не расставались. Слушай, Стёпка, мне угодило в живот. Это смертельно, и тебе делать здесь больше нечего. Слушай меня внимательно. В Неаполь не возвращайся, а сейчас выходи из машины и, не оглядываясь, иди по шоссе вперёд. Примерно через час выйдешь к небольшому городку, там найди причалы и заплати деньги, но не больше двухсот долларов, капитану грузового судна, которое идёт куда-нибудь подальше из Италии. Только не в Грецию. Понял меня? — она задыхалась и с усилием и стоном проглатывала слюну. — Тебе в Греции опасно. Но неплохо, если доберёшься до Кипра. Это место спокойное. Мы с отцом воевали там, но фамилии нашей на Кипре никто не знает. У нас тогда были английские документы. Давай. Не оглядывайся. Вперёд!

Миша, я тебе рассказать, что чувствовал тогда, не могу. Но я молодой был, почти ребёнок. Что-то новое было впереди. Когда я отошёл от машины метров на тридцать, позади меня ударил пистолетный выстрел. Я знал, что это застрелилась моя мать, но оглядываться не стал, как она и велела мне. И правильно сделал. А может и неправильно. Думаю, всё, что потом со мной

случилось, как-то связано было с этой жесткостью, которая тогда во мне была, а теперь её не стало. Мне в те мгновения казалось, будто сердце у меня железное, холодное, как железо. Ты ещё услышишь дальше об этом — о моём железном сердце, откуда оно у меня тогда появилось.

Когда вышел я по шоссе к городку, вернее небольшому посёлку, сразу увидел у причала грузовую посудину под турецким флагом. Я подошёл к трапу и спросил капитана. Тот сидел в грязной, захламленной каюте и пил виски, не хуже любого русского, прямо из чайной пиалы.

— Куда идёт судно?

— Зачем тебе знать? Я пассажиров не беру.

— Получишь двести долларов.

Он глянул на меня налитыми хмельною кровью глазами:

— Через час я выхожу в море. Иду в Хайфу. Ты еврей?

— Нет.

— Не важно. Ты хочешь в Хайфу? Доставлю тебя туда за пятьсот, если просидишь в трюме, не высовываясь до самого места. А с полицией сам разбирайся.

Как ни странно, человек этот мне понравился.

— Договорились, — сказал я. — Ты за триста долларов доставишь меня на Кипр. Например, в Фамагусту.

— За семьсот, и дам впридачу хороший совет, потому что ты сопляк. Только совет — попозже, когда выйдем в море. Половина вперёд. Сейчас тебя проводят в трюм и дадут поесть. Виски хочешь?

От виски я отказался. Двое матросов проводили меня. Когда я сел на какой-то ящик и закурил, один из них сказал:

— А теперь давай деньги — все, какие есть, если не хочешь, чтоб тебя сдали полиции. И быстро отсюда убирайся на берег, пока живой.

Я встал и сунул левую руку в карман куртки, будто за бумажником. Правой я взял этого человека за кисть левой руки и легко сломал её, как учил меня отец. Турок заорал, будто его зарезали. Прибежали ещё какие-то люди, а потом пришёл капитан и велел всем уходить.

— Парень ты славный. Ты сразу мне таким показался, да я испытать тебя хотел, — сказал он. — Теперь ничего не бойся, но и меня пойми. Я остался без матроса. Не рассчитывал я, что ты ему руку сломаешь, а из тебя матрос никакой. Заплати мне тысячу. Совет, о котором я тебе говорю, стоит гораздо больше, но мне тебя жаль. Ты по-английски плохо говоришь и, знаешь на кого похож? — на русского. Дело твоё дрянь. Если договорились, выкладывай половину. Я тебе обещал хороший совет впридачу.

Я молчал и думал. Тогда он сказал:

— В Фамагусте тебя сразу арестуют. В Хайфе тоже. Можешь не сомневаться. Я удивляюсь, как тебя не остановили по дороге сюда. Мне только что сказал полицейский, что по дороге на Неаполь была перестрелка и убили четверых, а один ушёл. Я уверен, что документы твои не в порядке или подозрительны, а это одно и то же. Куда ты собираешься? Тебе нужно тихие место. Поэтому я сделаю небольшой крюк, и в ночь, чтоб на пограничников не нарваться, лягу в дрейф на траверзе острова Киприда. Туда доберёшься вплавь — недалеко. Это небольшой островок, живут там греки, все они рыбаки и почти все малограмотные. Есть правда православный священник, но его никто всерьёз не принимает, потому что он видит каких-то бесов, и считается сумасшедшим.

Люди там простые. Есть работа на виноградниках, но в основном там женщины или старики работают. Охотятся там на диких коз, которых в горах пропасть. Но живут в основном за счёт рыбалки. Вот и всё. Полиция туда почти никогда не заходит. А зайдёт — там за тебя могут заступиться, если окажется, что ты работник неплохой. На Киприде не хватает молодых, сильных мужчин. В посёлке найдёшь дом Марко Сатыроса, это хозяин нескольких рыбацких ботов. Ему скажи, что ты от Кемаля, так и скажи: «от капитана Кемаля», — и всё. Он поможет тебе. Потом и к священнику зайди. Его зовут Стефан, по-христиански — отец Стефан. Может он и сошёл с ума, но человек добрый, и тоже тебе поможет. Что скажешь?

Я подумал ещё недолго и отсчитал ему пятьсот долларов. Мы болтались в море суток пять из-за плохой погоды. Кормили меня провонявшей солёной ставридой и галетами, а пить приходилось тёплую затхлую воду. В трюме стоял резкий запах какой-то дряни, похоже, они везли в деревянных ящиках бутыли с химикалиями, а на палубу выходить было нельзя даже ночью, потому что не все знали о том, что на судне пассажир. При тусклом трюмном освещении я читал прощальное письмо моих родителей. Пересказывать его я тебе не стану. Какие б они там ни были, а я их очень любил.

В ночь, когда подошли к островку, ветер стих, и волна успокоилась. Какой-то человек свесил голову в трюм и крикнул мне:

— Выйди наверх. Капитан зовёт.

После вонючего трюма свежий воздух и запах моря меня так оглушили, что голова закружилась. Капитан стоял у борта и смотрел туда, где в темноте, а ночь была безлунная, смутно вырисовались силуэты крутых гор.

— Вот остров Киприда. Он тянется гористой полосой, нигде не больше двадцати миль в ширину, вдоль северного побережья Кипра на сто пятьдесят миль в длину. В полумиле от посёлка очень старый маяк. До войны ещё соляр жгли там, а когда я ребёнком был, даже хворост. Сейчас поставили мигалку с проблеском, но она постоянно выходит из строя. Так что даже не во всех лоциях его упоминают. Здесь повсюду рифы, и в плохую погоду легко напороться.

Говорят, она живёт здесь, и беда тому, кто её повстречает в этих горах. Но это я спьяну пошутил. Басни для дураков. Не думай об этом. Прыгай за борт, вода тёплая, до берега не больше мили. Не вздумай в горы подыматься, там, действительно, опасно, и многие оттуда не вернулись. Только вряд ли они стали там любовниками Афродиты, — он засмеялся. — Народ здесь такой, что водиночку далеко от посёлка лучше не отходить. Видишь огни посёлка? Туда иди. Только никого до утра не буди. Люди ночных гостей бояться, особенно на этом острове. Чтоб не получить заряд волчьей дроби в живот, дождись утра. Давай деньги. Не думай, что я грабитель. Времена плохие. Если б не сумел ты свои деньги отстоять, тебе б и помогать не стоило — вот ты и понравился мне. Удачи!

Я пожал ему руку, глядя в лукавое, пьяное лицо, старого, мудрого вора. Вода была, как парное молоко, плаваю я хорошо. Легко до берега добрался и вышел на каменистый пляж. Мне нужно было идти вдоль берега на Запад. По левую руку поднимался крутой склон, поросший густым кустарником или какими-то кривыми, низкорослыми деревцами, похожими на кустарник. Я медленно шёл, и время от времени в зарослях мне слышалось что-то вроде топота копыт и какие-то странные звуки. Это непохоже было на человеческую речь, но и не было в этом ничего животного. Кто-то переговаривался на незнакомом мне, очень странном по выговору, певучем языке, смеялись — сразу несколько голосов, один из которых был женский, мелодичный и звонкий. Голос этой женщины был негромок, но так звучен, что ему откликалось в далёких горах гулкое эхо. Однако, я чувствовал — это были не люди. И ещё этот топот копыт. И вдруг я увидел, что женщина спускается ко мне по склону.

Волшебная сказка (продолжение)

Она была очень высокого роста, совсем нагая, и её тело ярко светилось в темноте. Длинные, вьющиеся крупными кольцами золотые волосы её сияли ослепительным блеском, и огромные синие глаза горели, словно два фонаря. Она двигалась, легко переступая нежными босыми ступнями по острым камням, как будто не торопясь, и в то же время приближалась ко мне очень быстро. Когда приблизилась, и я её разглядел… Это не была просто красивая голая баба, понимаешь? Помнишь копию Джорджоне у нас дома? Да нет, и это было не то, к тому же у Джорджоне она почему-то брюнетка.

Я почувствовал тяжкий удар в груди, и сердце остановилось на мгновение. В ней была сила, которой у живой женщины никак не может быть. Я остановился и некоторое время молча глядел на неё. Она улыбалась, будто задумавшись о чём-то. Потом в её руке блеснул маленький нож. Она отрезала локон волос — тот самый, который я сейчас прошу тебя захоронить здесь — и протянула мне. Я взял его трясущейся рукой и спрятал в карман мокрой куртки.

— Привет тебе, юный и бесстрашный красавец! — сказала она голосом, который громом отозвался у меня в душе. До сих пор я не знаю, на каком языке говорила она со мной. Просто она говорила, я понимал её. — Помню я тебя ещё ребёнком, когда любовался ты моим изображением в доме отца своего. Я помню твоё волнение в те минуты, достойное настоящего мужчины. С той поры я никогда о тебе не забывала, и ныне — ты мой избранник. Мне служить будешь. Для службы этой муж мой, Гефест, в божественной кузнице своей сковал тебе железное сердце, которое ты чуешь сейчас у себя в груди. Сейчас я не скажу тебе, когда начнётся твоя служба. Иди в посёлок к людям, живи среди них. Этот остров — мои владения, и здесь в малых делах человеческих тебе всегда будет сопутствовать успех. В свободное время, в минуты усталости или тоски приходи в мои горы, чтобы в одиночестве отдохнуть от человеческой суеты. И однажды ты повстречаешь в зарослях меня. Земная жизнь твоя тогда будет закончена, впереди будет бессмертие и вечное блаженство, которое я даю всякому, кто верен мне. Только неверности остерегайся. Я не прощаю неверности и жестоко караю за неё.

В этом селении есть человек, который считает себя моим врагом. Невежественные рыбаки, которые окружают его, думают, будто он сошёл с ума. В действительности это не так. Просто он служит некоему мне неведомому божеству и думает, что этот

новый бог велит ему уничтожить семью олимпийцев. К человеку этому прислушиваться не следует, но и бороться с ним не стоит. Не обращай внимания на него. Однако, и не отказывайся, когда он захочет помочь. Всё, что ты получишь, это будет мой дар тебе, а ему, быть может, покажется, что это его заслуга. Для чего обижать безобидного простака? Он так беззлобен, легковерен и по-детски добр, что не сумел за долгие годы меня даже разгневать. Когда молод он был, дивилась я тому, что он не поддавался блаженному вожделению плоти, глядя на меня, но и тогда я не гневалась. Ты увидишь, что на него зла держать невозможно, и я иногда размышляю об этом… О нём я спрашивала премудрого кентавра Хирона, который изредка гостит здесь у меня. И он объяснил мне, что такие, как он — потомки людей золотого века, не знавших зла…

Топот и голоса, которые ты сейчас слышишь, пусть тебя не пугают. Это сатиры из свиты брата моего, Диониса. В ожидании тебя я думала о любви, а ведь в мире нет существа более искусного в любви, чем сатир. Не ревнуй, это чувство недостойное. Пусть они меня немного развлекут, чтоб я не скучала, пока срок не придёт, и ты не станешь моим. Теперь получай мой первый дар. С этого мгновения ты можешь говорить на языке людей этой страны, который они по невежеству считают эллинским. Тебе это поможет. Прощай, и — до грядущего свидания! — всё это она проговорила, неторопливо, и с улыбкой глядя мне прямо в глаза.

После этого, я не понял как, она стала удаляться и будто гаснуть, растворилась в темноте. Пока я шёл к посёлку, в зарослях слышен был топот копыт, голоса и смех, но её голоса я уже не слышал.

К посёлку я подошёл ещё в темноте, и мне пришлось долго ждать рассвета, чтобы выйти на улицу посёлка. Дом Сатыроса я увидел сразу, потому что это был самый большой дом, и крыша его была черепичная. Во дворе дома бегали громадные свирепые псы, и, когда я открыл калитку и пошёл к крыльцу, они с яростным лаем окружили меня. Я же продолжал идти через широкий двор, не обращая на них внимания. Хозяин вышел на крыльцо и наблюдал с улыбкой. Это был старик, лет под восемьдесят, но ещё здоровый, сильный, по-стариковски красивый, с загорелым лицом моряка и внимательными чёрными глазами, всегда прищуренными от привычки смотреть против ветра на сверкающее от солнца море и небо.

— Ты кто? — спросил он меня, конечно по-гречески, и я, действительно, понял его…

На кладбище уже стало смеркаться.

— Слушай, Стёпка, — сказал я. — Боюсь, раздевалку запрут, а у меня ключа нет. История эта, вижу, длинная. Ей-Богу, ты рассказываешь интересно, но сейчас самое время заняться делом. Пошли, я прикопаю конверт. Кажется, я понял, в чём тут дело. Вряд ли ты с ума сошёл, но у тебя в голове фантазии, а у кого их в наши времена не бывает? Я тебе поверил, то есть, вижу, что здесь подлянки нет никакой. Только один вопрос. Почему ты сам не стал конверт прикапывать?

Степан помолчал и ответил:

— Боюсь.

— Всё правильно. Я знаю тут место, которое никогда или, во всяком, случае, в ближайшие годы никто не раскопает. Там мы это захоронение и произведём. Это здесь недалеко.

В начале перестройки на этом кладбище захоронили останки или, как говорят, мощи какого-то старца, расстрелянного в двадцатые годы. Над этим захоронением установили большой гранитный крест на массивном постаменте. И вокруг высокая, чугунного литья ограда. Люди приходят сюда молиться. Захоронение под охраной Патриархии и Государства. В ограде земля, конечно, освящённая. Мы прошли внутрь, потому что двери ограды не запирались, и я сделал приямок прямо под бетонную заливку (фундамент) постамента, а потом ещё глубокий подбой (подкоп) под самый постамент. Уж надёжней не придумаешь. Закопал, землю утоптал и присыпал листьями. Всё.

— Слушай, — сказал я. — Примерно через год от конверта ничего не останется. Тогда этот локон, золото это, рассыплется на отдельные волоски, водой их размоет, и в земле его никто уже не найдёт. Понимаешь? Пропадёт золото.

— Вот мне этого и надо.

— Пошли, Стёпка, мне не охота у дежурного спрашивать ключ.

— Ещё минуту погоди.

Он недолго постоял на этом месте, глядя в землю, а потом произнёс несколько слов на каком-то чудном языке, будто просил о чём-то или в чём-то каялся. Потом поднял глаза и сказал мне:

— У меня с собой всего около тысячи долларов, этого мало. Поедем ко мне в гостиницу, я там с тобой расплачусь. Если захочешь — дослушаешь, как всё это было со мной. Мне очень одиноко и, признаюсь, просто страшно одному остаться.

— Да брось, какая тысяча! Дай сто баксов, вот и всё.

— Мне-то деньги совсем не нужны, а ты станешь богат. Разве тебе это помешает? Так поедешь со мной? Посидим в ресторане или закажем ужин в номер.

Мы поехали с ним не больше, не меньше, как в «Балчуг», где у него был «люкс». И он долго заказывал ужин в номер. Моментально прикатили столик с едой и выпивкой, а я после работы есть хотел, конечно, как волк. Он с улыбкой смотрел на меня, как я обжирался всеми этими деликатесами. Сам Степан только немного выпил и что-то пожевал, а потом стал пить крепкий кофе чашку за чашкой. И только, когда уж я закурил, он стал рассказывать.

— Значит, Марко Сатырос встретил меня на крыльце своего дома и спросил, кто я. С удивлением я заметил, что говорю по-гречески совершенно свободно.

— От капитана Кемаля, — сказал я.

— Войди в дом. Мне уже сказали, что его лоханка здесь ночью крутилась. Как его дела? Как тебя зовут? Откуда ты, я не спрашиваю. Тебе нужна работа? Сколько тебе лет? Что ты умеешь делать? А моря не боишься? Не слишком много вопросов? И ещё одно: собак ты не испугался, и они это поняли. Мне это нравится, — мы сели за стол в просторной, почти пустой комнате. В углу были иконы, на стенах чучела рыб, скатов, лангустов, незатейливые ковры.

Я ответил, что моря не боюсь, с этим всё в порядке.

— Като! — крикнул он.

Вошла девушка в черном, закрытом и длинном платье, чёрном платке, будто в трауре, все девушки на Киприде одеваются так. Она, скромно опустив глаза, молча остановилась в дверях комнаты.

— Принеси хлеба, мяса и вина. Принеси из хорошей бочки, доброго вина, нашего кипрского. Ты учти, парень, когда говорят кипрское, так это с наших виноградников. Эти бандиты из Никосии отобрали у нас всю виноторговлю ещё, когда венецианцы с турками здесь воевали, давным давно, понимаешь? Это мне наш священник рассказывал. Он человек учёный. От учёности и сошёл с ума. Но ты его не бойся, только сам с ума не сойди вместе с ним… Так, о чём это я? А! Они принимают у нас виноград сырцом. Иначе не пришлось бы никому из нас в море подыхать за паршивые гроши, а вино это в Афинах идёт за чистое золото. На виноградниках у нас работают женщины, а все мужики — в море. Если стрелять умеешь, в свободное время, будешь ходить на охоту в горы. Живём просто. Так уж повелось.

Девушка, которую звали Катерина, принесла поднос с кувшином вина, жареной козлятиной, множеством незнакомой мне зелени и круглой краюхой белого хлеба. Я было потянулся за ножом, отрезать хлеб, и хозяин засмеялся:

— Режь, режь хлеб. Я и так вижу, что ты совсем не местный, думаю даже, что ты и не грек. А у нас на Кипре греки хлеб ножом не режут, а ломают, как это принято у русских староверов. Я в России был в плену, в Сибири, потому что меня итальянцы мобилизовали. Ты случайно родом не из России?

— Почему это?

— Так ты сигарету держишь, как русские — будто её вот-вот ветром задует. Хорошо. Много спрашиваю, потому что болтливым стал, старею. Во время последней войны мы с Кемалем сделали неплохие деньги на дураках, которые никак не могут клок земли поделить. Я это презираю. Кровь понапрасну никогда не лью.

Он имел в виду очередной греко-турецкий конфликт на Кипре.

Я стал работать у Марко Сатыроса, сначала помогал ремонтировать боты и чинил сети, а потом вышел в море. Работа была с непривычки тяжёлой, и мне было не до чего. Спал я в сарае на сваленных там рваных сетях, провонявших тухлой рыбой, и туда вечером девушка Катерина приносила мне козлятины, кувшин козьего молока и хлеб. Иногда она сразу не уходила, а некоторое время смотрела на меня, как я ем. Однажды она вдруг заплакала.

— Что это с тобой? О чём ты?

— Не знаю. Ты просто очень красивый. И сильный. И смелый.

— И ты от этого плачешь?

— С тобою от этого беда случится…, — и она убежала.

В эту ночь мне приснилась Афродита. Она улыбалась и коснулась моей щеки нежной ладонью. Девушка Катерина была сирота, дочь какого-то дальнего родственника Сатыроса, который погиб в Фамагусте вместе со всей семьёй во время стычки с турками. Утром на следующий день она пошла в горы за хворостом, как ходила каждый день. Она поскользнулась на узкой тропе и сорвалась в каменистый обрыв. Я был дома, когда её принесли. Она была ещё жива.

— А-а… Стефан, — сказала она. — Послушай… Никогда не ходи в горы.

Обязанности врача исполнял священник. Он приподнял веко, убедился, что — конец, и закрыл ей глаза. С ней всё было кончено. Старик стал читать молитвы. Девушку подняли и понесли в дом, где женщины должны были обмыть покойницу, обрядить её по православному обычаю и уложить в гроб. Мужчины пошли выбирать место на кладбище.

Мы со Степаном оба сидели в мягких креслах у низкого столика. Вдруг он встал и пошёл по комнате. Он шёл вокруг комнаты, будто искал что-то.

— Ты сейчас никого не видел?

— Степан, ты что?

— Слушай, зря я тебе всё это рассказываю.

— Ладно, — сказал я, — послушать было интересно, конечно. Но, в конце концов, я уже знаю, как оно всё кончилось. Давай-ка ещё выпьем…

— Я сейчас тут видел этого проклятого мальчишку, — сказал Степан, — а когда уж он появился, ничего хорошего ждать не приходится.

Как вы понимаете, двадцать лет проработав на кладбище, я никаких чудес не боюсь. Поэтому я ему налил грамм двести коньяку и говорю:

— Не валяй ты дурака. Выпей, всё пройдёт.

И он выпил, и, действительно, всё прошло. Ещё бы не прошло от такой дозы французского коньяку — я думаю, никак не меньше, чем сотня баксов за бутылку. А ему, мне кажется, хотелось рассказывать. Кто-то его будто за язык тянул. Немного отдышался он, покурил. Ладно.

— На третий день, как похоронили эту несчастную девушку, а мы до похорон в море не ходили, это у них считается дурной приметой, на рассвете, когда я шёл к причалам, меня встретил священник. Человек этот был очень старый, старше Марко и с виду очень дряхлый, с трудом двигался.

— Подожди, — сказал он мне. — Мы ещё не знакомы с тобой. А ведь зовут нас одинаково.

Я поклонился, как там принято.

— Послушай, мальчик, — сказал он, — я знаю, что ты в Бога не веришь, но я тебе добра хочу. Уезжай отсюда.

— Отец Стефан, — нерешительно проговорил я, — видите ли… Сейчас мне отсюда просто некуда уехать. Я вам верю, но куда я денусь отсюда? Меня на Кипре сразу арестуют. Меня повсюду ищут. Мои родители… погибли, они были советские разведчики, но бежали из Союза, за ними охотились и убили, а я…

— Скажи мне правду, ты видел её на морском берегу или в горах?

Я кивнул головой.

— Я тебя научу, как тебе от неё избавится. Нужно только выучить наизусть несколько молитв и говорить их на ночь и встав поутру. Много лет назад она оказалась бессильна против меня, потому что Бог мне эти молитвы дал во сне.

— Эй, парень, а не рановато для исповеди? — крикнули мне с борта судна. — Отец Стефан, вы отвлекаете молодого человека, он сейчас по шее получит!

В тот день мы вышли в море на двое суток, а потом я попросил у Сатыроса свободный день. Сказал, что руку ушиб. И рано утром, едва рассвело… — А рассветы там, Мишка, красивые! — Вышел я и двинулся в горы. Я долго пробирался вверх по крутизне в зарослях колючего кустарника, и веришь? — я эту местность узнал. Мои родители на фотографии — помнишь, в коридоре у нас всегда висела? — именно здесь они стреляли в кого-то. Горы и кустарник. Камни. Нужно было перевалить через высоту и спуститься в долину, где, как мне говорили, была речка. Я знал, что там её увижу. Вышел я к речке. Собственно это ручей был, он вытекал из источника, дно которого было выложено крупной разноцветной галькой. Напился я. Ледяная там вода. Сначала никого не было, только ручей журчит, да поют птицы. Потом слышу голоса и топот. Они! И вдруг, внезапно — понимаешь? — я услышал её голос. Это был голос её любви. Крик любви! Понимаешь?

Я стал подниматься по круче, вышел на поляну. Там бродили какие-то громадные, лохматые чудовища, козлоногие и рогатые — это были сатиры. Они паслись, обламывая молодые ветви деревьев. Переговаривались на непонятном языке, который я уже слышал однажды. Тут я её и увидел. С одним из них, весь он зарос рыжей шерстью, она занималась любовью, ухватившись руками за ствол деревца. Прогибаясь тонким станом и широко расставив, сильные, стройные, длинные, ноги, она поднимала к высоким, ясным небесам две волшебные полусферы тончайших, чудных, изысканных и соразмерных очертаний, будто две половины какого-то неведомого небесного светила, мерцающие светом юного, дикого и бесстыдного соблазна, а это чудовище с воем и хрипом вламывалось в её нежную плоть своей грубой, тёмной, неистовой, истекающей семенем силой — тогда слышался ликующий и яростный крик её любви. Мне потом ещё не раз приходилось слышать его. Крик её, в это мгновение, похож на удар серебряного колокола. Вдруг она выпрямилась и обернулась ко мне. Немедленно стадо сатиров скрылось в зарослях, стихли их голоса и топот.

— Подумать только! Смертный человек видел меня в минуту любви. Я случая такого не припомню. Тебя терзает ревность… — она подходила ко мне. — А ведь говорила я тебе: ревность чувство недостойное, хоть и никто из богов и людей его не избежал. Но полно, полно. Всё миновало. Не терзайся. Сейчас мы омоемся в водах этого ручья и оба станем девственниками, каждый — будто в день своего рождения.

Мишка, если б я мог тебе рассказать, рассказал бы. Я всегда хотел кому-нибудь рассказать о том, что переживал в минуты

близости с ней. Но это невозможно. Нет, ты никогда не узнаешь, что мы там делали, вернее что там делалось со мной, а что было у неё — я ведь этого не знаю… Куда-то она меня несла, или мы с ней куда-то плыли, или летели… Иногда мне казалось, будто я такой сильный и огромный, что она уместится у меня на ладони. А иногда я засыпал, просыпался и снова дремал в её сокровенной раскалённой, влажной ложбине, в зарослях густых вьющихся золотых волос, где от горького и душного аромата женского томления, перехватывало дыхание…. Нет, не то! Никому я не сумею этого передать. Это было весь день и всю ночь, и только под утро я очнулся, открыл глаза — она стояла надо мной.

— Жду тебя, чтобы проститься до следующего блаженного свидания, — сказала она и вдруг присела рядом со мной на корточки, раздвинув колени, будто девочка-подросток, так что самое тайное доверчиво открывалось мне, но не вызывало уже ничего, кроме изумления. Я видел природу в её ещё не искажённом виде. Ничто ещё не было нарушено, и виделось не постыдно, а прекрасно, как у ребёнка. Крупные капли росы блестели на её сияющей коже. Прямо перед глазами у меня вздрагивала от каждого вздоха тугая, совсем беззащитная, никакой лживой тайной не прикрытая грудь, полная живой любви, которая проникала изнутри этого дивного сосуда каким-то неизъяснимым светом. Я прикоснулся к ярко-алому соску губами, и богиня громко крикнула, так что эхо покатилось по ущельям ударом колокола.

— Ты умеешь возбуждать великую страсть. Этот мой второй дар, о котором я тебе не говорила, даже для меня непреодолим и так силён, как удар молнии, — сказала она, горячо вздохнув. — В этом твоё счастие, а может быть и твоя погибель. Много удивительных даров я готовлю для тебя. Но сегодня наше время кончилось. Я тебя снова позову, а может быть сама приду к тебе. Только помни, остерегайся измены.

И вот она исчезла.

А надо сказать, что я уже здорово нализался.

— Слушай, Стёпка, сидим так вроде по шикарному… А может девчат пригласим? Время позднее. Меня моя баба всё равно живьём сожрёт. Думаешь, она поверит, что, я с любовником Афродиты в «Балчуге», в люксе пил коньяк? Конечно, ты человек грамотный, вон с тобой какие бывают чудеса, и говоришь ты, как по писанному, а мы — так… Нажрёшься ханки и вообще ничего не…

— От этого есть лекарство. Мишка, ну ты сейчас уснёшь, и какие тебе ещё девчата? Ты закапывал её локон. Ты всё и должен знать до конца. А до конца уж недалеко, его ты сам увидишь.

— Кого?

— Конец. Мишка, давай вот прими таблетку, всё снимет, как корова языком.

Ну, со мной-то тоже дурака валять, только время тратить. У меня был в кармане ПМ, и я за ним полез. Какой там! Сразу отобрал. Да ещё кисть правую чуть не вывихнул. Вот они, старые друзья-то!

— Ну чего те надо? Толком говори. Денег у меня еле на дорогу. А-а-а! Прикопал я твой пакет, так теперь стал лишний. По-ни-ма-ю… А всё ж таки ты сволочь. Подлая твоя душа.

— Принимай таблетку, потому что, если б я тебя хотел убрать, я б тебя ещё на кладбище убрал. Меня ты помнишь. И я помню, какой из тебя был всегда боец. Принимай таблетку. Дослушивай до конца, получай, что тебе причитается, и мы прощаемся.

— Что это за таблетка?

— А это вот, которые в спецслужбах дают. Трезвеешь сразу.

Я прикинул. С ним я, во-первых, не слажу. Допустим бы и сладил. На мокруху я не иду из принципа. Так что, его сдавать в ментовку и объяснять там, что я на кладбище за хорошие деньги закопал золотишко? Стоп. Я бабки-то ещё не брал. А бабки — вот они. В банковской упаковке на стол ложатся. Одна пачка, ещё одна… да сколько ж у него их там… третья. И эдак, знаешь: шлёп, шлёп, шлёп… Зелёные, красивые. А у меня в желудке уже не меньше чем полторы литрухи. Что тут сообразишь?

— Стоп. Потолок какой?

— Ты знаешь историю про Демидова и старуху?

— Что за Демидов?

— При Петре I был бизнесмен такой, сильно крутой… Вот эту таблетку сейчас глотай, а то и про Демидова ни черта не поймёшь.

Я плюнул и проглотил. И коньяком запил. Подождал, покурил. Вроде ничего. Ну, и, действительно, дурь проходит. Он глядит на меня и ждёт. Минут через пятнадцать:

— Протрезвел?

— Да вроде — точно.

— Нужна тебе история про Демидова?

— Ты мне не про Демидова, а мне называй потолок.

— Этот Демидов чеканил монету. Не важно там законно или незаконно. В каком-то сарае у него сложены были медные копейки. Монеты там было на миллионы. Идёт мимо старуха:

— Подай, сынок, Христа ради!

Говорит ей Демидов:

— Мать, вот тебе лошадь с подводой. В сарае денег на многие

миллионы, но они медные. Сколько перетаскаешь на подводу — все твои.

Старуха притащила мешок с медяками, второй… Ох, тяжело! Потащила третий…

— Ну всё, всё! Понял. Здесь три штуки баксов. Это мало, потому что курс рубля ити его мать… Значит ты мне всю эту мутату рассказываешь до конца, а конец — прямо здесь. Надеюсь конец — не мой.

— Да не бойся ты, не твой. Может, даже и не мой, — как-то странно он при этом улыбнулся. — Ты слушай! На счёт денег договоримся, не сомневайся.

Она приходила ко мне или звала в горы голосом, который в посёлке никто б, кроме меня, не узнал. В харчевне у Марко (он ещё и небольшую харчевню содержал) всегда говорили: «Это морские девы трубят в раковины к плохой погоде» Примета часто сбывалась. Только я один знал, почему. Не хотела богиня, чтоб я в этот день в море уходил.

Однажды случилось несчастье. В День Николы Угодника, покровителя всех моряков, молодые ребята сильно подгуляли. А я после церковной службы на танцы не пошёл и сидел в своём сарае, вырезал небольшой гарпун, на случай если попадётся годная акула. Итальянцы их принимают и хорошо платят. Пришёл парень, которого звали Касос, большой задира и к тому же пьяница — среди греков редкость.

— Стефан! — окликнул он меня. — Сегодня не виделись. С праздником!

— С праздником! — откликнулся я.

Некоторое время он молчал, потому что по обычаю я должен был пригласить его к себе.

— Зайди ко мне, раздели кувшин молока.

— Сегодня большой праздник, все моряки вино пьют, а наши молодые ребята затеяли танцы.

— Нет, я не пойду.

— Почему ж бы и не повеселиться?

— Старый Сатырос рано утром велел выйти чуть свет, а я не люблю, когда голова болит.

— А некоторые думают, что ты побоишься станцевать с одной девушкой, потому что на неё поглядывает совсем другой человек. И знаю, что к тебе сюда молодуха ходит. Послушай, не кончится это добром.

В эту ночь ко мне должна была прийти богиня, и мне ни с кем не хотелось ссориться. Поэтому я просто вышел, взял его за рукав и вытолкал за забор. Залаяли свирепые собаки Сатыроса, и парень ушёл.

Тогда меня окликнул старый Марко:

— Стефан, я вижу ты человек разумный и честный. И быстро стал неплохим моряком (он не знал, что я занимался в московском Яхт-клубе). Я о тебе со священником говорил. Как не пошлёт Бог доброй погоды, зайди вечером к нему в дом. Дело есть.

Она приходила всегда, только с наступлением сумерек. И вместе с ней распространялось благоухание неизвестных мне цветов. Венок из таких цветов был у неё на кудрях каждый раз особенный, цветы были разные, и затейливое плетение каждого венка было иное.

В эту ночь мы любили друг друга, мне кажется, горячее, чем всегда. Но в какой-то момент мне послышался треск сучьев и скрип гальки.

— Ты испугался? — она жарко дышала, упираясь ногами в низкие балки потолка и обхватив мои бёдра сильными ладонями. И бесконечно, казалось мне, я погружался в её пульсирующую, судорожно стискивающую меня, обжигающую глубину.

Но мне стало не по себе. Я остановился.

— Я не испугался, но старик Марко может испугаться, ведь обязательно залают собаки. Возможно, это идёт посчитаться со мной один пьяный сумасшедший.

Мы говорили шепотом, и ей стало смешно. Пальцами, в которых была какая-то волшебная мощь, она ласково прикасалась ко мне, и силы ко мне вернулись.

— Забудь его. Его уже нет. А за что он хотел посчитаться с тобой?

— Богиня, — я всегда её так называл, — великая богиня! Не принеси вреда девушке, которая совсем ни в чём не повинна.

— Какая девушка опять? — гневно спросила она.

— Просто её жених — сын богатого человека, которого этот трус боится ещё больше меня, а ему нужно показать, что он драться умеет, так он для храбрости вина напился.

— Он боялся, и ему было нужно, — сказала она, — больше он уже никого не боится, и ничего ему не нужно. Девушка будет невредима. Сегодня я уступаю тебе. Возьми же меня в руки так, как я это люблю и войди в мою самую тайную бездну, туда, куда ты не мог ещё проникнуть, а сегодня сможешь, потому что я этого хочу. Тогда всё исчезнет, кроме тебя и меня, до рассвета!

На рассвете, когда она ушла, прямо у входа в сарай я наткнулся на труп этого бедолаги Касоса. Он получил такой страшный удар в лицо, что его с трудом узнали.

— Стефан, — хрипло кашляя, кричал мне хозяин. — Иди в харчевню и шевели их там, чтоб живее накрывали на столы.

Полиция будет через час. Слушай и запоминай. Отец твой Янаки Костанакос, его тут все знали, он в море погиб, а мать… Чёрт возьми, ты всего не запомнишь…

— Запомню, — сказал я.

— Мать твою зовут Рафаэла, она итальянка и, хоть это вряд ли тебе приятно, она была женщиной не слишком строгих нравов. Когда она уехала, тебе было не больше трёх лет, а отец твой, когда с лова не вернулся — лет пять тебе было. Парень, за которого я выдаю тебя, смылся отсюда тоже ещё сосунком. Сел на пароход и ушёл в Афины. Ну, это моя вина как местного мэра, что на тебя документы не оформил. Повтори мне имена.

— Николо Костанакос, Рафаэла.

— Ты, действительно, живёшь у меня в сарае. Возвращаясь с танцульки — десять человек подтвердят, что ты там напился, как свинья, и драться ни с кем не мог — возвращаясь с танцульки, наткнулся на этого бесноватого, уже мёртвого, и стал орать с перепугу, как сумасшедший. Я скажу комиссару, что парень ты в море толковый и нужный. Людей не хватает, особенно молодых парней. В харчевне не вздумай никому ничего подавать, я тебя посылаю туда, чтоб ты толковей распорядился. Сядь спокойно у окна со стаканом. Он сам тебя подзовёт.

Полицейский катер пришёл часа через два. Инспектор был местный уроженец. Это сразу стало видно, когда он окликал многочисленных родственников.

— Подойди сюда.

Я встал, не торопясь, и прошёл через весь небольшой зал и остановился у столика, за которым сидели Сатырос, священник, школьный учитель, смотритель маяка и местный механик.

— Вынь руки из карманов, — сказал мне механик. — Распустились.

Этот инспектор был пожилой человек, очень толстый, очень сильно уже приложившийся к бутылке, судя по цвету лица, и совсем не страшный, хотя он строго хмурил белые брови, упираясь кулаками в колени.

— Не смей пьянствовать, у тебя отец был человек, достойный, ты похож на него — такой же здоровяк, а о матери твоей мне не пристало говорить в твоём присутствии, — сказал он. — Ты отвечай на мои вопросы. У Касоса Николаи были враги в этой деревне?

— Откуда мне знать, господин комиссар, — сказал я. — Ведь мы с ним не работали вместе. Я на ботах господина Сатыроса, а он на сейнере господина Горавара.

— К стати, — обратился инспектор к Сатыросу, — как они ловят на этом сейнере?

— Мне никогда не нравился траловый лов, господин инспектор.

— Парень, что встал? Тебе заняться нечем? — грозно спросил смотритель маяка.

Когда прошло несколько дней после похорон, я оделся в костюм, купленный на плавучей ярмарке, заходящей изредка на Киприду из Фамагусты, начистил тавотом сапоги, выгладил чистую белую рубаху, как сумел, и отправился к отцу Стефану.

Я рассказал ему, что за несколько часов до несчастия Марко Сатырос велел мне прийти к нему для какого-то важного разговора.

Старик угостил меня великолепным мёдом с особенным горячим напитком, приготовление которого известно только на Киприде — гаранза.

— Мальчик, — сказал он мне с добродушной улыбкой, — кто выпил гаранзы с мёдом, тому около часа нельзя на улицу выходить. — Это не обойдётся без воспаления лёгких.

Старик, проживший всю долгую жизнь в таком месте, был, как ни странно, стеснителен.

— Я должен вам признаться, — он был со мной неожиданно официален, — что господин Сатырос сам говорил со мной о предстоящем разговоре.

— Конечно. Он сказал мне, что сперва с вами поговорит.

— Это нередкое явление, когда человек, которого считают сумасшедшим, одновременно пользуется доверием окружающих. В Истории многие из таких людей сыграли значительную роль. Ко мне это, к счастью, не относится. Вы учились? Некоторые разведчики сами получают и детям своим стараются дать неплохое образование. Право же, господин Стефан, я не знаю, как мне к вам обращаться. Давайте в минуты уединения я буду называть вас Степаном, как вас в действительности, вероятно, и зовут. Так вот, Господин Степан. Около недели тому назад Марко Сатырос, мой старый друг и собутыльник, вынужден был поехать в Никосию, в больницу, оттуда — в Афины. Результаты были печальны. У него весьма запущенный рак лёгких с многочисленными метастазами, что не даёт никакой надежды на благополучный исход.

Далее. Его единственной наследницей была Екатерина Нико, погибшая здесь недавно в результате несчастного случая. Вы это знаете. Возможно, будь у Марко желание найти ещё кого-нибудь из законных наследников, имело бы смысл действовать в этом направлении. Но он этого не хочет. Он хочет завещать всё своё движимое и недвижимое имущества вам. Юридически я не имею права спросить вас о причинах столь странного решения. Но вы

произвели на меня хорошее впечатление, и задам этот вопрос в такой форме: Что вы об этом думаете?

Некоторое время я сидел, как оглушённый, а потом сказал:

— Отец Стефан, а у вас водка есть?

— Есть, и я её вам немедленно налью, как только получу ответ на этот вопрос.

Волшебная сказка (окончание)

— Раз как-то в море старый Марко поскользнулся и чуть за борт не упал. А я его за шиворот удержал.

— Н-да… Он поскользнулся, его за шиворот. А между тем речь-то идёт по самым предварительным подсчётам о пятнадцати миллионах долларов, не считая недвижимости.

Мы отправились вместе с отцом Стефаном к Марко. Тот сидел с бутылкой вина. И он сразу помахал мне рукой:

— Наше вино, кипрское, даже и при раке рекомендуют. Это ж чистое солнце! Море, небо, солнце! Сынок, мы с тобой сейчас идём в Афины. У меня там хороший друг в онкологической клинике. Быстро починит меня. Этот рак проклятый я заработал в тунгусской тайге, далеко на Севере, это было в плену. Всё от того, что при минус пятидесяти градусах по Цельсию дышать воздухом могут только… твои земляки. Ты не обижаешься? Среди них я знал неплохих ребят. Хотя и всякой сволочи там хватало. Мы тут немного поболтаем с отцом Стефаном, а ты пока иди расчехляй бот и запускай двигатель. Бултыхаться в море мы не долго будем. Всё, что даст нам инженер Рудольф Дизель и ветер, а ветер, сегодня попутный, всё это мы пустим вперёд, потому что у твоего хозяина дела не вполне благополучны, их надо в порядок привести. Ты будешь за старшину бота. Я — так, на подхвате. А вернее всего усну. Спать хочу, очень много выпил, а в Афинах куча дел.

До Афин мы добирались не больше двух суток. Ветер переменился, а то б ещё скорее были там.

— Ты умеешь обращаться с чековой книжкой? — спросил меня хозяин. — Чек заполнить сумеешь? Времени мало, нам ещё надо поговорить, — но я ни разу в жизни чековой книжки в руках не держал.

Ему, похоже, было совсем плохо.

— Слушай парень, — сказал он таксисту, — какие здесь деньги ходят? В отеле примут доллары?

— Официально драхмы, но доллары есть доллары.

— Поехали в какой-нибудь приличный отель, только, чтоб не слишком шумно было за окнами. Но и не слишком далеко. И чтоб это был не публичный дом — со мною молодой человек.

И вот мы приехали в отель. Не успел я втащить чемоданы, как Марко упал на ковёр. Он то и дело плевался кровью. Скорая помощь приехала через полчаса.

— Слушай, Степан, — сказал мне Марко, — я знаю, как твоё настоящее имя. Мне да русского не узнать! Парень ты, однако,

очень хороший и мне к тому же вещий был сон. Богородица велела всё, что есть, завещать тебе. А может это была и не Богородица. Когда такие боли, я ещё буду разбираться. Като померла, а она признавалась мне, что влюблена в тебя и просила, чтоб я её выдал за тебя. Я её, как родную дочку любил. Своих детей Бог мне не дал, и я хочу волю её исполнить, хотя б таким способом. Ты будешь не моим, а её наследником. Она славная девка была. Да в проклятом месте живём. В лесу повстречался ей какой-то человек-козёл, про которых тут болтают старухи, а вернее всего просто что-то почудилось. Она испугалась. Не за себя испугалась девка — за тебя, потому что дураки здесь придумали, будто Афродита сделала тебя своим любовником, а она, видишь ли, очень ревнива. Всё это глупости. Ты мне один раз жизнь спас в свежую погоду, помнишь? Я поскользнулся, и сейчас меня б рыбы уж объели, будто скелет, что стоит в национальном музее в Никосии. Кому ж, кроме тебя, мне завещать своё добро? Вот чемодан, в котором все документы, честь по чести, в том числе твои, оформленные правда задним числом, но в такие времена никто на это внимания не обращает. По паспорту ты Стефан Костанакос — на его настоящего сына от этой распутницы Рафаэлы свидетельства о рождении не оформляли. Я всю жизнь на Киприде проторчал, потому что мне не хотелось, чтоб меня раздели ребята из Фамагусты или Никосии. Ну вот и дождался! Кто бы мог подумать. Слушай! Как всё оформишь у нотариуса, а на нотариуса денег не жалей… да смотри в Никосии, а не в Афинах, олух! Здесь Греция, а не Кипр. Сразу всё переводи со счёта на счёт небольшими суммами в разные банки. Здесь у тебя наличными всего сорок тысяч долларов. Знаю, ты устал. Можешь их прогулять. Но я знаю вашу русскую слабость к водке. Осторожней. А с девками ещё осторожней. Вообще осторожней. Найми надёжного парня, чтоб он тебя не ободрал и плати ему не слишком много, чтоб у него аппетит не разыгрался. Найди в Фамагусте человека по имени Паоло, имя итальянское, но он американец. Всегда сидит в баре «Марино». На меня сошлись, он мне доверяет. С ним выпьешь в мою память. Он всегда неразбавленный виски пьёт, — Марко старался улыбаться. — А я ведь знаю, что ты к ней в горы ходил, и что она к тебе приходила в посёлок. Это она ведь убила этого идиота Николаи. Такой удар! Это не человеческой рукой было сделано. Я завидовал тебе. Всю жизнь в горы хожу, а её не встретил. Это, наверное, за то что я слишком много вина выпил со священником… Я пошутил. Я в это не верю…

Вошли санитары. Марко Сатыроса увезли, и он умер, как мне потом сказали, в машине Скорой Помощи.

Мне срочно нужно было заправить двигатель бота, идти в Фамагусту, оттуда ехать в Никосию и заниматься там делами. Но тут я вспомнил, что Марко сам советовал мне погулять в Афинах. Я позвонил, и пришла горничная.

— Слушайте, уважаемая, — сказал я. — Я, видите ли, с товарищем собирался на рыбалку, а тут это несчастие… Мне просто не в чем на улицу выйти, посмотрите, как я одет.

— Это очень просто решается, — улыбаясь, ответила она, — в том случае, если у господина есть деньги на подобные услуги. Через пятнадцать минут сюда прибудет бригада модельеров, и вы в течение часа будете одеты с ног до головы — сорт а пай, как говорят наши беспокойные соседи турки. А пока вам не помешала бы ванная, душ, парикмахер, массажист и так далее. Только всё это вместе будет стоить никак не меньше трёх тысяч долларов, не считая стоимости номера.

Порывшись в чемодане, я нашёл там вместительный кейс, набитый деньгами, и протянул ей пять пачек в банковской упаковке:

— Пусть это будет пять, но очень хорошо.

— Девушку?

Я покачал головой.

— Мальчика? Что-нибудь более пикантное?

— Чёрт бы тебя побрал, девка, у меня только что умер товарищ. Он был моряк, мой капитан.

— Простите, мне пришло в голову, что в таких случаях бывает полезно отвлечься.

— Пришло тебе в голову? — я посмотрел на эту голову в забавных кудряшках.

Она плохо говорила по гречески. Студентка. Приехала из Оксфорда немного подработать. Очень мило.

— Тогда мы сделаем так: Держи ещё пачку и раздевайся.

— Нет, вы так не смеете…

— Ты смеешь предлагать мне всякую мерзость, а я не смею? Почему? Потому, что я простой рыбак, киприот, а ты изучаешь… Что там ты изучаешь?

— Доклассический период эллинской культуры. Это тема моей курсовой. А то, что я предложила вам, действительно, мерзко, но, к сожалению, входит в список услуг, которые здесь очень популярны. Мне, однако, следует сделать заказ, если вы, вообще, собираетесь переодеваться не до вечера. Пока прошу в ванную. Через минуту туда придёт массажистка, и мы увидим, насколько вы нравственно тверды в такую минуту.

— Почему?

— Эта массажистка — она из Ирана — очень красивая

женщина.

— А ты — некрасивая?

— А вот это уже… неблагородно с вашей стороны! Меня сюда взяли только потому, что я знаю несколько языков. Да и то скоро выгонят из-за таких вот случаев.

Она была красива, как только может быть красива не девушка, а ещё девочка — с глазами, светло-карими, ярко блестящими, вытаращенными изо всех сил, чтобы ничего не пропустить и не зажмуриться, когда будет слишком интересно, или слишком страшно. Но она была неловка и угловата, и не вполне ещё сформировалась как сильная женщина, а черты лица её, хотя и были правильны, но мимика, нервная, робкая, внезапная — для недоброго взгляда казались некрасивы. А у кого в номере отеля добрый взгляд на горничную? Я посмотрел на неё добрым взглядом, и вдруг откуда-то издалека услышал удар серебряного колокола. Измен богиня не прощает.

— Как вас зовут?

Она ответила:

— Марлен Грин, к вашим услугам, сэр, — и слегка присела, скрестив худенькие, почти детские ещё, но соразмерные, изящные ножки, прихватив кончиками тончайших пальцев кружева передника.

— Марлен, скажите, пожалуйста, персидской массажистке, что у меня аллергия на массаж, и ещё сильнейшая инфекционная экзема, и кроме того, я импотент. Ванную я сам приму, а где ваша бригада модельеров?

— За этими разговорами я ещё не вызвала их. Простите, сэр, — сказала она со счастливой улыбкой.

— Хорошо, поторопитесь! — вдруг строго сказал я.

Это был страх. Я боялся дальнего звука серебряного колокола. Богиня измены не прощает. Мне можно вызвать в ванную персидскую массажистку так же, как богиня предаётся любви со своими козлоногими возлюбленными. Но эта девушка. Её тёмные глаза с пушистыми ресницами, её робкая извинительная улыбка и неловкое движение руки, когда она поправила упрямые кудряшки — это измена.

Через полтора часа я уже был похож на первостатейного американского плейбоя. Я вернулся в отель к утру, совершенно пьяный, и тут же спросил, где горничная, госпожа Грин.

— Марлен давно сменилась, — сказал портье. — Но вы знаете, совсем недавно я её видел, — он лукаво улыбался, — на вашем шестом этаже. Не знаю, что она там делала.

Действительно, девушка ходила по коридору.

— Я хотела узнать, когда вы вернётесь, — сказала она,

неловко подёргивая тоненьким плечиком. — Это очень глупо, правда? Просто мне было любопытно, я ведь ничего ещё не знаю…

— Чего вы не знаете?

— Например, что вы делаете с этими вашими женщинами, — у неё всё время глаза были на мокром месте, понимаешь, огромные карие, блестящие глаза девочки, полные слёз. — У нас был один студент, и он хотел… он однажды пришёл ко мне в комнату и сказал, что хочет жениться на мне. И он усадил меня на диван…

— Давайте кофе пить, — сказал я. — Я знаю, что хотел сделать студент. Но, по-моему, у него ничего не получилось. Верно? Садитесь. Этот студент просто не с того начал. На диван-то он правильно вас усадил, а потом нужно было предложить вам кофе, а он вместо этого что стал делать? — я смеялся, и она стала улыбаться сквозь слёзы.

Мы молча пили кофе, и смотрели друг другу в глаза. Ей, видно, очень хотелось рассказать мне про этот единственный в её жизни случай, когда она думала, что потеряет невинность.

— Он стал целовать меня, но, кажется, ему это совсем не нравилось, ещё меньше, чем мне. Потому что он боялся ещё больше, чем я, — она засмеялась. — Потом он хотел поднять мне юбку, пытался лифчик расстегнуть, но он не знал, как это делается, руки у него дрожали, а я отбивалась. Он тогда заплакал. Да, он заплакал. А мне было смешно, — она с гордостью сообщила мне об этом. — Я, наверное, совсем злая и бессовестная, но мне было смешно. И всё же мне его было жалко. А у вас так не бывает никогда — смешно и жалко?

Я совсем протрезвел, глядя на неё и слушая её болтовню. Никакого грозного колокола я больше не слышал. Всю ночь он трепетала и билась в моих руках, и эта любовь не утихала ни на мгновение. Ни разу мы глаз не сомкнули. Тело её было слабо, неловко и сковано стыдом, который её не покидал, пока не приходила её краткая минута. Тогда она стонала и вздыхала. Голос её любви был очень тих, и робок. Но он был так нежен, вся она была так беззащитна перед лавиной, которая накрывала её в эти мгновения, что я от этого с ума сходил. Я совсем забыл о причудливых, исступлённых и безумных ласках великой богини.

Под утро она уснула. Уснула мгновенно. Некоторое время я смотрел на неё, а потом встал, накинул халат и подошёл к бару, чтобы выпить. Со стаканом в руке я обернулся и вдруг увидел, что в ногах её сидит мальчик. Просто мальчик, голенький совсем, лет пяти. Он был очень красив, и я сразу понял, кто это. Кудрявые волосы его были из чистого золота. Сначала он долго смотрел на

Марлен, а потом повернулся ко мне и посмотрел мне в глаза огромными синими глазами своей матери. И улыбнулся. Улыбка эта была совсем не детская и очень недобрая. Потом он растаял в воздухе. Я его только что видел здесь. Но теперь уж наплевать. Я избавился от её залога и свободен.

Наутро я сказал Марлен, что ухожу по делам на Кипр. Я буду звонить ей в отель каждый день, а потом вернусь к ней в Афины. Я сказал ей, чтобы не приходила ко мне на Кипр. Я очень настойчиво уговаривал её не приходить.

— Наверное, на Кипре у тебя есть другая женщина или жена, — грустно сказала Марлен.

— Этого нет, — сказал я. — Но, девочка моя, я живу не на Кипре, а на маленьком рыбацком островке Киприда, неподалёку от Кипра. Сейчас я неожиданно получил огромное наследство, и поэтому у меня там полно врагов, и я за тебя там боюсь, там опасно. Мне дела нужно закончить и уезжать отсюда в Штаты. Я надеюсь, что ты поедешь со мной, и мы никогда больше не расстанемся, если только ты сама меня не оставишь. Я хочу, чтобы у нас были дети, хороший дом и спокойная, безбедная, счастливая жизнь. И всё это я могу тебе дать, если ты сама мне не помешаешь. Жди меня в Афинах. Никуда отсюда не уезжай, обещаешь?

Она только плакала и цеплялась за меня. Наконец, мы кое-как распрощались. Я добрался до порта и вышел в море. На моём боте до Фамагусты я рассчитывал дойти за двое-трое суток, а носило меня неделю, потому что задул такой ветер, что идти можно было только галсами и я замучился вычёрпывать воду — при повороте судно накрывало волной через самую надстройку. И всё время, пока я шёл туда, мне слышался в море серебряный колокол.

В Никосии я очень просто и быстро подтвердил свои права на наследство. Всё движимое и недвижимое, что принадлежало моему покойному хозяину, теперь было моё. Я нашёл американского итальянца Паоло, парень казался толковым и надёжным. Мы переговорили с ним о покупке хорошего современного траулера, на котором можно было бы выходить на сардину в Атлантику, и он взялся подыскать мне такую посудину понадёжней и подешевле.

Когда я вернулся на Киприду, там стояло небольшое судно, принадлежавшее одной афинской туристической фирме. Марлен стояла на пирсе, а рядом с ней был отец Стефан, который крепко держал её за руку. Вышел я на пирс, и сразу где-то вдалеке морские девы затрубили в свои раковины.

— К плохой погоде, — сказал кто-то.

Марлен вырвала руку у старика и повисла на мне. Она в меня так вцепилась, что куртка затрещала по швам.

— Здравствуй, Стефан, — сказал священник. — Я поздравляю тебя. Ты теперь богатый человек и уже успел раздобыть себе такую красавицу, с которой много будет хлопот. Ты знаешь, что это — там, в море?

— Знаю, — сказал я.

— И ты не боишься?

— Помогите мне девушку сберечь.

— Тогда пусть она живёт у меня. И ты приходи, когда захочешь, дом у меня большой. Только уж, хочешь — не хочешь, а я вас обвенчаю по православному обряду, иначе нельзя, всё-таки я духовное лицо, и у меня не дом свиданий, а обвенчаетесь и можете не расставаться. Зато у меня в доме вам не грозит встреча с хозяйкой этого острова и этого моря.

— О ком это он говорит? — спросила Марлен.

— Старое поверье невежественных рыбаков, — сказал старик. — Эти люди считают, что, когда женится молодой парень, Афродита, которая живёт в этих горах, гневается, потому то она очень ревнива. И поэтому молодые женщины здесь никогда не ходят в горы. Это, кстати, действительно, опасно.

Он обвенчал нас по всем правилам. Я ведь крещёный. Мы с Марлен прожили у него в доме несколько дней. Никогда в жизни мне не было так хорошо. Когда мы уставали от любви, выходили на просторную веранду, где отец Стефан поил нас кофе, угощал вкусным печеньем своего изготовления и рассказывал разные старые басни. Потом мне позвонил Паоло из Фамагусты. Он сказал, что из Ашкелона пригнали отличное судно с кормовым тралением, японской постройки, ещё до гарантийного ремонта. И совсем недорого. У него уже была предварительная договорённость, и мне следовало быстро идти в Фамагусту оформлять купчую, потому что желающих много.

— Я тебя только прошу, никуда из посёлка не уходить. Не только в горы, но и к морю лучше не подходить близко.

— Неужели ты веришь в эту легенду? Какой ты смешной. Но я сделаю всё, как ты сказал. Никуда не пойду. Мне очень интересно с этим стариком. И совсем спокойно.

Марлен огорчилась, что я ухожу, но совсем не испугалась. Она всё время повторяла:

— Ты же не можешь постоянно держаться за мою юбку. У мужчин много дел, а жёны их ждут. Вот и я буду ждать.

В Фамагусте мы с Паоло за два дня проверили на пароходе, буквально каждую заклёпку. Потом я подписал документы. Судно оставалось в порту за небольшим текущим ремонтом, который

Паоло должен был проследить. И я вернулся на Киприду. Когда я возвращался, море было спокойно. Не слышал я никаких морских дев и никакого колокола. Но когда я на боте стал подходить к посёлку, увидел на пирсе толпу народа. Отец Стефан плакал. Он обнял меня за плечи и повёл к себе домой.

— Ты простишь меня, сынок? Я за ней не уследил. Она слышала голос этого демона, его зов, и не могла перебороть его. Ушла в горы. Там её затоптали козы. Все удивляются, козы никогда не нападают на людей, даже во время гона. Всё вокруг было истоптано козьими следами. Только мы с тобою знаем, что не козы это были. Что они сделали с ней, Пресвятая Богородица! Тебе, пожалуй, лучше не смотреть.

Марлен лежала в церкви, и мужчины по очереди читали над ней молитвы. Её лицо было прикрыто белым платком. Я протянул руку…

— Не смотри! — наперебой сказали сразу несколько голосов.

Но я откинул платок и долго смотрел. Потом я пошёл в дом Сатыроса, открыл дверь своим ключом и снял со стены карабин. Я ушёл в горы и несколько дней там бродил. Никого я там, однако, не встретил, и даже стада коз куда-то делись. Но когда я стал возвращаться, передо мой появился проклятый мальчишка. Я тут же выстрелил. Я стрелял почти в упор. Раздался смех, мальчик пропал, и по камням покатились звонкие золотые дробинки. А он опять стоял передо мной и улыбался. Я бросил карабин и побежал. Меня преследовал злой смех. Невозможно его забыть.

Наутро следующего дня в Киприде ошвартовался катер, который мы было приняли за полицейский, но они несли вымпел спецподразделения по борьбе с наркоторговлей. Я бы и внимания не обратил, но они пошли сразу к дому Марко Сатыроса. Офицер попросил у меня паспорт.

— Вы, значит Стефан Костанакос? На днях вы получили большое наследство. Вчера вы вернулись сюда из Фамагусты. Вот ордер на обыск вашего дома.

— А что вы ищете?

— А вы не знаете?

Как только эти ребята спустились в подвал, они сразу обнаружили там мешок, в котором было больше сорока кило героина. Этого мешка там не было ещё вечером. Меня отвезли в Никосию, и очень быстро я получил тридцать лет тюрьмы. Тридцать лет! Я их отсидел от звонка до звонка, потому что по таким преступлениям на Кипре помилование не предусмотрено, и срок не сокращают за хорошее поведение.

Только небольшую часть моих денежных вкладов удалось конфисковать, потому что я поступил именно так, как советовал

мне мой покойный хозяин. Деньги сохранились, их оказалось немало. Выйдя из тюрьмы, я сразу уехал в Штаты. И жил там последние несколько лет. Всё это время локон золотых волос богини был со мной. Очень просто. Я его накануне ареста зашил в ворот рубахи. Когда выходил из заключения, все мои вещи мне вернули, вместе с этим сокровищем. Почему я так им дорожил? Да я знал, что так просто мне от него не избавиться, и если выбросить или потерять, он вернётся с какой-нибудь ещё новой бедой. В тюрьме мне один человек посоветовал закопать его в освящённую землю под могильный крест. Сделать это в Штатах мне не удалось.

— Почему? — спросил я.

— Миша, в любой стране мира, кроме России, в этой ситуации может быть только одно из двух. Или сообщат полиции, это вернее всего, или, получив заработанные таким способом деньги, в удобный момент вернутся и откопают золото — как ни как, а почти триста грамм. В России же, точнее в бывшем СССР, такого быть не может. Потому что Россия страна дураков, и здесь верят в чудеса, — он немного молчал, а потом вдруг добавил. — Ну вот и конец, кажется.

Степан сунул руку в карман и вытащил увесистый кожаный бумажник. Оттуда он извлёк небольшой листок, на котором что-то написал, потом, подняв на меня глаза спросил:

— Фамилия твоя Шнурков, правильно? Ну вот. Чек именной. Не потеряй, однако, его невозможно будет восстановить. Десять миллионов долларов. Всё, что у меня на сегодняшний день имеется в Швейцарском национальном банке. Эту сумму можешь расходовать, как тебе заблагорассудится. Повезло тебе. Но и мне повезло. Освободился я, в конце концов…

И тут на нём одежда загорелась. Как-то слишком быстро загорелся костюм, будто его соляром облили. Волосы загорелись. Он страшно закричал. Язык пламени слизнул и чек, который уже принадлежал мне. Прибежали люди — вместо моего старого приятеля пылал факел до самого почерневшего потолка…

Дальше есть два варианта. Это уж кому, как понравится. Первый вариант:

— Ну, ты и спишь, — сказал бригадир, слегка толкая меня сапогом…

Второй вариант. Наш герой идёт откапывать золото. Ночь, кладбище, а на месте, где захоронено сокровище, сидит местный милиционер и говорит ему:

— Ну, чего припёрся? Думаешь ты один такой умный?

Если вам всё это не понравилось — можно ещё что-нибудь придумать. Придумать можно всё, что угодно. Придумывать очень

просто. А дело-то не в этом, а в том, почему так скучно жить на свете, господа? Ответ напрашивается: Потому что чудес на свете не бывает. И это б ещё полбеды. Выясняется, что их и прежде никогда не было. И, наконец, самые последние данные современной науки свидетельствуют о том, что чудес, собственно, и не могло быть, поскольку чудеса в корне противоречат таблице умножения. А из этого следует, что чудес никогда и не будет. Вот это уже печально. До того, понимаешь, досадно, что так и подмывает сбегать за бутылкой. Ну, ребята, давайте я сбегаю, только у меня денег нет…

Сказка про губернатора, священника и токаря — 1

Мне предложили открыть свой сайт в Интернете, поэтому до середины февраля я редко буду здесь появляться. Нужно ведь ещё подготовить этот сайт.

А это снова что-то вроде сказки. Целиком не лезет — в два приёма приходится её заталкивать сюда. Я потому стал думать про свой сайт. Но я не ухожу из ЖЖ, и журнал мой остаётся, по-прежнему буду небольшие материалы сюда посылать.

* * *

Город Борск (современное название), что на севере Европейской части РФ, в настоящее время, как, впрочем, и прежде, является областным центром. Подробные данные о промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, состоянии дорог, достопримечательностях, возможно заинтересующих туристов, гостиницах, дорогах и т. д. можно почерпнуть в Интернете, воспользовавшись ссылкой www.Borsk.ru.

Если кто по-настоящему интересуется отечественной Историей, конечно, помнит этот странный случай с княгиней Ефросиньей Яроборской, как она жеребёнка родила, и была за это мужем своим, князем Андреем Гориславичем Яроборским по прозвищу Соколиное Перо, заключена в монастырь, а оттуда бежала с неким человеком низкого звания и затем уж в памяти народа затерялась. Это произошло, если только память мне не изменяет, в начале XII столетия. Летописец рассказывает, что уродившийся жеребец был благородных кровей, и славный князь Андрей Соколиное Перо всегда именно на нём в поле выезжал. Он и погиб в несчастном сражении при реке Шуге именно на этом коне, с которого его арканом стащил меткий кочевник. И князь был саблями изрублен в куски, а хан Рузяк взял по обычаю тех дней коня себе.

При Великом Государе императоре Петре Алексеевиче I город был переименован в Царёвоборск. Потому что он, вернувшись из Азовского похода, повелел там строить большой кирпичный завод. Переименование это состоялось, и городу дарован был даже новый герб в ознаменование этого события, а что касается завода, то построить его не удалось. Глина, на которой стоял город, и та, что удавалось добыть в окрестностях, совершенно

оказалась к обжигу кирпича не пригодна. Это похоже на события известного рассказа Платонова «Епифанские шлюзы». Только в нашем случае, поскольку затраты не были слишком велики, а может государь был в добром расположении духа, он до палача дела доводить не стал, а просто автора проекта убил ударом кулака.

После революции Царёворборск был переименован в Каменевск. Потом в Косыгинск. А уж после 91 года встал вопрос: Как же, в конце концов, назвать этот город, чтоб навсегда? Тут случился Борис Николаевич Ельцин. Он ездил в те края охотится на кого-то или на что-то, словом на охоту. И он спросил:

— А почему Косыгинск?

И, узнавши, что город названия менял уже несколько раз, повелел назвать его просто Борском.

— Проще-то оно всегда лучше, — сказал тогда наш премудрый первый Президент России.

Кто может с уверенностью утверждать, что он был неправ?

На севере Борской области есть небольшой районный городок Свято-Каменск. Он так назван по имени Свято-Каменского монастыря, построенного после войны 1812 года, в честь победы над французами. После того, как в 1930 году монастырь был спалён, город долго назывался Красно-Каменском. Но, когда монастырь восстановили в 1998 году — вернулось старое название. Единственной достопримечательностью Свято-Каменска ещё с 1902 года был вагоностроительный завод, на котором и трудились в большинстве своём жители этого скромного города. Если все эти обстоятельные сведения вам уже надоели, давайте перейдём к делу.

Одна очень порядочная и энергичная женщина, жена директора Райторга, она же заведующая Свято-Каменским (тогда ещё Красно-Каменским) РОНО, приватизировала радиоузел городского Парка культуры, и случилось это тогда, когда ещё очень немногие граждане СССР доподлинно знали, что, собственно, означает слово приватизация. Она воспользовалась этой недвижимостью не столько для общественных, сколько для личных и даже, можно сказать, совершенно интимных целей, безрассудно увлекшись одним очень молодым и оттого совсем бессовестным футболистом.

Поскольку всю аппаратуру радиоузла сотрудники Парка культуры пропили, а частично привели в негодность ещё в застойные времена, она в этом опустевшем просторном помещении сделала евроремонт и оборудовала всё необходимое

для тайных встреч со своим непутёвым возлюбленным. Она была женщиной большого масштаба и живой фантазии, и поэтому там был даже бассейн, джакузи, кондиционер, миникинотеатр и многие другие чудеса новейшего времени. Ключи от этой райской обители греха она всегда держала у себя в служебном сейфе, но глупый футболист у неё эти ключи похитил и устроил в бывшем радиоузле пьянку с дракой и даже поножовщиной, пригласив туда всю сборную по футболу своего родного города. Это дело стало предметом городских сплетен. А её муж, сначала хотел обоих за это убить, и вёл на этот счёт совершенно серьёзные переговоры с начальником Уголовного розыска ГУВД (тогда это уже входило в моду, будто в средневековом Мадриде). Однако, тот что-то уж слишком дорого запросил за всю операцию. Тогда оскорблённый муж вовремя опамятовавшись, и, опасаясь предательства со стороны упомянутого начальника, горько покаялся в Райкоме. Городские власти хотели их всех за это исключить из Партии, а может и посадить в тюрьму, да что-то пожалели, не сразу решились, замешкались, а тут и Партии не стало, и Райком, естественно, исчез.

Зато потом женщину ту сделали Главою Районной Администрации, мужу подарили 51 % акций Вагоностроительного завода, а футболиста женили на престарелой директрисе районного Универмага, чтоб он был под надёжным присмотром. Но на посту Главы Администрации Свято-Каменска почему-то оказалось скучно жить, наша героиня уехала в Бразилию, там вышла замуж за гражданина республики Молдова, который покинул своё отечество в трагический момент приднестровского конфликта с целью избегнуть призыва в вооружённые силы республики. У этого молодого человека было всего одно достоинство, но столь ценное, что полностью искупало все его многочисленные недостатки, в отличие от футболиста, у которого это достоинство хотя и было не менее ярко выражено, но проявлялось всегда как-то невпопад и часто в совершенно нежелательном для влюблённой женщины направлении, а недостатки-то были те же самые.

Но когда счастливые молодожёны приехали из Бразилии в Свято-Каменск погостить, женщину эту привлекли к уголовной ответственности за двоемужество, превышение должностных полномочий, контрабанду и злостное уклонение от налогов. Но она, не смотря ни на что, успешно баллотировалась в губернаторы Борской области и стала сенатором, потому что должность Губернатора и члена Верхней Палаты Парламента не так скучна, как должность Главы Районной Администрации — значительно ближе к самой настоящей власти, а власть, как

известно, пьяней вина.

* * *

А Юрий Сергеевич Ранцев ровно пятьдесят лет проработал токарем на Свято-Каменском Вагоноремонтном заводе. И последние лет тридцать у него был шестой разряд.

Пятьдесят лет, века половина. Когда его на пенсию провожали, ему исполнилось шестьдесят семь лет. К тому времени завод уже не мог в плановом порядке регулярно производить ремонт подвижного состава Борской Железной Дороги, как это с его основания в 1902 году было задумано, а затеяли реконструкцию, то есть демонтаж, модернизацию и перепрофилирование, поэтому никому зарплату не платили, и ходить на работу было необязательно. Эта реконструкция шла полным ходом эдак, чтобы не соврать, лет десять.

Сначала, во времена баснословные, ещё на самой ранней заре Перестройки, приватизировать такую махину казалось наивным жителям Свято-Каменска (тогда всё ещё Красно-Каменска) слишком уж громоздким и дерзким предприятием. Завод это ж не радиоузел. Но люди, инициативные, уже в тот исторический момент понимали, что от ремонта вагонов большой прибыли не будет, и единственный выход — это воспользоваться территорией, производственными мощностями, помещениями и оборудованием предприятия для изготовления предметов широкого потребления.

— Зачем ремонтировать вагоны? Кто их будет покупать? — наивно, но совершенно искренне спрашивал тогда Председателя Райсовета некий энергичный, красноречивый и самоуверенный человек, приехавший в Свято-Каменск из Ташкента, где он долгое время заведовал грандиозным ташкентским рынком. Никто толком не знал, как его зовут. Он откликался на имя Рудик. — Я предлагаю запустить такую, знаете ли, автоматическую линию, с которой потоком пойдут вакуумные скороварки, тифлоновые сковороды, велосипеды и различные детские игрушки для городского населения, автоматы Калашникова для теневой экономики, а для международного терроризма миномётные установки и взрывные устройства — ведь, если не учитывать всего объёма отечественного спроса, можно прогореть. Будете меня слушать, и мы все озолотимся. А с вагонами придётся подождать, потому что без гроша на счету никак нам этого производства не поднять.

Но Юрию Сергеевичу до всего этого уже было, как до

лампочки. Трудовая жизнь его закончилась, возраст же ещё не был столь преклонен, чтоб ему сидеть во дворе на скамеечке и хлеб голубям крошить. Тем более, что эту скамеечку прочно оккупировали какие-то тёмные, пьяные, воинственные и очень нечистые во всех отношениях люди, которые на этой скамеечке спали вповалку, ели, пили, общались с дамами своего круга, тут же справляли свои естественные нужды — то есть просто они на этой маленькой скамеечке, рассчитанной когда-то жэковским плотником на четыре посадочных места, умудрялись жить целой ордой. Однажды Юрий Сергеевич, человек, в общем-то, компанейский и добродушный, подошёл к скамеечке и сказал:

— Мужики, может кто в шахматы или в карты?

— Нормально, — послышались голоса в ответ. — Бери, папаша, литруху для начала. А там посмотрим.

Юрий Сергеевич выпить был всегда непрочь, но, человек, совсем не жадный до денег, он, тем не менее, очень не любил угощать кого бы то ни было безответно, особенно, если это принимало формы наглого вымогательства. Поэтому он почёл за благо с той поры держаться от скамеечки подальше.

Вот вопрос, старый, как мир: Что делать человеку в таком положении? В конечном счете, каждому приходится решать его по-своему. У Юрия Сергеевича жена умерла за несколько лет до его выхода на пенсию. Трое детей — все взрослые люди — разъехались, кто куда. Старший сын, офицер, служил в далёком городе Благовещенске, он там научился говорить по-китайски, и жена его была китаянка. Средняя дочка что-то непонятное делала в Москве и, в меру часто, просила в письмах прислать немного денег. А младшенький, как в сказке, самый сообразительный, познакомился с немкой и уехал, только почему-то не в Германию, а в Турцию, потому что немка на поверку оказалась обыкновенной турчанкой, просто её чёрные волосы были тщательно вытравлены перекисью.

Искать новую подругу жизни Юрию Сергеевичу казалось уже поздно. Был один случай, когда по настоянию сердобольной соседки квартиру Юрия Сергеевича посетила, возможно, с далеко идущей целью, одна немолодая, но очень приятная и приличная женщина. Но поскольку с его стороны не последовало достаточно энергичной инициативы, они выпили по чашке чаю и мирно расстались. Заводить же легкомысленные связи — привычки не было. Но однажды он случайно прочитал в газете целую страницу таких объявлений, что неделю плохо спал и, наконец, вздрагивая душою и, путаясь трясущимся пальцем в дырках телефонного диска, позвонил по одному из указанных там номеров.

— Если нормальный секс с доставкой тёлки к тебе на

квартиру, это будет двести баксов за ночь. Это, если нормальный секс, ты усекаешь? — сказал ему по телефону сиплый от недосыпа и перепоя мужской голос. — Идёт? С ней приедет наш парень, с ним расплатишься сразу и — до утра кувыркайся. А если какие дополнительные с её стороны услуги, тогда с ней самой столкуешься, но это, конечно, подороже. Утром за ней машина придёт. Транспорт входит в стоимость услуг.

— А двести… э-э-э… баксов это сколько будет рублей?

— Считай, с утра вроде доллар был по двадцать восемь. Да, ты не стесняйся, может тебе не девку надо? Давай я мальчика пришлю. Тогда пятьсот.

— Нет, — сказал смущённо Юрий Сергеевич, чувствуя горький стыд и стеснение в груди. — Вы меня извините, конечно. Спасибо.

— Да не за что. Будут деньги, настроение — звони. Мы круглосуточно.

Тут стало ясно, что доживать жизнь придётся одному, и доживать её будет невесело. Некоторое Время Юрий Сергеевич занимался разными пустяками. Например, он несколько раз водиночку напился, но это ему совсем не понравилось, потому что с утра дрожали руки, и лопалась голова, и было очень трудно дотянуть до очередной пенсии, так что пришлось потревожить заветные запасы. Пробовал он разводить на подоконнике кактусы. Пробовал заниматься самоусовершенствованием и читать какие-то непонятные книжки, которые ему присоветовала однажды, нагрянув из Москвы на четыре дня, его легкомысленная дочка. Ни одна из этих книжек не была им дочитана до конца. Он стал смотреть телевизор, но чуть не сошёл с ума и бросил это. Он было вступил в партию ЛДПР и несколько месяцев был её активистом. Участвовал в организации грандиозного митинга у здания Районной Администрации и получил такой удар милицейской дубинкой по голове, что пришлось с сотрясением мозга месяц пролежать в больнице. Все эти занятия кое-как помогли ему прожить года три, но никак его не удовлетворили ни в каком отношении, и постепенно Юрий Сергеевич стал замыкаться в себе. Он всё чаще лежал дома на диване, внимательно разглядывая на потолке разводы давнишних протечек. И вдруг!

— Как-то раз Юрий Сергеевич вошёл в лифт с пакетом продуктов.

— Сергеич! — послышалось ему. — Погоди меня.

Его догнал старый сосед, тоже гружёный домашним продовольствием. В один и тот же день, лет тридцать тому назад они въезжали в этот дом.

— Ты в «Овощной» не заходил? Молодая картошка там почём?

— Вчера на рынке я брал по червонцу. Хорошая, крупная. Как жизнь молодая, Николай Борисович?

Николай Борисович рассказал ему горькую историю о том, как его дочка расходится с мужем, потому что оказалось, она не может забеременеть, а операция, которую предлагают, стоит пятнадцать тысяч долларов.

— Мужик-то, понимаешь, неплохой. И непьющий, и с неё пылинки сдувал. Зарабатывает неплохо. Квартиру купили. Ну что? Слезами плачет. Хочет сына. Я понимаю его. Беда.

— Сколько сейчас Верке-то?

— Тридцать два уже. Теперь не знаю выйдет снова за кого или так станет трепаться. Её ещё, как на грех, разнесло, понимаешь, как яловую тёлку, в двери не проходит. Кто позарится? Теперь в моде тощие.

— Не скажи. Хорошего, говорят, человека, чем больше, тем лучше.

— Это раньше так говорили. Теперь другое.

— А-а-а! Да ну их всех к такой-то матери. Вот пошли проблемы. Тоже, понимаешь, невезуха.

— Точно, — машинально сказал Юрий Сергеевич, — то понос, то золотуха. Она всё в школе работает?

— Она теперь в начальство выбилась. Завхоз.

— Ого!

Весь вечер, лёжа на своём диване, он думал о дочке Николая Борисовича. Когда заселяли дом, ей было годика три. Она заблудилась в огромном дворе, среди мебельных фургонов, въезжавших туда поминутно, в толпе громадных грузчиков из Трансагентства, которые самозабвенно торговались с полупьяными или просто ошалевшими новосёлами. Грузовой лифт не работал. Затащить на двенадцатый этаж, скажем, пианино с утра стоило пятьсот брежневских рублей, но к обеду цена поднялась до тысячи. Никто таких денег платить не хотел, а рабочие сидели вокруг грандиозной выпивки и матерились. И чем больше они пили, тем безнадёжней положение заходило в тупик. До драки было рукой подать. И вот, шла по этому двору маленькая девочка и плакала. Она подошла к Юрию Сергеевичу, которого звали тогда ещё просто Юра, уцепилась за его штанину и сердито спросила:

— А где моя мама?

— Найдём твою маму, — сказал хмельной Юра и взял её на руки. — Найдём. Такую маму да не найти. Тебя как зовут?

— Велочка, — сказала девочка и стала плакать.

С тех пор прошло тридцать лет. И вот она снова заблудилась, среди пьяных, глупых, жестоких и жадных людей. К тому же её предали.

Наутро Юрий Сергеевич старательно выбрился, надел свой чёрный, пропахший нафталином, костюм, годами висевший в шкафу, и пошёл в школу, где Верочка сначала училась, выучилась на уборщицу, долго работала в этой должности и, наконец, стала завхозом. Он прошёл пешком несколько кварталов и в захламленном дворе школы увидел грузовик, который разгружали какие-то люди, а распоряжалась очень полная, рыхлая, бледная и с виду нездоровая женщина, с нелепым макияжем, многочисленными золотыми украшениями, в очень ярком платье, слишком откровенном для того, чтобы скрыть от недоброго взгляда то, что когда-то так стыдно и сладко было открывать жадным взглядам молодых мужчин.

Юрий Сергеевич совсем не знал, зачем он к Верочке идёт, что собирается сказать ей и что может услышать от неё. Он остановился рядом с грузовиком и некоторое время молча наблюдал разгрузку каких-то мешков, канистр, бочек, лопат, движков, мётел и черенков к ним.

— Ничего, я сказала, здесь не складываем, а сразу разносим по местам. Вот это всё в бойлерную… — простуженным басом говорила Верочка, — О, дядя Юра! Здравствуй. Ты чего здесь?

— Верка, — нерешительно сказал старик, — отойдём на минуту. Разговор есть.

— …А вёдра — в подвал на стеллажи. Аккуратней там, покомпактней — по четыре ведра — одно в другое… — они отошли в сторонку.

— Всегда приятно пошептаться с представительным мужчиной, — сказала Вера. — Ты чего, дядя Юра, на свадьбу собрался?

И тут, совершенно неожиданно для себя самого Юрий Сергеевич негромко, с торжественной расстановкой проговорил нечто непонятное себе самому:

— Вера Николаевна! Вы скажите мужу, чтоб он глупостей никаких не делал, потому что у вас будет ребёнок, а именно мальчик, то есть — сын. Сходите в женскую консультацию.

После этого он повернулся и быстро зашагал домой, так что зря Вера со слезами и злостью немыслимой надежды кричала ему вслед:

— Да ты постой, полоумный, хоть скажи толком, что такое ты буробишь тут мне… Так, ребята, быстрей заканчивайте, и все ключи потом тёте Кате отдадите. Где водила? Давай я тебе путёвку отмечу. Меня срочно в РЭУ вызывают.

Вечером Вера Николаевна пришла к Юрию Сергеевичу, счастливая, перепуганная, заплаканная, благоухая духами и винным перегаром.

— Дядя Юра, родной! — жалобно запела она, и это басовитое пение, действительно напоминало мычание коровы. — Да ты как узнал-то? Вроде свечку ж не держал… А у меня, понимаешь, месячные не всегда точно в срок приходят, так мне и ни к чему. А ведь, будто в воду ты смотрел. Говорят, пять-шесть недель.

Вскорости после этого случая к Юрию Сергеевичу позвонил соседский сын, двадцатилетний остолоп, и пожаловался что у него ночью во дворе какие-то бандиты отобрали машину.

— Я, конечно, приехал под кайфом. Машину поставил, только вышел, подходят двое и один суёт мне в морду ствол: «Давай все документы, техпаспорт, ключи и — канай по холодку». Помоги, дядя Юра. Ты ж экстрасенс.

— Дурак! — рассердился старик. — Какой я экстрасенс тебе? Пить надо меньше. А такому, дураку, как ты, вообще, молоко… желательно кипячёное.

Но что-то удержало его, когда уж он совсем собрался вытолкать парня за дверь. Он его расспросил о машине и записал номера.

— Ты, вот что, Шурка. Иди сейчас домой и сиди там, никуда не выходи до самого вечера. И даже до утра. Понял? И никому ничего не говори.

Когда Шурка ушёл Юрий Сергеевич снова улёгся на свой диван, но лежал на нём совсем недолго. Он встал, на этот раз ничего парадного надевать не захотел и даже не побрился, а просто доехал на троллейбусе до Районного отделения милиции. В дежурке он сказал, что ему нужно срочно поговорить с начальником Уголовного розыска. Именно с начальником. Только с ним. После некоторого колебания дежурный лейтенант позвонил наверх и пропустил его. Войдя в кабинет, где за столом с несколькими телефонами, компьютером, грудой бумаг, дымящейся пепельницей сидел седой, угрюмый полковник, не сразу поднявший на него воспалённые недобрые глаза.

— Это вы хотели со мной лично говорить? Что случилось? Присаживайтесь. Говорите. Только сначала — ваши данные, имя и фамилия, где проживаете, паспорт с вами?

Юрий Сергеевич вместо паспорта положил на стол бумажку с номерами машины:

— Вот, товарищ полковник, номера машины, девятая модель, вишнёвый цвет. Куплена новой. Второй год в эксплуатации. В хорошем состоянии. Пусть её вернут моему соседу. Больше мне ничего не надо.

— Угнали?

— Отобрали. И пистолетом грозились.

— Пусть сосед приходит — только, конечно, не ко мне, а в дежурную — напишет заявление, и будем разбираться.

— А не проще так? Вы сейчас вызываете сюда того гада, который, пользуясь табельным оружием, занимается в городе грабежом, и ему приказываете это утрясти с человеком по совести. То есть, ему придётся оплатить в разумных пределах моральный ущерб. Это чтоб до суда дело не доводить и не компрометировать Органы. Последние случаи: Это он ограбил квартиру в новом доме на Речной. На площади у рынка белым днём отобрал у женщины сумочку с долларами, не знаю, сколько их там было у неё. Дальше. Отобрал у мальчишки мотоцикл очень дорогой, с виду какой-то японской фирмы.

Полковник молчал, уставившись на потрёпанного, небритого старика, который не стал садиться, а стоял у стола, невозмутимо разглядывая за спиной у начальника фотографии, где тот был в камуфляжной форме с автоматом, в тире со снайперской винтовкой, ему вручают орден, он перед строем бойцов и так далее, отдельно фотография жены, детей и внуков.

— Добро. Разговор такой, что надо всё ж познакомится, — улыбаясь с блеском золотых коронок, наконец, проговорил он.

— Смысла нет знакомиться. Я вам, товарищ полковник, только назову фамилию и звание вашего офицера. Шестопалов. Так? Старший лейтенант. Правильно?

На этот раз начальник молчал очень долго. Потом он, прокашлявшись, проговорил:

— Да ты б хоть сказал, ты кто такой? Узнаем же всё равно. Хорошо. Иди. Машина к концу дня будет во дворе, — он даже не спросил адрес дома. — А гарантии какие?

— Ну, какие могут быть гарантии? Просто я тут не при чём. Пожаловался мне соседа моего сын. Вы, товарищ полковник, можете не беспокоиться. Вернут машину, деньги заплатят, как сейчас принято, и больше ничего не будет. Вы только сами проследите, чтоб молодые люди не торговались, как на базаре. Есть ведь, я думаю, какие-то определённые расценки для подобных случаев. И пусть оба не болтают лишнего. Это и мне ни к чему.

— Ладно. Я прослежу. Мы всё это утрясём, обещаю. А как ты его вычислил? Ладно, не спрашиваю. Ну, и… я рассчитываю на конфиденциальность, потому что не служба, а каторга, и людей взять негде, одна шпана. Приходи в любое время, поговорим. Потому что неясности оставлять, это не серьёзно, согласись.

Юрий Сергеевич ушёл. И в последующие несколько месяцев

были ещё такие странные случаи. Однажды у магазина какой-то подросток ударил пожилую женщину. Собственно, не вполне ударил, скорее, толкнул так, что она, не удержавшись на ногах, упала. Юрий Сергеевич подошёл к мальчишке и пристально посмотрел ему в лицо. Парень после этого два дня не мог выговорить ни слова, а потом стал сильно заикаться. Прошло это через месяц. Однако, родители успели подать в суд. Дело к производству не приняли, поскольку с одной стороны больной выздоровел, а с другой стороны происшествие явно выходило за рамки естественного хода вещей. Свято-Каменск городок маленький. О Юрии Сергеевиче, конечно, стали рассказывать, чего и не было.

Сказка про губернатора, священника и токаря — 2

Как-будто телефона своего никому он не давал, однако, звонили ему через каждые пятнадцать минут со всякой чепухой. В основном просили уладить семейные неурядицы. Юрий Сергеевич пробовал отшучиваться, пробовал и разумные советы давать просто как человек пожилой, но от него упорно ждали чуда. Он стал посылать подальше, но звонки не прекращались.

У него побывал угрюмый человек с бегающими глазами, который рассказал ему страшную историю, как он шесть лет тому назад из ревности убил свою жену и закопал её на дачном участке. Этот человек хотел избавиться от угрызений совести.

— Так, понимаете, иногда схватит, что дышать нечем. И никак не проходит.

— Не, не надо, — сказал ему Юрий Сергеевич. — Не надо ничего мудрить. Вот, всё, как оно есть, пусть и остаётся. Без этого нельзя.

— Ага, тебе-то, папаша, легко говорить…

— Ну, что я сделаю? Не надо было убивать её. А не будешь мучиться, тогда — всё. Сопьёшься точно.

К нему потянулась целая вереница женщин, которые по разным причинам изменяли мужьям. Сначала он просто советовал дурака не валять, а после визита этого Свято-Каменского Отелло стал рассказывать про убийство на даче, и что делает с мужчиной ревность. Трудно сказать, насколько это помогало.

Хуже всего было паломничество больных. Стояли у него на лестничной площадке постоянно, так что ему даже пришлось повесить табличку: «Медпомощь не оказываю. Просьба не курить и не шуметь». По большей части это были люди, страдающие различными хроническими заболеваниями. Много алкоголиков, наркоманов и их измученных родных. Но ещё хуже оказалось то, что многие из этих больных те, кому удавалось к нему в квартиру всё же как-то втереться, потом рассказывали о чудесных исцелениях.

К недоумению Юрия Сергеевича, среди его посетителей было много пострадавших от различных компьютерных вирусов. В основном это были молодые люди. Скажем, компьютер совершенно перестал выключаться, даже если вовсе выдернуть вилку из розетки. Аппарат работал круглосуточно, и на экране шло совещание боевого крыла террористической группировки

«Мученики менурской свободы». Какие-то люди, частично по-русски, а частично на неизвестном языке, очень темпераментно спорили, иногда даже дрались, а то и стреляли, и видно было, как убитых и раненых за ноги вытаскивали куда-то за пределы кадра.

— Понимаете, у меня такое впечатление, — сказал паренёк лет семнадцати, не слишком аккуратно выбритый наголо и одетый, в блестящие штаны и куртку на множестве молний, будто человек, собравшийся в космическое путешествие, — тут какие-то люди хотят отторгнуть от территории нашей страны Менурию. И они будут действовать методами террора, как в Чечне. Это надо предотвратить.

— А где это — Менурия? Я что-то такой республики не слышал.

— Ну, где-то есть, наверное. Откуда же у них тогда свой звуковой сайт на русском, английском и своём языке? Вот смотрите, я переписал: «От Карпат до Тихого Океана раскинется великая империя менуров…», — это из речи их главнокомандующего.

— Каких менуров-то? — парень пожал плечами.

Был ещё один любопытный экземпляр. Престарелый профессор, орнитолог. Однажды он случайно вышел в Интернете на страничку своего коллеги, которая невесть как там появилась, поскольку старик умер задолго до эпохи Всемирной Паутины. И там было просто написано:

— Я умер от инфаркта после того, как ты, подлец, провалил мою докторскую и на учёном совете назвал меня невежественным шарлатаном. Я умер от страха, потому что это была правда, но мне казалось всю жизнь, будто, кроме меня, никому об этом не известно, — и стоило несчастному включить свой компьютер, как эта страничка появлялась на мониторе. Он признался Юрию Сергеевичу, что уже подумывает о самоубийстве.

Явно распространялась какая-то эпидемия. И Юрий Сергеевич даже говорил по этому поводу со своим старым участковым врачом, Софьей Леонидовной Карц.

Софья Леонидовна работала терапевтом в поликлинике всю жизнь. Она в конце своей медицинской карьеры пришла к выводу, что нет болезни, которую нельзя было бы вылечить горячим чаем с малиновым вареньем. Горчичники, банки, ноги попарить — и всё снимет, как корова языком слизнёт. По поводу компьютерных вирусов она высказалась так:

— Юрий Сергеевич, люди просто забивают себе голову всякой чепухой. Это проблема психиатрическая. Постарайтесь поменьше с ними общаться. У вас может развиться психоз на этой почве.

Наконец, пришёл корреспондент «Свято-Каменского курьера»

и, не смотря на то, что Юрий Сергеевич наотрез отказался что-либо говорить, в газете появился большой очерк под жирным заголовком «Чудотворец районного масштаба». В этом очерке Юрия Сергеевича представили жуликом, и он сильно обиделся. Он никуда жаловаться не стал, а обиделся просто. И что вы думаете? Молодой парень, который к нему приходил из редакции, через несколько дней чуть под суд не попал. Он в нетрезвом виде разбил вдребезги казённую, очень дорогую импортную фотокамеру. Беднягу уволили. Юрия Сергеевича стали бояться. И даже в овощном магазине продавщицы обращались к нему на «вы».

К нему пожаловала некая злобная молодая дама, с лицом, украшенным многочисленными угрями и фурункулами. Она назвалась налоговым инспектором и предложила в трёхдневный срок представить декларацию о доходах, во избежание суда. Юрий Сергеевич твёрдо заявил, что доходов никаких, кроме пенсии. Тогда она стала вздыхать и бормотать какую-то несуразицу, из которой старик кое-как извлёк суть, простую, как всякая жизнь человеческая. Дама жила в однокомнатной квартире с мужем, ребёнком, больной матерью и алкоголиком отцом. И, не смотря на службу в столь значительном учреждении — никаких перспектив. Свою исповедь она горестно закончила сообщением, что её муж уже несколько лет путается с соседкой по лестничной клетке. А сынишка находится на учёте в Детской комнате милиции.

— Погоди-ка, дорогая моя, ты взятки-то берёшь?

— Ага, щас, разбежалась. У меня клиенты такие все… вроде вот вас.

— Не умеешь ты взятки, значит, брать, а не умеешь — нечего в налоговой инспекции тебе делать. Шла бы в магазин, за прилавок.

— Да не деньгах дело. На квартиру всё равно не наворуешь, тут шустрость нужна, а я…

— А на счёт твоего мужа, так я тебе посоветую, лицо чистотелом протирать.

Дама была очень разочарована и ушла, ещё раз пригрозив судом. Но прошло несколько месяцев, а подобные визиты не повторялись, и никаких повесток не пришло. Зато позвонили из Райотдела милиции. Тот самый полковник, с которым Юрий Сергеевич разговаривал по поводу грабежей, просил его «дать оценку одному очень сложному уголовному делу», которое безрезультатно расследовалось уже больше года.

— Хотя бы просто общую оценку ситуации. Ну, а если какие реальные версии появятся у вас…

Дело заключалось в регулярных хищениях импортных строительных материалов и бытовой техники с городской базы, о чём заявил сам заведующий базы. Этого человека никто не подозревал, и он вначале пытался сам обнаружить вора, но безуспешно.

— Слушайте, — сказал старик, а вот на вокзальном рынке есть такой павильон «Всё для дома». Я там покупал назад с полгода финский унитаз, они ж мне и установили, голубой такой.

— Так-так-так-так…

— Ну, что так? Это ж я просто предположил. Дело в том, что они мне никаких документов к нему не оставили. Правда, я у них не спрашивал документов. Работает, как часы.

Юрий Сергеевич и в этот раз попал в яблочко. Хозяина павильона взяли за шиворот и он очень толково всё рассказал следователю. Дело было просто, как апельсин. Зять хозяина павильона служил в охранной фирме, фирма охраняла базу, заведующий базой выписывал путёвки на вывоз ворованного товара, тут зять стал разводиться с женой и стал грозить тестю и заведующему… ну и так далее. Нет смысла излагать подробности.

И вот однажды утром как-то по особому, сухо, твёрдо и официально, во всяком случае, Юрию Сергеевичу так послышалось, зазвонил телефон. Звонка такого следовало, рано или поздно, ждать. Ну вот и дождался.

— Простите, — вкрадчиво проговорил очень приятный мужской голос. — Вас побеспокоили из канцелярии Губернатора области. Меня зовут Геннадий Петрович, и я являюсь помощником Губернатора… э-э-э для особых поручений… Я не слишком рано позвонил? Могу я говорить с Юрием Сергеевичем Ранцевым?

— Да нет, не рано, — сказал Ранцев. — Я вас слушаю.

— Лариса Степановна Горкина, наш Губернатор, убедительно просит вас навестить её сегодня по срочному и конфиденциальному делу. Машина уже вышла и минут через двадцать будет ждать вас у подъезда.

Ранцев кое-как оделся и вышел во двор. Огромный чёрный джип с тонированными стёклами, действительно, ждал его.

— Ранцев? — спросил милиционер. — Хорошо. Садись на заднее сидение.

Юрий Сергеевич уселся, дверь захлопнулась, и машина с места рванула на сумасшедшей скорости. На сидении рядом оказался священник отец Пётр, уроженец Свято-Каменска, с которым Юрий Сергеевич когда-то учился в школе.

— Здравствуй… те, неуверенно проговорил отец Пётр. — А

ты, Юра, как тут?

— Я не знаю. А ты? Здравствуй… Как тебя теперь называть-то?

— О, Господи! Называй, как хочешь. Куда нас везут-то?

— Слушай, капитан, — спросил Ранцев офицера милиции за баранкой, — куда нас везут-то, в Борск что ли?

— Почему в Борск? Едем в губернаторскую резиденцию. Это здесь недалеко, за Крюковым. Минут через сорок доедем, — что-то, видно рвалось у него с языка. — Батюшка, а, батюшка. А вот как, если женщина… вообще-то…

— Что, простите?

— Ну, женщина может родить жеребёнка?

— Хватит ерунду молоть, — сердито сказал Ранцев. — С духовным лицом разговариваешь.

— О, Господи, — сказал отец Пётр. — Что творят, что творят! Гражданин начальник, вы как человек ещё молодой, я вам советую, такими вопросами не задаваться. В такой, я имею в виду, сложной ситуации, какая сложилась… — судя по этим словам, отец Пётр что-то знал о происшедшем.

Мы часто на кого-то неизвестного обижаемся за ту судьбу, которую он якобы нам преподносит. А ведь судьба — это дорога. Никто нас не понуждает двигаться по ней. Огромное большинство никуда не движется и о том, что у них есть своя, особенная от других людей, судьба даже не подозревают.

Как нам уже известно, Юрий Сергеевич Ранцев ни о какой судьбе не помышлял, всю жизнь спокойно стоял на месте. Пока не пришёл его час — он сам двинулся в том направлении, какое его судьба ему определяла с самого начала. На что тут обижаться? Мог бы и с места не сходить. А может, и не мог бы.

Машина некоторое время летела по шоссе, потом свернула на пыльный петляющий просёлок. За одним из поворотов показался очень высокий, слишком высокий, кирпичный забор, затейливой фигурной кладки. Широкие ворота распахнулись, и джип остановился во дворе, где чудеса садового дизайна бросались в глаза, будто удостоверение личности владельца. Вычурные клумбы и газоны, ручьи, фонтаны, гроты, водопады, среди которых меланхолично прогуливались спортивные молодые люди, охраняя покой и безопасность богоданной власти, а метрах в двухстах высился губернаторский дворец. По мраморной лестнице неторопливо спускалась сорокапятилетняя красавица, грустная в меру и в меру гневная. Она была по-домашнему в лёгком халатике. Густые тёмные волосы с редкими серебряными нитями седины были собраны на затылке в большой, тяжёлый пучок. Тонкие брови сдвинуты, на лице приветливая улыбка —

одновременно.

Лариса Степановна Горкина шла гостям навстречу молодой лёгкой походкой, но по мере того, как она приближалась на лице её видны становились печальные следы ошибок безумной молодости, что, впрочем, едва ли делало её менее привлекательной. Всему миру было известно, что Борский Губернатор никогда не делает себе подтяжек лица или иных пластических операций и совсем не употребляет косметики. Этому важнейшему обстоятельству журнал «Плейбой» (русская версия) даже посвятил один из своих великолепных фоторепортажей, который, однако, был рискован с точки зрения необходимого уровня политического рейтинга и мог сильно повредить ей, во всяком случае, в сердцах российских избирателей, которые, как известно, нравственно коснеют в далёком прошлом. Так считали некоторые авторитетные пиарщики в России и за рубежом, хотя в Борске-то, как раз, это было написано на каждом заборе и рейтингу Горкиной нисколько не мешало, скорее наоборот. Наконец, она остановилась в ожидании, пока священник и Ранцев приблизились к ней.

— Простите, я по-домашнему, господа.

Ранцев, которого впервые в жизни назвали господином, молчал. Отец Пётр с достоинством поклонился и ответил коротко:

— Не беспокойтесь. Чему мы обязаны?

— Лёня! — откуда-то появился громадный, угрюмый человек в униформе секьюрити. — Проводи гостей в маленькую гостиную. Я приду минут через пятнадцать. Познакомь их с господином Бартоном.

Они прошли через необъятный холл, поднялись по лестнице и пришли в небольшую комнату, устланную коврами и обставленную множеством экзотических безделушек. Посреди комнаты за круглым столом сидел пожилой человек в тёмном костюме и что-то пил из высокого узкого стакана.

— Господа Ранцев, местный экстрасенс…

— Я не экстрасенс, — торопливо проговорил Юрий Сергеевич.

— Хорошо… Господин Пётр Барыкин благочинный, протоиерей и… словом, весьма уважаемый в области и городе человек. Господин Ричард Бартон, доктор биологии.

— Я почти свободно говорю по-русски, так что нам не будет сложно обсудить проблему, которая стоит пред нами, — сказал иностранец. — Садитесь. Принесите моим коллегам чего-нибудь выпить.

— Что будете пить? — спросил Лёня.

— Пить? — спросил Ранцев.

— Папаша, — раздражённо пояснил охранник, — можно немного выпить понимаешь? А напиваться нельзя.

— А что, стакан чаю нельзя заказать?

— Принесите бутылку водки, много закуски по-русски, также, чаю, кофе. И не смейте хамить, — сказал иностранец.

— Слушаюсь.

Иностранец открыл большую кожаную папку и стал выкладывать из неё на стол что-то вроде рентгеновских снимков.

— Вот, пожалуйста, ознакомьтесь.

На снимках без привычки ничего разобрать было нельзя, поэтому Бартон, не дожидаясь пока его новые коллеги закончат просмотр, стал пояснять:

— Это результаты тщательных и неоднократных исследований организма пациентки, которая обратилась по поводу беременности неделю тому назад. Была определена беременность около восьми недель. После чего обнаружились некоторые особенности, некоторые, я бы сказал, странности, которые нам придётся сейчас обсудить. Господа вы удивляться не должны тому, что пригласили именно вас, раз уж я этому не удивляюсь. Меня представили как биолога. Действительно, моя специальность биология, но это биология человеческого организма в той части, где это касается наследственности. Я должен пояснить вам, что снимки и цифры, которые здесь видны, совершенно выходят за рамки естественного. Проще. С точки зрения нормального возникновения и протекания беременности в человеческом, да и не только в человеческом, в любом организме, ничего подобного произойти не может. Это противоречит простой логике, прежде всего. Несовместимо с элементарным житейским опытом и здравым смыслом. Не говоря уж о науке. Наука здесь оказалась просто не при чём.

— Вы сказали бы нам проще, — проговорил отец Пётр. — Право же, вы нам загадки загадываете.

— Вы не хотите выпить сначала?

— Ну, разве чаю…

Доктор Бартон, не смотря, что иностранец, налил себе полстакана водки и, совершенно безо всякой закуски выпив его, даже глазом не моргнул. Только руки у него почему-то тряслись.

— Послушайте. Вы здесь видите эмбрион лошади, понимаете? — В полости женщины, которая сейчас сюда пожалует… Совершенно необъяснимое явление. При чём, хотя срок невелик, но, учитывая, что это не человеческий, а лошадиный эмбрион, легко даже определить пол. Вот видите? Это жеребёнок, потому что эмбрион лошади на этой стадии развития

уже определяется.…

— Эмбрион это, как я понимаю, зародыш, так? — спросил Ранцев.

— Да, да, Юра, зародыш, — сказал отец Пётр.

— Так это, Горкина что ли от жеребца понесла? — со смехом проговорил старик.

Немедленно к нему подскочил охранник и схватил его за шиворот:

— Ты что, старая сволочь, не понимаешь, где находишься?

В это время, звонко постукивая высокими каблучками, подошла Лариса Степановна в строгом деловом костюме и движением руки отправила охранника за двери. Она не по-женски твёрдой рукою налила себе водки, выпила её и вдруг горько по-бабьи заплакала, облокотившись красивой головой о кулачок. Трое мужчин вежливо потупившись пережидали эту вполне понятную слабость.

— Чего угодно можно было ждать. Чего угодно, понимаете? — проговорила она, а трое согласно покивали головами. — Но этого! Этого… Это ж просто что-то…

Ричард Бартон, прокашлявшись, пояснил:

— Видите ли, господа, помимо всего прочего, проблема ещё усугубляется и тем, что не сумели сохранить конфиденциальность, и вот эти снимки, то есть их копии, находятся сейчас в редакции одной из московских газет. Возможен, значит, шантаж. Вообще, ситуация не вполне под контролем. Допустим, мы делаем аборт, извините, Лариса Степановна, а снимки-то… снимки! Снимки будут опубликованы, — но он был очень бледен, волновался.

— Ага. Опубликованы. Это в смысле, их напечатают в газете? — спросил Юрий Сергеевич.

— Разумеется! И тогда… Вы можете представить себе, что тогда начнётся!

— Но, Лариса Степановна, — взволнованно начал отец Пётр, — странно, что в такой момент вы о каких-то публикациях думаете, а вовсе не о покаянии. Не является ли это прискорбное событие прямым результатом безбожной, духовно и телесно нечистой, беспутной жизни, которую вы на глазах у всего белого света ведёте с молодых лет, я вас помню ещё подростком. И я вас девушкой помню, как мама ваша покойная со слезами вас ко мне приводила и жаловалась на ваше поведение.

— Батюшка, оставьте! Оставьте эти нотации. Ещё мне тут не хватало проповедей. Вы бы лучше, что толковое посоветовали. А то нотации.

— Что ж я посоветую?

Неожиданно Юрий Сергеевич засмеялся. Он так засмеялся, что даже поперхнулся чаем и долго потом сморкался и кашлял.

— Чему вы смеётесь?

— Да что вы прохвостам этим верите? Кто там чего напечатает? Они что, с ума там посходили, такую ерунду печатать? Кто ж поверит? Если уж вы в положении, так ждали бы спокойно ребёночка, а зря себя не волновали. Какие лошади, что вы? — проговорил, наконец, он. — И вы б, госпожа… губернатор, лучше б проверили это всё. Снимки-то липовые, и к бабке не ходи липовые. Вот я, хоть и не учёный человек, и то знаю. От настоящего-то жеребца ничего такого у бабы никогда в животе не заведётся, а уж от этих, он кивнул на охранников, — никого, кроме нормального дитя народиться не может. Вы напрасно беспокоитесь.

Наступило молчание. Ричард Бартон втянул голову в плечи и вовсе побледнел, а отец Пётр хлопнул себя по лбу ладонью и тоже искренне рассмеялся:

— О, Боже, Боже! Вот уж поистине и смех, и грех. И я-то, старый дуралей…

Ещё какое-то время все молчали, а потом женщина, облегчённо вздохнув, белозубо улыбнулась.

— Да! Но я-то, я! Кого наколоть хотели, кого за дурную тёлку держат… Ладно, разберёмся. Лёня, проводи, пожалуйста, этого холуя, и пусть ребята начинают выколачивать из него информацию. Да чтоб не покалечили его мне! Он ещё на суде, возможно, понадобиться.

Учёного иностранца не стало. Лариса Степановна пристально оглядела своих гостей с лёгкой грустной улыбкой.

— Господа! Исключительно по моей вине вы оба оказались загружены совершенно лишней информацией. И эта информация представляет собою опасность прежде всего для вас самих. Что мы будем делать? Мне это так представляется. Батюшка, вы не хотели бы переехать в Александрию?

— Помилуйте! Куда?

— Ну, вы же знаете, что на днях там умер протоирей… Как там его?

— Хризостом. Покойный протоиерей Хризостом был доктором богословия и находился в Александрии с особой, весьма важной миссией политического характера. Я же закончил духовную семинарию. Я ото всего этого весьма далёк и недостаточно образован.

— Да постойте вы, отец Пётр! — сверкая чёрными глазами, воскликнула красавица. — Чем вы хуже этого вашего Хризо…, разве что только вы человек порядочный. И будете на этом месте

работать, а не сливки собирать.

— У меня жена больна. Дочь поступает в институт. Смилуйтесь.

— Вы не понимаете, куда я хочу вас послать. Александрия, прекрасный, богатейший православный приход. Средиземное море. Ваша дочка учиться будет в Англии, в Оксфорде. И мы после тщательного обследования решим, где будет лечиться ваша жена — В Штатах или в Израиле. Вы понимаете, батюшка?

— Я могу вам только обещать — я никогда не клянусь — что весь этот слышанный мною здесь постыдный бред сохраню в тайне. За границу же я не поеду. У меня здесь духовные дети. Я родился здесь, и здесь меня похоронят. Вы меня знаете. Я ничего не боюсь и решений своих не меняю.

И Губернатор подумала. Она долго думала. Недобрые и добрые, очень разные мысли отражались в её подвижном лице, в движении бровей, в глубине проницательных глаз.

— Хорошо. Вас сейчас отвезут домой. Только, батюшка, будьте осторожны. Вы будете здесь в постоянной опасности.

Они остались с Юрием Сергеевичем наедине. Губернатор налила по стопке водки и сказала:

— Мы с вами друг друга лучше поймём. Верно?

— Да это уж, и к бабке не ходи.

— Юрий Сергеевич, вы с этого момента являетесь моим доверенным лицом и советником. Естественно вам придётся переехать в Борск. В Москве у вас тоже будет квартира и, разумеется, материальное обеспечение, соответствующее вашему положению.

— Так я у тебя советник? — сказал старик. — Завтра выплачивай литейщикам зарплату за полгода.

— Вы правы, но вы меня не поняли, — он засмеялась. — Вы советник, но решения принимаю я. Неужто вы думаете, что я не связана обязательствами, нарушить которые не могу? Мы ещё много раз будем говорить с вами о делах Юрий Сергеевич. Вы узнаете многое такое, о чём и не догадывались. Всё сложнее, чем вы думали. И для того, чтобы сделать пользу, часто приходится много раз принести вред. Да разве это для вас новость? Ведь это простая житейская истина!

— У меня такой истины с роду не было. Псы вы. Какая там с вами работа. Пусть меня домой отвезут.

И тогда Юрия Сергеевича Ранцева, действительно, отвезли, только не домой, а гораздо дальше. Я с ним вижусь иногда, когда удаётся побывать на острове Гарасао. Он всегда сидит за столиком небольшого кафе с чашкой кофе, к которому привык, и смотрит на лазурный океан, на горизонт, на голубую бухту.

Иногда улыбается, взглянув на коричневых девушек с белыми цветами в смоляных волосах, которые играют в волейбол на золотом пляже.

Но вы не думайте, что его убили по дороге в Свято-Каменск. Он жив, здоров. Просто он теперь живёт на Гарасао.

Но вы и учтите, что это сказка, а в сказке всякое случается.

* * *

Когда в Израиле я сотрудничал с газетой «Новости Недели», была там, в редакции одна женщина, которая очень мне нравилась. Не то что — не помню, а и не знал никогда, как её зовут. И не знаю, что она там, собственно, делала. Во всяком случае, она не была литературным работником, что-то техническое.

Это всё очень узнаваемо, и если она ЖЖ и не читает, так ей об этой моей записи расскажут. Она была очень молода, после армии, лет двадцати. Жила в стране давно, видно с раннего детства, судя по выговору. Но, поскольку ничего скверного у меня даже в мыслях не было и нет, вряд ли у неё могут быть неприятности по этому поводу.

Да, в мыслях не было. Но, признаюсь, хоть я и не склонен вовсе к молоденьким девицам, а во снах иногда бывало такое, о чём я совершенно никакой необходимости не вижу и желания не испытываю никому рассказывать даже под самым надёжным замком. Я не знаю, была ли она замужем. Но если её мужу это не понравится, пусть в Москву приезжает. Здесь он даст мне по морде и сдачи не получит — обещаю. А как приеду в Израиль, это станет невозможно, его там могут посадить за это — за пощёчину и то можно срок получить. Она не была красива, но как-то очень по-женски притягательна. Когда она, как многие женщины, лёгким дуновением полных губ относила постоянно падающую на глаза прядь каштановых волос, а потом, бывало, глянет своими по-детски ещё строгими, огромными, в чёрных мохнатых ресницах, светло-серыми глазами — скиньте мне двадцать лет, у меня бы сердце разорвалось.

В редакции курили обычно на лестнице, там было полно народу и очень шумно, и я там постоянно околачивался. Она то приходила, закуривала, после нескольких затяжек бросала сигарету в урну и уходила куда-то. И вот однажды она мне говорит, совершенно неожиданно:

— Михаэль, — это у неё невольно уже выговаривалось так, — если вы имеете пять минут, можно было бы поговорить на крыше.

Там тихо. У меня есть что-нибудь сказать вам, — ну точно, она не литературным была работником. Язык здорово забылся.

Я, было, пошёл наверх, а она говорит:

— Я могу принести туда кофе. Кама цукар?

— Штайм (две). Тода раба. (спасибо). На минуточку.

Мне всё это было неудобно, потому что обратили внимание. Улыбки. Она же, строго сдвинув брови и не глядя ни на кого, принесла кофе, и мы с ней поднялись на крышу, откуда, наверное, открывался бы красивый вид на город, если б не загорожено рекламными щитами. Жара там была такая, что у меня мозги стали плавиться. И вот мы с этой женщиной или девушкой сначала молча стали гулять по захламленной крыше огромного дома, где вместе с редакцией помещалось ещё два десятка учреждений (мне так показалось).

— Я уходила по делу, а когда возвращалась, увидела, как вы сидите в кафе и разговариваете там с человеком, с которым разговаривать нельзя. Это один из героев ваших очерков. Я имею вам сказать, что вы поселили в газете, особенно в «Еврейском Камертоне» (еженедельное приложение), много неприличных людей. Воров, проституток, нищих, алкоголиков, наркоманов, бомжей, жуликов. И почему вам нравятся люди плохого общества? Например, иностранные рабочие? Вот вы писали о каких-то рабочих, которые роют траншею. И они ругаются и говорят глупости про женщин. Это же у нас еврейская газета.

— Но вы же читаете газеты на иврите, а там что пишут, например, про женщин — совсем ведь неприлично.

— Это газета русской алии. Мы несём культуру европейской диаспоры в Эрец-Исраэль.

И тут я стал ей говорить про русскую алию. Кто сюда приехал с начала девяностых? Я в ЖЖ об этом писал. Я сказал ей, что, кроме невежества и рваных лоскутов советской культуры, которая — явление уродливое и больное, нам нечего сюда привезти. Если выразиться яснее, я стал ей хамить. Очень теперь жалею об этом. Но она стоически меня выслушала с каменным лицом, только правая бровь чуть вздрагивала. Слушая, она смотрела мне в лицо. Так она смотрела, как, наверное, молодой офицер Даян смотрел в 41 году в бинокль — прямо навстречу ураганному обстрелу с огневой точки сирийцев, которую ему никак не удавалось засечь. Слава Богу, ей не грозило оказаться с чёрной повязкой на месте выбитого пулей глаза.

— Вы не любите Израиль, — сказала она мне.

— Как же, очень люблю. Я его всегда любил. Я его любил ещё во чреве матери — Израиль, Дом Иакова.

— А-а-а! Вот что. И как давно вы в стране — несколько

месяцев. Уже всех учите.

— Спасибо за кофе, — сказал я. — Было очень вкусно.

— Что вы теперь собираетесь написать? Осчастливить нас чем?

— Я принёс материал о том, как я сидел в тюрьме. Там у меня были друзья. Об этих друзьях я написал.

— У вас в тюрьме были друзья? Это хорошее место приобрести себе друзей.

— Конечно. Один из них убил свою жену, пытаясь отнять у неё бутылку водки. Она была алкоголичка. Второй, ваш ровесник, был великолепный уличный вор, очень красивый, между прочим. Он говорил, что это ему мешает работать. Слишком много молодых женщин — полицейских, всё время на него обращают внимание. А третий был сабра из Самарии, приехал в Иерусалим, потерял деньги и документы. Тут нужно было заявить в полицию. Ему бы помогли. Но он просить не любил. Просто ему это не нравилось и всё. Но он был очень стар, хотел есть и украл на шуке (рынке) курицу. Я написал о том, как в камере он велел мальчишке, арестованному за наркоторговлю, надеть кипу и читать молитвы. Тот послушался его и успокоился, а сначала пацанёнок был очень перепуган, полицейские перестарались, когда брали его. Этот старик и был настоящий мудрец Сиона. А вы ещё спрашиваете, о моих тюремных друзьях. И Солженицын писал, что крепче лагерной дружбы не бывает…

Стоило ей услышать эту запретную в Израиле фамилию, как она отобрала у меня пустую чашку и молча ушла. Мне, почему-то с запозданием вспомнилось, что на поясе у неё был пистолет, которым она наверняка отлично умела и, несомненно, очень хотела воспользоваться. Но я уверен, что эта прекрасная израильская женщина или девушка преодолела этот жгучий соблазн гораздо легче, чем я преодолевал соблазн совершенно иного рода, когда сталкивался с ней в коридорах редакции. Она преодолела соблазн сделать мне дырку в голове, потому что израильтяне очень законопослушны. Никак не могу понять, почему они так законопослушны в условиях непрерывной войны. Вернее всего, потому что они евреи. Не нахожу иного ответа.

* * *

Ещё два слова. Каждая запись об Израиле рождает целую бурю. Этого никто не должен забывать. Там решается судьба грядущих столетий.

Я убеждён в том, что весь мир должен следить за борьбой

разума и безумия, которая разгорается на Ближнем Востоке, а для этого нужна максимальная информация, и страна должна быть открыта для всего мира. Проблемы Израиля — проблемы нынешней цивилизации.

Это неправда, что я ищу тёмное и обнародую. Я, правда, не умею петь дифирамбы, я прожил три года — этого недостаточно, чтобы вжиться в народную массу, которая к тому же продолжает складываться, но я очень полюбил народ, они были ко мне приветливы и всегда помогали.

Помогали и земляки. Но их я могу здесь просто по именам перечислить. А местные были очень надёжны, после того, как стало ясно, что я не собираюсь жить на пособия и искать воздушных денег. Я работал, как проклятый — ко мне относились хорошо. Я заболел — всё начальство сбежалось что-то мне втолковывать, как пицуим получить, не проворонить.

Кувыркался же я по личным вопросам, и я зря упомянул это. Неудача была, поэтому пришлось уехать. У меня был заработок, да не в нём была проблема.

* * *

Вчера был восхитительный зимний день, и, судя по тому, как выла ночью вьюга, сегодня будет такой же. Мне хорошо известно, насколько метеосводка всегда приблизительна, и эти прогнозы ещё чаще были бы неверны, если б их не давали люди, способные чуять погоду, подобно животным. Я не метеоролог, но погоду чую, как и они, по старой привычке — долгие годы мой заработок зависел от погоды. Помимо заработка, бывали случаи, когда от погоды зависели жизни десятков, иногда сотен человек, моих товарищей, и моя жизнь в том числе. Вот сейчас, я чувствую, сегодня температура немного подымется, а ветер усилиться. Посмотрим, угадаю — нет.

На работу мне сегодня к 11.30. Выйду, значит в 10, а сейчас без десяти семь. Три свободных часа, для того, чтобы думать, вспоминать, курить на лестнице, что-то сочинять. Если, конечно, не стану трепаться с дочками и зятьями, которые на работу уходят, или дети их будят. Встают они всегда впритирку, гораздо позднее меня. Это одна из ошибок глупой молодости, о которой годы спустя они горько пожалеют. У них не много времени остаётся для того, чтобы на кухне мирно поболтать о всяких пустяках — утро это ведь лучшее время суток.

Относительно того, что среди нас есть какие-то «совы» и «жаворонки» — не знаю, плохо вериться. Интересно, как это

оценивают врачи. Об этом можно немного поговорить. Сталин был человек очень работоспособный. Но он не мог работать днём. Конечно, не потому, что у него совесть была нечиста (это уж мистика), а, думаю, просто нервы у него, как у всякого преступника, были на пределе. И только к ночи удавалось их привести в порядок. Да ну его к чёрту! Я хотел совсем не о нём. Вечно не к месту подвернётся какая-нибудь сволочь.

Эстетически я к погоде и климату, да и, вообще, к природе равнодушен, а вот зима меня очень больно трогает за сердце. Это с детства. Детские воспоминания у меня почти все зимние. «Снежную королеву» я до сих пор местами знаю наизусть. Я думаю, это лучшее из того, что удалось написать Андерсену…

Я минут на пятнадцать — ухожу гулять собакой. Вот я уже вернулся. Когда уезжал, лифта ждал, слышу по лестнице шаги. Это моя старая соседка. Не пользуется лифтом, боится застрять. Она дворник. Спускается по лестнице пешком и хромает.

— Миша, помоги сапог застегнуть. Спину ломит, зараза, никак не дотянусь до молнии.

Застегнул я ей сапог. — А чего валенки?

— Да в магазине дорого, и они плохие. А тут один продавал, для работы хорошие, подлитые, но великоваты мне.

— У тебя сегодня стопудовый урожай.

— Ага. Принимай, Родина! Миша, не ты снова бомжа пустил? Спит у нас на этаже.

Бомжа, вообще-то, я пустил вчера вечером.

— Да кто ж их знает? — отвечаю. — Наверное, пацаны.

— А он, скотина, взял, нассал у мусорки. И там у нас вонь сейчас такая, что хоть не выходи. Замывать-то мне.

— Ну, что, у тебя мужик, так и не работает?

— Какой там! Ему, зачем работать? Уже опохмелился и сидит, как чурбан. Хоть драться перестал. Сам теперь еле ноги таскает.

На дворе ветер вовсе не усилился, и мороз вроде спадает. Значит, я пролетел со своей интуицией. Двор огромный и дворники уже перекликаются хриплым матом, с надсадным кашлем и раздражёнными укорами Господу Богу с Богородицей. Снегу за ночь навалило очень много. Мужчины помогают друг другу заводить машины, а сперва надо их откопать, дворники этого делать не станут.

Дурацкий вопрос: Почему две трети дворников — пожилые женщины? Вопрос, действительно, дурацкий. Можно на него не отвечать. Однако, он несомненно имеет прямое отношение к вопросу, который недавно задавала N. Это был у неё самый первый вопрос: Есть ли у тебя совесть? Я ответил, что у меня есть.

А сейчас что-то засомневался. В связи с дворниками. Слишком много снегу, и слишком много старух, убирать его.

Так я что-то начинал там про Андерсена. Я его не считаю детским писателем, за исключением нескольких посредственных сказок. По-моему он и сам не думал, что пишет для детей. (в этом я, конечно, не уверен). Религиозно-философские притчи. Если уж ты, не подумавши толком, сразу прыгаешь в затейливые санки к серебряной красавице — придётся тебе у неё в плену долгие годы складывать из льдинок непонятное никому на свете слово «вечность». Это прямо про меня. Я, правда, сбежал из её ледяного дворца, Герда, дочка моя, меня выручила. А вот же собираюсь снова к ней. Я тут написал, что, как вернусь в Израиль, буду жить на территориях. Нет, серебряная красавица моя со мной туда не поедет. Страху она совсем не знает, но, как я хочу, того не сделает. А если и поедет всё же, так мне и там небо покажется с овчинку. Хотя, если она ещё меня не забыла — я готов с ней жить хоть на Северном Полюсе. Лишь бы не в Эйлате, в какой-нибудь гостинице «Шератон» — у меня с деньгами проблема.

А что, импотентом в каком возрасте есть шансы стать? И, главное, чтобы сразу все эти проблемы, как корова языком слизнула. Да нет, не выйдет. Клемансо умудрился влюбиться в 86 лет. И ещё какая горячая была любовь! Тут нужна какая-нибудь серьёзная болезнь, а мне не охота болеть. Вот если бы просто: не нужны больше женщины — и всё. Но так не бывает. Не нужно было привыкать чуть ли не с четырнадцати лет.

В Иерусалиме живёт серебряная женщина. У неё серебряные волосы. Чистое серебро.

Хотел отправить, а Интернет-то и не работает. Связались мы тут с какими-то непутёвыми ребятами.

Вернулся с работы. Слегка выпимши. Погода великолепная, хоть я и несколько ошибся с прогнозом. Снова вышел с собакой. Старухи всё так же убирают снег, а он всё валит и валит. Всё удивительно красиво. Первопрестольная, заваленная снегом. Если б не старухи.

Зато Интернет включился, и я отсылаю это в журнал. Какая-то бестолковщина получилась.

* * *

Я это хотел написать в виде комментария, но что-то не сработало.

«Жизнь пола в этом мире в корне дефектна и испорчена. Половое влечение мучит человека безысходной жаждой

соединения. Поистине безысходна эта жажда, и недостижимо соединение в природной половой жизни», — это Бердяев пишет, и я слышал это в разных редакциях, по разным поводам, а мне кажется, что это неправда.

Секс — изумительно красивое, чистое нравственно и правдивое явление. Конечно, если его сознательно изуродовать, тогда он становится ужасен.

Это как прекрасная мелодия. Мне уж давно девушки в метро место уступают, обидно, конечно, а я всё думаю:

— Ещё есть время. Я ещё услышу эту мелодию, прекрасней которой я не слышал никогда.

Вот странная история. Я запил. Жаль, что это прочёт Антрум. Но я остановиться не могу. Что такое водка? Вопрос. Тут пошла мода на вопросы. Почему она меня сильней?

Я выиграл в молодости первенство прибалтийского военного округа (наилегчайший) среди юниоров, и Шоцикас наблюдал за мной, ещё жив был, я ему очень понравился, а он был гениальный боксёр.

Я хочу писать, а не голову морочить. Водка меня останавливает. Мне в марте будет 59 лет, я во дворе никого не боюсь. Какая-то страшная баба мне предложила к ней переселяться. Что это со мной?

* * *

Вот вам и беглый.

Русское

Рано утром я пошёл за водкой, и во дворе несколько мужчин проводили меня тоскливыми взглядами.

Когда я возвращался:

— Браток, родной!

Я подошёл и поделился с ними, хотя мои запасы и без того невелики.

И вот это идиотское братство алкоголиков, тем не менее, очень сильно сердце трогает. Наверное, я не прав. Знаю, что не прав. Но у меня осталось что-то тёплое в душе.

Когда я уходил кто-то сказал мне в спину:

— Я ж тебе говорил, он хороший мужик. Ну, интеллигенция, мало ли что.

* * *

После вчерашних бурных приключений в ЖЖ, (и за его пределами тоже) мне нужно было как-то отвлечься. Я совершенно не умею отдыхать. У меня есть роман о стране, которая называется Бонакан. И мне ужасно туда захотелось, потому что там у меня хороший друг, и у них в семье сейчас несчастье. А тут, как по заказу, вечером мне и позвонили оттуда. Рутан Герберт Норд просил прилететь к нему на несколько дней. Сейчас я пишу от него. Он меня устроил в своём поместье у родителей. Они живут в городке Талери, на северном побережье. Этот Норд один из наиболее популярных деятелей Бонаканской республики, депутат. В недавнем прошлом премьер-министр. Он, вообще-то, социалист. Но мне такой социализм общаться ни с кем не мешает. Лишь бы не призывали головы отрезать и при этом не слишком распускали слюни.

Мы с ним познакомились в Израиле. Я тогда безуспешно пытался добиться у него интервью, а его секретарь, которого зовут Сильван Зунг, требовал от меня хотя бы корреспондентского удостоверения, которого у меня не было. И у меня был плохой переводчик. Нам с Рутаном тогда ещё был нужен переводчик.

— Да кто вы, в конце концов, такой?

Я не нашёл ничего умнее, как ответить:

— Я Михаил Пробатов. «Новости Недели». Меня тут некоторые знают.

И в этот момент в приёмную вошёл Норд. Он рассмеялся.

— Всех нас где-нибудь некоторые знают. Вы журналист? У меня всего несколько минут. Уложитесь?

Это было пять лет тому назад, так что тогда ему исполнилось тридцать девять лет. Он приехал в самом начале итнтифады с официальным визитом как глава исполнительной власти своей страны. Уже через минуту обнаружилось, что об отношениях двух стран мне не известно ровным счётом ничего. Он рассмеялся.

— Какова была ваша профессия, в России?

— Трудно сказать.

— Слушайте, мне, действительно, необходимо уезжать немедленно. Мой секретарь свяжется с вами, и мы славно поговорим. Коньяк пьёте?

Так мы познакомились. Вчера, как я уже упомянул, у меня настроение было хуже некуда — по разным причинам, в частности потому, что я как-то понять не могу что это такое — ЖЖ. А мне в этом журнале хорошо. Тоже не знаю почему. Но я уже нагородил в ЖЖ множество глупостей. А тут его звонок.

— Михаил, вы, конечно, уже знаете, что министерство провалилось, и меня отправили в отставку?

— Ну, как же. Передавали.

— Сильван уже звонил в МВД и МИД России. Ваши документы будут готовы послезавтра. И билеты. Я сам встречу вас в Голарне (столица Бонакна), а потом поедем к моим старикам. Они понравятся вам. Будем ловить рыбу. Поедем кататься на горных лыжах. Вы умеете? Я вас научу, я неплохо катаюсь.

Голарн — город построенный в 8 веке какими-то князьями. Очень красивый. Но я не люблю осматривать города, и мы поехали в Талери. Там было сумрачное зимнее море. Талери — город маленький, но большой порт, и я первое время глаз не мог оторвать от кораблей на рейде. Множество великолепных прогулочных яхт. Вдали — в кильватерном строю с юга на север вдоль морских границ двигалась боевая эскадра.

Поместье — слишком громко сказано. Но это очень удобный дом, окружённый плодовым садом. От мороза деревья были укутаны в рогожу. Герберт Норд — отец Рутана — оказался высоким, стройным, как и его сын, и чрезвычайно восторженным стариком (в отличие от сына).

— Ах, господин Пробатов, как бы мне хотелось побывать в России! Но я знаю, что вы еврей и познакомились с Рутаном в Израиле. Если б вы знали, как я хочу побывать в Израиле! Но совершенно нет времени. Я заканчиваю фундаментальный труд по филателии, который, как я надеюсь, перевернёт все современные представления об этой науке.

Мать Рутана Норда, которую зовут Элиз, молча, с улыбкой

смотрела на мужа.

— Давайте пообедаем, господа. Всё остынет.

Я здесь нахожусь около недели. (Учтите время-то виртуальное). И нет пока никакой охоты возвращаться. Несколько раз мы вышли в море на яхте Норда, и к своему удивлению я здорово укачался. Охотились на волка. Но для этого я слишком плохо держусь в седле.

Как-то мы с Рутаном уединились в его кабинете. Появилась бутылка коньяку. Мы стали говорить о том, о другом. Он рассказал очень тяжёлую историю отношений со своей женой. Она горянка, в горах живут католики, а в долине протестанты. Во время гражданской войны, которая тут бушевала четыре года, Маргарет Норд жила в Голарне, и позднее выяснилось, что она передавала какие-то сведения террористам, среди которых было много её родственников.

— Это война тупоконечников и остроконечников. Но жестокости ужасные. Горцы находятся фактически в сознании 10 века. В конце концов, и наши войска действовали беспощадно. Временно это удалось остановить. Частично. Всё равно теракты повторяются время от времени. Маргарет же пришлось отправить в Европу, и мне, естественно, этого здесь долго не простят. Невозможно говорить о разделении страны на две неравные части, потому-то в горах нет возможностей для экономического развития. Придётся содержать их, а агрессия с их стороны будет вспыхивать, как порох. Ужасное положение. Слово справедливость — каждый хочет понимать в свою пользу.

— А что вы скажете о положении на Ближнем Востоке? И в Чечне?

— Если бы России и Израилю удалось наладить свои внутренние проблемы… Но это тоже непросто. Если бы борьба с исламским террором была бы осознана общей проблемой двух этих мощных государств. Но, судя по информации, которой я владею, это совершенно невозможно. Ненависть! Кто знает, как погасить ненависть? Пойдёмте ужинать. Мама рассердится.

В это время раздался хорошо знакомый мне звук. И тут же вой полицейских сирен и машин Скорой помощи.

Рути, где это? — раздался из кухни спокойный голос мадам Элиз Норд.

— Кажется, на судоверфи. Не волнуйся, мама. Включи телевизор.

Мы сели за стол.

— Сколько погибло? — спросил старик.

— Пока сообщают только о шести убитых, но раненных около сорока.

— Я ещё не показал вам своих альбомов. И знаешь что, Рути, позвони-ка Гостаму. Так спокойней будет. Он в это время часто там околачивается.

Домой мне надо ехать. Куда только — вот вопрос?

* * *

Однажды странствуя среди долины дикой,
Незапно был объят я скорбию великой…

— Я с трудом преодлел желание поместить сюда всего Странника целиком.

Почему все мы обречены бродить в тёмных просторах в поисках света, которого нам не суждено увидеть до того внезапного момента, когда время будет закончено, делать выводы — поздно. Тогда — вдали какой-то свет. Но до источника этого света никому из нас уж не добраться.

И так я, сетуя, в свой дом пришёл обратно.
Волнение моё всем было непонятно.

Однажды, в море, я был совершенно уверен в том, что не проживу и пятнадцати минут. Смыло меня, дурака, за борт. Вода ледяная, роба намокла и на грунт тянет. О чём я думал? Честное слово, в те мгновения, совершенный ещё мальчишка, я понимал что-то такое важное, чего сейчас понять мне, со всем нынешним жизненным опытом моим, не под силу. Судовой плотник, наконец, багром подцепил меня за телогрейку и вытащил на борт (я срывался дважды). И вот, я тут же всё забыл. И сейчас не помню.

Меня растирали спиртом.

— Слушай, — сказал я. — А как же это?

— Что?

— Ну, мне там говорили, что мы тут все, это…

Ледяная, жестянная ладонь, легла мне на плечо:

— Это ты с перепугу. Думал — помирать пора. Затра и вспоминать забудешь. Глотни-ка спитрику. Полезно для мозгов.

Ну, я тогда смолчал, конечно. Но я вам сейчас точно клянусь, что слышал какие-то удивительные слова. Я всё на свете понял — сразу. А потом сразу забыл. Может до следующего раза.

Не принимайте меня только за религиозного проповедника. Я антиклерикал. А всё же я тогда слышал это. Что-то слышал.

* * *

Однажды я очень обидел человека, обидел намеренно, и, хотя его уж давно нет в живых, с возрастом всё чаще вспоминаю это с большой горечью. Здесь я его назову Геной.

В эпоху ранней перестройки этот Гена на Ваганькове приватизировал несколько помещений и сумел организовать настоящий, небольшой, конечно, гранитный завод и хорошо технически оборудованный бетонный цех. Так что уж «болгарками» на чурбаках кривых плиты у него не полировали, устанавливали на стол. И стали распространяться слухи, будто ему разрешат и весь Ваганьковский мемориал выкупить. На это были причины.

Дело в том, что раньше Ваганьково «держала» пресненская мафия. А Генку охраняли люберецкие, и ребятам с ул. 1905 года пришлось потесниться.

Качество всех работ по обслуживанию и изготовлению изделий десятки лет на Ваганькове производились из рук вон плохо. Территория была захламлена настолько, что тресту пришлось разорвать договор с «мусорной» конторой, и самосвалы, вообще перестали приходить. О хамстве, вымогательстве, пьянстве нечего и говорить. А Генка набрал людей со стороны, и они выполняли работы очень аккуратно, по технологии и в срок. И здорово занизил цены простых установок за счёт сложных операций связанных с применением техники. Это клиенту было очень выгодно, а новые русские платили, не торговались. Понятно, что у Генки в регистратуре стояла очередь. Генка вёл себя в этой опасной и очень сложной ситуации — умно. Ну, скажем популистки — на худой конец и это неплохо.

Скажем, я иду по аллее с ведёрком, лопаткой, мастерком, ломиком — классический работник безквитанционной сферы — халтурщик. А мне навстречу — иномарка. Я — сторону. А машина остановилась, дверца открывается и оттуда Генка мне:

— Лысый, ты чего загордился? Уже и здоровкаться не хочешь? — протягивет руку, как старому товарищу.

Но с другой стороны тут, конечно, вся наша ваганьковская вольница зашевелилась. Генка стоит и говорит во дворе:

— Сперва мы всю пьянь разгоним. Останутся только хорошие работники.

Ну, я как старый кадр:

— Чего, Геныч, и меня погонишь?

— Не. Мы стариков пока оставим, — Генка смеётся. — Может, на мыло пригодятся.

И вот, как-то раз сидим в раздевалке, и Генка с нами. Он старался формально держаться старого. Он был нам свой, хотел это подчеркнуть.

— Ген, ну как там твоя дача? — кто-то спросил.

— Да уж готова почти вся, и отделку заканчиваю. Возни осталось с кухней, — и тут он руку к сердцу приложил и говорит. — Вот, ребята, поверите, всю душу в этот дом вложил. Просто вымотался весь. Но уж зато хибарка вышла — игрушка, а не дом.

И, сам не знаю к чему, а, впрочем, может, и знаю, я ему говорю, сильно скопидомов не люблю:

— Чего ты х… — то порешь? Как это бессмертную душу в дом вложить? Ты хоть мозгами пошевели.

Наступила тишина. Уж тогда немногие так могли обращаться к нему. И он помолчал, а потом вдруг спрашивает меня:

— Мишка, а почему ты такой злой? — и всё, мне крыть-то нечем, а он добавлять ничего не стал и ушёл.

Потом однажды был случай, приезжают от него на «Муравье»:

— Давайте, ребята, выручайте. На Генку чеченцы наехали. Ну мы и кинулись к нему в цех. Кто с лопатой, кто с монтировкой. Всё же нас тогда было человек полтораста. Сила. Кое у кого и огнестрельное оружие было. Тогда уж это начиналось.

У него во дворике стоят два здоровенных японских джипа и там человек десять, но мы знаем, что это десять стволов. Вышел к нам Генка.

— Ребята, спасибо за поддержку. За мной не заржавеет.

Чеченцы молчали. Один только сказал:

— Так. Ребята, держитесь подальше. Стреляем без предупреждения.

Врать не стану у меня ноги слегка холодные, гляжу на остальных — тоже фотки перекошены. Мы ещё тогда к этому не привыкли. Вдруг Генка ко мне подходит и сказал:

— А, Миш, ты тоже? Спасибо и тебе. Но я тебя не звал. Учти. Это я тебе при всех своих говорю.

И он ушёл к себе со старшим этих чеченцев что-то там выяснять. Ждали мы минут пятнадцать. Выходят. Бледноватые оба, но улыбаются и руки жмут друг другу. Договорились, значит.

С тех пор прошло много лет. Генку давно застрелили. Кому-то он видно недодал. А я до сих пор нет-нет, а вспомню вдруг. Зачем я тогда его обидел на счёт дома этого? Вот она привычка своё — другому навязывать. Ведь он за это дом погиб.

Стоил дом того? Вот как мне под шестьдесят подкатывает, вижу — стоил.

Принципы.

* * *

Виноват, если задаю наивный вопрос: Почему крестный отец Коза-Ностра человеком быть может, а московская шпана — нет?

Гость из бездны или призрак в публичном доме (начало)

Автор — русскоязычный репатриант,
В этом нет никого сомнения.
Однако, личность автора и литературного героя,
Идентичны не вполне.
Не забудьте об этом и, Боже упаси, не перепутайте!
И без того неприятностей хватает…

Вместо эпиграфа

В общем, я уж не знаю, куда ещё мне с этим делом податься. Я ж и в миштару заявлял официально, и в ШАБАК, обращался в разные религиозные и антирелигиозные организации, которые занимаются реинкарнацией, зомбированием, ну и прочим в таком духе. Никто не верит, и в основном советуют сходить к психиатру или просто опохмелиться. Ну, так я решил в редакцию написать. Потому что я ещё в Москве знал корреспондента — очень шустрого и понятливого паренька. Например, он один раз попросил меня, и я ему попросту, доходчиво растолковал, как напёрсточники работают. Так что вы думаете? Он целую статью про это накатал, и даже передача была по телевизору. И он мне очень здорово тогда за это отстегнул. Но его, к сожалению, шмальнули потом в Абхазии, а то б я сразу к нему. Но, думаю, не он один ведь — журналисты, вообще, народ очень живой, на лету хватают самую суть. Попробую.

Значит так, ребята, это дело, если к нему подойти с умом, стоит никак не меньше пяти лимонов зелёными. Фишка в том, что я лично в городе Тель-Авиве, в 2002 году видел и разговаривал с человеком, которого застрелили в Буэнос-Айресе в 1947 году. Человек этот был латышский эсэсовец. Я не в курсе, живой он был или покойник, но одному местному в голову свинца натолкал у меня на глазах. Мужик очень крутой. После мне сказали, что он умер от инсульта, но я в этом совсем не уверен. Мне его не показали, а он один раз уже умирал в Аргентине. Конечно, можно предположить, что его тогда не убили, а просто он чернуху нарисовал и слинял. Они же парни

были боевые, на простую приманку не клевали. У меня, однако, есть косвенные доказательства, что, хотя в 47 году убили именно его, но и в 2002 году я столкнулся именно с ним. Я эти доказательства вам приведу, и можно будет проверить по показаниям одной женщины, которая сейчас живёт в Тель-Авиве.

Вы чуете, чем пахнет? Вы, главное, напечатайте про это, чтоб заинтересовалась какая-нибудь солидная инстанция. Только, как начнут звонить, выспрашивать, не вздумайте называть настоящие имена и адреса, а толкайте их прямо на меня. Потому что в таких делах надо очень осторожно, это ж не книжки печатать. А я, когда заведовал мясным отделом в «Гастрономе» на площади Восстания, так меня вся Пресня слушала, и у меня не забалуешь. Расклад, допустим, будет такой: Я беру себе тридцать процентов, это по-божески. И меня вы можете не бояться, я сразу с этим чемоданом баксов линяю, потому что тут одна марокканская дамочка всё время ко мне ходит и говорит, что у неё от меня уже второй ребёнок. Я там не знаю, чьи дети, но, боюсь, так возьмёт за глотку — на пиво не допросишься. Здесь законы-то по этим делам шибко строгие. Так я, прямо, не дожидаясь пришествия Машиаха… Чего ждать-то? Он ведь, как придёт, тут же мне повестка: «В виду того, что в течение истекших с момента вашего рождения 57-ми лет вы систематически занимаетесь злостной антиобщественной деятельностью, ваше присутствие в Эрец-Исраэль нежелательно. Потрудитесь выехать из страны в течение 48 часов». Вопрос, куда выехать? Не иначе, как к чёртовой матери. Больше вроде и некуда. Ладно.

Я знаю, песенка эта всем уже здорово надоела, а что делать? Начинать с неё придётся. Когда я приехал в Израиль в 2000 году, дела сразу пошли совсем плохо. Я, понимаешь, рассчитывал здесь на своих ребят, которые до меня приехали, а они все сами оказались на мели. В Тель-Авиве неподалёку от тахана мерказит есть улочка такая, рехов Прахим. Цветов-то, как раз, там нету никаких, а живут в основном «туристы», и порядочный человек даже и среди бела дня туда забредёт, если смелости хватит, конечно, только по секрету от своих домашних, потому что там от шкур отбою нет, и наркотой торгуют воткрытую. А я там жил на съемной квартире весь свой первый олимовский год. Недорого платил. Но квартиры там паршивые, дома-то в сороковые ещё годы построены. Мазган нельзя поставить, и с электрообогревателем тоже пробки вышибает, а зимой бойлер лучше и не трогать, значит без горячей воды, и с потолка текло, пока дожди не прошли. А у меня ж тогда ещё жена была и пацан. Взялся я пахать, как сумасшедший. Десять часов в асфальтировочной хевре, и ещё взял по чёрному четыре подъезда

никайона по пять этажей. Чуть не сдох. А домой придёшь — слёзы: «Ну, что это за устройство в жизни?». Нет, я на Люську не обижаюсь, всё ж я её на восемнадцать лет старше, к тому же катал её в Москве на иномарке, а тут ни вздоху, ни продыху, в банке минус растёт, а в выходной ей с Мотькой в кафе не наскребёшь на два бисквита.

Один раз прихожу с работы, она мне говорит:

— Никогда бы не подумала, что ты здесь будешь работать асфальтировщиком. Мы с Матвеем уезжаем отсюда.

— Куда это, если не секрет?

— Не секрет. В Австралию.

— А меня, значит, с собой не берёте?

— Я познакомилась с одним очень порядочным человеком, и он зовёт меня туда. Так что ты здесь не при чём.

Ну, я, конечно, дал ей по морде пару раз. А что толку? Уехала она и Мотьку увезла. Ладно, хватит об этом.

Вот однажды в пятницу, день короткий, ребята говорят:

— Пошли в бардак. Хотя там на шабат цены сильно вырастают, зато народу немного. Попаримся, бассейн там, с девками повозимся, выпьем, покушаем по-людски…

Я сперва-то отказывался, а потом что-то — так на душе мутно, думаю: хоть расслабиться. Короче, уговорили. Обзвонили несколько заведений, где подешевле, нашли в Бат Яме «Русскую баню», вроде не совсем оттуда без штанов уйдёшь. Взяли такси. Нас было четверо. Ребята со мной совсем молодые, даже как-то неудобно. Ну, заказали большой номер, выпить-закусить, двух девочек. Всё нормально. А мне не понравилось. Музыку врубили так, что беги бегом. Парная не русская, а сауна, что там за пар? А тут ещё я спрашиваю девчонку эту:

— Ты откуда такая?

— Из Севастополя.

А я же служил в Севастополе, и у меня там друзей полно было, и девушка была, за офицера потом вышла. Совсем у меня настроение испортилось, я и говорю:

— Давайте… Вы кувыркайтесь, а я пойду в салон. Там мазган, а тут душновато.

Накинул я халат и выхожу в этот салон. Там бар, телевизор, кресла, ковры, диваны — всё, конечно, бэу. Заведение, то есть, на минус пять звёздочек. И девчата тоже, сразу видно, что не из Бенилюкса приехали. Гляжу за стойкой женщина. Лет ей сорок пять, но сильно красивая. Волосы, будто чернёное серебро, и глаза эти, знаешь, у еврейских баб — и утонешь и огнём сгоришь.

— Ата медобер русит?

Она смеётся:

— Я-то медобер, а ты лучше по-русски говори, понятней будет.

— Как тут работёнка-то у тебя, платят хоть прилично?

— Кто мне здесь заплатит? Я хозяйка. Бармен нажрался, я его домой отправила. Ноги уже гудят стоять. Приходи работать сюда. До зарезу нужен толковый человек.

— Откуда ж ты знаешь, что я толковый?

— С виду… А может, показалось.

— Что ж тебе муж-то не помогает?

— Объелся груш.

— Умер что ли?

— Почему сразу — умер? Просто посадили в Румынии, он там бизнес открыть хотел.

— Всё ясно с вами, — я говорю. — Насыпай мне тогда стопочку.

Я выпил и сижу с ней, болтаю о том, о сём. Зовут её Фира, приехала в Израиль лет двадцать тому назад из Алма-Аты. Сперва, говорит, дела шли хорошо, а потом денег не стало. Вот купила заведение, а с ним одна морока, баня в долгу, и не успеваешь разбираться с налоговой инспекцией. За девок сутенёры три шкуры дерут, а клиенты за каждый шекель торгуются, как на распродаже. Вдруг какой-то сигнал, вроде звонка. Она и говорит:

— Слушай, отвечай на «Безек», говори, чтоб хозяйке на пелефон перезвонили, а я минут через десять подойду.

Возвращается она, бледная, и лицо перевёрнутое какое-то.

— Какие проблемы?

— Да нет, ничего. Просто у меня там наверху, на втором этаже, где живу, тётка парализованная. Сиделка-то с ней только днём. Хочешь выпить ещё? Со мной выпей, фирма угощает.

Мне не хотелось напиваться, но вижу, ей надо, даже руки дрожат. Выпили мы с ней. Сижу я так, гляжу на неё и думаю. Что это с нами тут творится? С ума мы все посходили? Эх, видели бы покойные родители, Царствие Небесное, особенно дед Рувим. Я ведь обрезанный, могу хоть ширинку расстегнуть, если не веришь. У нас в доме никогда трефного не ели и по праздникам ходили на Архипова. А теперь что? Первое время я в Израиле носил даже кипу, а после куда-то завалилась, и — плюнул, пропади оно всё пропадом. Ничего себе алия, вашу мать, ну какие мы к чёрту репатрианты? — натуральные бомжи и больше ничего.

— О чём задумался? Всего не передумаешь. Давай ещё махнём.

— Да я-то махну, а ты чего так много пьёшь?

— Неприятности. Не охота рассказывать.

Решил я немного её развлечь, и стал плести разные байки.

Когда гоняли иномарки из Германии, через Польшу и Брест, был у меня хороший напарник, бывший каскадёр. Но дело в том, что мафия здорово обувала ребят в Польше и сдавала их прямо на таможню в Бресте, а за Брестом ждали уже свои братки. Не выгодно это было очень. Так мы с тем парнем решили из Германии везти машины паромом до Хельсинки, а потом до Ленинграда — это мы первые придумали, ей-Богу не вру. И сперва получалось неплохо. Пригнали мы таким способом в Москву несколько «Мерсов», совсем благополучно, и прилично заработали. Но дуракам же всегда мало. Мы с ним купили тогда два шестидверных «Кадиллака», конечно, не новых, но зализанных до невозможности — исключительно для президентов, в крайнем случае, для резидентов. Битком их набили видаками и компьютерами. Спокойно в Ленинграде с таможней и пограничниками разобрались, отогнали машины в Москву без проблем и поставили их у него на даче в Малаховке. Теперь, не торопясь, нужно было покупателя найти. Сдать мы всё хотели оптом, чтоб гнилого рынка не открывать. И нам уже рисовалось лимона полтора баксов, это со всеми отстёжками и в самом худом случае.

Вот как-то раз вечером, совсем поздно, мы с Люськой уж спать легли — звонок в дверь. Я встал в одних трусах и босой.

— Кто?

— А глазок у тебя на что?

Ну, я глянул, а там удостоверение. Капитан КГБ.

— Что так долго читаешь, может неграмотный?

А, я это люблю, когда начальство с юмором. Я и сам пошутить люблю.

— Виноват, товарищ капитан. Просто я со сна стал читать справа налево, по-еврейски, детская привычка.

— Не обосрался ещё, значит?

— А, Боже упаси, не беспокойтесь, я крепкий паренёк.

Впустил я его. Проводил в большую комнату и так слегка ему сделал оценку на предмет спортивной формы. Ничего паренёк, невысокий, сухой, лёгкий на ногу, подвижный, и на кулаках костяшки набиты, как чугунные. А я-то что? Хулиган из подворотни. Оделся я. Сидим за столом, разговор у нас дружеский, откровенный и спокойный. А Люська по квартире бегает и развивает истерику.

— Товарищ начальник, а можно позвонить?

— Куда?

— Подруге.

— Твоих подруг только ещё не хватало здесь, — я говорю. —

Давай, врубай телевизор, потише только, и гляди в него молча. Разберёмся.

Начальник мне и говорит:

— Что ж вы, гады, делиться не собираетесь? Что у вас этот… ацгемер или как его… память отшибает….

— Капитан, смотри. Нас двое. Допустим, ты третий. Поровну. Идёт? Только ты найди надёжного покупателя, и все твои дела.

— Ой, Крайцер, это очень сложно. Лучше так. Ты мне сейчас отдаёшь ключи от машин, все документы, сертификаты, гляди не забудь ничего. С напарником своим разбирайся сам. Вы языки в жопу затыкаете, а я потом, если всё будет нормально, вам пошлю сто баксов с тремя лишними нулями. Товар пока остаётся здесь, мне его некуда ставить.

— Так. А совесть?

— Какая совесть? Ну, вы и забавные же ребята, укатаешься с вами.

Вижу я, что официальная часть подошла к концу, начинаются танцы. Значит, он сидит спиной к окну, я напротив него, стол справа, не помешает. Нужно мне, чтоб он встал, потому что он меня ниже чуть не на голову, несподручно мне, и как бы лишней начинки в живот не получить — у него под левым локтем такого калибра агрегат топырится, что и медведю всё нутро разворотит.

— Товарищ капитан, а что это во двор «Волга» с мигалкой заезжает? Случайно не ваши там?

И встаёт капитан. Встаёт! Потеря бдительности. Я его сразу беру на калган, и лбом прямо в переносицу угадал. Пока он никак не проморгается, из под локтя у него вынимаю пистолет, слегка его ещё коленом в пах, чтоб он пригнулся, мне так поудобней, и рукояткой по затылку. Всё сделано аккуратно, грамотно, нормально. Человек лежит на полу и носом хлюпает, вроде простудился.

— Слышь, командир, а это что у тебя, неужто «парабеллум» настоящий? Ей Богу, в руках ни разу не держал. Подари, а! Ну, не жмоться…

Смеётся Фира, заливается, как девчонка, а мне чего и надо-то?

— Да ну тебя, врёшь ты всё!

— Не, не всё. Так, слегка только, чтоб тебе не скучно было.

Смотрит на меня, и вдруг за руку взяла. Рука у неё сухая, горячая и подрагивает немного.

— А ты что, и вправду так умеешь, как этот… Чак Норрис?

— Ну, я, как Чак Норрис, конечно, не могу, а, если просто человеку дать по тыкве, умею, была практика — я, ребята, говорю с ней, а у самого, как у пацана, сердце хочет выскочить.

— У меня к тебе, может быть, потом одно дело…, — и крепко так за руку держит меня, будто боится чего-то.

— Наезжает кто на тебя? Здесь, понимаешь, ещё проблема — миштара злая, и законы на счёт насилия какие-то ненормальные…

— Что ж ты, бояться будешь?

— Поглядишь на тебя, не охота и бояться.

Однако, время позднее. Ребята мои напились. Расплатился я, кое-как их наладил по домам и сам собираюсь.

— Домой торопишься? — спрашивает она меня. — Жена молодая?

Короче остался я с ней. Клиентов никого, девки тоже разъехались. Ну, что тут рассказывать?

— Нет, постой, ты сказал, что с лапами не полезешь…

— Когда я это говорил? Ну, ладно, я не буду…

— Сказал не буду, а делаешь что?

— Не знаю. Ей Богу, сам не знаю, Фира, что я делаю…

Была она нежная такая, и вроде стыдливая, как девочка, и вдруг — совсем, как тормоза отказали, просто сбесившаяся кошка. Я ей от любви-то повсюду синяков понаставил, и она меня всего исцарапала. Сладко было, горячо, но и тошно как-то — в этом её нищенском салоне, на диване продавленном, где на нас со всех стен бордельные шлюхи глядят, потому что порнуха ж развешана для разогрева клиентов.… Так, ребята, сердце жмёт ото всего этого. После сели за столик и держимся за руки, ну точно голубки — смеяться или плакать?

— Эх, Лёвка, ну зачем это нужно было, так вот сразу?

— А завтра живы будем оба? Ты точно знаешь?

Тут снова тётка её сверху позвонила. Фира позвала меня, подняться вместе.

— Смотри, время-то не позднее? Старуха может неправильно понять.

— Всё она правильно поймёт. Она многое поняла, как денег-то у нас не стало.

В небольшой комнатке наверху горел неяркий ночник. Запах, понятное дело, ведь лежачая больная. А сама бабка мне очень понравилась. Кажется, и я ей понравился, потому что она спрашивает:

— Как вас зовут, молодой человек? Фира позабыла нас представить друг другу.

— Лев Крайцер.

Тогда она говорит Фире:

— Ты знаешь, девочка, мне, конечно, могло и показаться сослепу, но этот твой новый знакомый определённо напоминает

настоящего мужчину.

— Можешь не сомневаться, — Фира отвечает. — Я только что имела возможность в этом убедиться, — а у самой губы дрожат, и слёзы на глазах.

— Никогда не смей в моём присутствии говорить ничего неприличного, — строгая была старуха. — А вы, Лео… вы разрешите мне вас так называть? Вы, действительно, настоящий мужчина, ничего не боитесь?

Что это они так интересуются моей боеспособностью? Меня это вдруг резануло сильно по душе. Может, хотят меня здесь подставить под какую-нибудь совсем ненужную канитель?

— Ничего не бояться обычно дураки.

— Хороший ответ, — сказала старуха. — Мне нравится. А тебе, Фира?

Фира сказала, сквозь слёзы улыбаясь:

— Мне тоже нравится. Очень нравится.

Тут у меня терпение кончилось, я и говорю:

— А вы, извиняюсь, конечно, что — людей в охрану набираете?

— Не помешала бы нам охрана, только платить нечем, — старуха отвечает. — Но молодой, я была очень красива, и мужчины всегда заступались за меня. Мне совсем не страшно было жить. Боюсь, что для кофе уже поздновато… Фирочка принеси всем нам чаю. Мы будем полуночничать. Правильно? Я ещё не забыла русский язык.

До войны в Риге был шикарный магазин дамского платья, а при нём — модное ателье. Хозяином был Самуил, я не запомнил, как по батюшке, Моркович. И у него было двое дочерей. Только, если вы не хотите распутывать семейных головоломок, не читайте о евреях совсем ничего. А хотите почитать — придётся разбираться. В общем, тётку Фиры звали Циля Самуиловна Моркович. В сорок первом году их семья жила в Риге. Когда ясно стало, что немцы собираются там устраивать живодёрню, младшая сестра, тогда ещё совсем молоденькая, Фиры мать, оказалась случайно в Алма-ате, в гостях у кого-то. Родня у них там была. А все остальные, что в Риге оставались, когда запахло газом, сумели вовремя уехать Аргентину. Не знаю до сих пор, как у них это получилось.

После войны мать Фиры, Зося Самуиловна, осталась в Алма-ате. Там окончила Пединститут и почти всю жизнь работала учительницей математики в школе. Была она женщина болезненная, стеснительная, её считали старой девой, пока она не родила девочку, не вполне я понял от кого, да это и не важно.

А её старшая сестра, Циля Самуиловна, в Аргентине вышла

замуж, очень удачно. Её муж, какой-то крупный предприниматель, через год после счастливого бракосочетания умер. Он был её гораздо старше, хотя и самой Циле было уже за сорок. По завещанию всё его имущество, движимое и недвижимое, оставалось жене. Но в 2002 году когда, я с ней познакомился, в Тель-Авиве ей было хорошо уже за девяносто, и, как Фира мне говорила, да и по обстановочке судя, от денег не осталось ничего.

В военные годы в Буэнос-Айресе полно было всевозможных марксистских, троцкистских, анархистских, фашистских, ну и, конечно, сионистских организаций. Немолодая, но ещё и вовсе не старая, очень богатая дамочка постоянно таскалась там по разным этим клубам. Однажды она познакомилась с земляком, молодым евреем из Риги, парнем, который, представляясь — его звали Эли Шварц — между прочим, сказал, что недавно из Эрец-Исраэль. А туда он приехал из Югославии, где встречался с Тито, и тот произвел на него хорошее впечатление, хотя он, конечно антисемит. Все хорваты и сербы антисемиты. Все не евреи — антисемиты. Жуков хороший товарищ и хороший военный, немножко нервный, но хороший. Он тоже антисемит. Но с ним можно иметь дело. Нужно посмотреть, как он водку пьёт — это что-то из области фантастики. Парень был остроумный и врал, как пулемёт. Вообще-то он как официальный представитель Джойнта постоянно должен находится при советском Генштабе. Но его, буквально рвут на части. В Аргентине у евреев полно проблем. Но война идёт к концу. Нам теперь придётся подумать и о своём собственном будущем, не всё же о будущем человечества.

Высокий, поджарый, спортивный, очень светловолосый и светлоглазый, великолепная офицерская выправка, совсем не походил он на еврея, как во всём мире привыкли нас представлять себе. А, между прочим, такие евреи на самом деле встречаются нередко. Говорят даже, что наши предки, построившие Храм, были блондины. Хорошо, пусть бы они там были все хоть альбиносы, а парень-то, явно подозрительный. Но что ж вы хотите от глупой, стареющей бабы?

— Эли, сердце моё, — сказала она ему как-то, — я не религиозная женщина, но национальные традиции в меру старюсь соблюдать, кашрут, например, если это не мешает делам, однако… я никогда не связала бы свою судьбу с не евреем… Постойте! Давайте послушаем этот романс я его очень люблю. А вы?

Всё это происходило на веранде столичного ресторана «Лотос», очень популярного тогда в Буэнос-Айресе, который был, буквально, затоплен волнами иммигрантов, беженцев и

всевозможных мошенников. С эстрады — «Ехали на тройке с бубенцами…»

— Русские песни? — сказал Эли. — Мне приходилось их слышать в довольно своеобразном исполнении. Конечно, они музыкальный народ… Да, русские, цыгане, африканцы… Гоим — народы… Циля, простите, по документам я швед. Это для здешних властей. А для спецслужб я приехал из Канады. И у меня есть всего один убедительный способ доказать вам, что я настоящий еврей…

Слушал я Фиру, а Циля время от времени перебивала её и поправляла, и я всё больше и больше убеждался в том, что тёткин давний поклонник был агентом какой-то разведки или сразу нескольких, как это в конце войны очень часто случалось. Потому что обыкновенному проходимцу выудить у такой сорокапятилетней маменькиной дочки несколько сот тысяч долларов, как два пальца об асфальт, а ему нужны были не деньги. Нет, не нужны ему были деньги.

— Циля Самуиловна, — сказал я, — вы меня только, ради Господа Бога, извините. Он чего от вас хотел?

— Можете меня называть просто тётя Циля, хотя ваша тётя, если она у вас была, по возрасту, вернее всего, могла быть моей внучкой. Что же касается Эли Шварца, он любил меня. Любил!

— Он представил вам верное доказательство своей национальной принадлежности?

— Этого вопроса вы могли бы мне не задавать. Да, таки он был обрезан.

Я попробую покороче, потому что с моими дамами мы просидели за чаем до рассвета. Когда я спросил: «Что ж, действительно, этому человеку ничего, кроме любви, не нужно было от вас?», — она долго молчала. А потом сказала:

— Вам придётся дослушать до конца.

В сорок седьмом году, то есть накануне израильской Войны за Независимость, возлюбленный Цили сказал ей под большим секретом, что в городе обнаружена хорошо законспирированная боевая организация латышских эсэсовцев. Её руководителя зовут Ояр Спалвинш, и этот Спалвинш, когда-то лично застрелил в Риге его отца и двоих братьев, а мать и сёстры отправились в газовую печь. Люди в этой организации состояли такие (их было около сотни), что о них в Ялте был составлен специальный секретный протокол. В соответствии с этим протоколом их нужно было выслеживать и, наскоро получив от них возможную информацию или не получив её, ликвидировать на месте, не доводя дело до суда. Таково было решение держав-победительниц. Так что ребята были непростые.

И наш благородный Эли Шварц обратился к своему руководству с просьбой лично ликвидировать Спалвинша. Ему пошли навстречу. Уходя на это дело, он сказал, что, как только задание будет выполнено, он хочет жениться на Циле и уехать вместе с ней в Эрец-Исраэль, где уже на носу война с двоюродными братьями. А без него там Бен-Гурион, как без рук. Эли убил этого эсэсовца, после чего у него на всю жизнь на лбу остался глубокий шрам, потому что такого волка взять было, конечно, нелегко. Циля не сомневалась в том, что Ояр Спалвинш убит. Как ей было сомневаться, когда аргентинские газеты опубликовали его фотографию, а она его видела не раз в компании со своим женихом. Писали, что следствие выдвинуло две версии. Или преступника убили его же сообщники, сводя старые счёты, или это бесчинствуют сионистские террористы.

Судьба Эли Шварца, если подробности опустить, такова. В 1948 году он участвовал во многих самых значительных операциях войны и несколько раз был ранен. В конце войны он полковник. Он был всегда очень близок к Моше Даяну, который к 1956 году, действуя непосредственно через Голду Меер, настоял на переводе Шварца в генеральный штаб. В Шестидневную войну Шварц командовал отдельным десантным батальоном, и по окончании войны он уже бригадный генерал. Во время Войны Судного Дня (73 г.) он непрерывно находился на Голанских высотах, и в ходе тяжелейшей операции, когда сирийские войска вынуждены были этот важнейший пункт, взятый ими в первые дни, оставить, Эли Шварц был тяжело ранен, оказался повреждён позвоночник, и он ушёл в отставку в чине генерал-майора. Ещё несколько лет он передвигался на костылях, потом на инвалидной коляске, а потом навсегда слёг в постель. И тогда в Алма-Ату, на имя маленькой школьной учительницы математики Зоси Самуиловны Моркович пришёл из Израиля вызов. Этот вызов прошёл через такие инстанции, так был составлен и так внушительно подписан, что вместо того, чтобы, потерявши работу, надолго сесть в отказ, Зося с дочкой, которой к тому времени было уже 23 года, через несколько месяцев жила уже в роскошной вилле на берегу Средиземного моря. Однако, Зося Самуиловна вскорости заболела. У неё обнаружили рак горла, и она умерла. Фира переехала к своей тётке в Тель-Авив. Некоторое время они все благополучно жили в генеральской квартире.

Однажды Генерал Эли Шварц позвал жену к себе для серьёзного разговора. Он попросил сиделку выйти и, прежде всего, потребовал, чтобы Циля принесла ему стакан шотландского виски с содовой и пачку сигарет. На её испуганные возражения он ответил только грустно покачав головой.

В несколько глотков он выпил виски, закурил и долго смотрел на Цилю, будто стараясь обнаружить в ней что-то такое, чего не заметил за сорок без малого лет супружеской жизни.

— А знаешь, Циля, дорогая моя, хорошо, что у нас не было детей, — вдруг сказал он.

Старуха заплакала. Эли некоторое время молча смотрел на неё. Потом он взял её за руку.

— Я долго думал, стоит ли рассказывать тебе о том, чего бы ты никогда в жизни не узнала. Но в последние дни обстоятельства изменились так, что ты всё равно узнаешь, рано или поздно…

В следующие несколько минут, очень кратко, по-военному Эли Шварц объяснил своей жене, что он не только не еврей, но даже и не латыш, а самый натуральный прибалтийский немец, и настоящее имя его Карл Швацркопф. Во время Второй Мировой Войны он служил в СС. Он познакомился с ней в Аргентине, не случайно, а потому что в это время, имея задание внедриться в спешно тогда формируемые на территории подмандатной Английской Палестины, израильские вооружённые силы, он налаживал связи и тщательно строил достаточно убедительную легенду. Женитьба на еврейке для этого была просто необходима.

Когда же Война за Независимость закончилась, и стало ясно, что Израиль — это надолго, а отдельные сохранившиеся структуры немецкой разведки разваливаются сами по себе, или уничтожаются, или вливаются в соответственные организации других стран. Эли Шварц решил, что он Третьему Рейху больше ничего не должен. Поэтому он выловил какого-то проходимца, встряхнул ему для ясности мозги, чтоб тот лучше соображал, и этот человек под диктовку нашего героя всю немецкую агентуру в Израиле подчистую сдал Службе Безопасности, которая всегда там была очень оперативна. Короче, от боевых товарищей Карла Шварцкопфа за несколько дней и пыли не осталось. И агент Шварцкопфа тоже, естественно, тут же исчез навеки, потому что этот Карл имел привычку никаких следов нигде не оставлять. Всю оставшуюся жизнь Эли Шварц посвятил Государству Израиль и сионистской идее. Служил, как уже было сказано, не за страх, а за совесть.

— Циля, — сказал он. — Не смотря на всё это, как ни трудно поверить, а я любил тебя. Мне с тобой было хорошо, ты красавица была, и добрая верная была жена. Я же тебе, кроме неприятностей, ничего здесь не оставляю.

Он потом долго молчал, о чём-то раздумывая, и, наконец, добавил что-то очень странное:

— Есть один человек, который, возможно, после моей смерти

тебя найдёт и станет требовать чего-то такого, что ты не захочешь или не сможешь ему дать. Ты помнишь Ояра? Если он здесь появится, скажи ему, чтобы уходил, если снова не хочет столкнуться со мной. Я убил его в Буэнос-Айресе, потому, что мы тогда хотели отстранить его от руководства группой — он совсем ошалел и убивал направо и налево, всех подряд. И однажды зачем-то убил очень нужного человека. Он тогда стал шантажировать наших ребят. Ты скажи ему, что я его снова убью, если он снова примется за своё.

— Как? — Дрожащим голосом, — сказала старуха. — Как это может быть, если Ояр умер?

Муж ответил ей что-то вовсе уж непонятно.

— Конечно, он умер, и я умру через несколько часов. Но никогда не умирает и не умрёт СС. Всё, что мы сделали за десять лет, работая, как одержимые, и сражаясь против всего мира — это никогда не умрёт. Поэтому все должны быть осторожны, особенно такие люди, как ты Циля, моя дорогая. Ты должна быть очень осторожна, потому что оказалась невольно втянута в эту нашу вечную мёртвую жизнь. Всегда может появиться кто-то, кто позовёт тебя туда.

И потом он добавил ещё кое-что:

— Знаешь, Циля, я во время войны натворил в Латвии столько, что, если после смерти будет суд, мне уж никак не отвертеться. Но я надеюсь, что там у меня будет параллельно сразу два процесса. Здесь-то я дрался неплохо и честно, особенно в 73 году, когда еврейская пехота и танки на Голанах горели, как солома, и все испугались, и началось: А кто за это будет отвечать? А я не испугался. Я и людей сохранил и позиции не оставил, — он засмеялся. — На том свете я для тамошних юристов — большая головоломка.

Действительно, к вечеру того дня генерал Шварц умер, и его похоронили на военном кладбище, на Горе Герцля со всеми боевыми почестями. А, примерно, недели через две пришёл какоё-то штатский, представился сотрудником Службы Безопасности, коротко наедине поговорил с Цилей, и всё был кончено. Пришлось перебираться из генеральской квартиры на улице Аленби на схерут, и жизнь пошла совсем другая. Пока уж дело не дошло до того, что пришлось содержать публичный дом.

Не скажу, чтоб я поверил этим бредням. Но ясно было, за старухой тянется какой-то очень вредный хвост, который обрубить трудно и, во всяком случае, не мне это под силу, потому что я пресненская шпана, а там люди с настоящей квалификацией.

— Я так понимаю, Циля Самуиловна, что недавно этот Ояр

здесь появился.

— Вы правильно понимаете.

С месяц тому назад у Фиры зазвонил её рабочий телефон, и кто-то на ломаном русском спросил, когда она бывает на работе.

— А вам я зачем? Вас обслужат и без меня. Мы ведь работаем круглые сутки. Приезжайте в любое время. Вас интересуют девушки?

Человек этот засмеялся. А смеялся он так, что у Фиры по её словам сердце похолодело.

— Просто, как покойник смеялся.

— Фирочка, уверяю тебя, покойники не смеются никогда. Циля Самуиловна, если это, действительно, ваш приятель Ояр, значит ваш покойный муж его не убил, промахнулся. Это бывает. А вернее всего, это кто-то вас покойниками просто пугает. Это очень распространённа практика.

— Вот понимаешь, — Фира говорит, — так-то оно так… А нужно было слышать этот смех.

— Мне интересует не девушка, а пять минут деловой разговор неотложной важность лично с вами.

— Я здесь постоянно с восьми утра до пяти вечера без выходных. Но у меня здесь охрана, учтите.

— Очень хорошо, — отвечает этот гад. — Значит вы предусмотрительный человек. Пять минут деловой беседы двух предусмотрительных людей. Есть шанс для серьёзный результат.

Фира сказала, что иногда уезжает по делам на час-полтора.

— Я подожду. Мне время есть.

— А почему не договориться на определённое время?

— Как это неудобно, даму обременять пустяки. Я приеду в удобный момент.

И, прежде чем трубку положить, он снова засмеялся своим идиотским смехом. Вот ведь скотина, жмёт на психику. А приедет он, значит в удобный для него момент. Ловко устроился с двумя бабами воевать. И он появился через несколько дней. Если в 47-м ему было около двадцати пяти, значит в 2002-м — никак не меньше семидесяти семи. Но по словам Фиры больше шестидесяти ему дать было нельзя, и он был в очень хорошей форме. Элегантный, одетый по-европейски господин. Он подошёл к Фире, которая сидела за кассой стойки бара, и вежливо осведомившись, не она ли хозяйка этого заведения, сообщил ей, что имеет спешное дело до её тётки Цили Самуиловны Моркович.

— Какое дело? Старуха больна, лежит без движения, и ей, прежде всего, волноваться нельзя, — сердито сказала Фира. — Вы мне это дело скажите. Я сама разберусь.

— Никак невозможно, к сожалению. Дело приватное, очень

личное, — и он было уж направился прямо вверх по лестнице, видимо, прекрасно зная, как пройти к тётке, но Фира его остановила.

— Какого чёрта ты здесь распоряжаешься? Я сейчас в миштару позвоню.

Тогда он рассмеялся, и у Фиры снова похолодело сердце.

— Зачем вызывать? Прошу вас, поднимитесь сама до ваша тётя. И скажите, ей срочно хочет видеть Ояр Спалвинш. Все сомнения пройдут. Не придётся и беспокоить занятых людей.

Когда Фира сказала Циле, кто к ней пришёл, старуха, тяжело переводя дыхание, проговорила:

— Этого не может быть, — а потом. — Нет. Всё может быть после того, что уже было.

Она велела пустить этого Ояра к ней и оставить их наедине. Они проговорили очень недолго, после чего латыш спустился вниз и, вежливо откланявшись, ушёл.

— Циля Самуиловна, вы можете сказать, чего он хотел от вас? — спросил я.

— Да могу. Он дал мне документ, уже по всем правилам заверенный нотариусом, где я признавала его своим племянником. Мне оставалось только подписать. Он обещал, что после этого мы уже никогда не увидимся. Но я подписывать не стала. Во-первых, я не поверила тому, что мы не увидимся больше. А во-вторых, с помощью такого документа он может получить израильское гражданство, а я этого не хочу. Этот человек приехал сюда убивать. Я сказала, что мне нужно посоветоваться с моим мужем, который, предвидя такую встречу, велел мне перед своею смертью передать ему, чтобы он убирался, потому что, как Эли убил его в Буэнос-Айресе, так он его и в Тель-Авиве убьёт. Немец несколько мгновений размышлял, а потом сказал.

— Да. Поговорите с вашим мужем. Через несколько дней, с вашего разрешения, я вас снова навещу.

И вот теперь Фира со старухой ждали его.

— Лео, хотя вы недавно в Израиле, но всё-таки вы мужчина. Вы не считаете, что необходимо заявить в миштару? — спросила Циля.

А в Израиле полиция, хотя и боевая, но в таких делах очень бестолковая, потому что это не менты, а армейщина. Стучаться же в Службу Безопасности ШАБАК, значит навсегда попасть в их поле зрения, а в такой ситуации, и учитывая, кем оказался, в конце концов, муж Цили Самуиловны, это совсем не лучший выход. Я посмотрел на Фиру. Ей в глаза я смотрел. Смотрел, смотрел я в глаза эти, чёрные, полные слёз. И говорю как-то даже

для самого себя неожиданно:

— Нет, если вы меня спрашиваете, я бы не советовал вмешивать сюда полицию или другие официальные органы. Если вы не возражаете, я сам этим займусь. У меня есть ещё по России некоторый опыт. И мне кажется, что это какой-то мелкий жулик вас хочет припугнуть из-за грошей. Успокойтесь Циля Самуиловна.

— Фирочка, девочка, что ты скажешь на это?

А Фира говорит:

— Если он будет за нас, я ничего не боюсь. Лёва, скажи только, что ты делать будешь?

— Я что-нибудь придумаю. Фира, даже если это живой покойник, я всё равно что-нибудь придумаю. Знаешь почему? Я тебе честно скажу. Потому что от меня совсем недавно ушла к какому-то австралийскому плейбою жена, которую я любил и которой верил. И этот австралиец увёз её в Австралию вместе с моим маленьким сыном. И теперь у меня здесь нет ни одного близкого человека. Кроме тебя и Цили Самуиловны.

Старуха внимательно и печально посмотрела на меня:

— Вы очень быстро и просто приобретаете близких людей, а похожи на человека с достаточно тяжёлым опытом.

— Да, это вы заметили верно. Как-то страшно стало мне одному, я никогда в жизни не оказывался один. А вы думаете, ваша племянница обманет меня?

Старуха вдруг засмеялась:

— Я этого не знаю, и не знаю, не обманете ли вы её… и нас обоих. Разве можно предугадывать такое?

Мы помолчали, а потом я коротко сказал.

— Ладно. Я взялся за это. Значит так. Метапелет больше сюда не ходит, рассчитайтесь с ней, и не старайтесь особенно извиняться. Пусть она посплетничает. Бармен тоже увольняется. Кто ещё у вас работает, не считая девочек?

— Повар, ему жена помогает, — сказала Фира. — Но с ними проще, потому что они работой недовольны.

— Прекрасно. Пусть они ещё вдобавок повсюду говорят, что у вас денег нет, и вы просили растянуть расчёт на несколько выплат. А никайонщики?

— Двое. Посменно работают.

— Их тоже рассчитывайте. Ещё кто?

— Массажист. Но без него многие клиенты сюда не пойдут.

— Вот и отлично. Не пойдут и станут судачить. Мне нужно нашего выходца с того света выманить сюда не, когда ему будут удобно, а когда мне нужно. Он побоится, что вы заведение ликвидируете и исчезнете. Искать — большая потеря времени. У

меня же впечатление, что времени у него не так много, как он говорил Фире. Остаёмся здесь одни. Но заведение пусть работает на всю катушку. Пусть будет побольше болтовни. Всю работу мы, Фирочка, уж ты потерпи, будем делать вдвоём с тобой. Дальше. Даём объявление сразу в несколько газет и в русскоязычную какую-нибудь, например, в «Вести» тоже.

Продаётся преуспевающее предприятие «Русская баня». Оборудование в отличном состоянии. Полный штат сотрудников. Очень много клиентов. Никаких проблем с налогами. Никаких невыплаченных ссуд или долгосрочных кредитов. Срочно. Недорого. Звоните сейчас!

— Он обязательно забеспокоится.

В Союзе, когда я запутался в серьёзные дела, меня один человек учил, что есть правило: Когда уж противник заявил ход, нужно терпеливо ждать его хода и не мельтешить. Но я совсем с толку сбился и, конечно, сразу же лоханулся, как последний фраер. Как только вся эта сумятица началась — звонок. Трубку, как на грех, снимаю я. Кто-то с сильным кавказским акцентом спрашивает меня о Натаниеле, когда она сегодня будет свободна. Я отвечаю, что весь вечер и ночь у девки расписаны.

— А Лора?

— С восьми вечера у неё окно до часу ночи, но с часу у неё серьёзная работа, так что выкладываться она не станет, предупреждаю.

— Роман это ты?

— Нет, я новый бармен. Роман уволился.

— Спасибо. Увидимся.

Положил я трубку, слегка подумал и за голову схватился. Ведь это ж я сам себя подставил! Где вы видели такого идиота? Теперь он знает, что точку охранят какой-то мужик. Справки обо мне навести легко. Он будет готов. А тут ещё Фира говорит:

— Слушай, хочешь, не хочешь, а надо привезти напитки. На завтра уже ничего не остаётся.

Напитки они получали с небольшого склада в Азуре. Место тихое. И я, понимаешь, боюсь Фиру одну туда посылать. Ведь, когда он узнал, что в бане кто-то, ему неизвестный, взялся её охранять — ему тогда проще её захватить в городе, и заняться шантажом, чем в баню являться, где неизвестно с кем он будет иметь дело.

В этом заведении был один постоянный посетитель. Древний старик. Он всегда приходил в моцей шабат уже совсем поздно, выпивал стакан колы и смотрел на девок, усевшись в кресло. Посидит, посидит, посмотрит, как танцуют, и уходит. Он был родом из Могилёва, приехал в 45 году прямо из концлагеря. Как-

то я с ним разговорился. Звали его Гирш.

— Знаешь, Лео, я ведь участвовал в обороне Дгании. Этот кибуц постарались укрепить, как могли, а командовал Даян. Он ещё был подполковником тогда. Было нас немного, по-настоящему оборону организовать было невозможно там. Окопались кое-как. И у нас были две французские мортиры.

— Да я слышал про это, — говорю. — Так это ты такой герой? И самого Моше Даяна знал?

— Как же. Друзья были. И мортиры эти я лично монтировал, потому что немного в механике разбирался. Я до войны работал на вагоноремонтном заводе. Они к нам поступили в разобранном виде, в ящиках. Их бы надо в музей было поставить, потому что французы из них последний раз палили во время франко-прусской воны.

Я эту историю знал хорошо, потому что её по радио и телевидению рассказывают каждый год в День Павших. Наступала колонна из шестидесяти сирийских танков, и Даян открыл из этих мортир огонь. Каким-то чудом удалось один танк подбить. Арабы подумали, что нарвались и идут прямо на мощную батарею. Они ведь плохо, вообще-то, воюют. И повернули.

— Слушай, — я говорю, — не обижайся, дядя Гриша, за такой вопрос. А чего ты сюда ходишь?

Он совсем не обиделся, а наоборот засмеялся.

— Да это целая история, — говорит. — Понимаешь, когда дело-то утихло, я получил увольнение на трое суток. Мечтал я добраться до Тель-Авива и обязательно попасть там в публичный дом. Молодой же ещё был. Наголодался за войну. Но оттуда в Тель-Авив тогда никак было и за месяц не попасть, потому что повсюду были арабские позиции. Я только пешком дошёл до одного поселения и там проспал два дня, как убитый, молока парного попил и вернулся в часть. Меня, конечно, ребята спрашивают: «Ну как, был в Тель-Авиве? А в публичный дом попал?». Я наврал там чёрт знает что им. Сказал, что мне удалось остановить нашу колонну грузовиков, которые под надёжным конвоем везли в Тель-Авив какой-то шибко секретный груз. А обратно добирался уж на попутных машинах. И в борделе был. Хорошие, говорю, там шлюхи, с ума от них сойдёшь. Вот я в память об этом и прихожу сюда.

— Дядя Гриша, а ты не мог бы здесь часа полтора посидеть завтра утром, пораньше, пока меня не будет. Я боюсь, понимаешь оставлять здесь хозяйку одну. У меня же с ней… ну, ты, наверное, знаешь. Какое у тебя оружие?

— Смит-Вессон, новый и ручной сборки, недавно купил. Хорошо пристрелян. Только это не годится. Если Фире, что-то

грозит, нужно звонить в миштару. Никак вы не поймёте, русские, что здесь не Москва вам. Здесь закон.

— А ты не русский? Ну, ладно. Слушай, не поможет миштара. Ты же их знаешь. Только шуму будет много. Сюда придёт фашист. Его надо остановить, а не спугнуть. Ты про генерала Шварца слышал?

— Его человек придёт? — старик сунул руку за пазуху, где у него, видно, был пистолет.

— Выручишь, дядя Гриша?

— Я, вообще-то не Гриша, а Гирш. Он один будет?

— Похоже, так, но я не уверен. Человек, очень уже очень немолодой, но хорошо натасканный. Служил в СС.

— Приду завтра утром. Это мне удача. У меня с фашистами счёты свои. Постарайся всё же обернуться быстрей. Единственно, чего я опасаюсь, это чтоб с сердцем не стало плохо. Я ж инфарктник. Пока живой, однако, ничего с твоей Фирой не случится. Но всё же объясни мне: в таком случае ведь уже не в миштару звонить, а в ШАБАК нужно обязательно заявить.

И вот я рассказал старику всю эту дикую историю. А он говорит:

— Конечно, верится с трудом, но что такое СС? — войско привидений. Никогда их не забуду. Когда замешан генерал Эли Шварц, всё может быть. Я и сам не стал бы никуда заявлять. Ещё посадят в сумасшедший дом.

Я беру их маленький грузовичок, еду в Азур. Загружаюсь там. Поболтал с хозяином, тот немного по-русски мог, потому что у него жена была из Польши. Сажусь в кабину. А с заднего сидения кто-то говорит мне в спину:

— Веди себя спокойно, не оглядывайся и руки держи так, чтобы я их всё время видел.

В таких случаях я стараюсь не горячиться и, действительно, веду себя спокойно. Руки поднял и сижу, молчу. А голос-то у паренька точно неприятный. Не знаю, как именно говорят покойники, не слышал никогда, но если они разговаривают, то, пожалуй, именно такими голосами.

— Сейчас говори правду, только быстро, я не имею много время. Чего тебе надо этих женщин?

— Чего мне может быть от них надо? Я прогорел тут в Израиле. Дела надо поправить.

— Молодец. Ты парень простоватый, но неглупый. Всё, что ты хочешь, возможно. Зачем ты мне мешаешь?

— Потому что они нервничают.

— Успокой их. Пусть госпожа Моркович подпишет документ, который мне нужен. Мне от неё больше ничего не нужно.

— Слушай, друг, — я ему говорю, — сейчас хозяин со склада выйдет и меня увидит с поднятыми руками.

— Он не выйдет. Он больше никогда, никуда, ниоткуда, не выйдет.

— Ну, ты ж и крыса! Зачем ты постороннего человека грохнул? Это было дело не его.

— Нельзя оставлять незаинтересованных свидетелей. Такие свидетели — самые опасные.

Тут у меня терпение лопнуло. Ничего себе, нашёл кролика!

— Так. Слушай, жарко, я пить хочу. Давай доедем по этой улице прямо до угла, там большой бар. Разговаривать можно совершенно спокойно. Там патрули ходят через каждые пять минут.

— Поезжай, только не скоро.

Я припарковал у бара грузовик, и этот чёрт мне говорит своим мертвым голосом, чтоб я шёл, не поворачиваясь, и садился за свободный столик к нему спиной, а то мол он сразу стреляет. И только уж, когда я уселся, он подгребает и садится напротив. Я уже говорил, как он выглядел. Очень прилично. Я заказал себе большую рюмку водки и банку холодного пива. А он сказал, что ничего ему не надо. И улыбаясь мне, как доброму приятелю спросил:

— Какие у тебя сомнения?

И я делаю следующую глупость:

— Слушай, скажи мне толком, ты кто? Ты назвался именем человека, который давно убит. И вымогаешь у старухи подпись, которую она тебе давать не хочет.

Какое-то время он молчал. Потом как-то со скрипом заговорил.

— Кто я? Вопрос нелёгкий. Можно так сказать, что я солдат. Но солдатом я был не всегда. Сначала я был в Латвии крестьянином. У моего отца была мыза. Знаешь что это? Больше сотни голов скота. Большое хозяйство. Лиепая, даже Рига, во всех кафе люди спрашивали кофе-сливки «Спалвинш». Наша мыза называлась «Айви» по имя моей матушки. Так отец назвал, когда сватался к ней. Потом пришли русские, отец ушёл в лес и там погиб. Мать умерла. С тех пор я стал солдатом.

— Хорошо. Но тебя в 47-м застрелил твой подельник?

— Он застрелил меня, а служба моя осталась, я исполняю.

Тут со мной что-то случилось. Я от злости просто весь задрожал и говорю:

— Смотри. Пистолет у тебя в кармане, и ты его достать не успеешь, его надо в таких случаях носить за поясом сзади под рубаху навыпуск. Мне тебя учить? Я сейчас беру тебя за волосы и

прикладываю головой к этому столу, а он мраморный. После этого — ты на руки мои погляди — если ты даже и живой пока, после этого уж точно будешь мёртвый, и проблемы с тобой закончатся, — это и была глупость.

Тут подходит к нам патруль. Спрашивают документы. Я предъявил. А он суёт им какую-то бумагу, в которой они разобраться не могут и предлагают ему пройти с ними. И уводят его. И я сижу, как дурак. Потом мне вдруг приходит в голову, что патрульных почему-то было трое, а в Израиле они всегда ходят по двое. И автоматы висели у них на груди, а не через плечо под правый локоть, как это принято здесь. А кто вообще, кроме русских и немцев так автоматы носил? Правильно. Никто. Это был патруль Вермахта с того света, вашу мать!

— Слушай, Дрор, — кричу я бармену. — Куда пошёл этот патруль сейчас?

— Постой, какой патруль? Здесь не было никого.

— Как никого? Только что патруль задержал человека, с которым я здесь сидел.

— Послушай, Лео, — говорит мне Дрор, — в Израиле не такой климат, чтобы посреди дня пить так много водки. Ты сюда один пришёл. Что вы здесь вытворяете, русские? Вы все сумасшедшие, а и без вас с ума тут сойдёшь. Ведь интифада, ты на это внимания не обратил? Ты не думаешь, что будет война, а у всех вас свои здесь проблемы, и на Израиль вам плевать.

— Брось, Дрор. Ни одному еврею на Израиль не плевать, а проблемы тут у всех свои. Так я что ль виноват?

После этого сажусь я за баранку и гоню на улицу Прахим.

— Дядя Гриша, ну как дела?

— Ничего подозрительного, — отвечает старик. — Так я пошёл? — эти еврейские вояки, немногословны в деле. Это потом они любят колёса на турусах разводить, а кто не любит? Разве только глухо-немые.

— Фирочка, ты только не волнуйся, но баня закрывается. Клиентов я провожу сам. Деньги придётся вернуть. С девками как-нибудь рассчитаемся. Надо быстро, потому что наш приятель скоро будет здесь. Нужна небольшая подготовка к встрече.

У меня был очень хороший «калашников» с укороченным стволом некондиционной сборки. Первое, что я делаю, это разбираю его и снова собираю на совесть, подсоединил рожок и под рубаху повесил через плечо. Сразу мне как-то спокойней стало. Не знаю почему. Клиентам я объявил, что здесь миштара будет большой обыск проводить с проверкой документов, потому что с утра какой-то подозрительный араб здесь тусовался, и они его упустили.

— Да ладно врать вам, — одна румынка говорит. — Никогда у вас спокойно работать не получается. Я сюда из Холона пилила на такси. Кто мне за это заплатит? В кои-то веки попался хороший клиент…

— Ну хочешь, оставайся. Если у тебя с документами всё в порядке, тебе бояться нечего.

— Козел ты…

Через полчаса в помещениях не осталось ни души. Мы с Фирой поднялись к Циле.

— Вы его ждёте сегодня? — спокойно спросила она. — Вы с ним виделись? Ну и как он вам понравился?

— Пускай он нравится собственной жене. Циля Самуиловна, я вам клянусь родной мамой, это обыкновенная олимовская шпана. Я его отсюда провожу под такие фанфары, что он забудет, как его зовут по-настоящему. Он думает, что вымогательство это пустяки. А на самом деле это дело очень тонкое. Требует сноровки. Что вы улыбаетесь? Честное слово! Его бы можно посадить за эти шутки, но неохота связываться. Месяца четыре он бы точно схлопотал, а больше за такие пустяки не дадут.

— Лео, — сказала старуха, — вы просто чудесный человек. Я не верю ни одному вашему слову. А почему вы такой бледный?

— Ящики с напитками грузил на жаре и потом ещё сдуру водки выпил, вот и всё.

Она смеялась:

— А что это у вас под рубашкой?

Но потом она перестала смеяться.

— Послушайте, Лео, этот человек убивает, как машина. Мне почему-то кажется, что вы с ним справиться не сможете. Он прошёл исключительную выучку. Вызывайте полицию.

— А я говорю вам, что я и сам справлюсь, не нужна полиция здесь ни вам, ни мне.

Рассуждал я так. Он, конечно, знает, что здесь есть огнестрельное оружие, здесь оно почти в каждом доме, тем более в таком месте. Он понимает, что я его ждать буду не с парадного подъезда, а с чердака или чёрного хода. Поэтому, вернее всего он с парадного и появится. Я автомат снял с предохранителя и взвёл. А его всё нет. И это продолжалось почти до самого вечера, уже стало смеркаться. Вдруг я шкурой почувствовал: вот сейчас! И точно слышу на лестнице шаги. И слышу, говорят на иврите сразу несколько молодых голосов. Один голосок девичий:

— Как, Максим, ты ходил к русским шлюхам? О, Боже, какой ужас!

По лестнице поднимается мой знакомый парень, полицейский шотер (постовой), с ним напарница его, лет

восемнадцати девчонка, и трое ребят из «Амбуланса».

— Боже мой, что это за ужасная порнография! Это из таиландских журналов. Такого насмотришься, и не захочется выходить замуж.

— А когда Мири выходила замуж, и вы пригласили на девичник стриптизёра, что вы там вытворяли?

— Я не вытворяла, а потом это был нормальный еврейский стриптизёр.

— Ну, конечно, он был кошерный…

Идут себе цыплята эти, смеются и болтают всякую ерунду. Никаких покойников.

— Здорово, Лёвка. А что это у вас так тихо?

— Так продаёмся же.

— Есть предложения?

— Пока что-то ничего серьёзного.

— Я говорил, сперва нужно было делать ремонт. Слушай, вы днём или ближе к вечеру не слышали рядом каких-нибудь криков, стонов, на помощь никто не звал?

Я сказал, что ничего не было.

— А что случилось?

— Прямо у вас под окнами умер какой-то бездомный старик. Хотел я вызвать следственную бригаду, при нём был пистолет, он кого-то поджидал тут, долго ждал, потому что окурков много набросал и вытоптал траву. Не хотят ехать. Говорят, если из-за всякого пьяного русского олима приезжать, не отчитаешься за горючее. Не любят нас.

— А мы их любим? Вот напарницу твою я б, скинь мне лет пятнадцать…

— Ага, разогнался. Только сунься, так наладит прикладом по голове — позабудешь и про любовь. Я уж пробовал. И в суд заявлять не станет, она местная.

— Но, знаешь, Макс, если он тут выслеживал кого-то… А можно взглянуть на него?

— Да ребята его уже затолкали в мешок. Зачем тебе смотреть? Зрелище неприятное. Он умер от инсульта.

Когда они ушли, мы поднялись к Циле. Она лежала, почти сидела на постели, опираясь на высокую подушку. Совершенно белая, как мел, а глаза блестят, как у наркоманки.

— Где Ояр?

— Циля Самуиловна, забудьте про Ояра. Он умер. Умер сам, значит, по-настоящему умер, от инсульта. Он стоял у вас под окнами полдня на жаре и умер. Только что миштара приезжала, и его увезли. Всё.

— Эли убил его, — сказала старуха, — Он пришёл, как

обещал мне, и убил. Больше ведь некому заступиться за меня…

Прожили мы с Фирой чуть больше года. Циля-то вскорости умерла. И тут оказалось, что я рылом не вышел. Я же малограмотный. Фира читала мне книжки вслух. Я чуть с ума не сошёл. Особенно от стихов. Сказать по правде, я и не знал, что на свете было столько поэтов. А сейчас их как бы не больше стало, чем раньше. Она мне читала стихи наизусть. Даже в постели. Один раз легли, и она мне читает что-то уж совсем непонятное. А я не выдержал, прижал её покрепче, как она всегда любила, и как будто всё было хорошо, так хорошо, что даже картина со стены на нас упала. А после:

— Неужели ты ни о чём, кроме этого, никогда не думаешь, когда мы вместе?

Тут я разозлился и говорю:

— А ты сама-то? Что ж ты тогда так высоко ноги задираешь, что даже эта дурацкая картина на нас свалилась?

— Этого не может сказать женщине порядочный мужчина, а только настоящий хам! И эта картина не дурацкая, а копия Марка Шагала. Я ноги поднимаю, потому что ты пользуешься слабостью моей женской природы.

— Ничего себе слабость — чуть мне поясницу не переломила, — в таких случаях она ужасно на меня обижалась.

А раз как-то пошли в филармонию, я и говорю:

— Здорово поют, жаль, я на иврите плохо разбираю, — а эти придурки, как на грех, пели по-итальянски.

А на концерте Ларисы Герштейн я, вообще, уснул. Ну, пива напился, и клонит в сон… Ну, и так далее, не хочется рассказывать. Она сейчас вышла замуж за какого парня из Бар Эланского Университета. Он там читает лекции. Чем он в этом смысле лучше меня не пойму. На импотента вроде не похож. А вот, что он меня моложе, это точно. Что ж так, зараза, не везёт!

Слушайте, ребята, а пока это дело раскручивать будем, может мне одолжите штуки четыре баксов? Я тут затеял предприятие по обслуживанию пожилых богатых женщин. Помещение снял приличное. Ребят набрал путёвых — настоящее стадо козлов, расплачиваться с ними только нечем. И реклама нужна, клиентуры, понимаешь, мало. Ну не четыре, так хотя бы две. Сроком на год и хотя б на четыре выплаты. Я раскручусь и верну.

Плохо, что я кашлять стал. И спина всё время болит. А чего ж вы хотели? Укатали сивку крутые горки. Так ведь у нас в России говорят?

* * *

Кажется, в 76 году меня попросили пожить зиму на даче в Мамонтовке. Я там должен был одновременно выполнить сразу две обязанности. Всю зиму аккуратно топить печь и присматривать за молодой девушкой, Женечкой, которая, будучи лаборанткой, в химлаборатории, незадолго до этого совершила попытку самоубийства по неизвестной мне и по сию пору причине. Думаю, тут была какая-то неудачная любовь. Вряд ли что-нибудь другое.

Ну и был некоторый расчёт на то, что я как человек, в те годы с одной стороны известный своей пусть и относительной порядочностью, а с другой, как и положено тридцатилетнему здоровому парню сильной, склонностью к женскому полу, сумею в меру рассеять её сердечную ледяную тьму, не внося в личные отношения слишком серьёзных мотивов. Печку мы, конечно, топили вместе, и это занятие, заранее спланированное нашими попечителями, и полезное, и одновременно приятное, невинное, но и соблазнительное — близостью ладоней, локтей, коленей, лиц, глаз, нежных, вьющихся прядей волос, — естественно, очень должно было способствовать возникновению и развитию отношений требуемого уровня.

Я целый день стучал на машинке, она же с утра уезжала на работу, где за ней присматривали друзья, и возвращалась часам к семи. И я кормил её ужином, насколько был способен приготовить его для девушки восемнадцати лет. Помню, я почти ежедневно жарил мойву с варёной картошкой, а на десерт пряники покупал, такие твёрдые, как камень, чтоб их размачивать в сладком чае. Получалось очень вкусно. Её устраивал этот своеобразный рацион. Или она обманывала меня ложью во спасение, будучи девушкой воспитанной. Такие девушки бывают скрытны. Её жизнь в этих условиях, честно говоря, вовсе не была спокойной и безоблачной.

Он меня считала великим человеком по причине непрерывного стучания пишущей машинки и еженедельных визитов в Новую Деревню к о. Александру Меню. Я всегда возвращался от него с головой, набитой фантастической мешаниной всевозможных премудрых идей.

Личной жизни с ней у нас никакой не получилось, хотя жили мы в двух комнатах — одна дверь напротив другой и безо всяких замков. Но, как на зло, ко мне на эту уединённую дачу потянулась вереница женщин, ошибочно считавших, что я к уравновешенной семейной жизни человек очень подходящий, только ко мне нужно руки приложить. И, как только одна из этих дам убеждалась в своей ошибке, она исчезала. Тут же появлялась другая. А у Жени и без того была бессонница.

И вот посреди ночи, а ей в шесть вставать, из моей комнаты вдруг такие раздавались звуки и разговоры, которые ко сну никак её не могли расположить. Особенно там была одна молодая женщина, которая требовала, чтоб я её в моменты самых небесных полётов любви называл исключительно как-нибудь неприлично и даже более того. Мне трудно было отказать ей в такой малости. А некоторые просто сопровождали эти занятия громкими и не всегда мелодичными возгласами. И Жене, которая всё это прекрасно слышала всю ночь, насколько я понимаю, было очень горько. Потому что, если уж обязательно прикладывать к этой дурацкой голове чьи-то умелые и чистые руки, так её руки для этого годились не хуже, других, может и лучше — её руки действительно были чисты, хотя, может и недостаточно умелы.

Однажды в Воскресение я, как всегда, рано утром пошёл в Новую деревню. Оказалось, что о. Александр в этот день уехал в Москву, не служит, и никого нет. Я немного потоптался по морозу и пошёл обратно в Мамонтовку.

— Брат, постой! — меня догонял огромного роста, с бородой до пояса, ещё сосем не старый, а лет сорока пяти, человек в крепко подшитых валенках. Забавно было, что его вполне приличное, тёплое пальто с меховым воротником было подпоясано армейским ремнём. — Узнать мне надо. А тут, понимаешь, ни живой души.

Он говорил с сильным нажимом на «о».

— Мне сказали, что тут каждое Воскресение служба.

— Ну, я, приду домой, позвоню в Москву, узнаю, — сказал я.

— Брат, а где бы здесь переночевать? Что я буду делать в Москве целый день? У меня билет до Горького на завтра, на вечер.

Делать было нечего. Я пригласил его к себе. Когда мы вернулись, Женечка только что встала и мыла пол, как она это делала каждое Воскресение.

— Грех, девушка, в Воскресение полы-то мыть, — сказал этот человек, снимая шапку и крестясь на икону, которая, висела в углу. — На этот образ Пресвятой Богородицы и перекреститься-то не грех. Это старая икона. Ты, брат, держишься старой веры?

— Нет, по правде говоря. Да я и не знал, что икона такая старая. Это в смысле ещё до раскола?

— Во-во! До самого ещё Никонского раскола.

Я сходил в магазин, купил, хотя с деньгами у нас было туго, хорошей закуски и водки. Чай вскипел. И Женечка, которую я кое-как познакомил с гостем, которого звали Евдоким, накрыла что-то вроде праздничного стола.

— Господу помолимся! — провозгласил Евдоким. — Он стал

читать молитвы и неторопливо, размеренно прочёл их несколько. Так что меня с мороза стало уже в сон кидать.

Звенел телефон. Я стал объяснять, что у меня сегодня гость и выслушивать сердитые выговоры. Потом позвонил знакомому и спросил, почему сегодня не было службы. Оказалось, что о. Александр заболел.

— Ну, что, Евдоким, — сказал я. — Сегодня у нас заночуешь, а завтра к поезду и поедешь. Тебе до Горького?

— В Горьком у меня есть верный соратник, сподобленный благодати. А потом мне в Чебоксары, а потом ещё на автобус, а там попутками, а, может, повезёт на почтовой машине.

И вот мы сидели втроём и выслушивали от Евдокима удивительные вещи. Он приехал в Новую Деревню для того, чтобы предуведомить о. Александра о близости Страшного Суда. Это, впрочем, я в то время слышал уже не раз. Но Евдоким в связи с этим принял некоторые решительные меры. И он протянул мне тетрадочный лист, исписанный аккуратным мелким почерком. Написано было со смешными детскими ошибками, но я это здесь передавать не стану.

Приказ!

Власти все отменяются. Управление всем миром временно передаётся в руки Морозова Евдокима Ивановича, потому что он сподобился богообщения и ему ведомы тайны, которые до срока передавать никому он не волен. Все армии на свете считаются расформированы, как и остальные учреждения человеческие, особенно же милиция. Всё управляется волею Божией, которую Морозов Евдоким Иванович станет возвещать по радио и телевидению. Это приказание по воле Господа Бога действительно с 24 декабря сего года — после того, как Морозов Евдоким Иванович из деревни Курки Молотовского района перевезёт в Москву, где его будет в Кремле резиденция, жену свою Валентину Сергеевну Морозову, а с нею восьмерых детишек своих — святых ангелов господних, из которых старшенькому четырнадцать лет, и которые сейчас имеют жительство в интернате, как изба сгорела, а власти средств на стройку не выдают, не смотря, что зима морозна.

— Тут бы, Евдоким, тебе надо действовать через суд, а вернее, сначала обратиться в райисполком — сказал я. — Женечка, ты пойди к себе, погляди, что там по телевизору.

Девушка, действительно, была очень напугана и ушла.

— Не веришь, Михаил? А ведь имя твоё означает — Кто как Бог. Как же ты можешь этому не верить? Если же ты укрепишься в этой вере — получишь право вершить суд над грешниками.

— Знаешь, давай-ка я тебе постелю, вот тут, на кушетке.

Поспать никогда не вредно.

Некоторое время он сидел, опустив широкий выпуклый лоб на сильную ладонь.

— Да, меня усталость валит. За твою доброту тебе стократ воздастся, хотя вижу, человек ты не истинно верующий и в мыслях нетвёрдый. Однако…, — он засыпал. — Не твоя на то вина. Не твоя, а тех, кто тебя соблазнил неверием. Соблазнившие же малых сих… они… их…

Когда он разделся я увидел, что на груди он носит огромный самодельный крест на простом крепком шнуре. Видно, так он устал, что скороговоркой прочёл только «Отче наш». Лёг, я укрыл его одеялом, а он, лёжа, ещё некоторое время смотрел в потолок, не смыкая глаз.

— Моих, моих… детей, Богом мне данных во благословение — заключить в этот безбожный и бесстыдный интернат, где хлеб воруют у детей и самих же детей воровать хлеб учат, чтобы их приобщить ко греху. Эти люди, из богоугодного заведения блудилище сотворили, а директор даже во грех содомский впал, — он вдруг встрепенулся и поднялся на локте:

— Нет. Не будет справедливости в райисполкоме. Бог — вот она справедливость. Я Его сам видел. Говорил с Ним, и Он мне крепким словом обещал…

— Евдоким, а ты кем работал-то?

— Австослесарем на базе. Там совхоз.

— У меня вертелся на языке подлый вопрос: «И ты в слесарке что ли всего этого набрался?», но что-то удержало меня.

У меня был седуксен, но я боялся дать ему его, потому что он выпил уже около стакана водки.

К вечеру следующего дня он уехал. Его Приказ ещё долго я возил за собой, пока не потерял. Дальше, пожалуй, нечего и рассказать.

Тут могут быть повторы из бывших уже записей

В 2001 году я жил в Иерусалиме. Как-то раз мне позвонили из редакции «Новостей Недели». На моё имя поступили какие-то письма, когда я собираюсь их забрать? Редакция — в Тель-Авиве. Я там появлялся неохотно.

— Послушайте, не в службу, а в дружбу, — сказал я секретарше, — если вам нетрудно, просмотрите их. Попадётся что-то серьёзное, прочтите мне по телефону, а отклики я как-нибудь потом заберу.

Одно письмо оказалось по её мнению серьёзным, и она его прочла мне: «Если фамилия Янсон вам что-то говорит, позвоните по номеру ……». Я записал номер. Янсон — что-то знакомое. А! Фамилия капитана яхты инженера Гарина. Ну, это вряд ли он меня разыскивает. Да к тому же он, кажется, погиб. Я не стал гадать, а просто набрал номер.

— Здравствуйте. Спасибо, что позвонили. Скажите, вы Пробатов, Михаил Александрович?

— Совершенно верно.

— Ваш отец, значит, Александр Николаевич Пробатов? Он был в своё время директором СахТИНРО?

Мой отец, действительно, был когда-то директором Сахалинского отделения Тихоокеанского Института.

— Тогда, представьте, вы присутствовали при моём рождении. Вам тогда было лет пять или даже ещё меньше. Мне рассказывала об этом покойная мать. Вы такого случая не помните?

— Вспомнил! — сказал я. — Ваш отец Рудольф Карлович Янсон, швед.

— Совершенно верно.

На следующий день мы встретились в баре на улице Бен-Иеугда. Передо мной за столиком сидел Иван Рудольфович Янсон. Сын шведа и испанки из бывшего СССР, он был евреем. Как это возможно? Вот когда вы захотите получить израильское гражданство, я вам расскажу, только под большим секретом. Иван Рудольфович очень захотел. Ничего удивительного. Он жил в России долго, почти всю жизнь, дожил аж до 1995 года, когда вдруг обнаружил, что не живёт, а умирает с голоду вместе со всей своей семьёй, а у него дети и внуки. И тут он захотел стать евреем. Захотел и стал им. Причём, он стал не таким евреем, как автор этих строк, а настоящим, обрезанным, в чёрной шляпе, под

которой, не смотря на жару, была ещё и кипа, с пейсами и с белыми кисточками талеса, которые называются, кажется, цицин, выпущенными из-под пояса поверх брюк. Будьте осторожны с моей терминологией на иврите, и прошу учитывать, что я в еврейской религиозной атрибутике разбираюсь не лучше чем в христианской. Речь у нас, однако, не о том.

Мы с Иваном по-русски выпили водки, курили и вспоминали. Каждому было о чём вспоминать. В первый и последний раз я видел его, когда мне самому едва исполнилось четыре года. Это произошло на острове Сахалин. Он был совершенно лиловый, мокрый и очень громко кричал в руках у повивальной бабки — засольщицы с рыбозавода. Она держала младенца, высоко подняв его в тёмных жилистых руках, покрытых синей татуировкой — недавно вышла из заключения, Я хорошо помню её ликующий возглас: «О, який хлопец гарний, та боже ж мий!».

На Сахалине Зоны не было никогда, но на материке, вдоль западного побережья Татарского пролива, от самой китайской границы на Север тянулась цепь пересыльных пунктов (Владивосток, Находка, Ванино, Сов. Гавань и т. д.), откуда заключённых отправляли в лагеря отбывать срок. К концу войны администрация ГУЛАГа, вероятно, уже не справлялась даже с минимальным обеспечением миллионов репрессированных. Не было для них ни работы, ни продовольствия. Возникла практика расконвоирования. Почему-то об этом не писали, а может, мне не попалось на глаза. Заключённых, не способных к работе, или тех, кто по расчётам администрации должен был в ближайшие месяцы умереть от голода и мороза (доходяги), выпускали безо всякой охраны за пределы Зоны. Бежать на Запад было совершенно невозможно. Практически, ни один такой побег не удался. Однако, особо везучим и смелым удавалось переправиться через неширокий Амурский лиман на Сахалин. В конце сороковых годов участились случаи нападения расконвоированных зэков на конвой. Многие из заключённых не так давно вернулись с фронта. Организуя группы по военному образцу, им нетрудно было разоружить не нюхавших пороху стрелков НКВД. Оказавшись на острове, где не было иных вооружённых формирований, кроме пограничников, которым было не до зэков, они уходили на Юг — там зима теплее, а тайга безлюдна и богата охотничьей дичью, грибами и ягодами. Эти люди были хорошо вооружены, доведены до полного отчаяния и, поскольку среди них фронтовиков оказалось немало — очень опасны.

Зима 1951 – 52 г. г. для Южного Сахалина была необычайно суровой, многоснежной, морозы достигали сорока, особенно по ночам. Никто или почти никто из беглых, которые укрылись в

таёжных сопках, не был охотником. К январю стало ясно, что продовольствие у них кончилось, и следовало опасаться их выхода к посёлкам. Об этом моему отцу сообщили по телефону с погранзаставы. В первых числах января несколько беглых с автоматом ППШ вышли среди бела дня к рыбозаводу в километре от нашего посёлка и попытались вскрыть заводской продуктовый склад. Им не повезло — рабочие были настороже и, укрываясь в бараках, открыли по ним огонь из дробовиков. Беглые отступили без потерь и ушли в сопки. Мой отец знал, что этим дело кончится не может, и несколько раз звонил пограничникам, требуя выслать в посёлок наряд. Пришли на лыжах двое молодых солдат, вооружённых карабинами, с офицером, который был их не намного старше. Отец пришёл в ярость и отправил всех троих назад. В посёлке было шестнадцать взрослых мужчин, у каждого охотничье ружьё с достаточным количеством фабричных патронов с картонными гильзами и, кроме того, металлических гильз, пороха, пыжей, крупной дроби, готовых пуль и свинца для отливки. Был, также, охотничий карабин с оптическим прицелом, принадлежавший Рудольфу Карловичу Янсону, а у отца — казённый пистолет ТТ. О Рудольфе Янсоне давно уже пора рассказать подробней.

Однажды в Москве на коллегии Министерства отец сказал, что, если б из доброй тысячи сотрудников ТИНРО ему позволили отобрать пятнадцать толковых ребят, он попытался бы работать по-настоящему. На что тогдашний министр Ишков заметил:

— А тебе, собственно, зачем пятнадцать? Миньян ведь это, кажется, десять человек…, — миньян, десять молящихся, необходимых для богослужения в Синагоге. Действительно, отец, не смотря на опасность такой кадровой политики, собирал в Институте, и особенно у себя в Сахалинском отделении, людей еврейской национальности, которых в то время отовсюду увольняли.

— Не обязательно евреев, лишь бы работали, как евреи, — ответил отец, который, будучи министерству нужен, позволял себе такое, что другому дорого бы обошлось.

Он, однако, не знаю откуда, очень хорошо знал, что можно говорить и делать, а чего нельзя, поэтому и ареста сумел избежать, в отличие от многих биологов, погибших по наводке провокатора — так отец в кругу доверенных лиц всегда именовал товарища Лысенко. То, что отец остался в живых, в особенности странно, поскольку его узкой специальностью было прогнозирование рыбного промысла, а прогноз в этом случае напрямую зависит от точки зрения на закономерности размножения рыбы, что для упомянутого академического палача

имело принципиальное значение. Были и другие странности. Вообще, совершенно непонятно, каким образом сын священника, расстрелянного в 1918 году, георгиевский кавалер, выпускник Кадетского корпуса, белогвардейский офицер, мог сделать в СССР блестящую научную карьеру, увенчанную Орденом Ленина. Отца часто подозревали в сотрудничестве с НКВД, но эти подозрения совершенно неосновательны. Почему я так уверен в этом? Моя бабушка по матери всегда безоглядно доверяла ему. Они были очень дружны, отца даже прозвали за это тёщиным мужем. Я просто полагаюсь на её лагерную интуицию. К тому же, мне кажется, она знала об отце гораздо больше, чем кто бы то ни было.

Шутливый разговор в Министерстве по расчетам отца должен был иметь весьма серьёзную подоплёку. В 1947 году Сталин распорядился развивать рыбную промышленность, для этого необходимо было освоить океанический промысел, а специалистов не было. Вскорости с ведома министра мой отец и с ним ещё несколько профессоров-ихтиологов представили лично товарищу Берия обширный список учёных-промысловиков, находившихся в учреждениях ГУЛАГа и предположительно ещё живых. Этих людей велено было искать, и тех, кого удастся найти, приводить в порядок и направлять на работу. Таким образом в посёлке появился Рудольф Карлович Янсон, швед из Красного Креста, арестованный за шпионаж в первые дни войны. По специальности он был вовсе не промысловик, а историк. Его освободили, вероятно, потому, что до войны он некоторое время занимался историей пушного промысла у себя на родине в Скандинавии. Кажется, в ходе этой малоизвестной операции НКВД, точно так же были освобождены ещё человек пять, но их судьба мне неизвестна. Рудольф Карлович был великолепным охотником, и отец в какой-то праздник подарил ему отличный бельгийский карабин с оптикой. Швед приехал в посёлок за год до тех событий. Он прекрасно работал, оказался человеком душевным и компанейским. Все полюбили его. А особенно его полюбила девушка, которую звали Мерседес или просто Мера — испанский ребёнок, не знаю, как она попала к отцу на Сахалин и почему работала мэнээсом. Хотя Янсон был лет на пятнадцать старше Меры, но любовь была так горяча, что и года не прошло, как Мерседес Гонсалес оказалась на седьмом месяце беременности. Янсон хотел расписаться по советскому закону, но отец отсоветовал — не следовало ему напоминать властям о своём существовании.

Как-то раз, поздно вечером, бабушка уже уложила меня в кроватку и читала мне «Почемучку» при свете керосиновой

лампы, потому что поселковый движок в очередной раз остановился. Потом выяснилось, что остановка в этот раз не была случайна. Институтский механик был уже убит. Вдруг со стороны узкоколейки послышались выстрелы и длинные автоматные очереди. В посёлке залаяли собаки и стали перекликаться тревожные голоса. Затопали сапоги в коридоре. Что-то отрывисто и решительно говорил отец, моя совсем ещё молодая мама, как всегда, звонко смеялась чему-то. Бабушка накинула платок и вышла. Она не велела мне показываться из комнаты, и я прилип носом к холодному стеклу тёмного окна. Я видел на железной дороге какие-то тусклые огни и вспышки…

Дело было так. Восемь человек беглых, среди которых, как потом выяснилось, был польский полковник из АК, вышли с наступлением сумерек к посёлку. Бесшумно кто-то из них подобрался к сараю, где работал дизель, финкой перерезал механику глотку, остановил машину, и свет погас. Это было для моего отца неожиданностью, потому что он рассчитывал на прожектор, установленный на вышке метеостанции. Посёлок, для тех, кто выходил из тайги, виделся на фоне моря и неба — освещённым, а для тех, кто смотрел со стороны посёлка, сопки и железнодорожное полотно — тонули в непроглядной темноте. Отец, однако, выставил охранение, которое укрывалось за железнодорожной насыпью. Беглые наткнулись на вооружённых людей и вынуждены были стрелять. В этом случае им ничего уже не оставалось, как только отступить, но полковник в первые минуты, видимо, обстановку оценить не сумел. Откуда ему было знать, что против него действует профессиональный военный, офицер? Он решил прорваться к складу, надеясь распугать штатских автоматным огнём. Но люди, организованные отцом, отступив от низкой насыпи, залегли за очень крутым и высоким валом снега, который остался после трактора, пробивавшего вдоль посёлка автомобильную трассу. Противник попал в ловушку. Из-за вала стреляли на скрип снега, попаданий не было, но под частым огнём беглые не могли двигаться даже ползком. Непрерывный огонь из дробовиков вели всего четверо наших, они сменялись через каждые пятнадцать-двадцать минут и уходили греться к печке. Мороз был свирепый, и беглым, вероятно, приходилось туго. Отстреливаться им не имело смысла, наши были в надёжном укрытии. К тому же боезапас у налётчиков, конечно, был ограничен.

Янсон с карабином пришёл к нам в избу. Он был бледен и очень взволнован, потому что Мера неожиданно стала преждевременно рожать, а до ближайшего медпункта было двадцать километров.

— Рудик, — сказала ему моя бабушка, — не ходи туда, тебе нельзя стрелять в них.

— Как это нельзя, Нехама? Как нельзя? Не пойти — спросят ведь, почему не пошёл.

— Зэки в побеге. Тебе нельзя.

— Вот уж никак не ожидал обнаружить здесь ещё пятую колонну, — весело сказал отец. — Нехама Львова, если он не пойдёт, я умываю руки. И что это за уголовная солидарность?

— Лагерная, — сказала бабушка.

— Но эти люди — уголовники или нет?

— Очень может быть, — грустно сказала бабушка, — вполне может статься, что и уголовники. Только это совсем не обязательно. Но у Рудольфа жена рожает. Если он с ней останется, кого это удивит?

— Вы это знаете не хуже, а лучше меня, — сказал отец, — а когда мы с Рудольфом возьмём этих преступников, он будет перед властью совершенно чист.

— Не знаю, как вы собираетесь их взять. И никто никогда не бывает чист перед этой властью.

Они с Янсоном ушли. Моя мама вдвоём с лаборантом Сашей Романовым пытались захватить сарай, где засел человек, убивший механика. Некоторое время они стреляли туда из своих дробовиков, он же не давал им продвинуться автоматными очередями. Потом наступила тишина. Никто больше не отвечал на выстрелы. Беглый прошил движок десятком пуль и присоединился к своим. Стало ясно, что электричества не будет. В это время луна скрылась в облака. Из-за укрытия видны были только неясные силуэты беглых, которые короткими перебежками уходили в сторону сопок. Отцу хотелось во что бы то ни стало остановить их. Он взял с собою Янсона, и они поползли вперёд, в снегу, под огнём нескольких ППШ. Янсон выстрелил четыре раза и ни разу не промахнулся. Но четверо продолжали, перебегая и отстреливаясь, уходить. Потом они залегли и стали стрелять прицельно. Им оставалось до спасительного распадка не больше двадцати метров. Янсон подстрелил ещё одного, осталось трое. Тогда автоматная очередь разрезала шведа почти пополам. Отец же, хотя и оказался ранен, сам взял его карабин и ещё некоторое время стрелял, но не попал ни разу. Трое беглых ушли в сопки.

Отец был ранен совсем не опасно, пуля засела в бедре, но кость не была задета. Бабушка перевязывала его. Он в нижнем белье, босой сидел на табурете у раскалённой печи, бледный от потери крови, морщился и улыбался.

— Положительно старуха была права, — сказал он.

— Старуха?

— В 19-м году старая цыганка мне сказала, что из огнестрельного оружия меня не убьют. В этот раз было очень близко. Жаль Рудольфа. Не знаю, как мне сообщить об этом Мерседес. Вы не возьмётесь, Нехама Львовна?

Пришла какая-то женщина и сказала, что Мерседес вот-вот родит. Бабушка окончила перевязку и собралась в лабораторию, где рожала несчастная вдова Янсона. Я был очень напуган и вцепился в бабушку мёртвой хваткой, так что ей пришлось взять меня с собой. Уже светало, и я навсегда запомнил пять черных бушлатов на сером предутреннем снегу.

— Не надо смотреть туда, — сказала бабушка.

Мы пришли в институтскую лабораторию, окна которой светились, потому что там зажгли полсотни стеариновых свечей. Там я и познакомился впервые с Иваном Янсоном, который через полвека после этого стал израильским евреем. Наутро, как только рассвело, в посёлок с погранзаставы пришли на лыжах десять автоматчиков с пожилым майором. Отец лежал в кровати. Фельдшер, приехавший из Холмска на тракторе незадолго до того, уже удалил пулю, засевшую в ноге, но вставать ещё было больно.

— Зацепило, товарищ профессор? — сочувственно сказал майор.

— Моё воинское звание тебе известно, майор?

— Виноват, товарищ капитан первого ранга.

— Аккуратно составь рапорт, я подпишу. Отметь, что все сотрудники института выказали мужество и дисциплину. Старший научный сотрудник, Фридлянд… Ты слушаешь, чёрт тебя дери?

— Так точно, товарищ капитан первого ранга!

— …Фридлянд, Ида Григорьевна, находилась под огнём… Ну и так далее. Чего уставился? Это моя жена, мне нужно, — понял ты? — нужно её особо отметить, потому что она, видишь ли, еврейка. А младший научный сотрудник Янсон, Рудольф Карлович, погиб при исполнении своего гражданского долга, проявляя беззаветное мужество и героизм — это дословно, чтоб написано было. Я для вдовы рассчитываю выхлопотать пенсию.

— Разве они были женаты?

— А вот это уже не твоего ума дело, там разберутся, женаты они — не женаты, ты умничай поменьше… О том, почему не было нам подкрепления от пограничников, можешь ничего не писать. Я это разъясню на словах, выручу тебя, дурака. Мне нужен рапорт и твоя подпись, одной моей тут будет недостаточно, а то б мы с тобой по-другому говорили и в другом месте. Всё понятно? Учти, моё начальство — в Москве, и мне тут никто не указ.

— Так точно! — сказал майор.

Вечером отец встал и бодро хромая прошёл к столу. Он твёрдой рукой налил себе полстакана спирта и задумался.

— Как там Мерседес?

— Она беспокоится, чтоб у ребёнка была фамилия Янсон.

— С ума сошла! Это глупо, очень глупо, — сказал отец. — И на её фамилию тоже нельзя записывать. Что это такое — Гонсалес? Это не годится. Всю жизнь человек будет с клеймом ходить. Придумаем что-нибудь незаметное.

— Мера решительно хочет, чтоб записали Янсоном, — сказала бабушка.

— Глупости.

Отец одним глотком выпил спирт и закурил. Некоторое время молчали. Вдруг он сказал:

— От северных оков освобождая мир… Как там дальше, Нехама Львовна?

— Лишь только на поля струясь, дохнёт Зефир, лишь только первая позеленеет липа… — бабушка грустно улыбнулась и покачала головой. — Неужто, Александр Николаевич?

— Я говорил с рыбаками, знаете? У меня такое впечатление, что люди устали и находятся, так сказать, на грани… Всему своё время. А дальше что? Сталин, ведь это… Оттоль сорвался раз обвал и с тяжким грохотом упал, и всю теснину между скал загородил, и Терека кипящий вал остановил… Следует надеяться, не так ли?

— Будем надеяться.

Рудольф Янсон лежал на полу в соседнем помещении уже накрытый белой простынёй. Его сын, которого невесть почему назвали Иваном, был жив, совершенно здоров и сосал материнскую грудь, совершенно не помышляя о своей будущей репатриации в Израиль, до которой было ещё очень далеко.

Итак, мы сидели с Иваном Янсоном в баре. Этот бар в Иерусалиме считается американским и называется почему-то «Занзибар».

— Ну и как тебе здесь? — спросил он.

— По-разному, очень по-разному. Ты не тоскуешь?

— Слушай, устал я тосковать. Знаешь, сейчас сравнительно легко можно уехать отсюда в Канаду.

— Можно и в Германию уехать. Почему не уехать? Ещё по одной?

Черноокая красавица со множеством серебряных серёжек в ушах, ноздрях, бровях, с голым смуглым животом и затейливой серьгой в пупке принесла нам ещё по стопке «Смирновской»…

Трусость

В высотке у Красных Ворот (тогда — Лермонтовская) жила девушка, и звали её как-то странно, Марта. И она была всегда такая загорелая, что невольно в голову приходило — мулатка. А, думаю, может и правда. Я знал, что родители её живут в Конго. Кто они такие — она не распространялась об этом. Марта, вообще, не много болтала, как большинство её ровесниц, а ей исполнилось тогда 23 года. Самое время для болтовни.

Мои отношения с ней выглядели так. У неё была пропасть денег. Это, нечего притворяться, имело значение, потому что не приходилось на бутылку, которая тогда стоила три рубля шестьдесят две копейки, скрести по всем карманам. Она сначала не казалась мне красивой, а просто очень мне нравилась. Я её звал Негритёнок. И по началу душевных отношений у нас не было. Я время от времени ей звонил. Иногда она отвечала:

— Ой, ты знаешь, я сегодня занята. Прости. Пока. Позванивай.

Или:

— Ну, чего тебе? Если хочешь, приходи. Скучно как-то.

А иногда:

— Ой, Мишка, ну ты просто, как по заказу. Ты где? Хватай тачку и лети. Вот просто сейчас в обморок упаду, как хочу тебя видеть, как ты нужен мне. Умру без тебя, ей-Богу умру.

В последних двух случаях и вечера проходили соответствующим образом. Или это было какое-то унылое взаимное изучение анатомии, при мерцании голубого экрана, или — вдруг наоборот, какой-то с нами ураган случался. А потом, когда уж сил не оставалось у нас, она прикладывала ко лбу мне тонкий гибкий свой палец с фиолетовым острым ногтем и, глядя прямо в глаза чёрными глазами, приговаривала:

— Ну, ты пока ещё не уходи. Почему ты всегда уходишь? Разве у меня здесь плохо? Хочешь кофе? Нет, я чуть попозже сварю. Я хочу вот так, посидеть и… просто так, посмотреть. Плакать хочется. Но ты не бойся, я плакать не буду. Я никогда не плачу. Из-за мужиков — не плачу.

Прошло так около года, и последний вариант как-то стал осиливать. Всё чаще она сама стала мне звонить. Я жил с матерью в коммуналке. Ничего толком ей о Марте рассказать не мог. А Марта всё чаще спрашивала, почему я не хочу познакомить её с матерью.

— Ну, я что ей скажу-то про тебя? Скажи хоть, кто ты, кто твои старики.

Я стал привязываться к ней. Да что говорить зря? Я её любил. И мать моя обрадовалась.

— Нет, просто настоящая мулатка?

— Ну… Почти.

— Когда ж ты её приведёшь? Кто её родители-то?

А Марта объяснила мне это так:

— Отец инженер. А мать… В общем, инженерша. Просто конголезская инженерша в смысле — жена конголезского инженера. Она блондинка, русская, а папа у меня чёрный. От этого я и на свет родилась. Потому что зачем отцу такая стерва? Но — блондинка! Он, действительно, чёрный. Совершенно, — почему-то со смехом сказала она. — Как рояль, даже ещё так, слегка в синеву. Очень красивый мужчина. Во всяком случае, интересный. Да это ерунда. Он просто очень хороший мужик и связался с этой… ну что о матери скажешь?

— Да уж ты сказала.

— Не выдержала.

Я сейчас забыл уже последовательность всех этих конголезских событий. Кого-то там свергли, кого-то расстреляли, кто-то сбежал. Не знаю, что случилось с отцом Марты, во всяком случае, для своей супруги он стал неактуален, и она внезапно явилась в захламленную огромную квартиру на Лермонтовской. И Марта сразу настояла, чтоб я с ней познакомился. По-моему она это сделала ей назло, потому что роскошная экс-конголезская блондинка сразу определила во мне отсутствие серьёзной перспективы. Моментально. И объяснила, что в ближайшее время они с дочерью будут заняты.

Не прошло, однако, дня, как Марта позвонила ко мне, и мы с ней встретились. Мы стояли с ней в знаменитой пивной на Колхозной. Она молчала, а я ждал.

— Ты можешь избить одного человека?

А в те годы я был такой парень: Я только спросил, каким он видом занимается.

— Видом чего?

— Спорта.

— Какой спорт? Он работает в аппарате Совмина. Что боишься? Сейчас он дома у нас. С коньяком и шоколадом. И розами. Я хочу, чтоб ты его избил.

Я оглянулся. Я давно не был на ринге, но продолжал ещё быть неплохим боксёром. Поэтому я сказал злую глупость:

— Хочешь, я тут любого на пол положу за полминуты?

— Ты глухой? У меня дома сидит чувак, и я хочу, чтоб ты его избил. Я уже видела, как ты умеешь, вот так и сделай.

И я спросил Марту:

— А кем он в этом аппарате работает?

— А тебе надо? Его на «Чайке» привезли, так что не машинисткой, не надейся.

Я сказал, что за такого человека пятнадцать суток будет маловато:

— Он что, к тебе приставал?

— Он хочет быть моим папой. А моего настоящего отца, вернее всего уже убили.

А я всё уныло повторял:

— Но к тебе же он не лез. У твоей матери может быть своя личная жизнь.

И вот мы пошли к Красным Воротам, поднялись на лифте. В квартире всё уже сияло именно так, как и задумано было авторами этого дурацкого дома, по-сталински сияло. И на столе хрусталь, салфетки, вино в каких-то невиданных тогда ещё никем длинных узких бутылках. А за столом прекрасная, слегка только подкрашенная блондинка и очень солидный, серьёзный в смысле перспектив человек. И он мне говорит:

— Здравствуйте, здравствуйте, молодой человек. Давайте познакомимся…, — и суёт мне ладонь, на ощупь очень похожую на тёплую черноморскую медузу.

И такой, понимаете, подходящий клиент, жирный, как морская свинка. Ну, и что, вы думаете было? Вы угадали. Ничего не было. Почему? Потому что страшнее трусости нет греха. Это, кажется, у Булгакова? Я быстро засобирался, сказал, что ещё должен с кем-то встретиться. Марта проводила меня до прихожей.

— Что ж ты?

— Ты знаешь, что за такие вещи можно схлопотать до пяти лет.

— А ты не хочешь до пяти? — спросила она.

— Тут подумать надо.

— Не надо думать. Прощай. Давай, в пивную, там найдёшь для себя подходящего… противника. За него, может, и вообще ничего не дадут.

В следующий раз мы с Мартой встретились лет через двадцать, всё в той же квартире, куда я совершенно случайно попал на день рождения её матери. Почти всё было прежним — вот странность. Блондинка почти не изменилась, ну может немного пополнела. Муж её, бывший работник аппарата Совмина, а ныне аппарата московской мэрии, не изменился тоже, только сильно поседел. И он мне сказал:

— Здравствуйте, молодой человек. Давайте познакомимся.

И Марта не изменилась. То есть она не изменилась глазами, глаза прежние были — очень чёрные, большие и горячие.

Мулатка. Она меня познакомила с мужем. Её муж был инженер. Не конголезский, но инженер, а они, наверное, в чём-то все одинаковые.

В какой-то удобный момент я сказал негромко:

— Ты, прости, если это тяжёлый вопрос, но…

— Что?

— Как судьба твоего отца?

— А знаешь, так ничего и не удалось узнать. Погиб. А ты не забыл?

— Нет, — сказал я. — Не забыл.

Я весь вечер смотрел на инженера. Инженер, как инженер. Может быть, тогда стоило отсидеть пять лет?

* * *

Сегодня пасмурно, совсем тепло, и ветра нет. Но к форточке на кухне, где привязана картонная коробка с кормом и кусок сала, всё равно прилетела синица. Ещё едва светало. Я чай пил и уж совсем собрался пойти на лестницу покурить, как она окликнула меня через стекло. Она мне что-то сказала. Она что-то долго и быстро щебетала, и я вслушивался. Я стал забывать язык птиц и зверей, потому что домашние собаки и кошки понимают по-человечески, а вольных животных редко встретишь в Москве, и разговорной практики нет.

— Слушай, да не части ты так! Не успеваю.

Она вся переливалась в свете поднимающегося дня всевозможными диковинными цветами, особенно грудка. Такая красивая, такая маленькая, и очень она была чем-то озабочена. Спрашивала меня о чём-то и спешила. И сердилась.

— Когда морозы стояли, здесь было пусто, а сейчас вы насыпали. А сало я, вообще, только в сильные холода клюю понемногу, чтоб не остывать. Я его не люблю. Что ж вы? Взялись, так следите.

— Да я этим не занимаюсь, это женщины, а у них очень много хлопот, потому что детей много.

— Что за хлопоты — они рожают по одному малышу. А мы — высиживаем целую кладку.

— Да, по одному. Вот моя дочка должна троих родить. Если, конечно, это… Бог или, кто там у вас.

— Да, Бог, Бог. Я всю ночь была в сопровождении. Он летел, и мы порхали, порхали вокруг Него. Надо ведь порхать очень быстро, чтобы это выглядело красиво. Я очень устала и проголодалась. Хорошо хоть ваша кормушка оказалась полна.

— Ты расскажи мне, куда Бог летел?

— Мне откуда знать? Мы просто должны сопровождать Его, куда б он не летел. Птицы всегда вокруг Него.

Я снова присел за стол с незажженной сигаретой в зубах.

— Ты мне расскажи, Он, вообще-то, как? Мне сейчас поладить бы с Ним. Я немного боюсь, как бы Он…

— Ты боишься за дочь и своих ещё неродившихся внучат. Мне это знакомо. Но Бог сделает, как знает, и не станет объяснять. Всё равно ты Его не поймёшь. Но я спешу, мне пора. Дел полно. Не бойся Бога! — прощебетала она и улетела.

— Легко тебе говорить, а тут…, — проговорил я ей вдогонку.

Я ещё немного проследил за её суетливым полётом над нашим сумрачным двором. Потом я тихо, чтоб никого не разбудить, вышел на лестницу. Сидел и курил. Было ещё совсем тихо в нашем подъезде. Скоро тронется лифт, люди поедут по делам, по добрым делам, и по злым, и просто по пустым делам.

В конце концов, я ещё не самый скверный человек в этом подъезде, подумал я. Ты бы сейчас не слишком на меня наезжал, а то я… Понимаешь, слабость какая-то в сердце, не получается взять его в кулак.

Никто мне не ответил.

* * *

Я сегодня рано утром ходил на кладбище. Мне нужно было с ребятами повидаться по делам. И я там встретил одну пожилую женщину, о которой стоит рассказать. Зовут её баба Роза. Да, вот так. Была молодая, звали Розочкой. Состарилась — по-другому, конечно. Она, хоть и меня помоложе, а ходит с палочкой. Её муж покалечил. Он по пьяному делу, буквально, издевался над ней. Раз додумался, подлец — арматурным прутом и ногу ей попортил. Сильно хромает. А так бы она бы ещё самое то. Я ведь помню, когда она была шустрая, быстрая, как ласточка — так и порхает по участкам. Работы много, денег много. Весёлая, боевая. Муж ей попался неудачный. А как вы хотели? — бывает и так.

Ну, буквально, с ума сходил, человек, зверел. Так она придумала, как с ним разобраться. Стала она захоранивать в кладовке бутылку водки с каким-то ядом. Он про это место знал. С утра похмелиться нечем — он туда. Хлебнул и кони двинул. Ну, права она была? Бог рассудит. А менты докапываться не стали. Совесть поимели.

Мы с Розкой встретились, как родные, обнялись:

— А, Лысый, ты чего это? Мне-то говорили, ты в заграницу

слинял. Что ж не пофартило?

— Да, не пошло дело. И с бабой разошёлся.

— Ну, у тебя баба знатная, далеко от неё не уйдёшь.

— Да уж там заместитель, видно, есть. Что-то и не звонит.

— Ладно, ты мужиком будь. Сопли распускаешь. Проводи-ка меня до могилки, хочу посмотреть. Я по весне ему буду новую ставить, а то уж столбы стали подгнивать. Ты с Крюком не поговоришь? Вы ж с ним были кореша. Пускай он варит оградку на полную катушку, я специально накопила. Торговаться не стану.

— Добро, — сказал я. — Я его как раз видел только что. Пойду обратно, зайду к нему в мастерскую. Уж кому-кому, а Витьке твоему оградку замостырим.

Мы с ней потихоньку пошли петляя по извилистым заснеженным дорожкам. Поговорили о том, о сём.

— Ох, зима нынче страшная, умотались ребята. То, зараза, подморозит, то подтает. Чистый лёд, а не грунт. Когда пришли мы на могилу Виктора, Роза достала бутылку и хорошей закуски. Граненый стакан надет был на пику ограды, и она аккуратно промыла его снегом, а потом протёрла насухо чистой тряпкой.

— Ну, Миш, давай. Царствие ему небесное, вечный покой, — мы выпили.

— Знаешь, а ведь у нас с ним любовь-то была. Была-а-а… И он мужик-то ласковый был. Не то что другой сграбастает бабу. Как медведь. Нет. Он любил. Умел. Сердце у него было. Мне тут батюшка говорил, это его бесы одолели. А у меня который был бес, он был самый страшный. Вот он их всех пересилил. Давай-ка ещё по махонькой.

Мы выпили ещё и она покрошила птицам хлеба.

— Слышь, Мишка, а вот поверишь: я с тех пор ни разу ни на кладбище, ни в лесу снегирей уж не видела. И, думаю, никогда уж мне их не увидеть. Может только перед самой смертью. А жить-то ещё долго.

Она всплакнула, и мы простились. Я зашёл к сварщику по прозвищу Крюк и договорился с ним о витькиной ограде. Мне нужно было торопиться. Я улетал на остров Ганталуо. Я уже там был несколько дней, вернулся и вот сижу у компьютера. Ведь при таких полётах время иначе идёт — иногда быстрее, иногда медленней.

Когда я сошёл с самолёта к трапу подбежал чернокожий мальчишка в униформе служащего единственного в городе отеля. Жара была ужасная.

— Господин Пробатов, вы же отменили полёт. Что же делать

теперь? Ваш номер занят, — он схватил мою сумку.

— Я не буду жить в отеле. Неси сумку в посёлок. Как здоровье почтенного Дрогара? Здравствуй Зимри! Ты совсем вырос, меня скоро догонишь.

— Господин Бонро обещал сделать меня младшим швейцаром. Он говорил об этом с моим отцом. Старый Дрогар здоров, как всегда. Когда ему сказали, что вы не прилетите, он очень огорчился. Уже целую неделю в океане ловят больших рыб. Таких, знаете, с пилой вместо носа.

— Хорошая будет рыбалка, лишь бы погода не подвела.

Подходя к посёлку, мы встретили какую-то девушку. Которая тут же повернула обратно с криком:

— Большой господин из России приехал!

Люди выходили из домов и смотрели на меня с ослепительными улыбками. На Ганталуо живут только негры, нет примеси индейской крови. Старик Драгор вышел мне навстречу и низко поклонился, а потом обнял меня.

— Ты когда-нибудь приедешь, сынок, и не застанешь меня в живых. Зайди ко мне в дом и переоденься. Не годится стоять на этой жаре в такой одежде. Сегодня будем пить и радоваться тому, что мы живы. Завтра — в море.

— Ветер мне не нравится.

— Стихнет к утру. Он дует уже неделю. Я знаю, — сказал Драгор.

Чёрное лицо этого человека было изрезано морщинами и шрамами от ударов постоянно рвущихся концов. Здесь ловят рыбу на переметы, а поводцы, когда рвутся — часто попадает в лицо, хорошо ещё, если не крючком. Я вошёл в его дом, сплетённый из пальмовых листьев, где всегда было прохладно. Его женщины суетились устилая земляной пол циновками и внося блюда с угощением. Ни на ком из мужчин не было ничего кроме набедренных повязок, а женщины закутаны в цветастые ткани до самых пят.

— Ты хорошо заработал в прошлый сезон? — спросил я.

— Неплохо, но пришлось взять ещё одну жену, а это дорого обошлось. Мой сын застрелил её отца. Я б его самого женил, да ему ещё не исполнилось двенадцати лет. Какая разница? Всё равно придётся кормить её. У её родни слишком много винтовок, — он улыбался.

Я преподнёс ему целый ворох бижутерии, которую купил в Москве за двести рублей в подземном переходе у афганца. Здесь это было целое богатство, и Драгор, подумав, отстегнул длинный английский нож в ножнах светлой кожи и протянул мне. Отказаться было нельзя, хоть я и не смог бы его провезти через

таможню. Но в таких полётах не всегда приходится проходить таможенный досмотр.

Мы сидели на подушках из пуха птицы тунф, которая водится высоко в горах, пили из глиняных чашек пальмовую водку и ели мясо. Когда от водки у меня закружилась голова, я попросил извинения и вышел на воздух. Меня охватил горячий ветер, я вдохнул его вместе с запахом водорослей и морской воды. Потом я посмотрел вверх. Там поднимались горы, красные, иногда даже багровые — такой здесь камень — крутые, неприступные. Вершины серебрились инеем — там был мороз.

Ну, хорошо, подумал я, а всё-таки нужно было приехать. Я не жалею.

* * *

Я только слушаю, отвечаю и разговариваю, — это цитата из одного журнала, но я не уверен, что автор заинтересован в её обнародовании. А это сказано так точно, просто по-снайперски. Умел бы я так жить, не пришлось бы под старость… Ладно. Замнём.

* * *

Я возвращался из роддома, куда отвёз дочке передачу. Настроение у меня, не смотря на промозглую погоду, было радостное и тревожное — самое лучшее, что человек, вообще, может переживать.

Но потом была неприятная возня с малолетним хулиганьём у метро Отрадное, и это у меня до сих пор не идёт из головы. Я уже привык сюда записывать всё подряд, и это запишу.

Они вроде шутили, баловались с девчонками, а потом один из них ударил девчонку в лицо. Она плаксиво, испугано заматерилась. Это было напротив огромного супермаркета «Вавилон», и мимо брела, проходила, пробегала, текла неудержимым потоком в полутьме — освещение плохое — великая толпа исполинского мегаполиса. Никто ни на кого не обращал внимания. Милиции не видно.

Молодёжь собралась большой стаей. Это даже не кодла была, как когда-то, а именно стая, не могу придумать иного названия для такого сборища, у задней стенки какого-то сварного ларька. Слышалась оглушительная музыка со всех сторон. Эта музыка (пусть, кто помоложе, не обидится) на меня производит всегда

неприятное впечатление, и я становлюсь зол, непонятно на кого, а тут — было на кого разозлиться.

Их оказалось очень много, я и считать не стал. Одних пацанов было человек двадцать. Никто не был сильно пьян, но все в кураже. У всех распахнуты кожанки. Девицы растрёпаны, расхристанны, несчастны и беспомощны. И многие из них-то, как раз, были сильно пьяны. В стае не все даже обратили внимание на этот локальный конфликт. Получила по морде. Умнее будет.

Я подошёл к ним и взял девушку, у которой сильно шла носом кровь, за локоть:

— Давай, пошли отсюда. У тебя есть платок? — своего у меня, как всегда, не было.

Тут надо кое-что объяснить. У меня почти совсем седая борода, такая короткая, что можно подумать, я просто небрит. И остатки таких же белых волос выбиваются из-под кепки. Смахиваю, то есть, на бомжа, а они опасны, если их плохо знать, потому что готовы на всё. Кроме того, я маленького роста. Когда спортом занимался весил 49 килограмм. И с виду очень щуплый. Это даёт в такой ситуации эффект внезапности. Да ещё у меня хроническое воспаление носоглотки, от этого голос сиплый и не очень приятный. А это временно может производить устрашающее впечатление.

— Всё о'кей, дедуля, — мирно и весело улыбаясь, сказал тот парень, который ударил. — Какой базар? Только это стоит полтораста баксов, потому что до квартиры пока…

А пока он говорил я подошёл к нему почти вплотную. С грустью придётся констатировать, что прекрасная дама, за которую я посылал вызов, уже куда-то исчезла. Увы, нет — не собиралась она увенчать венком из белых роз копьё победителя. Парень был очень высокий и понимал это как преимущество, а на самом деле, когда он подпустил меня вплотную, он утратил самое надёжное своё преимущество — наносить прямые. И я, как сумел, сориентировавшись и укрепившись на льду, а ноги у меня слабые, ударил его левой, коротко, боковым. Это не вышло из-за распахнутой куртки, которая удар погасила. Парень, на мою удачу, драться совсем не мог. Он обрадовался и нагнулся, предполагая захватить меня за шею. И тут же получил удар по челюсти, так что она клацнула. У него, видно, от этого помутилось в голове, хотя сильного удара и не вышло. А я совсем спятил от ярости. Пока он никак не мог сообразить, что голову надо держать подальше, мне удалось его достать прямым в переносицу, и он стал моргать, потому что брызнули слёзы.

Всё шло, как по маслу. Тут меня сзади кто-то прихватил за глотку локтем, и я оказался в совершенно безвыходном

положении. Сейчас повалят на лёд и — ногами. Тогда не жалуйся.

В это время я услышал женский голос:

— Лёнька! А ну, живо иди домой. Живо, тебе говорю. Вот сейчас по шее как дам. Ты вот где околачиваешься? Ждём, ждём, сказал: приду к обеду. Опять от тебя водкой прёт? А ну, ребята, расходитеся. Вон, сейчас мент придёт. Позову, ей-Богу, позову.

Мне не было больше страшно, и я, нырнув, освободился от захвата. Передо мной стояла женщина лет сорока пяти. Её сильное, лицо, с крутыми скулами и грубым большим подбородком было исполнено невесть откуда взявшейся власти и уверенности в себе.

— Ты, дед, как — целый?

— Всё нормально, — сказал я. Мне было очень стыдно.

— Я тебя доведу. Ты сильно пьяный сам-то?

— Нет, я трезвый совсем.

— Нечего вязаться тогда к ним, — сказала она.

— Тётя Таня, дед первый полез, его никто не трогал. Он сам чего-то в драку, — заговорили сразу несколько голосов.

Вдруг я услышал звук полновесной оплеухи, от которой кто-то полетел и ударился спиной о железную стенку, так что она загудела.

— Вот попробуй ещё раз раскрой пасть. Я тебя к отцу отволоку. Пойдёмте. Вам в метро? — обратилась она ко мне, переходя на «вы».

— Спасибо. Я буду 23-го ждать.

Эта женщина стояла рядом со мной и терпеливо дождалась автобуса вместе со мной. Она мне очень просто объяснила своё самочинное вмешательство в это дело:

— Вижу, человек, хотя и немного не в себе, а интеллигентный. Я люблю интеллигентных. Безобидные люди. Меня тут боятся, потому что у меня муж участковый. Его-то не особо — он бухает, а меня боятся, — с гордостью сказала она и добавила с наивной откровенностью — А взять-то с вас всё равно нечего.

Мы с ней ещё немного поговорили о молодёжи, и она сказала:

— Все мы хороши. Я росла в Мариной Роще. Тогда там ведь что творили? И эти перебесятся, кого, конечно, не посадят или не убьют. Бандиты тогда, правда, были лучше. Они были с понятиями. Но бандиты — это так… Они всегда будут, но хорошего от них не дождёшься. Они все гнилые. Всегда гнилые были. Ребят этих жаль. Работы мало. Учиться вроде есть где, а надо за деньги. Пьянка идёт что-то уж совсем почёрному. Ох, беда! Такой пьянки никогда не было. Дуреет народ от всего этого.

Мой вот почему пьёт? Деньги даровые, а службу исполнять — никто и спасиба не скажет. И он сам стал, как бандит. Только меня и боится.

— Скажите, а вы кого-нибудь боитесь? — спросил я.

— Нет, — сказала она. Чего мне бояться? Мне Бог детей не дал. Больше мне уж ничего не будет.

Мне хотелось похвалиться, что я ездил в роддом, и дочка родит тройню, но я вовремя смолчал, чтоб не сделать ей больно.

— Ну, давайте, не связывайтесь вы ни с кем, а то, я гляжу у вас карахтер. А сейчас трудно взять на карахтер. И всё будет хорошо, — сказала она.

— Всё?

— А как же? Конечно, всё.

Я ехал в автобусе, и мне всё вспоминались строчки Коржавина:

А кони всё скачут и скачут,
А избы горят и горят…

О, женщины…

Был у меня приятель в бане. Приходил ко мне париться. Его звали Женька. Он киснул каким-то младшим научным сотрудником в Институте Пути, в Свиблово, а там, на улице Вересковой была небольшая баня, где я работал одно время. Работа эта, несмотря на постоянную суету, ужасно скучная и противная. Когда посмотришь на разряд как бы со стороны — и видно, как беспощадно наша страна проехалась по телам своих сыновей — шрамы, обрубки рук и ног, ужасные наколки, и все, или почти все — так вернее — изможденны, сработаны, сутулы и слабы телом и духом — призадумаешься. Кто мы? Куда мы? Русская баня. Я о женском разряде уж и не говорю. Будто эти женщины всю жизнь рельсовые костыли железнодорожной кувалдой забивали. Ну, я, конечно, имею в виду общий разряд. Номера — другое.

А этот Женька, конечно, сразу в глаза бросался, потому что он был крепкий, стройный такой, занимался спортивной гимнастикой, белокурый, синеглазый и весёлый, как щегол. Сильные физически люди редко такими бывают. Я посмотрел на него, как он первый раз явился — Ален Делон живой, только светлые волосы и глаза, а так — точно он. И парень очень интересный. Он много читал, любопытен был до всего. Прекрасно на гитаре играл, а тогда все это любили. Сочинял какие-то забавные песенки, вроде Юлика Кима. Всегда готов был помочь, чем мог. Если печь залили, надо просушить парилку, лучше его никто не сделает. Знал там всякие рецепты — с мятой, с эвкалиптом, с пивом, с квасом. У меня в разряде, допустим, драка, он всегда рядом, а мастер спорта СССР, хотя и гимнаст, это кое-что, с ним не забалуешь, одни мышцы и кости, живо, кого хочешь, угомонит. А вот денег у него было — круглый ноль. Оклад 105 целковых, какая-то им ещё премия иногда выпадала и тринадцатая зарплата, но он полтинник в месяц высылал матери в Ленинград, как из банка. Не представляю, как он жил.

Он ко мне походил так с недельку, я ему и говорю:

— Женёк, ты напрягаешься. Плати в кассу тридцать положенных копеек, а уж простыня, тапки, шляпа, веник за тобой будут, как за почётным гостем.

А он был не фраер, никогда горбатого не лепил:

— Спасибо, Миша, если так, — говорит. — Врать не стану. Экономический кризис. Вот, видишь, наука затянула. Не ушёл бы я из большого спорта…

Но это я слыхал сто раз уже от таких ребят. Ну, он бы не

ушёл. Порвал бы связки, спину, переломов бы собрал целую коллекцию, большой-то спорт он тогда был такой. Мы с ним подружились. Женьке только что исполнилось двадцать пять, а мне, это был конец 70-х, что-то за тридцать. Можно было друг друга понять. Например, это он мне принёс «Альтиста Данилова». Я в то время совсем читать бросил. Некогда было. Нужно мне было бабки колотить. Карты, ипподром, тёлки, такси, кабаки. Я был пространщик тогда. Я ведь всю свою жизнь — чужую судьбу беру на прокат. И не знаю своей собственной судьбы — беглый.

Придёт Женька — мне в этой душегубке вроде светлее станет. Вот он раз и пришёл. Гляжу, левая рука на перевязи и загипсована. И морда разукрашена, лучше и не надо.

— Ты чего это?

— Миш, просьба. Разговор есть на пятнадцать минут. Оставь кого-нибудь за себя.

У меня тогда алкаш один подрабатывал:

— Давай, Колюня, быстренько в раздевальном приберись и смотри за людьми. Вон в четвёртой кабине пьяные что-то громко шибко бухтят, чтоб не передрались. Я тебе за что плачу?

И мы с Женькой вышли в холл.

— Ты знаешь, что я натворил? Я одну женщину украл.

— Молодцом, — говорю. — А кто она?

— Красавица, понимаешь?

— Ну, я в этом-то даже и не сомневаюсь, но не мне ж её драить-то. Меня другое интересует. Говори, чего молчишь?

— Миша, она чужая жена.

— Да ты прям, как Бурцев. Украл у человека жену. Только не похоже, что украл, на мой-то взгляд — отнял. Это не он разве тебя так отделал?

— Да не он. Это она.

— А она ещё и упиралась? — я с ним, как с ребёнком говорил. Да он и был большим ребёнком, как потом оказалось.

— Он её запер. Она ко мне спрыгнула с четвертого этажа. Ну и… немного я не рассчитал. Она, вообще-то, не тяжёлая.

Всё это дело было так. Женька познакомился где-то с женщиной и от неё просто спятил. Но она оказалась замужем — это уже вам ясно. Муж у неё дурной, и пьёт, как сумасшедший, ревнует её, как видите не зря, а в последнее время принялся её сильно бить. Хотела она уйти. Он стал её запирать. Это бывает. Дело пустяковое. Но всегда бывает: Но…

— Хорошо. Я поговорю с ребятами, они его так отбуцкают, что у него и вся охота пропадёт. Не расстраивайся. Где она сейчас-то?

Но Женька жил в общаге. Он не мог её туда привести, а тем

более там оставить одну. И в тот момент она была в женском отделении. Проблема была в том, что муж этой дамочки был человек непростой. Его боялась вся Трубная, где они жили, и у него было много людей. То есть Женька не знал, где её поселить. И он просил меня взять её пока к себе. А у меня тогда уже было шестеро детей, все маленькие. Мне это плохо подходило. И я договорился с массажистом, чтоб он её на ночь запирал у себя в кабинете. По ночам в номерах он работал прямо на месте, к себе не подымался. И в массажный кабинет никакая сука бы не сунулась. А ребята эти из Центра здесь в Свиблово долго бы вычисляли её. Про эту баню, вообще, мало кто в Москве знал. Так мы и решили.

Вот она попарилась и выходит в холл. Да. Что да, то уж да. Удивляться нечему. Я девкам сказал, чтоб ей сделали укладку и маникюр там педикюр, макияж и всё, что надо. Расчет со мной. А массажист Гошка говорит:

— Я, кстати, раз уж так получилось, могу вам делать оздоровительный массаж ежедневно. Чтоб, как говориться время зря не пропадало.

— Я те сейчас самому сделаю массаж. Неделю будет в котле звенеть. Гляди у меня!

Звали её Клава, она была из-под Костромы. Там в деревне у неё жили старики и трое братьев, с которыми она никого не боялась. Они работали в охотинспекции.

Мы все рады были ей. Ей-Богу рады. И вся эта история была красива, а мы вроде участники. Кино! Женька сказал, что он хочет оформить себе перевод в Ростовский Институт Железнодорожного транспорта. Дело нескольких недель. Поживёт пока в деревне, а после Женька её увезёт в Ростов-на-Дону. А в бане пусть дня два-три побудет, потому что на вокзалах её могли бы караулить, как я предполагал. Особенно, конечно, на Ярославском её точно кто-то стал бы поджидать. А за несколько дней им надоест, станут ворон пересчитывать, и ночным вполне можно её проводить. Не уследят.

И вот она стала жить у нас в бойлерной, хоть там и душновато и шум от моторов, а на улицу, я не хотел чтоб она выходила, потому что муженёк её, конечно, крутился на машине, и не на одной, по всему городу, мог и в Свиблово заглянуть. А Женька уехал в Ростов на неделю. Через три дня ночью я лично Клаву посадил в вагон поезда. Она уехала.

А, буквально на следующий день её видели в самом Центре. На Неглинной. С каким-то амбалом. Она вернулась. Вернулся и Женька. Он всё время молчал. И даже водки пить не стал. И спрашивает меня:

— Миша, что это? Почему это так?

Ну что тут ответишь человеку?

— Да ничего тут особенного нету. Просто лечат дураков иногда. Если они удачно подворачиваются.

Но из меня-то дурака делать не надо, правда? Я ж не младший научный сотрудник. И я поехал прямо на Трубную. Квартира их была на Трубной улице. Отдельная квартира. Очень по тем временам хорошая. Приехал и позвонил. Мне открыла Клава и говорит:

— Здравствуй, Миша.

— Здравствуй. Позови своего мужа или кто он там тебе?

— Он? Муж. Миша, это было недоразумение.

Вышел этот парень:

— Чего тебе?

И я что должен был отвечать? Ничего я не ответил. Я наоборот Клавку спросил:

— Клавдия, это что ты отмочила?

Она ответила:

— Это было недоразумение. Мне показалось.

Её муж отодвинул её очень вежливо и даже так, ласково, и говорит мне:

— Милый человек. Ещё раз сюда сунешься, голову свою в кармане будешь носить, понял? — и добавил с мирной улыбкой. — Хотя она тебе, вообще-то, и в кармане не нужна. Ты чего, больной?

Ну, уж в таких случаях отвечать просто нечего. Я повернулся и пошёл. А что было мне делать? Кого-нибудь припороть? Или их обоих? Это всегда можно. А зачем? Женька-то уехал, видать в Ростов-на-Дону. Во всяком случае, он из Института Пути уволился и в этой бане его больше никто не видел. А я Клавку один раз видел. В Елисеевском. Она была одна и в прекрасном настроении. Покупала бисквиты. И она мне сказала:

— Здравствуй, Миша. Ты всё ещё на меня сердишься?

Вот бабы бывают, а! Бывают…

* * *

Вчера была свадьба. Вышла замуж самая младшая (насколько мне это известно) из моих дочерей. Она родилась с большим трудом. Зато была с рождения очень красива — волосы золотые, как у Киприды, и зелёные глаза. Только очень маленькая. Она ничего не боится — это в свою бабку, о которой я здесь много писал. И с ней можно идти в любую драку спокойно. Слава Богу, её мужу этого не нужно. Он и сам разберётся, с кем потребуется.

Он — огромного роста парень. Очень, видно, надёжный человек, потому что не любит болтать. Он почти всегда молчит или улыбается снисходительно. Он же здесь вроде Гуливера.

Мне с утра Светка дала на опохмелку, поэтому в голове туман. Но это хороший туман. В нём видятся всякие несбыточные чудеса.

Поскольку мне подарить молодым было нечего, так я им подарил все права на книгу моих записей в ЖЖ. Эти права мне, правда самому неизвестны, а книга в тумане, вероятно, её и не будет вовсе. Но я люблю придумывать. Почему нет? Лама ло? — это на иврите. Сегодня постараюсь ничего сюда не присылать, чтоб глупостей поменьше было.

* * *

Когда становишься стариком. Выпадают зубы, а они были красивые. О волосах уж я не говорю. Девушки в метро место уступают — уж я об это писал. А тут одна женщина делает из тебя идиота. Имеет право. Тут надо собраться. Я что? Испугался что ли? Чего бояться-то? — время прошло.

* * *

Это будет коротко. Аккумуляторы садятся. И с перевала, который называется Зорзо ми Лаа — место тайного свидания — нас непрерывно обстреливают из миномёта. Не уверен, что это очень опасно, зато громко, и в лицо летит мелкий щебень.

Далеко внизу — ослепительный океан и два корабля, которые неторопливо огибают остров Ганталуо в поисках места, достаточно удобного для десанта бронетехники — большой транспорт и конвойный лёгкий крейсер. Орудийная башня в непрерывном движении. Отыскивают какую-нибудь достойную цель. Не хочется первым залпом угодить в неприступную громаду красно-багровых гор. Кто-нибудь может не испугаться, а улыбнуться.

Когда я прилетел на Ганталуо по просьбе своего друга Драгора, ничто не предвещало такого поворота событий. Я даже одну молодую москвичку хотел взять с собой, она писала, что ей куда-нибудь хочется поехать.

Старик сказал:

— Что мне делать? Они потребовали, чтоб я женил

мальчишку на потаскухе, которая постоянно околачивается около Отеля в ожидании какого-нибудь не слишком разборчивого туриста. Да! Такие жёны были у покойного Бовацо. Он был человек почтенный, но слишком стар, чтобы уследить за всем своим хозяйством, да и, пожалуй, стал из ума выживать, а слова поперёк не терпел. Он и погиб из-за этого. Мой Маголо застрелил барана в горах, а тому сослепу показалось, будто это его был выстрел, хотя он стрелял гораздо раньше и мимо — все это видели. Я же согласился взять его бабу в дом, объявил её своей женой и готов кормить, чем Бог пошлёт. Что недостаточно позора? Чего они хотят? Чтоб я сына женил на непотребной женщине? Чтоб она мне испортила мальчика? Они обстреляли меня и моих людей. Ты хорошо сделал, что прилетел. Тут есть ещё один твой земляк. И мы им всыплем так, что внуки не забудут, — вот и всё, что сказал старик Драгор. А воевать мы не собирались. Я во всяком случае.

Мой земляк оказался обыкновенным беглым. Его держали в наркологической больнице № 17. Кто с этой темой знаком, тому ясно всё, а остальным я расскажу позднее, что это такое, сейчас не успеваю. Его держали там слишком долго. Ну, ему это надоело, он улетел на Ганталуо. На воле он гонял машины из Германии через Хельсинки и Петербург в Москву. Я писал о людях этой профессии чуть выше. У него есть несколько великолепных поэм в прозе об автомобиле марки «Мерседес». Ну, он немножко нервный, немножко много пьёт. В него немножко слишком много раз стреляли. Ему на Ганталуо понравилось, и первое, о чём он меня спросил:

— Слушай, здесь присохнуть нельзя на несколько месяцев, а то меня в Москве собрались подшивать?

Беда, однако, в том, что когда наш отряд из тридцати почти голых и босоногих негров с бельгийскими карабинами и двух московских беглых поднялись в горы, для того, что бы встретиться там с людьми из рода Бовацо для честной перестрелки, нас встретили с распростёртыми объятиями бойцы Фронта Освобождения Ганталуо (они троцкисты, хотя вряд ли кто из людей Драгора имеют представление о перманентной революции). И мы оказались мобилизованы. На моих глазах старейшины горных племён обнимались и произносили традиционную формулу: «Сначала свобода — кровная месть потом». Вы, вероятно, уже прочли об этом в газетах, о том, что десант морской пехоты США исчез в горах бесследно.

Ко мне подошёл парень в парусиновых штанах, а это означало, что он собирается пробираться в город, где около сотни троцкистов за день до того были расстреляны, и сказал:

— Видишь эту штуку, умеешь пользоваться ей? — у него в руке был ноутбук. — Напиши, что хочешь, а мне на словах скажи, кому это. Через три часа она будет на Ямайке.

Мы сидели с Вовкой (так зовут моего нового друга) у костра, потому что было холодновато, ведь мы были достаточно высоко, и я окликнул Драгора:

— Послушай, Драгор! Ужасно стонут эти ребята, уж лучше б вы прикончили их.

Их было четверо. Ещё несколько часов назад они были морскими пехотинцами. Молодые, красивые и сильные. Сейчас они медленно умирали приколотые копьями, будто насекомые булавками, к огромным стволам каких-то тропических деревьев.

— Как это прикончить? Их нельзя прикончить. Нельзя, чтоб они умирали сразу, — сказал Драгор. Он засмеялся и крикнул. — Хочет, чтоб мы сразу прикончили пленных. Что за странные мысли приходят иногда в голову белым людям.

Чёрные бойцы засмеялись, и кто-то хлопнул меня по плечу.

— Постой, Драгор. Зачем им мучиться?

— Да просто, потому что они в плен попали.

— Но они так не поступают.

— Потому они не поступают так, что их Бог им этого не велит. Пусть они так не поступают. А у нас другое. Наши предки воевали так, и мы так воюем, — с простодушной гордостью сказал убелённый сединами воин с охотничьим карабином в руке. — Послушай, Мишель, война это не игра. Это очень серьёзно.

Я подумал, что в этом, по крайней мере, он был безусловно прав.

* * *

Я у всех прошу прощения. Особенно у женщин. Я был сильно пьян. Не могу с этим сладить. Ещё недели две я буду в 17 наркологической больнице на Каховке. 16 кардиологическое отделение. Как вы сами понимаете, ноутбука у меня нет и мне очень скучно. Кто хочет, приходите потрепаться.

* * *

Четверо в палате.

Парень лет двадцати, худой и бледный, тонкорукий, длинноволосый, женственный. Очень несчастный. У него есть

деньги, и ему носят продукты, но он почти ничего не понимает, потому что непрерывно курит дурь, и по-моему у него есть кокаин.

Огромного роста, очень сильный и резкий человек со сломанным носом, который говорит, что он был полковником ГРУ, но это неправда. То есть он мне так сказал:

— Я, браток, был полковником ГРУ. Но это неправда. Не верь. Это у меня крыша едет.

У него нет денег, ему никто ничего не носит, но он умеет доставать на рынке дешёвые продукты, а это немаловажно.

Ещё один человек, которого зовут Пузырь. Очень толстый. Толстых не любят. У него и деньги и продукты, но он Пузырь.

Обо мне вы кое-что знаете. У меня есть деньги и продукты, но мало.

Общак.

Полковник пересчитал деньги и сказал:

— Четыреста тридцать. Пузырь, у тебя в холодильнике ничего не осталось?

— Я никогда не крою.

— Нормально. Сперва сигареты, чай. Правильно?

— А я не чифирю. Мне чай к чему? — сказал Пузырь.

— Потому что общак, — сказал полковник. — Жрать ты будешь? Спирт пил?

— Мне надо на неделю хотя бы пять пачек LM, — сказал я.

Пузырь постоянно потеет. И он вытер лоб обрывком простыни. У него заготовлено много таких обрывков для этой цели. Потеет, и сильно трясутся руки. Он всё время хочет выпить, и несколько раз уговорил всех купить спирту, который в аптеке по двенадцать рублей флакон. На рынке Полковник покупал четыре флакона по червонцу. Пузырь косел. И было много возни с ним.

— Прикинь, — сказал полковник. — Девяносто рублей. А надо ещё, если по-настоящему, в четвёртую палату блок «Примы» подогнать ребятам, у них ничего нет. Это ещё полсотни. У тебя совесть есть?

Но я сказал, что курить дешёвые не стану:

— Я накурился дешёвых за свою жизнь.

— Вот это уже начинаются еврейские штуки, — сказал Пузырь.

— Пузырь, я тебе говорил, чтоб ты про евреев здесь не вякал? — сказал я, вставая. — Говорил?

— Хорош, хорош. Ты немного остынь, — сказал Полковник, — он даже с места не поднялся, мне, однако, пришлось сесть, потому что я с ним никак не справлюсь, к тому же он человек справедливый. — Я не знаю, какие это штуки, что

ты здесь за Масхадова заступался. Запомни. Их на помойке нужно хоронить.

Молодой парень вдруг на мгновение проснулся и совершенно сознательно сказал:

— Уходя, гасите всех, — и он засмеялся. Он долго смеялся, а потом стал кашлять.

Я снова вскочил:

— Полковник, брось! Я не заступался, а сказал, что тело нужно было отдать семье. И никого нельзя на помойке хоронить. И ты это запомни. Но если ты будешь так наезжать, пошли в курилку.

— Зачем я с тобой туда пойду? Ты и так еле ноги таскаешь. Но, мужики, это не общак. Это вы не были на зоне и не знаете, что такое общак. Я тогда не стану ходить на рынок, доставать. Я прокормлюсь и один. Вы ж гребёте каждый под себя.

Пришла сестра:

— Пробатов, ты столы протирал сегодня?

— После обеда протирал.

— У телевизора всё залито чаем. И на полу.

— Ребята чифирят, а я здесь причём?

— Договаривались, что столы будут чистые. Меня не интересует, кто и что.

Я сказал Полковнику, чтоб он сам решал, что купить, но мне нужны сигареты нормальные, иначе я здесь задохнусь. Он, успокаиваясь, примирительно кивнул головой:

— Есть там дешёвое сало. А чаю куплю настоящего, крупнолистового. Здесь нужно добрый чифир варить.

— Нормально, — сказал я. — Пойду, уберу в столовой, чтоб гусей не дразнить.

Но в это время раздался крик сестры:

— Пробатов! Зуб рвать идёшь?

А! Наконец-то. Я долго не мог попасть к стоматологу. Теперь я торопливо оделся, и такой же алкаш, как и я, только более надёжный, повёл меня через больничный двор туда, где зубы рвут. Человек двадцать больных там собралось к тому моменту, как пришёл врач. Моя очередь, однако, была первой. Там был парень с нагноением челюсти, И я уже решил пропустить его вперёд.

Около часа к врачу косяком шли блатные. Никто не возмущался. Я меньше всех, потому что мне известно, как мало стоматолог получает в такой клинике, и чем ему кормиться? Он вышел неожиданно и указал на меня пальцем:

— Этот из кардиологии? Что у тебя?

Лет тридцати, ловкий, энергичный, решительный парень, он

собрал у себя неплохую команду девчат, которые его подстраховывают. Возможно, кто-то из них может скрасить ему часы отдыха, потому что пашет он, как трактор.

— Да зуб, доктор. Хочу удалить.

— Давай, садись в кресло. Открывай рот. Какой? — он взял в руку щипцы и постучал по больному зубу. — Этот? Милый человек, ты скоро останешься без зубов. Что-то тебе с пародонтозом надо делать.

— Я знаю. Пока с деньгами туго.

— Когда откачают тебя — сейчас ты ещё мутный — зайди, поговорим. Я три шкуры не сдеру.

Внезапно он наложил щипцы и спросил:

— Так тебя как зовут?

Никакой заморозки. Он воткнул мне в висок сапожное шило и быстро вынул его.

— Михаил, — ответил я, а он ловко сунул мне тампон, так что и сплёвывать не пришлось.

— Чего ты напрягаешься? Не веришь мне? — с гордостью спросил он.

— Так я ж не знал. Доктор, это класс, — сказал я.

— Ну, давай, очухаешься — приходи.

Когда я вернулся в отделение, Полковник как раз резал сало, но мне нельзя было есть.

— Вот везёт.

— Я тебе ломоть отрезал и отдельно в холодильнике положил. Время пройдёт, и порубаешь. У тебя в тумбочке две пачки LM. Не обижайся. Потом что-нибудь придумаем. Интересно, а как твои израильские друзья, они тоже думают, как ты? На счёт террористов.

— Нет, — сказал я. — Большинство думают, как ты.

— А ты, значит, умней всех.

— Ага, — сказал я.

Полковник засмеялся и сказал:

— Я знал таких, как ты, ребят, — но он никак мне больше не характеризовал этих неведомых мне моих единомышленников, которых он невесть где знал.

Что касается дел на острове Ганталуо, то я напишу о них, когда окончательно выйду из больницы. Вероятно, в середине недели. Там тоже всё получилось невесело.

* * *

Полезу в ванну и ухожу к Машке в больницу. Совсем скоро должна родить трёх человек. С ума сойдёшь. А после поеду к себе в больницу. В моей больнице никто никого не рожает. Место спокойное. До встречи!

* * *

Я неверующий, но хочу попросить прощения у всех христиан. И у нехристиан. Совершенно не рассчитываю, что мне это зачтётся. Неприятностей от меня было много за истекший год. И христианам тоже досталось, ведь все мои дети — православные. Простите старого дурака, ребята!

Это самонаименование «старый дурак» очень выгодно в этом случае. С ним легко просить прощения. Старость, вообще, оказывается имеет много выгодных позиций. Даже этот цинизм — простят старому дураку.

* * *

Вот, я вернулся. Я, кажется, перед всеми извинился уже. Не сердитесь на меня.

Теперь я хочу кое-что написать. Когда я начинаю теоретизировать, как правило, ничего не выходит толкового. Ну, я ещё раз попробую. Будем считать, что это и есть тот соблазн, от которого, по словам О. Уайльда, избавиться можно только ему поддавшись.

В больнице многие, выписываясь, оставляют книги — кто позабыл, у кого заиграли. Из этих книг в 16 отделении составилась небольшая библиотека. К сожалению, это чаще всего детективы или фантастика нового времени, для меня совершенно непригодные к употреблению по прямому назначению.

Я там, однако, обнаружил книгу С. Липкина, куда, помимо известной поэмы «Техник-интендант», вошла большая повесть «Декада». А я, признаться, никогда его прозы не читал и не поклонник его стихов. Но у меня всегда вызывали уважение его стойкость, его незапятнанная совесть, вся его сумрачная, безысходная в безвестности писательская судьба. Эта книга интересна, помимо всего прочего, тем, что она вышла в 90-м году, накануне распада Союза и начала кровавых событий на Кавказе, а речь идёт о высылке нескольких кавказских народов, о зверском переселении их на Восток в 1944 году.

Конечно, Липкин не мог предвидеть Чеченской войны. В его

повести «Декада», тем не менее, написаны такие портреты, такие трагические показаны жизненные коллизии, что грядущую эту бойню невольно угадываешь. Северный Кавказ Липкин знал хорошо. Он, вообще, много думал о содержании и о пределах национального культурного пространства и, в связи с этим — о взаимоотношениях народов. Вот что я выписал оттуда, потому что забирать эти книжки домой при выписке — не принято:

«Национальное самосознание прекрасно, когда оно самосознание культуры, и отвратительно, когда оно самосознание крови.

Самосознание культуры означает, что всё, созданное в мире, испокон веков во всех областях науки, искусства, литературы становится органичной частью национальной духовной жизни. Это означает, например, что есть не только русские Ломоносов, Пушкин, Чайковский, Суриков, но есть и русская Библия — оба её Завета, и русские, русским сердцем и мыслью по-своему воспринятые Гомер, Рафаэль, Моцарт, Эйнштейн.

Национальное самосознание крови всегда бездарно, всегда бесплодно, национальное самосознание культуры всегда талантливо, всегда плодотворно. Национальное самосознание крови есть бессмысленный и жестокий бунт бездарности против национального самосознания культуры».

Это было бы верно, и возразить нечего, если только культуру возвести в абсолютную степень. Пользуясь той же терминологией, я бы сказал, что существует национальное духовное самосознание — это шире и глубже культуры. Все перечисленные Липкиным имена и так же Библия, другие религиозные документы, владеющие умами национальных интеллектуалов, например, Тора, Коран, для большинства простых людей не представляют собою даже пустого звука.

Я это написал не вгорячах, и я уже давно не пьян. Это моё глубокое убеждение. Знаю, что говорю. Среди простых людей прошла вся почти моя жизнь. Я их знаю. Их вечно бушующая многомиллионная стихия есть источник для культуры и они создают религиозные представления в головах мыслителей и пророков. Но сами они ничего об этом не знают.

Но есть самосознание, дающее возможность каждому русскому, еврею, арабу, чеченцу, китайцу остро чувствовать принадлежность к национальному единству и его отстаивать — это духовное самосознание, и оно не предусматривает, подобно национальному самосознанию крови, обязательную агрессию по отношению к окружающим нерусским, неевреям, непапуасам и т. д., однако, предусматривает упорную и жестокую оборону, когда нации угрожает опасность. Разумеется тут безграничные

возможности для спекуляций. Крайние националисты — спекулянты. А подобные спекуляции выливаются реками крови. Но я не берусь связно объяснить, что это такое. Пусть и останется недоговорённость.

Три недели в наркологической клинике я был свидетелем и участником яростных споров по национальному вопросу. Эти отчаянные диспуты на краю беспощадной вечности вели те, кого общество отвергло, от кого отказались родные, кого бросили друзья, те, кто в нынешней российской ситуации всем мешают, и никто им не близок. Бомжи, алкаши, гопники. Они, не смотря ни на что, продолжают причислять себя к той или иной национальной общности, отстаивают каждый свои национальные интересы так, как эти интересы в состоянии определить простой человек в таком положении.

Вернувшись домой, к этому компьютеру, я невольно вернулся к своей очень краткой записи, которая послужила причиной настоящей маленькой бури. Я поделился водкой с алкашами. Почти никому это не понравилось. К тому же меня обвинили в русофобии. Интересно, как бы это понравилось моему папе. Но это и маме моей не понравилось бы. Они были порядочными людьми, и оба хорошо знали, что такое гонимый народ. Об этом народе — гонимом, писал Короленко, которого тоже в русофобии обвинили вместе со мной (мне не скучно в такой хорошей компании), но о гонимом народе ничего не написал человек, возмутившийся тем, что пост об идиотском братстве алкоголиков назван «Русское». А ведь я как ветеран этого общества имею право его характеризовать, как мне угодно. А помыслы о гонимом народе и сочувствие ему — это, несомненно, русское, но это свойство у меня присутствует отнюдь не потому, что отец у меня русский, а потому, что я вырос и состарился в пределах русского духовного самосознания.

Между тем, я стал вспоминать. Там было четверо бедолаг. Один из них — татарин. Один — кавказец (не знаю его национальности). Двое других, возможно, были русскими, но они мне совершенно не знакомы, это просто предположение. Каждому досталось по глотку водки — немного. Они мне заплатили искренней благодарностью, признанием меня, человека им социально чуждого — человеком. Это вышло гораздо дороже того, что я им дал.

Я хотел сейчас отослать одну историю (она уже набрана, выправить только нужно), которая случилась со мной много лет назад, когда я работал в бане. Её героя звали Анвар, татарин. Называю его настоящее имя, потому что он погиб. Это был человек, удивительно храбрый, совершенно ничего не боялся. Но

он был уголовник. Так устроена была его голова. Я его, однако, очень любил. И он мне, кажется, тем же отвечал. Почему мы так дружны были, не знаю. Мы оба верили друг другу, а ситуация вокруг нас обоих была нелёгкая.

Но меня осадили мои внуки. Данька (Данила), сын Машеньки, которая сейчас в больнице, очень тоскует без матери. Он хочет отвлечься. Он требует, чтобы я ему место уступил. Хочу писать! Так он говорит. Во всяком случае, я так его понимаю. У него есть своя страница в «Моих документах». Сейчас я посажу его на колени, страницу эту открою, а он, нажимая на все клавиши подряд, станет наносить туда некие таинственные письмена, недоступные моему пониманию. Про Анвара будет часа через два.

* * *

В начале восьмидесятых мне пришлось искать работу, потому что на кладбище для меня сложилась очень опасная ситуация. Я об этом ещё как-нибудь напишу. Меня устроили пространщиком в Богородские бани. Неудобство работы было в том, что в одном здании с баней помещалась и контора комбината, то есть вышестоящее начальство. Кажется, это пятый комбинат или седьмой, уже не помню.

Бригадиром смены там был молодой человек, невысокий, худощавый, с бледным, всегда напряжённым лицом и острым взглядом всегда сощуренных чёрных глаз. Звали его Анваром, он был татарин. Сначала он мне сильно не понравился. Рано утром, только первый сеанс запустили в разряд, он движением головы пригласил меня зайти в подсобку. Там никого не было.

— Ширяться будешь?

— Я не ширяюсь.

Надо сказать, что я, будучи пьяницей, очень плохо отношусь ко всякого рода нетрадиционным порокам, в том числе и наркоманов не переношу. Логики тут никакой нет, но это явление распространённое.

— Не бойся, бесплатно, — сказал Анвар.

— Чего мне бояться? — спросил я.

И он засмеялся, открыв белоснежные, совершенно волчьи зубы:

— Не знаешь, чего бояться? Ну, это нормально. А ханку жрёшь? Наливай, — он открыл небольшой шкафчик и показал мне початую бутылку «Столичной». — Не ширяешься — хорошо. А я ничего не упускаю. И е…у всё, что шевелится. Семь лет на зоне

парился. Второй год гуляю тут.

Мы с ним выпили по гранёному стакану водки, и Анвар развернул свёрток, где была уже нарезанная ветчина.

— Я татарин. Наши говорят: пить нельзя, свинины есть нельзя. А я это всё так… мимо. Дураков слушать. Давай покурим пока. Ребята бабки соберут. Я вижу, ты не бестолковый, и не бздыловатый. За что тебя с кладбища ушли?

Я понял, что говорить нужно правду.

— Влез я в хозяйскую кутью (заработок).

— Много взял?

— Работали целый сезон.

— Ты бригадиром? И что ж не отдали ничего?

— Я ему предложил в доле быть. Ну, он и взъелся. Он хотел треть всего.

Речь шла о том, что я с бригадой, действительно, несколько месяцев заливал цоколя клиентам, которые числились за заведующим Бюро. Анвар весело засмеялся. У него даже слёзы выступили. Но потом он серьёзно спросил:

— А бригада?

— Это дело моё. Разве я ребят буду подставлять? Так не делается.

— Это хорошо, что тебя живым выпустили. А сюда гости к тебе не приедут? С вашими разбираться мне не климатит.

— Ко мне приедут, я и буду разбираться, — сказал я. — Но не приедут. Вообще-то, на мне, где сядешь, там и слезешь, потому что ребята все были за меня, и я ушёл по собственному желанию. Он побоится меня совсем удавить. Ну, гарантию, конечно, кто ж даст?

И Анвар внимательно посмотрел на меня. Мы стали друзьями. Через несколько дней я уже с увлечением рассказывал ему о работе Хельсинской группы, о «Хронике текущих событий», об Инициативной группе в защиту прав инвалидов, которой руководил Юра Киселёв, у которого не было обеих ног, о Сахарове и Солженицыне. Это было время, когда в голове у меня сложилась совершенная путаница — я был человеком с Ваганькова, пространщиком в одной из самых криминальных бань Москвы, и я же был диссидентом, и писал стихи, и читал их Юрию Домбровскому, Давиду Самойлову. Может быть, когда-нибудь я попытаюсь разобраться в этой путанице. Почему я всю жизнь брал чужую судьбу напрокат? Сейчас я не могу этого объяснить.

Прошло недели две, и я стал таскать Анвару всевозможный самиздат. Он с интересом просматривал Хронику. Ничто художественное его совершенно не интересовало. Борьба с

коммунистами не могла не вызывать у него сочувствия. Но он считал, что это безнадёжно. Как-то раз он вышел из разряда в холл, сел на подоконник и стал листать только что полученную у меня книгу. Это был «Большой террор» Р. Конквеста. Книга была издана очень броско, в глянцевой ярко-алой суперобложке. Отдавая её Анвару, я сказал:

— Дома прочтёшь, и никому не показывай.

— Да ладно, Миша! Учёного учить, только портить.

К нему подошла, а он её не заметил, всемогущая директорша комбината.

— А ну, дай посмотреть.

Через несколько минут белый, как мел, Анвар пришёл в разряд и сказал, что директор вызывает нас обоих к себе срочно.

— Так, ребята. Вот два листа. Пишите на увольнение.

Мы оба молча написали по собственному желанию.

— Свободны. Потом зайдёте в кадры, — книгу она оставила себе, может быть, на память.

Мы вышли из её кабинета опять молча. Мы долго молчали.

— Миша, я прокололся, признаю, — сказал Анвар. — Ты учти, я написал заявление, которое — филькина грамота. Она никогда меня не уволит, потому что дела у нас с ней большие здесь. Это она от тебя отмахнулась. А виноват я. Надо поправлять. Сейчас поедем ко мне, выпьем и поговорим. Тёлок выписать? Не менжуйся. Поправим.

Сели в такси и он сказал водителю, что нужно покататься по городу. Два аппарата.

— Сперва сделаем два маленьких дела. И познакомишься с моей мамулей.

Приехали в Центр. Где-то на Новослободской, в переулке заехали во двор. И когда Анвар позвонил в дверь, обитую роскошной светло-коричневой кожей, нам открыла немолодая, но ещё и не старая, ярко раскрашенная, с золотыми серьгами в ушах, пухлыми руками, унизанными золотом, с горячими жадными глазами женщина в шёлковом цветастом татарском балахоне до пола.

— Ай, Анвар, сынок, родной ты мой! Что ж ты без звонка приезжаешь, да ещё с гостем? Нечем мне вас угостить, что человек подумает о нас? — запела она сладким голосом, ослепительно сверкая золотыми мостами во рту. — Проходите, раздевайтесь. Что Бог послал, то и на столе. Стыдно мне, старухе, так дорогих гостей принимать.

Она моментально уставила огромный круглый стол на львиных лапах, покрытый едва ли не парчовой скатертью, множеством деликатесов, которые были увенчаны бутылкой

коньяка «Двин». Но это не была мать Анвара.

— Сначала дело. Извини, уважаемая Софият. Товар весь сдали, и никаких хвостов. Доля брата моего Мусы, — он положил на стол пачку долларов и ещё несколько пачек деревянных в банковской упаковке. Это тебе от ребят. Деньгами распорядишься, не мне, глупому, учить тебя, — они говорили по-русски. — Скажи, что Муса пишет, как он устроился. Что адвокат сказал?

Софият очень аккуратно, насколько позволила раскраска, всплакнула:

— Слава Аллаху! Устроился при кухне, хорошо. Ребятам скажи спасибо, что не забыли брата и меня, бедную вдову. Адвокат деньги тянет, дело на месте стоит.

— Я сам с ним поговорю. Здесь одними деньгами не обойдётся. И сытую лошадь не мешает иногда кнутом пугнуть.

— Вся надежда на тебя, Анвар.

— После этого Анвар, извинившись, подошёл к телефону, набрал номер и сказал кому-то в трубку:

— Люська, звони Римке, и живо давайте ко мне. И чтобы быть в хорошей форме, мы устали. Накрывайте стол. Я везу нужного человека.

Мы снова куда-то поехали. Заехали в Чертаново. Там машина остановилась у подъезда обшарпанной хрущёвки. Мы с Анваром поднялись по вонючей лестнице на четвёртый этаж. Он позвонил, и открыла старуха-татарка с измученным худым лицом, в каком-то больничном халате…

— Анвар, сынок! Что ж ты так долго не звонил?

— Мама, занят был.

Мы стояли в передней.

— Зайди с гостем. Отведайте, что Бог послал.

— Торопимся, мама. Дела у нас, — он протянул ей толстую пачку сотенных.

— Зачем мне столько денег Анвар? Для тебя это сохраню. Откуда они у тебя? Неужто не достаточно тебе смерти отца? Снова ты в тюрьму идёшь.

— Мама, так говорить нехорошо. Что ты зовёшь беду?

— Звонят всё время, охотятся за тобой, сынок.

— Это меня бабы ищут, мама. Ничего не отвечай, — он взял её руки в свои. — Мама, ничего не бойся. Я не попаду.

Старуха тихо плакала, робко стараясь удержать его за рукав.

Когда мы спускались к машине, Анвар сказал мне:

— Купить кооператив могу завтра. Не хочет ехать. Боится. Беда с ней, — я промолчал. Что было сказать?

Мы поехали на Кутузовский проспект, где нас уже ждали. Не думаю, что кому-то покажется интересно то, что было там, в

огромной квартире, которую Анвар снимал — обыкновенная пьянка с бабами. Наутро опохмелились, и бандит написал записку, текст которой я отлично помню: «Коля этот человек — мой брат. Оформи его и пусть работает. Анвар.»

— Поезжай сегодня в Бабушкинские бани. Отдай это директору.

— Сегодня я плохо выглядеть буду для устройства на работу.

— Он проглотит всё, что я ему пришлю. Не волнуйся и с этим не тяни.

Он оказался прав. Я после этого ещё год работал в Бабушкинских банях.

Вот я перечитал написанное и вижу, что Анвар, в таком виде, как у меня это пока вышло, ничего, кроме отвращения вызвать не может. Однако, если бы мне пришлось быть свидетелем на справедливом суде, на который он при жизни никак не мог рассчитывать, я, пожалуй, сказал бы вот что.

Это был человек, полный сил, умный и храбрый. Никто ни разу в жизни ничего ему не объяснил. Он усвоил правила той среды, в которую его поставила немилосердная судьба. Эти правила он свято соблюдал. Больше не знаю ничего в его защиту. Он погиб в соответствии со своими правилами.

Прошло несколько лет, в течение которых мы виделись иногда. Однажды он позвонил и предложил приехать в ресторан.

— Языки почешем. Я устаю, Миша.

Мы сидели вдвоём за столиком с коньяком. Я заметил, что он выглядит больным.

— Сказал, устаю, — что-то он хотел мне сказать, но не решался или не знал с чего начать.

— Сахаров твой в Горьком. По-другому и быть не могло, — мрачно сказал он. — Ладно. Слушай. Миша, меня не будет. Ты заезжай вот по этому адресу и навещай мою мать. Она одна останется. Деньги у неё есть. Но никто к ней не придёт. Мои ребята её не знают. Ты месяца через два позвони по телефону и приезжай к ней. Скажи, я просил навестить, а то она тебя не пустит. А как там этот безногий твой? — он имел в виду Киселёва. — Не взяли они его ещё?

— Да он хочет, чтоб его взяли, чтобы увидеть, как содержатся инвалиды в заключении. Поэтому его и не берут.

— Он дурак, но дело не в этом. Они его скоро возьмут. Сейчас всех берут, — в этом он ошибся, Киселёва так и не арестовали.

— Что ты помирать собрался?

— А жив буду, дам тебе знать. Только вряд ли, — он мимолётно улыбнулся. Пей коньяк. Чего не пьёшь?

Через два месяца, а звонков от Анвара не было, я позвонил его матери. Мне ответил мужской голос, что она умерла. Тогда я пошёл в Центральные бани и спросил там одного человека, что с Анваром.

— У него склад был. Где-то, говорят, по савёловской ветке, на даче. Ну, его там накрыли, а он убил двоих ментов и ушёл. Его взяли через несколько дней, в Москве, на квартире. Но он, как попал в СИЗО, сразу исчез. Нельзя было его доводить до суда. У него ж на ментов завязки были. Они боялись его показаний. Хотя зря. Он никого никогда не сдавал. Никого за собой не потянул, понимаешь. Никого, кроме него, не арестовали. Он предупредил, и вся его компания рассыпалась, кто куда.

Если всех нас когда-нибудь будет судить Бог, как он его накажет? Понимаю, что это странно, но мне Анвар представляется человеком честным. Он в той путанице, которая ему была предложена, никак разобраться правильно не мог. Это было невозможно.

* * *

Ухожу к Машке в роддом. Сегодня мы уж с ней не увидимся, только передачу отдам. Врачи ей запретили ходить по лестнице, а лифта там нет почему-то — только для персонала, грузовой. Очень тревожно, нервы у меня барахлят, и я просто боюсь.

А где-то в Иерусалиме, кажется, в Неве-Якове, живёт женщина с серебряными волосами. С кем она? Как она там? Невозможно узнать, потому что она этого не хочет.

Утром я читал комментарии и путешествовал по разным журналам. И мне было очень интересно, но отослать ничего зато не смогу сегодня, потому что вечером компьютер нужно уступить.

Что ты был, и чем стал, и что есть у тебя…

А был такой поэт Григорий Поженян, который часто повторял: «Время выворачивать шубу». Я был пацаном и не понимал, к чему он это. Вот наступило для меня такое время — не самое это худшее время в жизни человека. Только ошибаться уже нельзя, как в третьем последнем раунде у боксёров-любителей.

Ну, до завтра.

* * *

У меня дома неожиданно заболели все. Это какой-то

желудочный грипп, говорят. Или какая-то иная инфекция. Врачи, похоже, толком не знают. Значит больны: Аня, Ольга, Надя — мои дочки. Наденька к тому же беременна. Маленькая Анютка, ольгина дочка, Митька, надькин сын и Данилка, сын Машеньки, которая в больнице. И их мама, Светлана. У всех температура, насморк и кашель, и расстроены желудки. А здоровы — маленький Артёмка, ольгин сын, зятья и я. Все возятся с детьми, с энтузиазмом лечат их и лечатся сами. Я уж писал, что эти мои дети — православные, они в меру сил соблюдают установления Церкви. К сожалению, они с их матерью пока что единственные настоящие христиане, да и, вообще, верующие, каких мне довелось за долгую жизнь повстречать. Не исключая весьма значительных религиозных деятелей, что мне довелось знать лично. Почему такое невезение? Будем считать, не дал мне Бог удачи. Нету иного объяснения.

Заболевание, однако, не шуточное, у Митьки, например, температура поднялась до 40. И очень плохо Наде, а это в её положении совершенно ни к чему. Денег, как водится, в такой момент не оказалось. Что я делаю? Хожу в магазин, в аптеку и мою посуду. На кухне стоит огромная бутылка водки, которой протирают детей от температуры. Я посмотрел на неё, как на тайную любовницу, случайно оказавшуюся в моей семье в гостях. Кажется, и она грустно посмотрела на меня.

Я, как уже было сказано, здоров, но какая-то после больницы слабость. И вот я лёг и задремал. И когда я дремал, сквозь сон услышал. Каждая из дочек, войдя в комнату, останавливалась и значительно произносила:

— Тише! Папка спит, — они продолжают называть меня так, как называли много лет назад, когда были детьми.

Меня это так тронуло, что я ещё некоторое время лежал, закрыв глаза, чтобы не обнаруживать старческой слабости.

* * *

Итак, я лежал, что-то мне снилось или чудилось. Мне приснилось, как конунг Теоден стоит со своей дружиной, укрывшись от войска Сарумана в одной из пещер Хельмовой крепи. И вот он говорит Арагорну:

— Не стану здесь отсиживаться, как барсук, обложенный в норе. С рассветом я велю трубить в большой рог Хельма и сделаю вылазку. Тогда мы прорубимся сквозь полчища врага или падём и удостоимся песен, если будет кому их слагать. Ты поедешь со мной, Арагорн?

— Я поеду с тобой, — сказал Арагорн.

Эту книгу я целыми главами помню наизусть. И у меня появились некоторые соображения по поводу Толкиена, которого, насколько я понимаю, сейчас почти никто не читает, кроме неблагополучных подростков.

В 1946 году Черчилль произносит свою фултонскую речь и начинается холодная война, которую по масштабам материальных затрат и жестокости локальных конфликтов вполне можно считать Третьей Мировой. Однако, последняя битва Второй Мировой Войны разразилась только в 1948 году на Ближнем Востоке, где были разбиты последние оставшиеся союзники Гитлера. Как и в Европе, они были разбиты, но не были уничтожены окончательно. Именно об этом книга «Властелин Колец», которая вышла в том же году или чуть позднее. Именно поэтому она произвела такое потрясающее впечатление на читателя. Это я придумал сам, никто мне не подсказывал. И, сказать по правде, эта мысль почему-то чаще всего вызывает у людей благоразумных весёлый смех.

Ну, если смешно, какая беда, если в ЖЖ тоже посмеются. Толкиен очень раздражался, когда пытались представить его книгу как некую хронику двух мировых войн. Мне кажется, что он просто считал свою работу более сложной. Никто нигде не сказал о коренном отличии этой книги от массы антивоенной литературы, появившейся во время и после войны. «Властелин Колец» — книга не против войны, а за войну. Её совершенно невозможно поставить в один ряд с книгами Хемингуэя, Барбюса, Фейхтвангера, Ремарка — антивоенными. Р. Р. Толкиен написал гимн войне. Он считал, что война началась позже, чем следует, поэтому и была так тяжела.

Толкиен был крайним европоцентристом, и я вслед за ним. Великие культурные, нравственные и духовные ценности созданные некогда на Востоке, остались в прошлом. Эта громадная часть мировой культуры прекратила по ряду объективных причин живое развитие. Она мертва. И с Востока на Запад наступает армия живых мертвецов. Её невозможно ничем остановить, кроме беспощадной стали. Не следует, однако, браниться, а нужно уважать прошлое. Толкиен не раз повторяет, что назгулы, ближайшие соратники Саурона Великого, были когда-то благородными и бесстрашными рыцарями и королями. И сам он не всегда был Чёрным Властелином. Но все они мертвы. Когда царевна Эовин отсекает голову королю-чародею, на землю падает пустая груда доспехов и тряпья, в действительности под ней ничего не было.

Поэтому мне всегда становится стыдно, когда багдадских

халифов называют ублюдками — в Израиле. Или когда чеченский народ, восхищавший своей непреклонной храбростью Пушкина и Толстого, называют черножопыми — в России. Нельзя оскорблять память Магомета, потому что он был великим религиозным и государственным деятелем прошлого, и нельзя оскорблять память Шамиля. Сражаться необходимо, а браниться — недостойно. Эта брань отчасти, к сожалению, объясняется тем, что сражаемся мы плохо, терпим поражения от слабейшего противника, и это вдвойне недостойно. А драться нужно насмерть. Это война — та самая, о которой писал Толкиен, война на уничтожение.

Однако, пора заканчивать это. День кончается. Мне придётся как-то втянуться в это дело, которое я считаю сейчас своей важнейшей работой. Мне это непросто сейчас. Голова у меня немного кружится.

* * *

Теперь я напишу, как я на свет появился. Это произошло при очень своеобразных обстоятельствах. В конце 45 года моя мама заканчивала заочно биофак Горьковского Университета, а жили они с бабушкой и братом матери, студентом МГУ, в Москве. Бабушка, не имея права находится в столице как жена врага народа и сама освобождённая условно-досрочно, пряталась. Понятно, что она не получала продовольственных карточек. Были, значит, карточка мамы и Света, моего дядьки. Это были карточки, студенческие, половинные, кажется. Они потихоньку умирали с голоду.

Однажды мама пошла, получать по своей и Световой карточкам хлеб. По дороге домой не выдержала и съела его. Что было делать? Она остановилась посреди улицы. Ну, что ж, под машину что ли прыгать? И она увидела на заборе написанное от руки чернильным карандашом, необыкновенно аккуратным, каллиграфическим почерком моего будущего отца объявление. «Набираются рабочие для работы в условиях заполярья. Льготный паёк». Указывался адрес, совсем недалеко. Рождественский бульвар. Мама пошла туда и, побродив по коридорам Минрыбхоза, нашла комнату, где за письменным столом сидел огромный человек с круглой, гладко выбритой головой в форме капитана первого ранга.

— Вот пришла по объявлению, — а надо сказать, что моя мама, хотя и не была красавицей, но была очень привлекательна и до старости не встречала мужчины, который бы оставался спокоен, взглянув на неё.

— Мужчин набираем, — сказал отец. — Научная группа тоже уже утверждена. Никак не могу вас оформить.

Это была Карская экспедиция, где отец был заместителем начальника по науке. Мама вышла на улицу и некоторое время гуляла по бульвару. Хлеба не было. Она вернулась и снова зашла в комнату отца.

— Послушайте, — сказала она. — А может быть, вы все-таки меня возьмёте?

Отец внимательно посмотрел на неё. Я хочу кое-что ещё, сверх уже написанного, сказать об отце. Он мог голыми руками завязать стальную монтировку узлом. Однажды на зимовке кончились продукты, и ждать самолёта с продуктами было бессмысленно — пурга. К нему в палатку пришли трое рабочих, все рабочие были только что от хозяина.

— Начальник, с голоду сдохнем тут все — сказал один из них. — Хочешь — не хочешь, а надо кого-то схарчить. Ты легко его актируешь. Покойник-то будет не один, точно.

Отец задумался.

— Похоже, по-другому не получится, ребята, ваша правда, — сказал он. — Идите пока к себе. Мы тут подумаем, кого удобней списать.

Они ушли. Отец взял карабин и вышел из палатки. Он моментально перерезал концы, на которых палатка крепилась, и рабочих, а их было десять человек против четверых научников, накрыло тяжёлым брезентом. Послышалась матерная ругань.

— Ребята, поругайтесь напоследок, — сказал отец. — Я никого не съем, обещаю. Но перестреляю вас всех до одного.

— Начальник, не стреляй! Не стреляй, мы не станем…

Отец молча ушёл к себе. И вот этот человек смотрел на мою маму, которой было тогда двадцать пять. Он, ровесник века, был старше её на двадцать лет.

— Может быть, — сказал он. — Может быть, я вас возьму.

Через месяц мама была уже на Ямале. Когда оказалось, что она беременна, мама никому об этом не сказала, просто по легкомыслию. Вышло так, что, когда уже нельзя было этого скрыть, шёл седьмой месяц, и месяц этот был январь. Пурга. О самолёте и думать было нечего. Маму повезли в Салехард на собаках. В таких случаях в тундре ветер свистит оглушительно, и каюр кричит, погоняя собак. Что он может услышать? Возможно, он был пьян. Мама в громадной «малице», если я не ошибся, это верхняя шуба из оленьего меха, свалилась с нарт, а каюр угнал нарты, и, вернувшись через несколько минут, найти её не смог. Она сутки провела, зарывшись в снег, это называется куропатка-чум. Вместе со мною она была обречена. Но её нашли. Отец сам

руководил этими поисками и нашёл её. В следующий раз она добралась до Салехарда и улетела в Москву.

Она родила меня в роддоме Грауермана. Из роддома меня пешком несла до Кировской моя двоюродная тётка Рая. Я непрерывно кричал. Заворачивая за какой-то угол, она сильно стукнула меня об этот угол головой, и я замолчал. Она была в ужасе. Очевидно было, что я умер. Когда же меня принесли в дом и стали разворачивать, я снова заорал. Жив! Рая, хотя и врач по профессии, всегда вспоминала об этом с ужасом.

Я родился и стал жить. Приехал мой отец. Я уже стоял в кроватке.

— Господи, какой безобразный! — растроганно сказал он.

И меня ещё долго потом звали дома — Миха-безобразный.

Вследствие всех этих и ещё многих других обстоятельств, я редко по-настоящему пугаюсь. Верю в то, что пронесёт. Всегда проносило. Пронесёт и на этот раз.

* * *

Как только из прохладного стеклянного ящика аэровокзала она вышла на площадь, знойный ветер растрепал волосы, платье стало влажным и липким, и в глазах от жары поплыли разноцветные круги. К ней немедленно подошли двое полицейских, увешанных оружием, они были тёмно-бронзовые, блестящие, будто лаковые — коренные жители Гарасао, какой-то юноша с большими тёмными оленьими глазами и длинными тонкими пальцами в белоснежном морском кителе и мичманке, он был совершенно чёрный, и ещё какой-то европеец, человек с бледным вдумчивым лицом шпиона. И несколько босоногих мальчишек, наперебой предлагавших любые услуги. Полицейские проверили документы и оба откозыряли.

— Милости просим на Гарасао, госпожа! — по-английски.

Моряк тоже приложил длинные тонкие пальцы к козырьку:

— Здравствуйте, добрая госпожа! Второй штурман вашей яхты «Антрум», которая ждёт вас у пассажирского причала. Капитан извинился, он не решается сейчас оставить судно, потому что вчера тут произошли некоторые события, которые… Э-э-э… В общем…

Таня оглянулась, и ей бросился в глаза обгоревший остов перевёрнутого автобуса. Чуть подальше ещё сгоревший армейский джип. Мостовая усыпана была пустыми гильзами. И лица у встречающих были очень серьёзны, слишком серьёзны. Даже мальчишки-носильщики были серьёзны. Белокожий человек

не стал козырять, но подошёл к ней ближе и внушительно произнёс по-русски:

— Украина не имеет здесь своего представительства, и меня просили вас встретить. Был звонок из украинского консульства в Вашингтоне. Не вполне вовремя вы сюда прилетели. Сейчас едем в Российскую миссию, там вы будете в безопасности. Вчера и всю ночь здесь шли бои, и в городе очень неспокойно.

— Спасибо, — сказала Таня. — Я собираюсь поехать на корабль, который мне принадлежит, а если здесь опасно, тем более — мы уходим в море.

— Хорошо, хорошо. Подурачились, и хватит. Вечером вы улетаете в Киев, а оттуда домой. Вряд ли вас выпустят из бухты, а на внешнем рейде стоит американский крейсер.

— С Вашего разрешения, — сказал моряк. — Судовая документации в полном порядке, и задержать нас никто не имеет права. Яхта севастопольской приписки, украинской, понимаете? Это что вам шутки? Я получил приказ доставить хозяйку на борт.

— А я представитель российской миссии. Не морочьте мне голову. Решайте, Татьяна. Я теряю время. Вы не в безопасности в городе, а в море — тем более. С ума вы сошли что ли? Здесь началась гражданская война. Ночью боевики захватили несколько стратегически важных пунктов в столице и удерживали некоторые автомобильные трассы под своим контролем до самого утра, — он говорил это, невольно копируя текст последних теленовостей. — Их с трудом выбили отсюда.

— Я поеду на корабль, — сказала Таня.

— Это правильное решение, потому что ещё не известно, что боевики могут натворить в российской миссии, — сказал чернокожий моряк, — он был бледен, как это бывает у чернокожих, то есть лицо его стало серым. Но оленьи глаза были спокойны. — В открытом море всегда безопасней, вы совершенно правы, мэм.

— Я тогда всякую ответственность с себя снимаю…, — начал русский, но пока он говорил, моряк уже усадил Таню в такси.

Бронзовый водитель, улыбаясь, сказал по-испански с опозданием на пятнадцать лет:

— Советико? — моряк ничего не ответил.

— Потом он сказал, обращаясь к Тане:

— Мы будем ехать не больше пятнадцати минут. Будьте спокойны, — он сунул руку во внутренний карман кителя и достал пистолет.

Машина быстро летела по пустым улицам. Множество изуродованных, сожжённых, перевёрнутых автомобилей, выбитые стёкла и разбитые стены домов. Какие-то странные люди лежали

на мостовой, они, будто спали, и вокруг каждого была чёрная лужа.

— Не смотрите туда, — заботливо сказал моряк. — Скоро приедем.

Выстрел. Водитель нажал на газ, и стрелка на спидометре дёрнулась к ста пятидесяти. Моряк и водитель говорили друг с другом по-испански. Таня понимала их очень смутно:

— Не отвечай, бесполезно. С чердака стреляли. Просто люди нервничают, и палец на курке трясётся.

— Кто это стрелял?

— Откуда мне знать? Или наши, или эти… Все сейчас не в себе.

— Твои «наши» — это кто?

— Наши, это наши, — мрачно сказал водитель.

Появились за крышами домов стрелы портальных кранов. Через минуту машина, сбавив скорость, поехала по бетонке пирса и становилась у сходни, брошенной с борта белой трёхмачтовой яхты. Коренастый, невысокий человек лет пятидесяти, гладко выбритый, с короткими очень курчавыми седеющими волосами, одетый, как на парад, сбежал по крутому трапу с крыла верхнего мостика и отдал Тане честь:

— Капитан Сорер Кутро, госпожа. Милости просим. Всё готово к отходу. Прикажите, и мы отваливаем.

— Но это имя мне незнакомо, — сказала Таня. — Другое имя мне называли.

— Так точно. Прежний капитан застрелен сегодня ночью у себя дома. Фирма по набору экипажей предложила мне эту честь. Мы поднимемся в мою каюту, и вы познакомитесь с документами и рекомендациями.

Моряки, темнокожие, голые по пояс, в белоснежных, закатанных по колено штанах, босые, мыли палубу, доводя её до цвета яичного желтка. Таня увидела на гафеле свой вымпел с молнией, а на кормовом флагштоке украинский флаг. Она прошла в капитанскую каюту, где переборки были обшиты золотистым дубом.

— Хотите выпить, госпожа? Коньяк, кофе, чай? Немного вина?

— Мы уже отплываем? — спросила Таня.

— Каждая минута дорога. Я от вас не скрою, что яхту хотели ночью захватить. Им сильно не хватает плавсредств. Если б у них было хотя бы несколько самоходных барж, они атаковали бы с моря, и город был бы у них в руках ещё вечером. Посмотрите мои бумаги, пожалуйста.

Из документов следовало, что капитан Кутро почти четверть

века командовал различными сухогрузами, наливными, рыболовецкими и прогулочными судами, в том числе и парусными. Четыре года он был капитаном личной яхты президента Республики Маринити. И все рекомендации были хвалебные. У Сорера Кутро было простое, искреннее лицо и прямой взгляд. Хотелось ему верить. Яхту стало слегка покачивать. После длинного перелёта очень хотелось спать.

— А команда? — спросила Таня.

— Все уволились, конечно. Они испугались, потому что с их капитаном свели счёты боевики. Я набрал своих. Эти люди надёжны. Я в них абсолютно уверен. Если хотите послушать доброго совета, сейчас вас проводят в вашу каюту. Там вы примете ванну и ляжете в постель, потому что в море порядочный ветер, будет качка, вам с непривычки станет тяжело.

— Но я хочу посмотреть на крейсер.

— Поднимемся тогда на верхний мостик. Ничего интересного. Им до нас дела нет, уверяю вас. У них тут достаточно хлопот.

Продолжение следует. Антрум, это для Вас, но от температуры у меня голова плохо варит. Извините.

С мостика Таня увидела, прежде всего, бесконечный океан, синий, волнуемый свирепым ветром. Белые гребни волн катились в этом пространстве, словно живые, ветер пронзительно пел в снастях, и всё до самого горизонта дышало грозной неодолимой силой. Яхта медленно уходила в сторону горизонта, и начинала уже прыгать на волну, выдерживая стальным форштевнем первые удары. Крейсер стоял на якоре, внешне молчаливый и равнодушный, а яхта оставляла его по левому борту. На мостике появился какой-то человек:

— Капитан, они спрашивают порт назначения.

— Отвечай: Гибралтар.

— Есть!

— Они нас не станут останавливать, мэм. Говорю вам, им не до нас. Я провожу вас в каюту. Вы проснётесь в открытом океане, и тогда прикажете, куда мне идти. Подумайте.

— Куда угодно? — улыбаясь, спросила Таня.

— Именно так. Куда вы прикажете.

Ночью Таня проснулась, как ей показалось сначала, от сильной качки. Но потом она услышала шлёпанье многих босых ног по палубе, крики и вдруг — несколько выстрелов. Она оделась и открыла дверь. Бронзовый матрос стоял у двери.

— Виноват, сеньорита, мне не велено вас никуда выпускать, — сказал он на ломаном английском. Приказ

капитана, сеньорита. Успокойтесь и ложитесь спать. Просто очень плохая погода.

— Кто это стрелял?

— Зайдите в каюту. Дверь должна быть закрыта. Я вас прошу, виноват, сеньорита. Это не выстрелы, а хлопает парус.

Таня отступила, и дверь закрылась. Не смотря на сильную качку, её перестало тошнить. Только сердце колотилось. Она обошла всю свою роскошную каюту из двух комнат. Таня искала что-то, способное служить оружием. Не нашла ничего, кроме столового ножа, к сожалению, недостаточно острого. Вот удивительно, мне совсем не страшно. Выстрелы раздавались откуда-то, как ей показалось сверху, а потом несколько раз грохнуло уже рядом с каютой, в коридоре. Кто-то мучительно закричал. Дверь распахнулась и, споткнувшись о комингс, вошёл второй штурман. Лицо его было в крови и белый китель тоже. Пистолет он сунул за пояс. Матрос, с которым она только что разговаривала, лежал на палубе, и кровь вытекала из его головы, булькая и растекаясь по палубе.

— Что это?

— Мисс Антрум. С вами всё в порядке? — сказал штурман. Его тёмные, оленьи глаза были спокойны. — Это был бунт, но он уже подавлен. К сожалению, я, кажется, ранен. А капитан и старпом убиты оба. Я виноват. Не удалось мне живыми их взять. Мне тут пришлось перестрелять многих, пока люди не притихли. Есть проблема. Кроме меня, никто не может определиться теперь, не говоря о том, чтобы сделать прокладку. А я, кажется…

— Куда вы ранены? — спросила Таня.

— Проклятые предатели, — лихорадочно говорил он. — Это последнее дело. Так добрые моряки не поступают. Но я за деньги и старого козла не отдам на убой, — пот катился у него по лбу, заливая глаза, и он сел на диван. — Простите, мэм, я вам тут всё перепачкаю. Утром матросы замоют.

— Скажите, куда вы ранены?

Молодой человек расстегнул китель, и стало видно, что сорочка совсем вымокла в крови.

— В живот, мэм. Не думайте об этом. Я человек простой. Но я моряк и, кажется, свой долг сумел выполнить. Они хотели угнать яхту. Им хорошо заплатили, и он мне предлагал… Слушайте. Команда в таких случаях сама выбирает командира. Сейчас придут люди, и я скажу им, как вести судно, не слишком удаляясь от архипелага. Здесь везде неспокойно. Нет иного выхода, как добираться до побережья Штатов. Эти люди хорошие моряки, пока ориентиром им служит берег.

Он много говорил, но всё больше бессвязно. Потом он вдруг

спросил:

— Могу я узнать ваше имя, мэм?

— Татьяна.

— Русское имя. Я бывал в России, — он заговорил по-испански, и не сразу Таня поняла, что это бред.

Она помогла ему улечься на диван. Вдруг он открыл глаза и сказал:

— А моё имя Рональд. Мои родители родом из Штатов, — он замолчал.

Тогда Таня вышла из каюты, прошла коридором, спустилась по трапу и оказалась на палубе, где стояли моряки. Их было всего пятеро.

— Послушайте, послушайте! — крикнула она. — Ваш командир умирает.

К ней подошёл полуголый бронзовый, совершенно седой старик:

— Я судовой плотник, госпожа. К сожалению, боцмана застрелили. Всех покойников я велел сложить на юте. Я здесь старший по команде, если Рональд Грейс умер или умирает. Это почти одно и тоже.

— Если бы он сейчас попал на операционный стол…

— Радиста застрелили. К тому же очень рискованно выходить сейчас в эфир. На Гарасао, вернее всего, боевики захватили уже целый флот, они могут нас догнать. Мы идём в Штаты, прошу прощения, мэм. Другого выхода нет, хотя там нас ничего хорошего не ждёт. Затаскают по судам. Погибло-то десять человек.

Уже светало. Волнение стихло, небо стремительно светлело. Вдруг сотни дельфинов вдалеке поднялись из воды, нырнули, исчезли, и снова выпрыгнули.

Таня смотрела на это, не отрываясь. И она неожиданно для себя улыбнулась.

— Да, госпожа. Дельфин — рыба Господа Бога, — сказал старик. — Хорошо, что вы улыбаетесь. Всё забудется. А если вспомнится, так не слезами.

Я не знаю, что было дальше, потому что Таня проснулась на рассвете в своей постели, дома, в Днепропетровске.

* * *

В конце восьмидесятых, в Москве меня разыскал один знакомый и сказал, что со мной хочет встретиться о. Георгий Эйдельштейн. Это был в то время очень популярный среди

религиозных диссидентов православный священник, близкий к отцу Глебу Якунину.

Я позвонил Эйдельштейну, мы встретились, и он мне растолковал, в чём дело. В то время у него приход был в деревне Ушаково на севере Костромской области. Там в 1812 году была построена громадная церковь. С момента постройки она ни разу не ремонтировалась, и в конце концов высокая колокольня стала просто отламываться от основного корпуса здания. До аварии рукой подать, а каждые субботу и воскресение в церкви шла служба. Священнику в Москве кто-то сказал, что, вероятно, фундамент подмывается водой, и нужно сделать дренаж. Что такое дренаж, ни он, ни я толком не знали. Мы оба это так понимали, что просто надо по периметру сооружения выкопать на метр в глубину и на метр в ширину траншею, а потом засыпать её чистым песком. Потом оказалось, что мы правы были только отчасти, а в таких случаях это ещё хуже, чем, если б мы вовсе были неправы.

Итак, я съездил на кладбище, взял там хороший инструмент, и мы поехали вдвоём. Позднее ко мне присоединился один мой приятель, очень религиозный человек, и мой семнадцатилетний сын. О. Георгий платил нам из своего кармана, платил больше, чем следовало. Я ему сказал, что цена неправильная, но он только отмахнулся от меня. Совсем недавно до того они с о. Глебом Якуниным объехали полсвета, были даже на Филлипинах, и привезли в подарок городу Костроме вагон одноразовых шприцев, и денег хватало. Месяц был сентябрь, я рассчитывал справиться до холодов. Копаю я, действительно, неплохо, мои помощники растаскивали грунт по территории, чтобы не возникало бруствера. Вот сейчас я стану припоминать, где, собственно оказались мы тогда.

От Буя до Елегино — сорок километров. Елегино это центральная усадьба некогда богатого совхоза, вокруг которой теснятся пять небольших деревень, в том числе Ушаково. Дорога — просёлок. Должен был идти рейсовый автобус, но он не мог пройти вязкой дорогой, потому что дожди уже начались. С трудом проходили ЗИЛы, и нам пришлось ехать на почтовой машине. Несколько весёлых, хмельноватых тёток и пожилых мужчин все в резиновых сапогах и телогрейках сели в фургон, а нас со священником водитель пригласил в кабину: В тесноте да не в обиде. Я смотрел в окно, не отрываясь. Редко попадаю в русскую деревню средней полосы, знаю её плохо.

О. Георгий рассказывал мне что-то очень интересное о Достоевском, о Бердяеве, о Мережковском, о ком-то ещё, но у меня в голове это плохо укладывалось.

— Должен я ехать с лекциями в Ленинград. Недовольны будут мои прихожане. Не знаю, что и делать. Как отказаться… Православная культура…

По обе стороны просёлка под осенним бледным, холодным небом тянулись широкие поля, заросшие бурьяном, а вдали чуть золотился печальный лес. Поля уже несколько лет не засеивались. Скотины тоже нигде было не видать. Время от времени появлялась деревушка, заросшая высокой травой и кустарником едва ли не по самые крыши. Ни души. В тех местах давно не было войны, не приключалось смертного мора, чумы или холеры, не было там никаких зловещих явлений инопланетян, метеоритного дождя или ещё чего-то катастрофического. Но люди ушли оттуда, гонимые разрухой. Редко-редко на обочине дороги появлялась одинокая фигура старика, из под руки провожавшего машину взглядом.

Я невольно вздохнул, и водитель, тоже сильно пожилой, вопросительно глянул на меня:

— Чего?

— Да так. Смотрю вот. Что такое? Почему это? Куда люди-то делись?

— А как ты хочешь! Это те не Воронеж: там, говорят, палку воткни — зацветёт. Земля наша трудная. Семь потов сойдёт. А ради какого рожна? Жизни-то человеческой люди не видали сколько лет. Бросили нас и рукой махнули. Люди стали разбредаться. Разруха. В магазине папирос порядочных не купишь. Как завезли «Любительские», а они подмокшие. Курить не захочешь. И хлеб в неделю два раза.

Машина с тяжким стоном двигателя проваливалась и выезжала с ухаба на ухаб. В фургоне пели:

А эта свадьба, свадьба, свадьба…

Пела и плясала!

Потом закричали:

— Шофер, останови, а то бабы тебе тут всю почту обоссут!

Притормозил водитель и все вышли размяться. Женщины символически отходили в кусты, а мужики не стеснялись.

— Гляди, сохатый! Давай карабин!

Несколько выстрелов спугнуло величественного лося, который пасся неподалёку, и можно было наблюдать его стремительный и грациозный бег с закинутыми на спину, тяжёлыми рогами.

— Йе-э-х! Стрелки. Только бочки вами затыкать! — весело закричали бабы из кустов.

— Сергеевна, я тебе принесу из лесу говядины, — сказал кто-то, — А ты со мной за грибами-то сходи! Я гляжу, ты больно

хороша, зад ну точно, как у яловой коровы. А мужа мы в избе запрём.

— Да куда тебе! Песок-то сыпется…

— А может, с песком и крепче продерёт.

— Си-и-ди-и-и! Давеча в магазине с ног свалился. Голова, трясётся, как у строго козла, а тоже — хороводы заводить…

Шутки были грубы и не слишком веселы.

Я, было, выразил мнение, что на моём месте должна бы сидеть какая-нибудь старуха.

— Не полезет. Они стесняются, не привыкли, — мрачно сказал водитель.

Сорок километров мы преодолели не меньше чем за четыре часа. Елегино — большое село. Тогда там работал магазин, не знаю, как сейчас, и мы с о. Георгием пошли, купить недостающих продуктов.

— Я уеду сегодня. Пойдём, посмотрим, где будешь копать, а потом избу, которую для тебя выделили. Всё там вымыли, рамы новые вставили, и есть одеяла и чистое бельё. Я тут договорился, тебе будут парное молоко приносить по утрам, сигареты у тебя есть.

Когда мы пришли к церкви, обошли её кругом, работа не показалась мне сложной, как оно и оказалось. Но я спросил:

— Так я как копать-то буду, вплотную к фундаменту или отступить?

— Ох, я даже и не знаю, — сказал он. — Копай вплотную.

Роковая ошибка, которая, однако, выяснилась не ранее того, как работа была закончена, и траншея засыпана песком. Рискуя снова навлечь на себя обвинение в русофобии, я заметил бы, что такого рода проектирование в России является национальной особенностью, если б мне во время не вспомнилась трагическая гибель множества молодых людей в «Версале», а это произошло вовсе не в России, а в Израиле.

Мы ещё немного поболтали с о. Георгием, пока машина не пошла обратным рейсом. Он уехал.

Устроился я прекрасно. Протопил русскую печь, потому что к вечеру уже холодало, постелил на мягчайшей пуховой перине чистейшее льняное полотно, какого уж давно в глаза не видел. От него исходил запах свежести и чистоты. Огромное ватное одеяло дышало теплом. Но, не успел я уснуть, как послышались громкие крики, звон, лязг и грохот непонятного происхождения. Кое-как одевшись, я выскочил на двор. Мимо бежали куда-то женщины с пустыми тазами и вёдрами, в которые они колотили, что есть силы. Они кричали.

— Что это они?

— А волков гоняют. Волки выходят к овчарне, — зевая, ответил мне какой-то мужик. — Вот жисть пошла. Пугнуть их стало некому.

Рано утром, едва проснувшись (хорошо, я рано просыпаюсь), я увидел в окно, как ко мне медленно ковыляет древняя старуха, нагруженная обыкновенным мешком из-под муки.

— Здравствуйте!

— Здравствуйте.

— Вот гостинцев вам бабы собрали, — она с мягкой улыбкой стала доставать из мешка всевозможную снедь. Там была двухлитровая банка ещё тёплого молока, здоровенный кусок солёной телятины, огромная бутыль жёлтой самогонки, помидоры, огурцы свежие и солёные, банка солёных грибов, маринованная черемша, ещё много всего.

— Вот спасибо. Сколько я вам за это всё должен?

— Да мы не торгуем. Грех так говорить, милый человек, — серьёзно отвечала она. — А вот, коли не жаль, нет ли водочки городской? Мой старый уж стосковался. Рад будет.

У меня было две бутылки, я обе ей отдал. И она благодарила меня с такой сердечной улыбкой, что сердце заныло.

— А это что, матушка?

— А это, сынок, свекольное пиво. Вы непривычные, а ты попробуй, мы варим. Раньше у нас молодые ребята и бабы ведь водки не пили никогда. Пиво пили. Попробуй, не пожалеешь, хорошо бывает с утречка.

Позавтракав досыта, я до вечера печь топить не стал и пошёл с инструментом к церкви. Я проработал там часа два. Уже прокопал метров пять траншеи, когда ко мне подошли две старушки в белых платках.

— Сынок, а службы разве не будет?

— Но отец Георгий уехал. Он приедет в субботу вечером.

— Вот беда. Он ездил-то почитай без малого полгода. За это время у нас тут трое померло, и хоронили без отпевания. Мы уж думали, может он на могиле за упокой отслужит. Как ты думаешь, сынок, не откажет батюшка? Плохо, что до кладбища далеко. Человек он важный. Учёный. Трудно ему.

— Ох, не знаю, — сказал я.

Они ушли. Эти женщины были из дальней деревни, и я смотрел, как они мучительно спускаются к речке по косогору, пока они не скрылись в кустарнике. Я продолжал копать, иногда взглядывая на небо, на поля, на прекрасный лес вдали, золотой, бледно-зелёный, молчаливый таинственный и неприступный.

Подошёл кто-то в резиновых сапогах, но, вместо телогрейки, у него была достаточно истрёпанная «Аляска», и, по-моему, он

одел её специально для такого случая.

— Здравствуйте! Осокин, Алексей. Главный инженер совхоза. Вот зашёл посмотреть. Некоторое время он смотрел на мою работу, неопределённо качая головой.

— Я, понимаете, сейчас не готов сказать ответственно, но, мне кажется, вам следовало на метр от стены отступить. А то получится уже не дренаж, а наоборот — вы всю воду к фундаменту соберёте, — сказал он, делая в слове фундамент ударение на предпоследнем слоге.

— Здравствуйте, — я вылез из траншеи. — Но это точно? А то потом поздно будет.

— Нужно проконсультироваться. Да сказать по правде, сюда бригаду специалистов надо бы. Сделать предварительные промеры, определить направление грунтовых и талых вод. Эдак, вообще-то… Вы городской сигаретой, простите, не богаты? — я хотел сбегать домой за пачкой LM, но он наотрез отказался и взял одну. — Ну, Бог вам на помощь.

И он тоже ушёл. С перерывом на обед я проработал до заката солнца. Это потрясающее зрелище, удивительно красиво. Заходящее солнце зажгло лес золотым пожаром. Что нужно было иметь в голове и груди, чтобы погубить этот благословенный край?

* * *

Надо сказать, что после больницы я, действительно, очень сильно и долго болел. Сейчас у меня ощущение, как это в детстве бывало. Голова кружится, я слабый, как муха, и время от времени чему-то бессмысленно-печально улыбаюсь. Я редко болею и поэтому тяжело переношу это.

Вчера написал кое-что — в ответ немедленно возник национализм. А я всё с меньшим и меньшим пониманием отношусь к этому явлению, не хватает душевных сил. Я писал об извечной российской народной беде. И упомянул о традиционно наплевательском отношении интеллектуалов в России к реальным народным нуждам. Тут же мне из Израиля написали, что там этого нет вообще. Как-будто я, работая в Иерусалиме на конвейере, недокланялся ещё менаэлю. А русский корреспондент наоборот: даже усомнился в том, что, действительно, я еврей. Что бы эти люди делали друг без друга? Но, похоже, они никогда не останутся друг без друга.

Клемансо, уже глубоким стариком, как-то сказал: «Злейшим врагом народа является тот, кто считает, что народ всегда прав»,

думаю, он имел в виду национализм. Но это не совсем о том.

Постоянно превозносить свой народ, безо всякого к нему критического отношения, это как если б я тут написал: «Смотрите, как я здорово сочиняю свои истории, а кроме меня, и на свете никто так не может. Лучше и не пробуйте», — ведь это даже как шутка звучит и неприлично, и просто глупо.

Знаю, что всё это уйдёт в воздух. Бессмысленно бороться с тем, на чём мир стоит.

Я лучше напишу для одного мальчика, как однажды ночью в больницу ко мне приехал Робин Гуд с Маленьким Джоном и с ними ещё несколько молодцов из Шервудского леса. А старый Тук не смог приехать. Он объелся неспелых слив, запивая их молодым пивом, и от этого серьёзно захворал. Никогда так не делайте. Принц Джон Плантагенет умер от этого (никто, сказать по правде, об этом не пожалел). Но Тук человек, добрый, честный, сильный и здоровый, выживет. И он мне привет передавал. Мы ведь с ним старые друзья. Когда мы штурмовали замок барона Фрон де Бефа, я старался держаться поблизости от него, вернее от его дубины. Мне так было спокойней, и я никогда этого не забуду.

К вечеру я напишу об этом. Это будет в моей жизни первый раз, я для детей ни разу не писал.

* * *

Боюсь, что детского у меня не получилось. Всё же я высылаю это, на всякий случай.

Когда я лежал в больнице, мне плохо спалось. И вот просыпаюсь я однажды глухой ночью. Не мог уснуть. Встал, оделся и пошёл курить. Проходя коридором мимо тёмной столовой, я увидел, что там за несколькими столами сидят какие-то люди и негромко переговариваются. Они были странно одеты. Охранников что ли греться сюда принесло? Показалось мне, что это охранники, потому что парни все были высокие, широкоплечие, но в темноте их лиц я не мог разглядеть. Они наследили в столовой, а я там каждое утро пол мыл, и в коридоре тоже повсюду видны были грязные следы. Все медсёстры и нянечки в такое время крепко спят, тем более врачи.

В коридоре мне повстречался один бедолага. Он попросил немного чаю. Я вернулся и отсыпал ему, сколько было возможно. В российских больницах — чай большая ценность, у многих своего чая нет, и с ними принято делиться.

— Кто это в столовой? — спросил я его.

— Не знаю. Я никого не видел, — сказал он.

Пришёл я в курилку, приоткрыл там фрамугу, чтоб глотнуть свежего воздуха. За окном валил крупный снег, а прямо перед подъездом какой-то человек успокаивал нескольких осёдланных коней, на спины которых кое-как накинуты были ковровые попоны. Кони были напуганы и храпели. Меня не так удивили кони, как меховая шапка с мокрым павлиньим пером у коновода на голове. На конную милицию это было совсем не похоже.

Ещё больше меня удивило то, что случайный прохожий не обратил на коней и на странного человека в шапке с пером никакого внимания. Он брёл мимо и даже не оглянулся.

Я отошёл от окна, размышлять об этом у меня настроения не было. Сел на лавку, закурил и задуматься. А мне тогда было о чём подумать. И думал я всё больше о грустном. Однако, всего не передумаешь. Я выкурил две сигареты и пошёл обратно. Из столовой по-прежнему слышался негромкий говор. И вдруг меня окликнули:

— Беглый, да это ты! Трудно узнать тебя, старый друг. Что это за тряпки ты нацепил на себя?

Этого голоса я не мог не узнать и радостно откликнулся:

— Джонни! Как ты сюда попал? А Робин где?

— Он пошёл сам посмотреть коней. Морозно и многоснежно. Они пугаются, как бы не сорвались. Сейчас он придёт. Хэ, молодец, беги за Робином и останься там с конями. Сменим тебя через час. Скажи ему: Беглый здесь. Мы тебя долго не могли найти, Беглый. Какой огромный город, клянусь святым Георгием! Но мне здесь совсем не понравилось. Очень смахивает на ноттингамскую темницу, а ещё больше на Тауэр — везде камень, будь он проклят. И тараном не прошибёшь. За что это тебя сюда засадили? — весело говорил Маленький Джон.

Я подошёл к ним, и Джон крепко обнял меня.

— Совсем ты ослаб, — сказал он, усаживая меня за стол.

Вдруг сразу бросились мне в глаза их зелёные кафтаны, кинжалы и оправленные серебром охотничьи рога, горячие глаза и смелые улыбки.

— Здесь не темница, а дом для больных. Здесь лечат от болезней. Я слишком много пил вина и, у меня от этого сердце стало болеть, — сказал я.

— Слушай, мы напали на Виндзорский замок. Я сам со своими стрелками поджигал, и он у меня полыхал, как старый курятник. Конечно, не счесть, сколько потеряли добрых йоменов, зато еле добычу довезли до надёжного укрытия. И нам не страшно было оставить на время родные леса. Проклятые грабители теперь надолго позапирались в своих каменных

мешках.

— А в чём там было дело? — спросил я.

Мимо по коридору прошла, зевая, медсестра, и я понял, что она нас не видит и не слышит.

— Старый герцог увёл из окрестных сёл около сотни самых красивых девушек. Люди пришли в лес и пожаловались. Кому им ещё пожаловаться было? Мы собрали больше тридцати тысяч человек, и у каждого добрый лук за спиной, — он провёл пальцем по тетиве натянутого лука, который стоял рядом со столом. Тетива запела, будто ночная птица в лесу.

— А где Его Преподобие Тук-благочестивый?

— Он, было, с нами собрался к тебе, да накануне наелся неспелых слив, а запивал молодым пивом. Не сглазить бы старика, ведь молодой Плантагенет умер от этого. А у нашего пьяницы только живот разболелся. Он тебе передал своё пастырское благословение и вот этот бочонок рейнского, который мы отбили у Виндзора. Это вино сорокалетнее. Живо поставит тебя на ноги, — йомен поставил бочонок на стол.

— Вряд ли, Джон, — сказал я. — Время моё прошло. Но для меня этот час большая радость. Мне ведь сказали, что Робин Гуд убит.

— Кто это о смерти заговорил! — громом прозвучал его голос у меня за спиной, а он уже сел рядом и обнял меня за плечи. Мокрую шапку с пером бросил на стол. — Нельзя убить того, кто умереть не может. Поэтому мы и не умираем никогда, и ты не умрёшь, Беглый.

— Как мне не умереть, Робин? Никто ведь песен обо мне не сложит, как о тебе.

— Живи, как я, и люди сложат песни, — сказал Робин Гуд. — Я хочу увезти тебя отсюда. Ни мне и никому из наших здесь совсем не понравилось. Ты здесь не вылечишься, а только ещё больше разболеешься. Тебя должно продуть морозным ветром. Ты ещё не забыл ту еврейку, что украл Богом проклятый тамплиер? Как её звали? Вот красавица была!

— Не бывает на свете некрасивых евреек, — сказал я, — а та, звали её Ребекка, и среди евреек была красавица. Я хотел биться за неё, а молоденький норманн меня опередил.

— Не стану спорить с тобой о красавицах. У тебя мать была еврейка. Но именно поэтому ты всегда задумываешься не ко времени. Собирайся. Мы привели тебе доброго коня.

— Робин, дорогой мой друг! — сказал я. — Этот дом больных хорошо охраняется. А в городе полно стражи.

— О какой ты страже говоришь, когда я друга из темницы вызволяю?

Мы выпили по кружке хмельного вина с далёкой реки Рейн и вышли на снежный двор больницы. Никогда мне теперь не забыть, как пронзительно свистел ветер в ушах, когда мы гнали коней, и они бодро выносили нас сквозь море жгучей от мороза пурги.

Я проснулся поздно. И ещё долго вспоминал эту сумасшедшую скачку. И выкрики йоменов: «Святой Георгий и старая Англия!», — это бились с патрулём на выезде из столицы. Гром выстрелов и свист стрел. Хэй, хэй, хэй! — кричали вольные стрелки, погоняя коней.

— Чему ты улыбаешься? — спросили меня утром в палате.

— Так, ребята. Это я своему.

Я подумал, что дело было славное, и о нём обязательно станут слагать песни. Может, и меня помянут. Как же не помянуть, меня ж вызволяли храбрецы Робин Гуда. Так может, и я никогда не умру, как все они?

* * *

В Калининграде у меня был друг, которого звали Валентин Иванович Груберов. Мы вместе с ним сделали несколько рейсов в Северную Атлантику. Он был немного старше меня, штурман, окончил Калининградскую мореходку. Образование, хотя и среднее, но работал он очень исправно, и к тому моменту, как начались его мытарства, ходил уже вторым штурманом. Он хорошо говорил по-русски, но не вполне верно выговаривал, высокий, худощавый блондин, и всем было ясно, что странная фамилия его не случайна. Прибалт. И не понятно было, каким образом ему открыли визу на загранплавание. Прибалтов пропускали сквозь очень тонкое сито. Он, впрочем, ещё в мореходке вступил в партию.

Однажды Валька пришёл ко мне домой и мрачно выгрузил из карманов куртки сразу три бутылки коньяку. Мы не виделись около года. Обнялись.

— Ребята, вы с ума сошли! — закричала жена. — Да вы ж умрёте с такой дозы.

— А ты нам помоги, Ниночка, родная, — сказал он. — Помоги. Мне сейчас, вообще, нужна помощь. Беда.

И оказалось, что он уже полтора года не был в море, и в кадрах даже не обещают ничего, и в первом отделе ничего не говорят, и советуют сходить в Серый дом или в Обком. Похоже, что его виза закрыта. Мы сели за стол втроём.

— Вы, только закусывайте, ребята, закусывайте, что я с вами делать буду? — говорила Нина.

— Вам известно, какая у меня настоящая фамилия? — спросил Валентин. — Знаете, как меня зовут?

Мы выпили. Ни я, ни жена, естественно, ничего ему не ответили, и он разлил ещё по одной стопке.

— Постой, а как у тебя с Верой? Она что-то пропала, — спросила Нина.

— Ну, зачем ей-то пропадать? Вышла замуж и уехала в Ленинград, — со свойственной ему штурманской аффектацией хладнокровия сказал он. — Так я хочу что сказать-то… Меня зовут Вальтер. Отца зовут Ханс. Поэтому я и Валентин Иванович. А фамилия Груббер. Я немец. Остзейский немец. И мой диплом теперь можно выбросить, он на х… никому не нужен. И как бы старика не потянули, потому что это он сварганил мне такие документы. У него в Таллине хорошие связи, и он постарался. На свою седую голову. И в паспорте записали меня эстонцем по матери. Ему мало было десяти лет Воркуты.

Наступило молчание. Я совершенно не знал, что сказать, глядя в его белое, как мел, лицо. Незадолго до того один из капитанов, которого таким образом морочили около двух лет, пришёл к Обкому и выстрелил себе в живот из ракетницы.

— Миша, послушай, — неожиданно оживляясь, вдруг заговорил он. — Я буду первый из ревельских Грубберов на сухопутной службе. У нас от отца к сыну передаётся. Мой предок служил у Крузенштерна, и адмирал его очень ценил как дельного моряка.

— Я стал разливать по стопкам, а Валька вдруг громко крикнул:

— Но я не хочу больше коньяка! Это несправедливое дело. Подлое дело. И мать слегла. В больнице.

Я стал расспрашивать его. В Обкоме его не приняли и отослали в КГБ, а в КГБ сказали, что визы открывает Обком, как будто он с луны свалился, не знал, кто там что открывает и закрывает. Суть дела была в том, что отец Вальки до войны владел небольшим грузовым судном и был капитаном этого же судна. Он возил какие-то грузы в Германию и обратно. Пришли русские и арестовали и судно, и капитана. Дело тянулось долго, в сорок первом Ханс Груббер ещё сидел в таллиннской тюрьме. Вывезти его не сумели, а может руки не дошли. Появились немцы. Груббер вышел из тюрьмы, стал возить на том же судне солдат и другие военные грузы. Он не любил разбираться в политике, а совершенно искренне считал, что работать нужно на того хозяина, который есть. Снова появились русские, и на этот уж раз он отсидел десять лет. И в море его уже никто, конечно, не пустил. Но он сравнительно легко добился для сына паспорта с

другим именем, отчеством и фамилией. Таллин был полон его друзей. Однако, как верёвочка не вейся, конец будет. По поводу случившегося с его сыном несчастия он кратко сказал:

— Бандиты.

На дворе стояли шестидесятые. Сажали редко и только настоящих диссидентов. Вальку просто выгнали из партии, как-то потихоньку это сделали, уволили, и он уехал в Таллин, где поступил в институт. Что-то связанное с электроникой, которая только что тогда для нас как бы на свет появилась. Не помню, какой институт. Он был человек трудолюбивый и упорный, такие не пропадают. Изредка мы перезванивались с ним.

Так прошло два года. В рейсе у меня палец попал в машину, и едва не пришлось отнять правую кисть. Меня везли на попутном судне от Уолфиш-бея, это Юго-Западная Африка, а судно было таллиннской приписки. Пришёл я в Таллин. Я накануне радировал своему другу, и он пришёл встретить меня в порту. Конечно, он был в штатском, а рядом с ним стояла очень красивая девушка, золотоволосая, синеглазая, напоминающая одновременно яблоко «белый налив» и свежую, сдобную булочку. С борта этого таллиннского судна несколько голосов окликнуло его:

— Валька, привет! Как дела? — он грустно кивнул.

Сошёл я по трапу, и Валентин встряхнулся. Он с улыбкой осторожно обнял меня, рука у меня висела на бинте.

— Нет худа без добра. Теперь хоть погуляем с тобой в Таллине, — не смотря на русскую пословицу, он заметно хуже стал говорить по-русски. — Моя сестрёнка. Эльза. Зови её Лизой. Работает в ресторане. Все Таллиннские кабаки наши. Зайди в Управление, в бухгалтерии там лежит на твоё имя аванс. Такси!

И мы полетели. Для пропоя денег Таллин город необыкновенно удобный. Мне в счёт расчета перевели пятьсот рублей, тогда большие деньги. В очень хорошем ресторане втроём тогда можно было пообедать на полсотни, но это уже был кутёж, а просто немного выпить — получалось и на двадцатку. Жизнь была прекрасна, рука с небольшой оговоркой цела. Сестра Вальки смотрела на меня сияющими глазами, а он, хмурясь и улыбаясь, грозил ей пальцем. В эстонских семьях девушек в большой строгости не держат.

Но прежде всего мы заехали к Груберам домой. Меня торжественно встретила величественная мать семейства в белоснежном переднике и такой же кружевной наколке в седеющих волосах. Стол уже был накрыт. Его отец, намного старше жены, белый, как лунь, с лицом совершенно малиновым от коньяка, который он пил непрерывно маленькими рюмочками,

почти не говорил или не хотел говорить по-русски. Валька представил меня по-эстонски, и отец ему что-то с улыбкой ответил.

— Не обижайся на старика. Он сказал, что добрый матрос на палубе руку себе не покалечит, — обижаться было нельзя.

Старику же очень не понравилась моя еврейская физиономия. Но сам я, видимо, понравился. Наверное, потому, что не в пример сегодняшним дням, я тогда мог вылакать коньяку — бочку, а он это качество в человеке очень ценил. Вот сейчас я чувствую на себе цепкий морской взгляд его небольших, всегда прищуренных светлых глаз. Я многое прощаю морякам такого, чего никому бы не простил, очень люблю их и верю этим людям. Он вежливо задал несколько вопросов о моих последних рейсах и заработках.

— Ничего, хотя с виду на еврея похож, а парень вроде неплохой, — сказал он. — Что ж, я знал очень толковых евреев. Всё бывает. Пускай погуляет по нашему Таллину, — он улыбнулся беззубым ртом. — Скажи ему, что нужно ответить, если старый Томас ему встретится, — он имел в виду легенду, будто по Таллину бродит некий его покровитель, и на вопрос: «Строится ли ещё город?», — нужно отвечать, что всё ещё строиться, а если иначе ответить, не миновать беды. — Да ты скажи своему приятелю, чтоб он мне тут ненароком внука не подкинул, я знаю, что он женат, — весело и сердито крикнул он, строго при этом глянув на дочку, которая цвела румянцем, как мак на взморье.

Это был прибалтийский обед, когда сначала очень много еды и пиво, а потом десерт, кофе пирожные, ликёры, коньяк. Еле я поднялся из-за стола.

— Миша, — сказал Валентин. — Ты прости, но мне ещё нужно кое с кем увидеться и забрать книги в библиотеке. Лизка потаскает тебя по городу. Только не безобразничайте, ребята.

Это был подарок коварной судьбы. Не чуя под собою ног, я вышел из квартиры вместе с красавицей Эльзой.

— Куда мы поедем, зависит от, что ты будешь пить, — сказала она, глядя на меня ангельскими синими глазами.

— Я, вообще-то водку предпочитаю, — сказал я запинаясь.

— О. Нет. Мы здесь очень устали от вашей водки. И будет болеть голова. Я буду тебя учить. Всему. Согласен?

Ещё бы! Я был на всё согласен.

Итак, мы сели в такси. Шеф, плачу за скорость! Но девушка что-то сказала по-эстонски водителю.

— Миша, мы сейчас заедем в одно место, совсем недалеко. Мне там нужно кое-что отдать. Тогда поедем смотреть Таллин. Сначала в Вышгород поедем. Тебе будет интересно.

К моему удивлению, мы подъехали к небольшой протестантской кирхе. Эльза вынула из сумочки звучно хрустнувший, вероятно, толстой пачкой банкнот, конверт и вышла из машины. Я пошёл следом.

— Не надо за мной идти, — сердито сказала она.

Но я не послушал её. Я огляделся в пустой кирхе, внутри всё выглядело очень богато, насколько это, вообще, в протестантском храме возможно. Эльза подошла к пожилому пастору, отдала ему конверт, и они говорили что-то, улыбаясь друг другу. У меня под ногами было кружево чугунного литья. И я с трудом разобрал готическими буквами имя того, кто здесь был похоронен: Иоганн Антон Крузенштерн. Мне отчего-то стало стыдно, и я вышел на улицу. Вскорости появилась и Эльза. Она строго глядела на меня, вероятно, опасаясь насмешек.

— Ты напрасно пошёл за мной.

— А что это за церковь?

— Это наша цеховая кирха ревельских моряков, — сказала она очень важно, и серьёзно, и немного печально.

Всё, что было потом совершенно не интересно. Не знаю, что сейчас с этими людьми. Вальтер Груббер, кажется, уехал в Германию.

* * *

Несмотря на мороз, я в эти дни испытываю очень острое тревожное и торжественное ощущение приближающейся весны, которое всегда переживаю с волнением, где бы я в этот момент ни находился.

Вследствие нескольких серьёзных травм переносицы, у меня почти полностью отсутствует обоняние. Однако, воображаемые запахи являются ко мне часто, и это всегда сильно действует на нервы в ту или иную сторону. Вот мне явились запахи далёкой и невозвратной весны моего сахалинского детства, и я не нахожу покоя. И радостно, и больно, и слышатся голоса давно ушедших близких мне людей.

Выхожу на улицу в Москве, а слышу запах нескольких огромных костров, которые на берегу моря развели рыбаки, завербованные на весеннюю сельдяную путину. Этот запах особый, потому что жгут топляк, пропитанный морской солью. Там, на берегу стоят большие солдатские палатки. Не знаю, сколько человек могли в такой палатке разместиться. Они стояли длинным строем, залатанные, выгоревшие на солнце, но сохранившие что-то неуловимое от минувшей войны. Рыбаки

тоже в старых армейских телогрейках, и кто-то ещё не расстался с галифе, пилоткой, ушанкой со следом от красной звёздочки. Большинство из них фронтовики, а многие сверх фронта попробовали и колымской баланды.

Мне тогда казалось, что все они очень добры. Во всяком случае, хотя в посёлке и на рыбозаводе их боялись, к детям они были очень сердечны. Стоило мне приблизиться к палаткам, как меня подхватывали на руки и передавали друг другу, бережно, будто великое сокровище. Я прекрасно помню их суровые, небритые, измождённые лица. Их улыбки с блеском стальных коронок. Запах махорки! Его невозможно забыть.

Ещё пахло водорослями, кипящим варом — смолой, которую готовили для ремонта кунгасов, и она пузырилась и дымилась в больших чугунных чанах. Пахло восхитительной ухой из большого котла. В другом котле варилась каша, и это тоже был особый запах.

На берегу всегда валялось множество поржавевших старых чанов из-под вара, и мальчишкам разрешалось те из них, что были целы, не прогорели насквозь, стаскивать в воду и плавать в лагуне, отталкиваясь длинным шестом. Там глубина была невелика, это считалось безопасным. Нам только не разрешали подходить вплотную к камням рифовой гряды. Не уверен, но думаю, что до неё было не больше двухсот метров от берега. Нельзя было подходить в этих чанах и к остову японской рыболовецкой шхуны, нанесённой на эти камни несколько лет до того. Деревянный корпус, разваливался, и был ненадёжен. Время от времени слышался хриплый окрик:

— Куда понесло! Куда тебя, твою мать, понесло? Э, хлопцы, а ну назад, вот сейчас мамку позову, она тебе даст!

Однажды мы с одним пареньком, немного меньше меня, а мне было шесть лет, всё же подошли к камням вплотную. За камнями начиналась совсем иная, очень синяя, пугающая и притягивающая к себе вода открытого моря. В хорошую погоду море было так красиво, что я нигде этого не видел. И в Средиземном и Чёрном морях нет такой красоты. Тихий океан ведь. До самого горизонта на солнце оно сверкало ослепительными бликами, а над ним ветер дышал свежей, свободной, могучей силой. И ужасно хотелось перебраться с чаном через камни, в прилив едва видневшиеся из-под воды, и оказаться на этом просторе. Эта тяга в открытое море известна с глубокой древности. Греки говорили: «Дышать не обязательно, ходить в море — обязательно».

Я на всю жизнь запомнил, как звали моего товарища. Алик Пензиков. Где-то он сейчас? Была большая вода, нас подняло

волной и перенесло за гряду. Мы вовсе этого не испугались. Чан медленно подымало и опускало волной, это было интересно. Я попробовал шестом, дна не достать. И зацепить за камень было нечем. Нам стало страшно. Было время после обеда, когда все уходили в палатки отдыхать. Никого не было на берегу, только трепал ветер растянутые для чинки сети неводов. И мы заплакали с Аликом, и закричали. Никто не услышал нас, потому что волна, ударяясь о камни и рассыпаясь волшебно искрящимися брызгами, шумела громче, чем мы могли крикнуть. Начиналось время отлива. На поселковом причале стояла вышка, где круглосуточно должна была нестись наблюдательная вахта. Но и оттуда нас не заметили, а вернее всего, просто там никого не было. Чан уносило в море. Некоторое время мы с Аликом молча наблюдали, как чёрные угрюмые камни удаляются от нас, будто это не мы, а гряда от нас отплывала.

Кричали, звали на помощь мы очень долго, может быть около часа. Берег был уже далеко, потому что нас ещё и ветер подгонял, он был с берега. Несколько раз я пробовал грести шестом, хотя знал, что это невозможно. Приливное течение сильное, против него и в шлюпке трудно выгребать. Кроме того, круглый чан так начинал крутиться, что у нас обоих закружилась голова. Мерная, пологая волна укачивала, и, не смотря на весь ужас, нас клонило в сон. Алик первым заснул, я пробовал будить его, а он отмахивался от меня. На горизонте я видел огромный пароход, который медленно уходил в море, и я знал, что оттуда меня не увидят. Внезапно я ощутил жестокую, беспощадную мощь этого холодного пространства. Блеск солнечных бликов ослепил меня. Время тянулось. Я плакал и кричал. Бескрайняя синева сияла равнодушно, и крики чаек звучали уныло и недобро над моей головой. Прошло ещё около часа, в течение которого я спал, выбившись из сил.

Когда я очнулся, там, где раньше был берег, клубились сизые тучи, а чан сильно бросало волной, и до самого горизонта бойко бежали белоснежные барашки. Перевернёт! Море изменилось, оно становилось сердитым, будто хмурилось. Я разбудил Алика. Он заплакал, заплакал и я. Он закричал: «Мама, мама!», а я: «Бабушка!». И я хорошо помню, что я кричал: «Бабушка, я больше не буду, я больше не буду!». Для полноты правдивой картины нельзя не упомянуть, что мы оба намочили штаны. И от этого было ещё страшней.

Мы услышали знакомый звук, который не раз имитировали голосами, играя на берегу в разбитых старых лодках. Это звучало так: «Даг, дыг, дыг, дыг!». Дорка! Она нагоняла нас. Там были люди. И через полчаса меня уже держал за ухо какой-то дядька со

словами:

— От, паршивец, я тя научу! От, сукин сын, я тя научу!

— Воды им надо!

Я обнаружил, что язык у меня во рту совсем высох и не двигается. Мне приложили к губам мятую солдатскую фляжку с водой. И мы с Аликом пили воду и плакали, и звали маму и бабушку. А нам говорили с улыбками:

— От погоди, будет тебе бабушка!

Впереди был уже причал, где нас ждали. Когда я увидел её белую голову, я заорал ещё сильней, а рыбаки облегчённо засмеялись. Мать Алика стояла с верёвкой. Бабушка просто ждала меня со своей обычной смутной улыбкой, которая видна была не на губах, а как бы просвечивала сквозь её прекрасное лицо. Алика стегали верёвкой. Бабушка наклонилась надо мной и взяла мои руки в свои:

— Ну? — сказала она.

— Бабушка, я больше не буду!

— Чего ты не будешь? — сказала бабушка.

— В море уходить.

Вокруг нас люди примолкли и слушали это.

— Никогда не давай обещаний, которые невозможно выполнить, — сказала бабушка. Но ты должен думать. Всегда должен думать. Понимаешь?

— Нет, — сказал я.

— Хорошо, — сказала бабушка. — Я тебе потом попробую объяснить.

— Львовна, то не иначе — Бог спас, чисто Господь Бог, больше некому, — сказал кто-то, а бабушка согласно наклонила голову.

Она впоследствии не раз мне объясняла, она и Боге говорила и о многом другом, но я так и не понял. Редко что-то совершаю, как следует подумавши.

* * *

Маленький Данилка продолжает болеть. Сегодня днём уснул, проспал очень долго. Семь часов вечера. Его нужно разбудить. Но все ждут — будить его жаль. Наконец из его комнаты послышалось: он что-то сказал. Я тихо зашёл к нему, и сразу он заплакал. И тут же замолчал, когда я дал ему бутылочку с тёплым сладким чаем. Он тянул чай из соски, громко чмокая, а одной рукой крепко взял меня за большой палец. Глаза его закрылись.

Данилке скоро два года. Он очень крепкий, широкоплечий,

ширококостный, сильный паренёк. Мужик будет здоровый. Он, однако, тихий. Верёвки будут вить из него бабы — добродушный и доверчивый, с круглым открытым лицом доброго и простого парня. Сейчас у него небольшая температура, его мучает кашель, сопли, дышать трудно, его клонит в сон. Угрелся он под одеялом. Жар. Спать, спать. Он закрывает глаза и начинает посапывать, крепко вцепившись в мой палец, и ревниво следит за каждым моим движением, чтоб я не ушёл. Невозможно передать словами, сколько драгоценного, бесхитростного доверия выражает этот жест, как он верит в свою безопасность, ощущая эту неверную руку старого пьяницы. Чай! Хочу чай! Снова, не открывая глаз, он жадно пьёт, напившись, отдаёт бутылочку мне. Спать.

Но сна уже нет, и Данилка начинает плакать. Какой разумный смысл, и во имя исполнения какого затейливого замысла болеет такой человек? Ведь это живое воплощение слов Христа: «Если не будете, как дети, не войдёте в Царствие Небесное». Он уже открыл глаза и обиженно, и удивлённо смотрит на меня. Ему плохо, я должен помочь. Я дедя — так он зовёт меня. А я помочь не могу и начинаю неуверенно напевать: «Раскинулось море широко…». И он не сердится, сердится-то он ещё не умеет, а просто горько плачет. Плачет. Зачем ему эта чужая, грубая, унылая песня, да ещё таким сиплым голосом, пополам с кашлем? Мама не поёт таких песен, и папа не поёт, и бабушка не поёт. Но мама в больнице, а папа на работе, а где бабушка? Сейчас придёт.

Они вошли в комнату втроём — бабушка, и две его тётки, Надя и Ольга. Он плачет, потому что знает: они станут теребить его, одевать (теперь нельзя бегать по квартире босиком, что ты?), лечить, кормить, шуметь. Однако с ними и спокойней, чем с дедей. Они лучше понимают его, уверены в себе, знают, что делают. Они втроём непрерывно что-то говорят. Нечего и пытаться передать на бумаге эту быструю, мотонную, успокаивающую речь. Это женщины над ребёнком. Они всё умеют. Вот Данька у нас уже одет, сопли вытерты, в него влили ложечку какого-то лекарства, сунули ему в руки игрушку. Сейчас будет каша, сейчас Данька у нас будет кушать. И вот он уже со смехом убегает от них по коридору со своей игрушкой. Папа, поймай его и тащи на кухню, его надо накормить.

— Тёма, Митя! А ну, не смейте трогать маленького. Он же ма-а-аленький. Анютка! Боже, что ты насыпала собакам в воду? Я тебе сколько раз? Я тебе говорила сколько раз!

И почему с таким трудом родится в мир и вырастает человек? За грех, древнего Адама, который пожелал знать добро и зло? А почему б и не знать добра и зла? Наступит время, когда наши

жизни будут зависеть от его разума и силы. Как же ему добра и зла не знать? Пускай знает, мы его научим. Вот, я уже слышу, как на кухне мои взрослые дочки ссорятся друг с другом:

— У меня рук не хватает, вымоет кто-нибудь посуду в этом доме? Это кто поставил воду, она уже вся выкипела. Кто сходит за хлебом? Хлеба не хватит до вечера.

И кефира не хватит. И ещё многого не хватает. И нужно бежать, нужно что-то хватать, кого-то ловить, лечить, мучить, целовать, ругать.

— Ну, что, я б вышел покурить пока.

— Папка ты не посидишь минутку с Анюткой? Ничего делать не надо, только смотри, чтоб она на столе не трогала. Я сейчас, я сейчас принесу ей…

— Иди ко мне на ручки, красавица моя… Моя маленькая, черноглазенькая.

Скоро кончится этот день.

Папка едет во Францию. Надолго? Никто не знает. Папка сам не знает.

Расскажи, расскажи, бродяга, чей ты родом, откуда ты?

* * *

В 2003 году, в Москве, в Вагриусе вышла книга мемуаров Маннергейма. Недавно я прочёл её, с трудом продираясь сквозь сухой, канцелярский текст, вышедший из-под пера старого, строгого офицера, который на исходе своих дней, бесстрашно глядя в сумрачное прошлое, фиксирует события своей биографии, будто докладывая высшему командованию о проведении боевой операции. Он безупречно и беспощадно отмечает свои ошибки и промахи, их причины, ошибки противника, его промахи, действия всегда ненадёжных и неверных союзников, вереницу предательств, невозмутимо ведёт счёт горьких разочарований, утрат — потери, потери, снежные поля, где лежат тысячи его верных солдат. Всё одинаково точно и хладнокровно.

Трезво отдавая себе отчёт в том, что эта операция (так — о жизни своей) не может быть признана вполне успешной, нельзя однако, не отметить, что поставленная предо мною боевая задача в самом общем плане была выполнена, с Божьей помощью и благодаря героизму и стойкости вверенных мне вооружённых сил, не смотря на большие и порою неоправданные материальные и моральные жертвы, — но это не цитата, я просто попытался скопировать его манеру выражаться.

А это уже цитата: «В моей личной жизни… произошли

перемены: в 1892 году я сочетался браком с госпожой Анастасией Араповой. Её отцом был генерал-майор Николай Арапов, входивший в свиту Его величества. В прошлом он также был кавалергардом», — это и ещё два — три таких же беглых, но чётких, деловых упоминаний — вот и всё о его личной жизни. У него были двое дочерей. Жена, судя по фотографии, вовсе не красавица, но выражение её лица мягко и светлая улыбка добра. Случались годы, на протяжении которых он ничего не знал об их судьбах.

Есть короткий отчёт о разговоре с ясновидящей, которая успокоила его в 1917 году: его дочери живы, и всё. Он это никак не комментирует. Вряд ли он серьёзно относился к такому шарлатанству, но с ясновидящей барона Маннергейма познакомила в Одессе леди Мюриель Паджет. Неприлично было бы выразить сомнение. «В те дни мне часто приходили мысли о судном дне, и я совсем не удивился, когда 8 ноября газеты написали, что Керенский и его правительство свергнуты».

Я приведу ещё несколько цитат из этой книги.

В 1940 г. Черчилль сказал по радио, обращаясь к народу Великобритании: «Одинокая Финляндия, эта достойная восхищения, гордо сражающаяся страна, стоящая на пороге смертельной опасности, показывает, на что способны свободные люди. То, что Финляндия сделала для человечества, неоценимо. Мы не знаем, какая судьба выпадет на долю Финляндии, но, будучи свидетелями скорбной драмы, остальная часть цивилизованного мира не может равнодушно относиться к тому, что этот мужественный народ Севера будет разбит превосходящими силами и ввергнут в рабство, что хуже смерти. Если свет свободы, который так ясно ещё сверкает на Севере, погаснет, это будет возвращением к временам, во мрак которых канут результаты двухтысячелетнего развития человечества, не оставив ни малейшего следа». Как тут не вспомнить Толкиена? Здесь определённо видны исторические источники его творчества.

1941 год. Из стокгольмской газеты «Дагенс ньюхетер»: «Следовательно, финским вооружённым силам сейчас по требованию Британии следует уйти на границу, которую Советская армия насильственно растоптала своим сапогом. И это после того, как финны отбросили врага на восток от этой границы».

«Премьер-министр Черчилль — Фельдмаршалу Маннергейму. Лично, секретно, в частном порядке.

Я очень огорчён тем, что, по моему мнению, ожидает нас в будущем, а именно то, что мы по причине лояльности вынуждены

через несколько дней объявить войну Финляндии. Если мы это сделаем, то станем вести войну, как того требует ситуация. Уверен, что Ваши войска продвинулись настолько далеко, что безопасность страны во время войны гарантирована (Ни слова о том, что может произойти с Финляндией после окончания войны. Беглый), и войска могли бы остановиться и прекратить военные действия. Не нужно объявлять об этом официально, а просто достаточно отказаться от борьбы военными средствами и немедленно остановить военные операции, для чего достаточным является суровая зима, и таким образом де-факто выйти из войны. Я надеюсь, что в силах убедить Ваше превосходительство в том, что мы победим нацистов. Я сейчас испытываю к Вам гораздо больше доверия, чем в 1917–1918 годах. Для многих английских друзей Вашей страны было бы досадно, если бы Финляндия оказалась на одной скамье вместе с обвиняемыми и побеждёнными нацистами. Вспоминая приятные наши беседы и обмен письмами, касающимися последствий войны, я чувствую потребность послать Вам чисто личное и доверительное сообщение для раздумий, пока не поздно.

29 ноября 1941 года».

«Фельдмаршал Маннергейм — Премьер-министру Черчиллю. Лично, секретно, в частном порядке.

Вчера я имел честь получить переданное мне через посла США в Хельсинки Ваше послание от 29 ноября 1941 года. Благодарю Вас за то, что Вы дружески послали мне эту частную весточку. Уверен Ваше превосходительство понимает, что я не в состоянии прекратить осуществляющиеся сейчас военные операции, прежде чем наши войска не достигнут рубежей, которые, по моему мнению, обеспечат нам необходимую безопасность. Было бы жаль, если эти военные действия во имя защиты Финляндии приведут к конфликту с Англией, и я был бы очень огорчён, если бы Англия посчитала необходимым объявить войну Финляндии. Посылая эту личную телеграмму, Вы проявили весьма дружеские чувства в эти тяжёлые дни, что я очень высоко ценю.

2 декабря 1941 года».

«Если бы я мог считать обращение премьер-министра Черчилля инициативой исключительно английской, то, доверяя его пониманию и умению хранить тайны, мог бы ответить в более откровенной и точной форме. К сожалению, в сложившихся тогда условиях, это было невозможно, поскольку приходилось предполагать, что инициатива британцев является результатом нажима, оказанного русскими (что позднее и подтвердил Черчилль в своих воспоминаниях), и что лица, пославшие это

обращение, обязаны известить Москву о содержании ответов…»

В каком ужасном положении находились эти люди, и какие смрадные тени нависали над ними обоими!

«Нужно ли финским войскам выступить вместе с Красной Армией против Германии, которая, правда, в 1939 году «продала» нас, а сейчас уже более года являлась и, видимо, будет являться и далее, нашей единственной защитницей от экспансионистских стремлений русских?»

Весной 1941 года Маннергейм обращается в Международный Красный Крест за помощью в содержании советских военнопленных, которая соответствовала бы условия Женевской конвенции, не смотря на то, что СССР эту конвенцию не подписал. Всего за последующие два года Красным Крестом было с этой целью передано Финляндии около 30 000 стандартных пятикилограммовых пакетов с продуктами и табаком. Лекарства и продовольствие поступали и от Американского и Швейцарского комитетов Красного Креста. Нет смысла упоминать о том, в каких условиях содержались в СССР финские военнопленные.

Последняя цитата, важная для меня, поскольку я еврей:

1941 год. В Финляндии содержатся около двухсот евреев, получивших статус политических беженцев.

«Немцы … посчитали, что политические беженцы в Финляндии находятся под недостаточным контролем, и попросили передать этих евреев Германии. Министерство внутренних дел … приступило к мероприятиям по передаче немцам примерно пятидесяти евреев.

Когда я услышал об этом от генерала Вельдена, то в присутствии его и ещё нескольких членов правительства выразил резкое недовольство вышеуказанными действиями, подчеркнув, что соглашаться с подобным требованием немецкой стороны унизительно для государства. Хотя в Финляндии в течение всей войны ничего не знали о методах, применяемых в немецких концлагерях — мы узнали о них лишь позднее, — всё же было ясно, что беженцев, нашедших убежище в правовой и цивилизованной стране, в Германии ожидает неблагосклонная судьба. …Правительство приняло решение воспротивиться требованиям немцев».

Не будучи историком, я не рискну сам прокомментировать то, что здесь привёл, тем более, всю книгу в целом. Просто я был сильно потрясён и хочу поделиться.

* * *

Здесь снова про бывшего уголовника, и, кому это создаёт нервотрёпку, не читайте этого, пожалуйста. И длинно.

В шестидесятые годы в Калининграде я знал человека, о котором, не понятно почему, я здесь ещё не рассказал. Я с ним даже сделал один рейс к Южной Африке. К сожалению, это был его последний рейс, он погиб прямо у меня на глазах, и забыть его я не смогу никогда, да я и не хочу о нём забывать. Для матроса он был уже очень немолод. Ему было под пятьдесят, и он ходил в море около двадцати лет судовым плотником, токарем, боцманом, даже одно время был тралмастером, но чаще матросом из-за тяжелейшего характера, пьянства и склонности к рукоприкладству.

Я познакомился с ним в ресторане, а до этого много слышал о нём, потому что его и любили, и боялись, и рассказывали разные страшные, забавные и совершенно невероятные истории. Я назову его фамилию, это дело прошлое, а фамилия необычная — Руп, Матвей Васильевич. Вполне возможно (но совершенно не обязательно), что он был украинцем, как это в паспорте было записано. Впрочем, он был детдомовский, откуда сразу попал на зону, и, вернее всего, сам своей национальности не знал.

Мы сидели в ресторане «Чайка» за большим, шумным, весёлым столом. В какой-то момент все ушли танцевать. Он остался по возрасту, а я — просто никогда не мог научиться танцевать, и до сих пор не умею. Оставшись с глазу на глаз, мы выпили. Он посмотрел на меня очень блестящими, чем-то пугающими, чёрными глазами и глубокомысленно произнёс с улыбкой:

— Вот так-то оно, дело, понимаешь, и идёт. Очень просто. Верно я говорю?

— Ага, — сказал я. Мне тогда было года двадцать два, и я смотрел с восторгом на этого легендарного человека.

— А чего танцевать не идёшь? Баб боишься?

— Да я, дядя Матвей, не умею танцевать.

— Ну, значит, дурак. С танцами бабу всегда можно улестить. Очень просто. Пока танцуешь, она уж навздыхается от мужика, и — твоя. А без танцев это всё лишние хлопоты, приходится много говорить, бывает и чего лишнего наобещаешь, а это не годится, не хорошо. Учти, бабе врать грех, всё равно, что малому дитю, — он был в том самом лёгком подпитии, когда человека клонит в высокой философии.

Какое-то время молчали, глядя на танцующих, а потом он продолжал:

— Вот, например, говорят — судьба индейка. Не-е-ет, братишка. Индейка это птица глупая, а судьба, бывает, такие

задаёт задачки, что ни один академик ни хрена не разберёт. Взять меня. Я был малолетка, а проходил по статье, что и взрослому б не надо, — он назвал номер статьи. — А это что? Очень просто. Вооружённый грабёж. И часть такая-то — участие в группе, организованной с целью вооружённого грабежа.

(Здесь мне придётся оговориться. Я никогда статей этих не помнил, и мне сейчас не хочется наводить справки. Что-то в этом роде).

— Ну, и где б я был, если б не Рокоссовский? А по таким статьям, вообще-то на фронт с зоны не сымали. Тут нужно было мозгами ещё пошевелить, а то б я там, мальчишечка, пропал. На Ураллаге кум был, пожалел меня. Не знаю почему. Во время войны нельзя сидеть. Что ты? Спаси Бог. С голоду даже и воры припухали, очень просто, а не то что я по тем временам — дурак дураком.

Такова была наша первая встреча. Каким образом он умудрился получить визу на загранплавание? Очень просто — используя его любимое выражение — году в 48 он, молодой ещё парень, работая на судостроительном заводе слесарем, каким-то образом столкнулся с Заместителем начальника Управления по кадрам, это была женщина.

— Мне двадцать пять, а ей уж было к сорока, — рассказывал он мне позднее. — Я на ней женился, а её с места попёрли и чуть из партии не погнали. Очень просто. Но я её всегда уважал. Пальцем не трогал. И она на меня не обижалась, что всю жизнь фартовую ей поломал. Жили душа в душу. Добилась она через блат для меня визы. Вот так, брат, очень просто. Умерла. Сердце было слабое у неё, а любовь сильно горячая, такие долго не живут. Детей не было, вот что я жалею.

Год я вспомнил сейчас. В 68 году я оказался с Матвеем на одном судне. Вот почему мне год запомнился. Когда я пришёл на пароход с направлением, он сразу окликнул меня:

— Э, корифан! Чего не подходишь? Такой гордый. Забыл? А в «Чайке»-то мы с тобой нарезались, вспомнил? А у меня, брат, горе, — он улыбался, а тут нахмурился. — Рокоссовский, Константин Константиныч, помер, слыхал? Передавали. Жаль мужика. Я его раз видел, он к нам в часть приезжал. Заходи ко мне, помянем его. Тебя кем сюда? — он стоял на палубе в выцветшей и перепачканной тиром (тавот с графитом) тельняшке, и сплетал гашу (нескользящую петлю) для швартового конца. Он это делал без рукавиц, методически орудуя свайкой, не смотря на стальные каболки (обломанные проволоки), торчащие из старого стального троса. Рыбу, птицу, молодицу в рукавицах не берут, — говорил он, и всегда, даже зимой работал на палубе голыми

руками, и рыбу солил голыми руками.

Вот я могу без мата обходиться, а как быть с этой терминологией? Не знаю.

— Матросом. Первым классом, ответил я.

— Добро. Я скажу старпому, чтоб ко мне в кубрик. Ты парень ничего.

На судах СРТ-Р не было в носовой части большого кубрика для матросов, как на СРТ, а жили в корме, в четырёхместных каютах, «как люди».

— Лёнька, — крикнул он боцману. — Есть ещё троса?

— Все, — откликнулся молодой боцман.

— Да ты прикинь всё — на корму, на бак, ещё прижимные, и запас. А то в море будет некогда. Пускай ребята по палубе растащат, чтоб ни одной колышки, и покойлают в бухты аккуратно, видишь концы старые. И бери людей разбирать форпик, или ты куда эти лишние концы? Уберите вы палубу, что у вас тут за бардак? Вот набрали на флот трактористов…, боцмана, вашу мать! Пойдём к старпому, — обратился он ко мне. Направление отдашь, и я тебе место покажу.

В том рейсе мы работали, намного южнее Африки. Был очень длинный переход, в течение которого все тралы «вооружили», и делать стало нечего. Боцман гонял молодых ребят, где что подскрести, подкрасить, а, кто постарше, играли в карты или слонялись по палубе. Многие что-то мастерили, плели «авоськи» из капрона, вытачивали ножи с наборными ручками. А Матвей почти непрерывно спал в каюте. Его свирепый нрав проявился только однажды.

Сильно штормило, и все сбились по каютам. Он лежал на летающей койке с открытыми глазами и, казалось не обращал ни на кого внимания. За столом играли. Вдруг он встал, протянул руку и вынул из-под стола, приклеенную туда хлебным мякишем карту:

— А это у тебя что, братишка?

Мгновенно он взял сильными пальцами жулика за горло и так держал, пока тот не стал сипеть и посинел. Матвей ему ничего не сказал, просто отпустил. Он снова лёг на койку со словами:

— Хрен вас поймёт, с кем за стол садитесь. Что за люди пошли? На зоне с него бы машку сделали, а тут никому не касается. Тьфу ты!

Иногда мы подолгу разговаривали с ним, и сейчас я не в состоянии вместить эти разговоры в такой объём, да и обдумать это нужно. Говорили о довоенных лагерях, о войне. О колхозах и советской власти, вообще. О начальстве. Говорили и о женщинах.

О семьях. О детях. Безусловно, он был незаурядный человек. Судьба! Не смотря на малограмотность, он ни разу не высказал никаких «шариковских» суждений не о чём. Например, я был яростным противником колхозов. Он ужас положения людей в деревне знал гораздо лучше моего. Но высказался так:

— Миш, этого ты по молодости не поймёшь. Людям хотелось этого, долго хотелось. Почему один богат, а другой голодает? А попробовали, поздно было ворочать назад. Я так до сих пор не пойму: вот есть такой закон, что гуртом на земле мужики работать не могут. Никакими пулемётами этого закона не перестреляешь, хоть ты всех постреляй. Но откуда это, чей закон?

По поводу своего прошлого:

— В детдоме голодно, та ж тюрьма. Ну, и дурак был. А я не жалею. Пускай судят на том свете. Воры были справедливые, слушали своего закона, а у комуняк один был закон — девять грамм тебе в затылок…

Когда мы пришли на промысел, а ловилась там в больших количествах мерлуза, Матвей предложил мне стоять с ним на кормовой доске вторым номером. То есть я его фактически должен был подстраховывать. Мы находились чуть северней сороковой широты, и там уже хорошей погоды не бывает никогда.

Что такое кормовая распорная доска? Тогда было бортовое траление. Трал уходил в воду не по кормовому слипу, как на современных судах, а выкидывался с борта. А при выборке трала выскакивает из воды здоровенный такой металлический или деревянный, обитый железом блин центнера, если не ошибаюсь, на два с половиной. И он бешено раскачивается у человека перед носом, а он, вставши на планширь, и ухватившись рукой за скобу, должен к нему подсоединить несколько концов. И остаться живой. Вставать на планширь строго запрещается техникой безопасности, а без этого задача оказывается слишком сложной, много возни. Матвей делал это совершенно механически, легко и спокойно. У него выработался навык.

— Я это могу и во сне, — говорил он.

Однако, однажды Матвей, глядя на выходящую из воды доску вдруг спрыгнул на палубу. Он был бледен, как мел. Доска вышла и остановилась напротив.

— Кормовая доска! — закричали с крыла рубки. — Уснул там кто?

— Не могу накинуть гак! — крикнул Матвей. — Сделайте циркуляцию. И по новой выбирайте. Я заболел. Потравите ваер, лебёдка!

— Иваныч, давай сегодня кого-нибудь вместо меня, — сказал он подлетевшему гневному тралмастеру. — Ты знаешь, что я

видел?

— Да брось. Иди, отдыхай, — сказал мастер. — Я сам накину. Что ты, брат?

— Да померещилось, — криво улыбаясь, весь в холодном поту, сказал Матвей.

Он ушёл. Попросил, и старпом выдал ему спирту. Дело было ночью, а утром Матвей вышел на палубу сильно пьяный и очень весёлый:

— Йе-эх! — заорал он. — Сахалин, Охотск, Камчатка! Йе — эх! Лаперуза, мыс Лопатка! Иваныч, как там дальше? Подпевай, я не помню…

Все улыбались, глядя на его гуляние.

— Там про Питер, — сказал мастер. — Где ж ты Питер…

— А, точно. Где ж ты, Питер? Эх, забыл, такая песня…

На следующую вахту он вышел, как ни в чём не бывало. Вот выбрали ваер, показалась доска, он стоял, сбив ушанку на затылок. Лицо его было спокойно. И он сказал:

— Сейчас возьмём доску, и сбегай, найди у меня в рундуке…

Всё. Мгновенно его не стало. То, что свалилось на железную палубу в шкафуте это было уже — не Матвей. Он умер.

К чему я всё это написал? Мне тревожно, что народ наш совершенно беспризорен. Ей-Богу, ребята, совсем у нас о людях никогда никто не думал. И это повелось, кажется, ещё от Гостомысла. А потом говорят: Да что это за народ? Каждый народ достоин своего правительства. Ничего так не получится. Мы все такого народа не достойны. Это будет вернее.

* * *

Дорогие друзья! Обстоятельства таковы, что я сейчас не могу выкроить время для того, чтобы по-прежнему высылать, в журнал новые материалы почти ежедневно. Но я всё-таки затолкаю туда до конца две мои уже готовые большие вещи, которые, судя по редким комментариям, успеха не имели. Немногим понравилось, и они прочтут. В самом начале моего журнала я написал Antrum, которая тогда была едва ли не единственной моей регулярной читательницей: «Если б я дожил до ста лет и ежедневно писал такую историю, то и тогда не израсходовал бы и половины того, что у меня есть», — нет, я не хвалился, но ведь нельзя же до смертного часа выпускать один журнал, если, конечно ваша фамилия не Твардовский, журнал не «Новый мир», а за окном не Оттепель 50–60-х.

Знаю, многие подумают, что я снова пью водку. Нет. Просто

мне предстоит длительная поездка во Францию к дочери. Там есть люди, которые меня помнят, и я расчитываю встретиться с кем-то и показать, что успел сделать. Почти всё находится в ужасном беспорядке.

Во Франции меня будут лечить от старости — больше, кажется, я ничем не болен, но дочка (она медик) уверена, что я ошибаюсь по азиатской дикости. Я надеюсь, обратно меня не привезут сюда или в Иерусалим (я ещё не знаю, куда вернусь) в детской коляске, с соской во рту. Тем более, что мне собираются вставить новые зубы. Если б не присутствие дам, я б рассказал, конечно, друзьям, Поручику в первую очередь, куда я немедленно отправлюсь, вернув себе молодость вместе с зубами, которые почему-то очень нравились многим женщинам много лет назад (возможно, просто потому, что я умел часто и весело улыбаться?).

Очень благодарен тем, кто приглашал меня, погостить к себе. Я не сумел приглашением воспользоваться, но никто не знает, что ещё случится.

Остались считанные дни или недели, когда родит (надеюсь тройню и благополучно) моя дочь. И я поеду. Во Франции у меня тоже будет Интернет. Мне, вообще-то везёт, просто я растрачиваю подарки судьбы, будто мне по-прежнему 20 лет, а не 60, она же ко мне на удивление снисходительна.

Журнал я не закрываю. Что-то изредка буду писать и, конечно, читать. Может быть, и комментировать кого-то, хотя у меня это плохо получается.

Я всех вас очень полюбил. Даже моего безрассудного и неумолимого оппонента, профессора Уориарти, перед которым я позорно капитулировал, попросив отключить его от меня, я вспоминаю с улыбкой, но и со вздохом.

Я очень благодарен своему зятю, который был моим Вергилием и успешно, и терпеливо водил меня по таинственным кругам ЖЖ, не взирая на мою бестолковость и упрямство.

Значит, ребята, я не прощаюсь.

* * *

Я не удержался и ещё одну короткую историю пошлю, с которой, быть может, следовало всё начать. Я постараюсь, чтоб улыбок и слёз было поровну — как в жизни.

В 1947 году мне было годика полтора, я едва начинал ходить. Мы тогда с бабушкой жили в Москве, в Водопьяном переулке, у метро Кировская. С Сахалина прилетел отец. И однажды мы с ним собрались гулять на Сретенский бульвар. Вернее он собрал меня,

и мы отправились туда пешком, это совсем недалеко. С полдороги он вернулся, бледный и напуганный:

— Нехама Львовна, ребёнок ходит совершенно ненормально, у него нарушение двигательных функций опорного аппарата. Немедленно показать его пока хирургу, а потом мы будем думать…

— Но, Александр Николаевич, вы же одели ему штанишки обеими ногами в одну штанину!

Прошло много лет. Я приехал в Москву из Калининграда, поступил в Литинститут. Бабушка умирала. Она лежала в большом кабинете моего дядьки, мучительно перебарывая сильнейшие боли. Как только она обнаружила, что уколы морфина туманят ей голову, немедленно отказалась от них:

— Я хочу всё видеть. Может быть, это самое интересное, — совершенно серьёзно сказала она.

Итак, я приехал и пришёл к дядьке. Сел у бабушки в ногах. Говорить ей было трудно. Она редко открывала глаза. Её белоснежная голова такая же царственно строгая и красивая, как всегда, лежала на подушках спокойно, и лицо было неподвижно. Только дышала она очень часто, и медсестра то и дело промокала её лоб салфеткой.

Бабушка открыла глаза и увидела меня.

— Мишутка…, — лицо её едва засветилось ласковой улыбкой. — Знаешь, милый, о чём я вспомнила? Когда тебе было полтора годика, твой папа повёл тебя гулять на Сретенку. Но он сунул обе твои ножки в одну штанину. И вернулся в панике. Он решил, что у тебя нарушение двигательных функций и требовал врача.

Улыбка бабушки светит мне всю жизнь. Никто так не улыбался, как она, кроме одной женщины. Но она очень далеко сейчас. Может быть, я уж её не увижу никогда.

Путешествие на Торлеерм

Остров Торлеерм расположен в Атлантике, в четырёхстах милях от Ла Платы. Площадь острова невелика — около 3 тыс. квадратных километров. Он представляет собою вершину громадного подводного горного хребта, выступающую над уровнем моря на две с половиной тысячи метров и покрытую непроходимыми джунглями. На высоте полутора тысяч метров горы образуют достаточно обширное плоскогорье, где с огромной глубины под мощным давлением выходят источники минеральной воды, образуя шесть небольших озёр, в которых по древней легенде обитают духи предков. Вода из этих озёр спускается вниз каскадом множества водопадов изумительной красоты. Химический состав этой целебной воды таков, что пар, которым курятся озёра и бурные ручьи, в разное время суток меняет цвет, производя незабываемое впечатление.

Это одно из красивейших мест планеты было бы бесценно для туризма, если бы не экономические трудности и тяжелейшие межнациональные, межрелигиозные и политические проблемы, которые издавна разрывают немногочисленное население на несколько враждующих группировок. Для того, чтобы провести на Торлеерме недолгое время отдыха, недостаточно огромных средств. Необходимо быть человеком смелым, хорошо владеть огнестрельным оружием. Нужна готовность к боевым действиям, а не к занимательным приключениям. Поднимаясь в горы, в зарослях громадных тропических деревьев, и древовидных папоротников и хвощей, прорубаясь сквозь исполинскую путаницу лиан, вы оказываетесь в мире глубокой древности и нетронутой природы. Это красиво звучит. К сожалению, трудно сказать, что более опасно в этом мире, нетронутом цивилизацией — нападение леопарда, укус змеи Годо, почти всегда смертельный, или встреча с индейцами, которые вовсе не гостеприимны и регулярно нападают на пришельцев с целью ограбить их или обратить в рабство, которое в горах неистребимо, хотя и запрещено Конституцией страны.

Столица Национально-Демократической Республики Торлеерм и единственный город на острове называется Гонтанбург. Переписи населения не производилось с середины XIX в., когда голландский губернатор Ван-Мален пытался подсчитать количество рабов на плантациях хлопка и каучука. Когда же он решил переписать заодно и население деревень в горных джунглях и на побережье, его убил индеец по имени Бруро Орно. Местные жители очень не любят, когда их

переписывают. Они подозревают, что вслед за переписью грянет ужесточение и без того сумасшедших налогов, единственное спасение от которых — в решительной неспособности властей налоги эти собирать.

Благодарные потомки поставили Бруро Орно бронзовый памятник на площади перед дворцом Парламента. А неподалёку, напротив дворца Президента стоит памятник губернатору Ван-Малену. Обе скульптуры работы одного и того же автора, Луиса О`Коннери, заезжего американца, который, после создания и установки этих шедевров изобразительного искусства, вскорости умер от белой горячки в доме для умалишённых.

Всё же можно предположить, что в столице постоянно живут около 18 тыс. человек и около 50 тысяч на побережье, а в джунглях ещё тысяч двадцать — по мелким селениям. Индейцы гонтано (коренное население), голландцы, различные латиноамериканцы, афроамериканцы, просто американцы, евреи, армяне, курды, арабы, которых здесь зовут маврами, и ещё небольшая немецкая колония, сложившаяся после войны из тех обитателей третьего рейха, кто почёл за благо покинуть ставший неуютным для них Старый Свет. Самая многочисленная часть населения — гогцайя — более или менее устойчивый результат смешения этих национальностей в течение столетий. Эти люди в общении очень трудны — они, вспыхивают, как порох, чуть что хватаются за нож и не любят иностранцев, а иностранцами считают всех, помимо своих соплеменников. Они живут в городе и на побережье. Индейцы гонтано не менее взрывоопасны и хотя немногочисленны, зато правильно организованы и вооружены. Обыденное явление на острове — кровавые стычки гогцайя с гонтано. Гонтано живут в горных джунглях, нападают на рыбацкие посёлки, а иногда даже на пригороды Гонтанбурга.

Население говорит на смеси голландского, немецкого, испанского и языка гонтано. Государственный язык английский, которым владеют лишь немногие чиновники и высшие офицеры армии и полиции. Практически всё производство осуществляется за счёт инвестиций из США. Не будет слишком смелым сказать, что народное образование на острове отсутствует. Грамоте детей учат функционеры бесчисленных церквей, религиозных конфессий и сект, то есть, те из них, кто сам умеет читать и писать. Дети немногочисленных богачей учатся в Аргентине, Уругвае, Бразилии, других странах Латинской Америки или США. За официальной чертой бедности находится 60 % населения страны. Доллар имеет хождение наравне с национальной валютой (1 доллар — 159 гульденов на 19 апреля 2005 г.).

Достопримечательности: Два отеля (без звёздочек),

«Интерконтиненталь» и «Бодоуно». Слово «бодонуо» означает по-индейски временное укрепление из бурелома, которое туземцы в джунглях оборудуют каждый раз, останавливаясь на ночлег. В «Бодоуно» уровень комфорта нисколько не хуже, чем в лесу, только свежего воздуха, конечно, значительно меньше. А в «Интерконтинентале» обстановка европейская. Ужасная вонь и духота. Окна открывать нельзя из-за ужасной жары, которая здесь стоит круглый год, и тучи насекомых, от которых потом будет невозможно избавиться. Зато в клозете предусмотрена такая штука, как биде, только эти устройства никогда не работают, а если вам в номере биде починят, вы рискуете облиться из него с ног до головы, лучше уж его вовсе не трогать. Иногда вдруг в номере включается душ, а в умывальнике вода, хотя и солоноватая и тёплая, почти никогда не иссякает (в дневное время, конечно). Если захотите пить ночью, спускайтесь в ресторан, там всегда в продаже папио — семидесятиградусный напиток, изготовляемый женщинами гонтано путём тщательного пережёвывания лесных орехов и сбраживания в подземных глиняных резервуарах. Стоит дорого (ночью), и есть опасность заразиться сифилисом, который здесь ни у кого не вызывает удивления, тем более осуждения — наоборот его отсутствие считается признаком нелюдимого характера или сексуальной неполноценности.

Третьей достопримечательностью острова Торлеерм является ежегодный весенний карнавал. Очень красочный, многолюдный и весёлый. К сожалению, в большинстве случаев этот праздник заканчивается перестрелкой и взрывами гранат, потому что политическая жизнь на острове носит крайне нервозный характер.

Что касается красот природы — изумрудных горных громад, возносящихся к бездонным небесам, минеральных источников, бьющих серебристыми фонтанами в глубоких ущельях, грохочущих водопадов и прочего — то местным жителям не до этого.

И вот я обещал одной молодой девушке, которую в ЖЖ зовут Fasetka или Fa, сопровождать её на этот замечательный остров, где она собиралась отдохнуть около месяца. То есть, это делается так. Вы вечером спокойно укладываетесь спать, а к утру, уже после месячного отдыха на Торлеерме, просыпаетесь у себя дома, как ни в чём не бывало, можете пить чай и отправляться на работу. По моему очень удобно. И это вам не стоит ни копейки, если только вас по ошибке не убьют боевики одной из действующих на острове террористических организаций, или вы не утонете во время рыбалки в океане, или не заблудитесь в

джунглях и не окажетесь в положении раба у одного из индейских вождей. Во всех остальных отношениях такая поездка совершенно безопасна. Я решился на это, не смотря на печальный опыт. Ведь я уже однажды отправил девушку из ЖЖ, Antrum, в океанское плавание, в результате чего её едва не застрелили во время бунта на её же собственной прогулочной яхте.

Но мне всё кажется, что наши интернетские девушки живут очень скучно, проводя долгие часы перед уныло мерцающим экраном монитора. Я решил наступить на грабли. Разве это в первый раз?

Итак, я вечером, скорее даже ночью писал предыдущий текст, который, пожалуй, следует признать торопливым и не вполне основательным, хотя я ни от одного слова не откажусь. Не слишком, однако, доказательно получилось. Я, действительно, натерпелся страху за своих внучат, и вот меня понесло. Я дописал. Текст ведь короткий. И решил, дожидаясь комментариев, заглянуть в эл. почту. Там я обнаружил шифрованное письмо от Председателя комитета по внешней разведке Бонаканской республики, с которым познакомился в Голарне, когда ездил туда по приглашению господина Рутана Норда. Вот текст этого письма:

«Уважаемый друг! Считаю своим долгом как человек чести и добрый христианин предостеречь Вас. По моим сведениям Fasetka, она же Fa — не что иное, как рабочий псевдоним резидента армейской разведки Никанийской Конфедерации. Под личным руководством Fa четыре года тому назад был убит в своём кабинете Начальник Генерального Штаба Итарора, генерал-полковник Генрих Волкоп. Она же и разработала всю эту непростую операцию.

Fa, безусловно, является, одним из опытнейших в мире специалистов в области боевых диверсий. В её послужном списке несколько развязанных гражданских войн на Континенте, ликвидация всего личного состава Отдела безопасности Ядерного комитета Республики Баркарори и похищение из сейфа разгромленного офиса этого комитета документации высшего грифа секретности (последняя из упомянутых мною акций отличалась почти нереальной дерзостью и разработана была в считанные часы).

В настоящий момент Fa имеет звание майора никанийской армейской разведки, что соответствует общевойсковому званию бригадного генерала. В распоряжении Fa, как правило, не менее десяти опытных агентов, прошедших тренировки в лагерях на полуострове Крор. Fa лично очень опасна — всегда вооружена и прекрасно владеет любым оружием, у неё железные нервы,

значительно понижена чувствительность к боли, она легко меняет внешность, обеспечена надёжной легендой.

Господин Пробатов, на острове Торлеерм обстановка не вполне стабильна. Цели, с которыми Fa решила посетить эту республику установить не удалось. Я уповаю на Господа Бога и Вашу осмотрительность.

Всегда к вашим услугам

Тари Горар».

Менять что либо было уже поздно. Не успел я лечь спать, как уже оказался на Торлеерме в доме своего друга, депутата парламента, Джоскаса Вивари. И тут же была Fa.

— Очень рад, — проговорил Джос, раздражённо бросая в пепельницу не раскурившуюся чёрную сигару. — Я надеюсь, Михаил, вы нас, наконец, познакомите.

— Доктор Джоскас Вивари, депутат и весьма влиятельный политик на этом острове. Фрекен Фа, туристка из России, — сказал я.

— Очень рад, — повторил Джос. — Я вовсе не доктор, а просто бакалавр. Вы китаянка, фрекен? Простите мне эту нескромность.

— Что вы? Я русская.

— Это имя меня ввело в заблуждение. Простите, — он очень нервничал. — Что если я на минуту уведу нашего друга в кабинет, а тем временем здесь накроют на стол? Мне нужно с ним проконсультироваться… Прошу прощения, фрекен Фа.

В кабинете он сел на заваленный бумагами письменный стол и стал раскуривать новую сигару.

— Хочешь сигару? Слушай, кто эта Фа? Ты выпьешь виски? Кофе? Ко мне сегодня утром явились люди из Управления Безопасности. У них сведения, что сюда должна прилететь очень важная птица из разведки Конфедерации. Что за чёрт? Кого ты сюда таскаешь постоянно? — Джос говорил какими-то отрывками фраз и даже слегка задыхался. — Ну, не обижайся на меня, я сам не свой. Здесь ведь не Гавайи, в конце концов. Горцы обещали такой фейерверк на нынешнем карнавале, что самому Президенту станет жарко. Старый наглец Борноро так именно и выразился. Вернее всего, полиции придётся палить по-настоящему, потому что они сюда придут не с пустыми руками. Да… Конфедерация. Проклятые пройдохи! У них тут полно агентуры. И они ждут повода. Им нужен только пустяшный повод для того, чтобы… Неудобно оставлять даму так надолго одну. Красивая девушка. Они хотят нас просто проглотить. А что им стоит? Хватит и батальона спецназа. А проще всего поставить на рейде Гонтанбурга линейный крейсер, и мы тут окажемся, как мыши в

норе, когда кот сторожит… Как там дальше? Та-там, та-та-там, та-та-там, та та та… И никто не убежит. Кажется, так. А почему ты не хочешь выпить? Боишься? Вот и я боюсь. Зачем я только вернулся сюда из Штатов? Мне предлагали работу в солидной строительной фирме. Михаил, ты мне скажи определённо, ведь мы друзья. Ты хорошо знаешь эту девушку?

Тут я подумал и вспомнил такую малость, что ничего о юзере ЖЖ fasetka не знаю, кроме того, что прочёл в её постах и комментариях, а это очень мало — точнее, вовсе ничего. Действительно, очень милая девушка. А разве это не её специальность — производить хорошее впечатление? Всегда вооружена, опасна. И даже понижена чувствительность к боли. Легко меняет внешность. Шутка сказать, в собственном кабинете прикончить начальника генштаба королевства Итарор. Чёрт возьми!

— Пошли в гостиную, неудобно, — сказал Джос. — Я тебе верю. Верю в том смысле, что ты такой же идиот, как и я. Ну, ты не можешь мне объяснить, кого сюда привёз. Не можешь и всё тут! Чёрт тебя подери! И тебя и твои виртуальные фокусы. Но на этот раз, боюсь, у тебя надолго пропадёт охота…

Мы вошли в гостиную.

— Когда же мы едем ловить рыбу? — спросила Фа. Она очень смущалась. — Знаете, я совсем не укачиваюсь.

— Замечательно, — сказал Джос. — Раз вы не укачиваетесь, завтра же выйдем в море. Рыбы много было в последние дни. А макрели просто очень много. Будет интересно. А ещё я б вам посоветовал с надёжным проводником подняться Чёртовым ущельем на гребень Пилы-горы. Там потрясающий вид сверху на город и бухту. Мы предоставим вам конвой для такого случая.

Вошёл чернокожий охранник и сказал:

— Ваше превосходительство, к вам человек от господина Борноро.

— Передай этому человеку, что я как председатель парламентской комиссии по внутренней безопасности государства не имею права принимать у себя дома посланцев от людей, объявленных Верховным Судом вне закона. И пусть убирается, — Джос обратился ко мне. — Ты видишь, что твориться? Есть такая русская сказка, я не помню названия. Там действие происходит в Стране Дураков.

Охранник вышел и тут же влетел в гостиную обратно — кубарем, а за ним следом вошёл коренастый, широкоплечий, седой старик в камуфляже американского десантника.

— Да, я пытался сохранить хотя бы видимость инкогнито. Всегда невольно рассчитываешь на порядочность партнёра, —

спокойно произнёс он.

Затем этот человек церемонно поклонился:

— Я счастлив первым из истинных патриотов только что провозглашённой в горах Республики Гонтано приветствовать на нашей многострадальной земле высокую гостью из дружественной нам Никанийской Конфедерации. Я, действительно, счастлив, фрекен Фа. Это счастье, когда судьба Родины находится в столь юных, прекрасных и сильных руках, как ваши руки!

Фа с некоторым недоумением посмотрела на свои руки. Они, действительно, были юны и прекрасны, но сила этих тонких рук вызывала некоторое сомнение. Такими руками красавица может вести на верёвочке усмирённого дракона — несомненно. Но вряд ли можно этими руками убить генерал-полковника Волкопа. И мы, трое мужчин, тоже с недоумением любовались её руками. С недоумением. Так это резидент армейской разведки Конфедерации?

— Дорогой мой друг, уважаемый Борноро! — сказал Джос. — Я клянусь, что мне ничего не стоит арестовать вас, потому что городской гарнизон — в полной боевой готовности вместе с полицейскими частями, и мы с минуты на минуту ждём подкрепления, сюда идёт ещё батальон морской пехоты с северного побережья.

— Что вы скажете на это, госпожа Фа? — с улыбкой спросил старик. — Я же приглашаю пока вас и всех присутствующих, пусть уж Его Превосходительство нас извинит, в мой боевой лагерь, в ущелье Тали Лор. Очень красивое место. Что касается готовности гарнизона… не знаю право. Я сюда проехал через весь город на бронетранспортёре, и ни разу никто не спросил у меня, куда я еду. Со мной восемь человек. Таких, госпожа Фа, что вы будете любоваться этими молодцами. Я надеюсь, в горах вы примете парад наших войск, которым я буду командовать. Нам удалось сколотить армию, которую никанийские инструкторы месяц назад признали вполне удовлетворительной и боеспособной.

— Я буду принимать парад? — спросила Фа.

— Да, господин майор. Если сочтёте нужным, разумеется. Сегодня ночью, к утру, самое позднее, мои батальоны займут этот город, надеюсь, без особенных трудностей и потерь. Джос, прошу тебя проявить благоразумие, мой мальчик. Не тащить же мне тебя силой? Хоп! — лёгким движением руки Борноро отнял у Джоса выхваченный из-за пояса пистолет. — Успокойся. Извини, но всю твою охрану мне пришлось просто вырезать, чтобы шума не подымать. Но мы-то с тобой серьёзные люди. К тому же мой отец работал у твоего деда на канатной фабрике и всегда хорошо

отзывался о хозяине. Твой дед был человек честный. Все б вы такими были. Ну, господа, прошу вас!

Мы вышли из подъезда и залезли в БТР.

— Вперёд! — сказал Бороро. — Я, признаться, хотел прихватить с собой ещё кое-кого из Генерального штаба. Господин майор, как вам кажется? Это несложно. Например, начальник Управления стратегических расчётов живёт совсем неподалёку. Он вам понадобится сегодня?

— Мне? Я не знаю, — сказала Фа. — Зачем он мне? А вы что с ним хотите сделать?

— Всё, что вы прикажете, господи майор. Я просто подумал, вы захотите его о чём-то выспросить. А у меня заговорит и мёртвый, если мне понадобятся от него какие-нибудь сведения.

— Нет, — неожиданно решительно и твёрдо сказала Фа. — Никто мне больше не нужен. Поехали.

— Слушаюсь!

Несколько минут БТР мчался по пустой улице на предельной скорости. Затем послышались винтовочные выстрелы. Затем грохнул несколько раз гранатомёт. Наш БТР остановился. Бороро, бесстрашный вождь повстанцев, сидел, закинув голову, словно изучая что-то в потолке.

— Фа, не смотри на него! — заорал я. — Джос!

— Выходите, — сказал Джос. — Только побыстрей, сейчас взорвётся эта чёртова машина. Значит, Бороро умер. Что там с его головорезами? Да шевелитесь вы! Послушайте, а вы фрекен что-то на майора армейской разведки совсем не похожи. Не знаете, как люк открывается? — он открыл люк. — Живей!

Оказавшись на воздухе, первое, что я услышал, это пение пуль. Звук этот мне немного знаком, и я не слишком уже заботясь о деликатности, повалил Фа на асфальт.

— Ты не ушиблась?

У неё оказалась рассечена бровь, и она ответила мне:

— Немножко.

— Господин! Господин! — послышался рядом хриплый голос.

Мы все, живые и уже мёртвые, лежали, укрываясь за колёсами БТРа. Рядом лежал, уткнувшись носом в асфальт, как и мы, здоровенный бронзовый парень, вооружённый до зубов.

— Главное, сейчас не двигаться. Сейчас они перестанут стрелять и потихоньку будут подходить сюда. А мы встанем и побежим. До парапета метров десять…

Я увидел, что мы находимся на набережной. Вероятно, мы какое-то время ехали вдоль этой набережной. Пока на нас не наткнулся патруль.

— Видите скоба в парапете? За неё завязан конец — там,

внизу лодка, — парень держал пистолет направленным прямо мне в лоб. — Лодка эта моя. Двоих я возьму. Третий мне не нужен. Кого вы выбираете? Думайте, чёрт вас побери! Лодка моя. Я знал, что дело это добром не кончится, и спрятал её здесь. Никто, кроме покойного Бороро, о ней не знал. Мы бы на ней ушли с ним вдвоём, а может быть, он избавился бы от меня — у него это быстро получалось. Но теперь командую я. Вы решили? Это вам обойдётся в триста долларов. Есть у вас такие деньги?

— Есть. Не беспокойся об этом. Дай подумать, — сказал я.

Патруль поддерживали теперь ещё какие-то военные или полицейские, и пули шли поверх наших голов, будто струи проливного дождя, только горизонтально.

— Джос! — крикнул я. — Есть лодка! Можно в море уйти, но хозяин этой лодки…, — тут я что-то почувствовал и прыгнул на парня.

Он этого не ждал. И пистолет мне, хотя и не удалось у него отобрать, но удалось выбить из руки. Слишком далеко он отлетел. Тогда я схватил парня за волосы и ударил головой об асфальт. А Фа смотрела на всё это. И я ударил парня головой об асфальт ещё раз. Для верности. А Фа смотрела на меня. Потом она сказала:

— Но подожди, Беглый, что ты делаешь? Ты же его убьёшь, — мне стало ясно, что со мной сейчас просто девушка fasetka, которой завтра утром нужно на работу, на улицу Большая Бронная, в Москву. А где сейчас находится разведчица с тем же именем — мне уж на это было наплевать.

— Точно знаешь, что там лодка? — спросил Джос. — Тогда давай ждать, когда загорится машина. Мы побежим под прикрытием огня и взрыва. Взорвётся через мгновение после того, как загорится. Понимаешь? — я кивнул головой.

И когда загорелось, мы побежали и уже перелезали через парапет, когда ударил взрыв, это взорвался двигатель, а потом стали взрываться гранаты, которыми БТР был, видно, доверху зачем-то набит.

— Я не умею. Сможешь двигатель запустить? — спросил Джос.

— Смогу. Но сейчас нельзя показываться из-за парапета. Они не видят нас, а мы по этим скобам будем двигаться и уйдём довольно далеко, туда, видишь, где парапет заворачивает под прямым углом.

— Да ты молодец, — сказал Джос.

Мы с ним изо всех сил стали подтягивать лодку, хватаясь за скобы в парапете, а Фа старалась помочь нам своими тонкими руками. Когда взрывы стихли, когда солдаты выждали время,

когда они, наконец, подобрались к пылающему БТРу, а потом вспомнили про нас, мы были уже за углом. И за нами не погнались. На кой чёрт мы были им нужны? Очень жаль было Джоса. Никто бы не усомнился в том, что он хотел бежать в горы к повстанцам. Ему ничего не оставалось, кроме пули в лоб.

— Куда ты думаешь идти? — спросил я.

— Пойду к зданию парламента. Там меня узнают.

— Но туда ещё надо добраться. Тебя же ищут и имеют относительно тебя, я думаю, такой приказ, что…

— У них приказ меня немедленно расстрелять. Хотя нормальные люди сперва допросили бы сбежавшего депутата. Но здесь всегда очень торопятся. Слушай, а что это за история с никанийской разведчицей?

— Пока не знаю, — сказал я. Я, впрочем, и сейчас этого не знаю.

Я запустил дизель, и мы пошли вдоль набережной, очень осторожно, стараясь оставаться в тени высокого парапета.

— Смотрите! Что это? — сказала Фа.

Джос засмеялся:

— А! Защитница всех заплутавших в ночном океане. Вы читали Александра Грина? Я читал. В очень плохом переводе, к сожалению. Как её звали?

— Фрези Грант, — сказала Фа.

— А эту звали Жозефина Новель. Очень похожая история. И верят, будто она встречается в океане тому, кто терпит бедствие и готов отчаяться. Вот поставили памятник ей. Во время карнавала её засыпают цветами так, что ничего уже не видно, кроме лица. Мы все этот памятник любим здесь. Больше, сказать по правде, нас нечем здесь объединить, а остров наш такой маленький… Михаил, высаживай меня здесь, а сам с девушкой уходи подальше в море. Вас подберёт аргентинский сторожевик. Они регулярно здесь ходят, потому что в море у нас всегда неспокойно.

— Но мы же должны подтвердить, что вы не бежали к повстанцам. Мы это можем подтвердить, — сказала Фа. — Они сами вас захватили.

— Вы милая девушка. От всего сердца желаю вам хорошего мужа. Но кто вы? Вас тут никто не знает. Даже я не знаю кто вы. Прощайте! — он вышел на набережную, постоял немного у памятника и пошёл в сторону, откуда слышна была автоматная стрельба. Мне показалось, будто Джос что-то насвистывал, когда не торопясь шёл в ту сторону.

Около часу я уходил прямо в открытый океан. Стрельба не стихала, и мы уже слышали залпы артиллерийских орудий. Кажется, на Торлеерме начинался карнавал.

Почти прямо по курсу мне виделся какой-то предмет, который несло течением впереди меня. Наконец, ясно стал виден ярко-красный спасательный жилет и длинные размытые волной чёрные волосы. Прошло минут пятнадцать, пока я догнал то, что оставалось от женщины, о которой нам с Фа нечего вам рассказать. Она была мертва. Тонкий сыромятный ремешок удавкой был затянут вокруг шеи. А когда я освобождал её от жилета, чтобы тело по обычаю предать морю, на шее увидел тонкую стальную цепочку. На цепочке было что-то вроде серебряной стрекозы и надпись fasetka.

Вряд ли она вспомнила о Фрези Грант или о Жозефине Новель накануне смерти. Ей, думаю, было не до того.

2004–2005